

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

2



1974

1974

2

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания L

№ 2

Февраль, 1974 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАДИМ НЕКРАСОВ — Индия в дни визита. Заметки специального корреспондента	3
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Все то, что измеряется строкой..., стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	14
АЛЕКСАНДР КУРГАТНИКОВ — С утра до вечера, рассказ	22
ОТАР ЧЕЛИДЗЕ — Мое магнитное поле, поэма. Перевел с грузинского Владимир Леонович	35
ВИТАУТАС БУБНИС — Три дня в августе, роман. Окончание. Перевел с литовского Виргилиос Чепайтис	52
Н. Н. МИХАЙЛОВ — Черствые именины	142
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
РУСТАМ ВАЛЕЕВ — Должно же быть в жизни что-то такое..	182
ПУБЛИЦИСТИКА	
И. БЛИЩЕНКО — Права и свободы человека	193
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. МАРИНОВ — Государственные дети	200
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. КОНДРАТОВИЧ — О прозе Твардовского	227

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Петр Проскуряк. Сказание о Сибири.— Римма Казакова. Над новым днем, над незасеянным простором.— В. Кардин. О лебедях и «лебедушках».	255
<i>Политика и наука</i>	
Ю. Рытов. Формула деловитости.— В. Буганов. Армия и флот России в XIX веке.— С. Резник. От биосферы к ноосфере.	269
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	277
КОРОТКО О КНИГАХ — Видади Пашаев. — Наби Хазри. Чистое дыхание земли. Стихи и поэмы. ◆ Л. Антопольский. — Миха Квливидзе. Продолжение следует. Стихи. ◆ В. Кантор. — Амос Тутуола. Путешествие в Город Мертвых. ◆ Лариса Исарова. — Владимир Голицын. Страницы жизни художника, изобретателя и моряка. Сборник. ◆ И. Роднянская. — А. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. Статьи и исследования о русских классиках. ◆ Вл. Кузнецов. — А. А. Демин, С. Б. Лавров. ФРГ сегодня. Некоторые актуальные проблемы экономики, науки, политики. ◆ В. Кулешова. — И. Тертерян. Современный испанский роман (1939—1969). ◆ М. Коренева. — М. О. Мендельсон. Американская сатирическая проза XX века	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ВАДИМ НЕКРАСОВ



ИНДИЯ В ДНИ ВИЗИТА

Заметки специального корреспондента

Что можно рассказать об Индии, пробыв в ней всего две недели? Здесь нужно прожить несколько лет, чтобы начать понимать, что ты только коснулся глубинных слоев жизни, за которой стоят тысячелетия самобытной цивилизации, ни с чем не схожей истории. Разве удастся за такой срок охватить взглядом страну, чья площадь лишь немногим меньше площади Западной Европы? Познакомиться с народом, численность которого перевалила за полмиллиарда, — нет, не народом, а народами разного происхождения, разных обычаев и религий, но объединенных общностью исторической судьбы?

Индия — страна, где счет всегда ведется на большие цифры, заходит ли речь о характеристике природных условий, экономических величинах или проблемах, которые предстоит решать. Это страна контрастов, где явно ощутимые следы восточного средневековья с его железными, не подлежащими даже обсуждению устоями, его религиозным фанатизмом и покорностью судьбе смешались с политическим, экономическим, социальным, культурным наследием двухсотлетнего господства колонизаторов. И это общество не только вступившее в современный век развития, в котором прогресс определяется динамикой промышленного роста, цифрами производства электроэнергии и стали, образовательным цензом населения, но и выходящее на рубежи научно-технической революции с ее атомной энергетикой и компьютерами. Общество, все решительнее становящееся на путь социальных преобразований, которые ведут к разрыву с господством частнособственнических интересов.

Трудно без тщательной подготовки, без многолетнего изучения понять современную Индию во всей ее сложности. Еще труднее рассказать о ней. И все же — все же бывают, видимо, моменты, когда и для стороннего наблюдателя приоткрывается главное, чем живет тот или иной народ, становятся понятными его устремления, надежды, мечты, рождается ощущение причастности к биению его сердца.

Нам, советским журналистам, которым довелось находиться в Индии в ноябрьские дни 1973 года, дни горячих и радушных встреч индийского народа с высоким гостем из Страны Советов, товарищем Л. И. Брежневым, несомненно, повезло. Мы оказались в Индии как раз в такой момент. В лице Генерального секретаря ЦК КПСС Индия приветствовала посланца великой страны, с которой ее издавна связывали чувства взаимной симпатии и с которой в последние десятилетия ее объединили многие общие цели, она встречала настоящего друга, на чью поддержку и сотрудничество она, как показал опыт, всегда может рассчитывать.

С друзьями делятся радостями, тревогами и заботами, им поверяют думы о завтрашнем дне, с ними советуются. Так было и на этот раз. И в такой атмосфере сердечного гостеприимства быстрее и отчетливее выявлялось то, до чего в другое время пришлось бы, как говорится, доискиваться.

Итак, 23 ноября мы прибыли на индийскую землю. Первые встречи в делийском аэропорту. Первые километры дороги, ведущей в город, когда с жадностью ловишь каждую деталь — какова она, Индия, куда тебя впервые занесла журналистская профессия. Разговоры с друзьями, поездки по вечерней столице. И кипы газет и журналов самых разнообразных ориентаций, политических красок. Они с размаху окунают тебя в проблемы, которыми живет страна. Они разъясняют, уговаривают, куда-то зовут, над кем-то и чем-то насмеваются, негодуют, смущая пока еще непонятными тебе политическими терминами, незнакомыми именами, ссылками на неизвестные события. Пройдет день, другой — и ты начнешь разбираться в течениях этого информационного моря, но сегодня оно еще полно для тебя неисследованных отмелей и глубин. Ясно одно: при такой печати и политическая жизнь страны должна быть сложной, острой, напряженной.

В общем, так оно и есть. Правда, на вершине политической жизни — в парламенте — картина значительно яснее. Здесь после выборов 1971 года руководящие позиции прочно удерживает партия Индийский национальный конгресс. 360 депутатов в народной палате, 124 — в Совете штатов, правительство, возглавляемое Индирой Ганди. Высоким авторитетом, широкой поддержкой трудящихся пользуется Коммунистическая партия Индии, имеющая соответственно 24 и 11 депутатов в обеих палатах. Но относительно прочные позиции занимает и ряд других политических партий, начиная от стоящих на правом фланге партии Сватантра, ориентирующейся на крупные монополии и капиталистический путь развития Индии, Джан сангх, зовущей страну вернуться на путь «самобытности» и национализма, Организации конгресса, которая четыре года назад, будучи несогласной с намеченными планами и темпами социально-политических преобразований, откололась от Индийского национального конгресса, и до параллельной Коммунистической партии Индии на крайне левом фланге, видящей в Конгрессе преимущественно буржуазную силу и ставшей на позиции бескомпромиссной борьбы с ним.

Сложнее картина в различных штатах страны. Здесь в разнообразных политических комбинациях, помимо общенациональных партий, участвуют и местные. Причем Конгресс далеко не везде идет во главе избирательных списков. А штатов в стране 21 плюс еще 9 союзных территорий, находящихся под управлением центрального правительства. Чтобы быстро разбираться в пестрой картине индийской внутренней политики, нужны неплохая память и знание основных правил здешней политической шахматной игры.

Как раз в эти дни оппозиционные фракции в индийском парламенте, как правило резко выступающие друг против друга и по политическим и по экономическим вопросам, объединили свои силы, чтобы внести резолюцию недоверия правительству Ганди, обвиняя его в некомпетентности и неспособности справиться со сложностями экономического положения. Компартия Индии отказалась присоединиться к этой резолюции. Ее представитель Х. Мукерджи назвал ее «преднамеренной демонстрацией», особенно «накануне визита к нам ведущего представителя дружественной страны». Но обсуждение резолюции все же состоялось. Оно продолжалось два дня в течение двенадцати рабочих часов. В конечном итоге резолюция недоверия была отвергну-

та 247 голосами против 53. Отвергая обвинения оппозиции, Индира Ганди и другие члены правительства отнюдь не старались приукрасить положение дел в стране. Оно действительно не просто и не легко. Другой вопрос — почему? И какие меры предпринимаются, чтобы преодолеть колоссальные трудности, все еще стоящие перед страной?

Трудности оставил богатейшей людскими и природными ресурсами стране колониализм. Когда в 1947 году британские колонизаторы были вынуждены спустить свой флаг в Дели, они уходили из страны обобранной и нищей, где голод и болезни ежегодно косили десятки миллионов людей, где средняя продолжительность человеческой жизни составляла тридцать два года, где сотни миллионов людей не знали грамоты, никогда не видели электрического света и никогда не ложились спать сытыми. Наследие колониализма давало знать о себе и в дальнейшем. Стране, нуждавшейся в мире и провозгласившей мир своей национальной политикой, были навязаны не только массовые смуты и резня на религиозной почве, но и не одна война. Два года назад положение вновь осложнилось. В Индию хлынул поток беженцев из принадлежавшей тогда Пакистану Восточной Бенгалии. Стране пришлось предоставить кров и пищу 10 миллионам человек, спасавшимся от резни, устроенной пакистанской военщиной. Затем последовала война с Пакистаном. А в 1972 году основные зерновые районы страны охватила засуха. Положение сложилось поистине критическое.

И все это в стране, которая остается в основном аграрной — 75 процентов населения Индии все еще занято в сельском хозяйстве. В стране, где две трети населения по-прежнему неграмотны, а число только учтенных безработных достигает 18 миллионов человек. В стране, где регулярное и систематическое недоедание — удел большинства населения, Каждый год в Индии рождается около 13 миллионов детей. 10 процентов из них не доживает до одного года. Большинство выживших существует на голодной диете. В столице на 4 с лишним миллиона населения более 70 тысяч бездомных и более 200 тысяч живут в самодельных лачугах, около 50 тысяч нищих. Все эти цифры не секрет. Они приводятся в официальной статистике. И свидетельствуют о масштабе проблем.

«Несмотря на многие меры, в стране с 1972 года сложилось чрезвычайное трудное положение» — так говорилось в резолюции сессии Всеиндийского комитета Индийского национального конгресса, состоявшейся прошедшей осенью. Резко выросли цены на предметы первой необходимости, в частности на продовольственное зерно и пищевые масла. Нехватка промышленного сырья и энергии ударила по производству и, следовательно, по занятости населения. В этих условиях правые силы повели ожесточенное наступление на политику борьбы против спекуляции, начали создавать тайные продовольственные запасы, препятствуя борьбе против черного рынка, которую вело правительство Индиры Ганди.

Правительство опиралось и продолжает опираться в борьбе за свою программу на поддержку других прогрессивных сил страны, которые хотя и критикуют его за нерешительность и непоследовательность в ряде важных вопросов, считают в основном отвечающим коренным национальным интересам тот курс, по которому ведет страну нынешнее руководство самой массовой партии в Индии. В активе правительства и очевидные достижения десятилетий, прошедших после завоевания независимости. Их не умалят никакие трудности, что все еще стоят на пути народа Индии.

В прошлом году «Новый мир» опубликовал воспоминания М. Ауэзова «Моя Индия» (№ 8), в которых выдающийся советский писатель

рассказывал о поездке первой делегации деятелей культуры СССР в дружественную страну около двадцати лет назад. С тех пор Индия далеко шагнула вперед. Это подтверждают все, кто неоднократно бывал здесь. Жители Индии в своей массе выглядят лучше, одеваются лучше, питаются лучше, чем десять—двадцать лет назад. Хотя и неровно, но неуклонно растет производство и доход на душу населения. За годы независимости объем промышленного производства возрос более чем в три раза, а сельскохозяйственного — в два раза. Четверть века назад Индия не могла производить и ввозила из-за границы даже обычные потребительские товары, такие, например, как зубная паста. Теперь здесь отечественного производства автомашины, локомотивы, разнообразные станки, электротехническое оборудование и многое другое.

Индия — в процессе перехода от феодального и колониального прошлого к новому, как подчеркивают ее руководители, социально справедливому, обществу. Его цели, как они сами и формулируют, — избавление от эксплуатации человека человеком, обеспечение справедливости, равных возможностей и благоденствия всему народу. «Я убежден, — говорил в свое время основатель Республики Индия и ее первый премьер-министр Джавахарлал Неру, — что единственным ключом к решению как мировых, так и индийских проблем является социализм, и когда я использую это слово, я делаю это не в смутном гуманитарном смысле, а в научном, экономическом».

До социализма, конечно, далеко. На сегодняшнем этапе основная задача, как ее ставит Индийский национальный конгресс, это преодоление бедности, для чего необходимы дальнейшее резкое наращивание производственного потенциала и модернизация экономики. Используя опыт Советского Союза, других социалистических стран, индийское правительство ориентируется на плановое развитие хозяйства. Растет государственный сектор экономики. Под контроль государства поставлены важнейшие отрасли промышленности, банки, а теперь и оптовая торговля пшеницей. Национализированы система страхования и угольные шахты. Принимаются меры по внедрению на предприятиях государственного сектора более совершенной структуры управления. Чадающие фитили и керосиновые лампы уступили место электричеству более чем в 100 тысячах городов и деревень. Достаточно проехать по той или иной шоссейной дороге, ведущей от больших центров в «глубинку», поздним вечерним часом. Освещенные улицы, витрины лавчонок, гуляющая молодежь, громкий смех. Все это — новая Индия.

Путь к ней народ прошел нелегкий. Но он твердо знает — на этом пути, особенно в трудные минуты, его всегда поддерживала дружеская рука советского народа.

Передо мной карта Индии. С севера, от предгорий Гималаев, до южной оконечности, с запада, от Алиабета, до Лаквы на востоке она вся испещрена значками, обозначающими объекты советско-индийского сотрудничества. Здесь и металлургические, машиностроительные заводы и электростанции, нефтяные прииски и фармацевтические предприятия, высшие учебные заведения и государственные сельскохозяйственные фермы. Всего около 70 объектов. Из них 50 уже полностью или частично вступили в строй. Повсюду советские специалисты трудятся рука об руку с индийскими коллегами. На улицах городов можно нередко услышать русскую речь. Говорят по-русски и индийцы — те, кто учился или в Советском Союзе, или у наших специалистов, работавших в Индии.

— Только ослепленные антисоветизмом могут сегодня умалять значение сотрудничества между нашими странами, значение поистине

братской помощи, которую мы от вас получаем,— говорили наши индийские друзья.— Есть в Индии и другие. Они составляют ядро реакционных группировок. Но их мало. Большинство же народа, можно сказать подавляющее большинство, давно разобралось, кто наши враги, а кто друзья. Они понимают, что в сотрудничестве с вашей страной — главная надежда на успехи всех наших планов.

И здесь же приводились цифры: на долю предприятий, созданных при содействии Советского Союза, сегодня приходится 80 процентов производства металлургического оборудования, 60 процентов тяжелого электрооборудования, более половины добычи нефти, 20 процентов производства электроэнергии, около 30 процентов производства стали и так далее. Советский Союз оказывал и оказывает Индии щедрую поддержку в решении главных проблем ее развития, делая то, в чем отказывают ей западные державы, которые хотели бы сохранить за этой великой страной ее старую, колониальную роль поставщика дешевого сырья и рынка сбыта готовой продукции. Нужно при этом сказать, что индийская сторона точно и скрупулезно расплачивается товарами своего производства за все кредиты, за все поставки из Советского Союза. Таким образом, обеспечиваются интересы обеих сторон. В результате более чем в четыре раза вырос за последние годы советско-индийский товарооборот. Советский Союз стал одним из главных торговых партнеров Индии, а Индия заняла большое место во внешней торговле СССР.

Два с лишним года назад, в трудный для индийского народа час, когда над его страной нависла новая угроза войны с Пакистаном, за спиной которого, как неопровержимо подтвердил ход дальнейших событий, стояли Пекин и Вашингтон, Советский Союз вновь протянул Индии дружескую руку. В Дели был подписан советско-индийский договор о мире, дружбе и сотрудничестве. Изоляции Индии, на которую рассчитывали ее недруги, не получилось.

За период после подписания договора накопилось немало опыта, убедительно свидетельствующего о его большой жизненной силе и значении как для наших стран, так и для международных отношений в более широком плане. Договор подвел долговременную основу под советско-индийские отношения, открыл новые широкие перспективы их дальнейшего развития. В то же время он оказывает большое стабилизирующее воздействие на всю обстановку в Азии, полностью отвечая духу нынешнего периода перехода от напряженности в международных отношениях к разрядке.

Теперь Индия впервые после заключения договора готовилась встретить высокого посланца великой дружественной державы. И в проявлениях теплых чувств к Л. И. Брежневу, ко всему советскому народу не было недостатка. Визиту, обсуждению связанных с ним вопросов, истории индийско-советской дружбы и перспективам ее дальнейшего развития посвящались многочисленные сообщения, комментарии, статьи, целые газетные страницы.

О чем они говорили?

«Ни одна другая страна не пользуется в Индии таким престижем и любовью, как Советский Союз»,— писал «Каррент». Ярко и кратко еженедельник сформулировал то, что носилось в воздухе. Характерная черта: по существу, все политические партии Индии, учитывая настроения общественного мнения, публично выступили, хотя кое-кто и с определенными оговорками, в поддержку визита. Отмолчалась лишь одна партия — Сватантра. Что же касается левых, прогрессивных сил, то их газета «Пэтриот» писала: «В наших приветствиях Брежневу исключительные ликование и тепло. Его визит, несомнен-

но, определяется тем большим значением, которое наши два народа и их руководители придают нашей растущей дружбе и взаимопониманию. Л. И. Брежнев от имени советского народа предлагает Индии сотрудничество и помощь на нашем пути свободы, независимости и прогресса. Индия благодарна ему за это, потому что мы знаем, что дружба наших народов открывает собой новую эру мира и процветания для всех в этом пострадавшем мире».

Приветствия шли из самых различных кругов. Главный министр штата Уттар-Прадеш Бахугуна писал: «Индийский народ нашел в Советском Союзе подлинного друга — друга, который познается в беде. Наша дружба выдержала испытания временем. Во всех наших испытаниях Советский Союз стоял с нами, крепкий как скала, никогда не колеблющийся и не подсчитывающий убытков и прибылей».

Балрадж Кумар, представитель делового мира, заявлял:

— Визит Л. И. Брежнева — беспрецедентное событие в деле консолидации и укрепления уз дружбы и сотрудничества между народами наших двух стран. Это еще один шаг в эру мирного сосуществования, он будет способствовать развитию чувств братской дружбы и солидарности, давно уже существующих между народами Индии и СССР. Индийский народ с благодарностью и восхищением воспринимает активную и твердую поддержку Советского Союза и видит в нем искреннего и верного друга.

Советские люди, говорили индийцы, научили нас секретам производства в разнообразных областях. Они помогли в развитии научного образования и исследовательской техники и предоставили нам благоприятные возможности для расширения нашего экспорта... Ни один другой народ не сделал так много для Индии с такой искренней доброй волей.

В индийской печати тех дней публиковалось немало писем читателей, приветствовавших визит. Вот одно из таких писем от К. Д. Сингха из штата Махараштра, напечатанное журналом «Линк»: «Визит Леонида Брежнева, Генерального секретаря ЦК КПСС, своевременен и желанен. К нему с любовью относятся в нашей стране как к подлинному и надежному другу, большому государственному деятелю и борцу за мир и прогресс. Его визит станет вкладом в дело дальнейшего упрочения индийско-советских отношений на базе взаимопонимания, доброй воли и плодотворного сотрудничества. Да здравствует индийско-советская дружба!»

Немало в те дни было опубликовано и статей с детальным анализом значения индийско-советских отношений для будущего Индии, для развития международной обстановки.

Председатель партии Индийский национальный конгресс Ш. Д. Шарма отмечал в официальном органе партии журнале «Социалист Индия», что, несмотря на различные политические системы, Индия и Советский Союз представляют два взаимосвязанных исторических движения, «характерных для нашей эпохи», и поэтому вполне естественно, что «их отношения с самого начала имеют твердое основание и выражают коренную общность прогрессивных целей».

Близкая к правящей партии газета «Нэшенл геральд» в день начала визита посвятила ему передовую статью «Добро пожаловать, Брежнев!». В статье говорилось: «Индийско-советские отношения с самого начала базировались на антиимпериализме, антиколониализме, мире и разоружении. Со временем они переросли в дружбу. Советский Союз помог Индии в создании широкой основы тяжелой промышленности — фундамента ее экономической независимости... Дальнейшее сближение поможет Индии наметить правильный поли-

тический курс, ориентированный на социализм, и в этом также состоит немаловажное значение визита Л. И. Брежнева».

Индийская общественность горячо обсуждала международные аспекты визита. Подчеркивалось значение дружбы наших стран для упрочения мира на азиатской земле и в этой связи много говорилось о выдвинутой Советским Союзом идее обеспечения коллективной безопасности в Азии. Рассказывалось о Программе мира, принятой XXIV съездом КПСС, и энергичной, целеустремленной деятельности нашей партии, Советского государства по ее воплощению в жизнь. Много говорилось об общности подхода наших стран к таким коренным международным проблемам, как борьба за смягчение напряженности и развитие взаимовыгодного сотрудничества, ликвидация очагов войны и противодействие агрессивным проискам империализма, отпор расизму, колониализму и неоколониализму.

Следует сказать, что именно по этим вопросам противники дружбы наших народов, как явные (таких было абсолютное меньшинство), так и скрытые,— все те, кто, учитывая настроения общественности, не решался выступать с открытым забралом, пытались внести какой-то диссонанс в атмосферу визита, посеять сомнения в его ценности и полезности для Индии, отравить в меру своих сил и возможностей сердечность встреч. С общих позиций, с одинаковыми аргументами выступали представители индийского монополистического капитала и защитники феодальных пережитков. Они смыкались с прямой агентурой зарубежных недругов Индии, желающих видеть ее слабым и безвольным государством, раздираемым внутренними противоречиями.

В их распоряжении было не много доводов, но они день за днем повторяли их с унылой монотонностью. Довод первый — тесное сотрудничество с Советским Союзом якобы подрывает политику неприсоединения Индии к военным и политическим союзам и группировкам, тем самым ослабляя международный авторитет страны. Довод второй — визит Л. И. Брежнева вызовет недовольство Вашингтона и Пекина, а Индия нуждается в улучшении отношений как с США, так и с Китаем. Собственно говоря, этим в основном и исчерпывался пропагандистский набор недругов советско-индийского сотрудничества, явно подбрасывавшийся им из-за границы.

Руководящие деятели индийского правительства, его официальные представители неоднократно опровергали инсинуации в адрес советско-индийской дружбы. На митингах и собраниях, в печати прогрессивные силы разоблачали несостоятельность утверждений противников дружбы, на конкретных примерах доказывали ее плодотворность. Одним словом, шел идеологический бой. «Было бы совершенно ошибочно убаюкивать себя поступательным развитием индийско-советских отношений,— писала в те дни газета «Пэтриот». — Во многих государственных канцеляриях мира все еще господствуют люди, вскормленные на молоке политики равновесия сил, на представлении о силе как решающем факторе в мировых делах. И потому индийско-советская дружба не может не порождать недоброжелательности как в самой Индии, так и за ее пределами. Это недоброжелательство нужно изолировать и сковать. Такова задача национальной важности, превосходящая по своей значимости политические расхождения, существующие в стране».

Коммунисты Индии горячо приветствовали приезд Генерального секретаря ЦК КПСС как посланца ленинской партии, ведущего отряда великой армии борцов за социальное обновление. «Мы будем приветствовать товарища Брежнева,— подчеркивал коммунистический еженедельник «Нью эйдж»,— не только как ведущего руководителя

великой дружественной страны. Мы будем приветствовать его не только как передового борца за справедливый, демократический мир во всем мире. Мы будем также приветствовать его как выдающегося деятеля, сочетающего спокойную государственную мудрость и революционную страстность, характерные для ленинской политики Советского Союза. Не может быть сомнения в том, что визит Л. И. Брежнева поведет к дальнейшей радикализации широких народных масс и к еще большему сплочению всех прогрессивных сил Индии, помогая им сделать новый большой шаг по пути к их светлой революционной цели».

Читатель, надеюсь, не посетует за большое количество цитат. Они лучше многословных описаний передают настрой общественной мысли в дни визита, отражая характерные для Индии тенденции и национальный колорит мышления.

Сегодня, оглядываясь назад, уже легче, чем непосредственно в дни визита, отделить основное от второстепенного, постоянно от преходящего. Было много ярких и красочных сцен, надолго оставшихся в памяти. Не забыть первых часов пребывания Л. И. Брежнева на индийской земле. Семнадцатикилометровую трассу от аэродрома Палам до президентского дворца «Раштрапати бхаван» заполнили сотни тысяч людей. Это были не только жители Дели. Сюда, чтобы приветствовать гостя из Страны Советов, выразить свои чувства советскому народу, собрались тысячи и тысячи посланцев соседних штатов. Подвозившие их автобусы начали прибывать уже вечером накануне. И шли в течение всей ночи. Люди располагались на ночлег прямо здесь же, на улицах города. Приветственные плакаты, листовки заполнили город от фешенебельных центральных бульваров до рабочих кварталов. 500 увитых цветами арок были воздвигнуты на пути следования колонны автомашин с советскими гостями. На площади города вышли народные оркестры и молодежные танцевальные группы. «Стихийный фестиваль дружбы наших народов», — писала одна из делийских газет.

И следующий день — на громадной площади у исторических стен Красного форта, где немногим более четверти века назад впервые взвился национальный флаг Индии, символизируя крушение колониальной эпохи. Никто не решился подсчитать точное число участников митинга, созванного общественными организациями в честь Л. И. Брежнева. Очевидно только, что было здесь более полумиллиона людей. В полной тишине слушали они речи ораторов. Горячими аплодисментами выражали одобрение словам о дружбе наших народов.

Не забыть радостной, взволнованной атмосферы во Дворце науки, в котором на встречу с высоким гостем собрались активисты Индийско-советского культурного общества, массовой общенациональной организации друзей Советского Союза. И торжественной обстановки в многоколонном Центральном зале парламента, где посланца советского народа приветствовали индийские законодатели. С глубоким вниманием была выслушана ими речь Л. И. Брежнева, посвященная кардинальным вопросам международного положения, разъяснявшая основные принципы миролюбивой внешней политики нашей страны, содержавшая анализ значения и перспектив дружбы между Индией и Советским Союзом.

Но все же каждому, кто, находясь в те дни в индийской столице, внимательно следил за ходом визита, больше всего он запомнился, казалось бы, наименее очевидной для наблюдателей частью — переговорами. Встречам, беседам, обмену мнениями была отведена основная доля времени. О ходе переговоров, характере обсуждавшихся вопро-

сов больше всего писали индийские газеты. Конечно, журналисты не присутствовали на встречах. Но они получали исчерпывающую информацию на ежедневных пресс-конференциях, которые проводили совместно представители индийской и советской сторон. Вслед за обстоятельным изложением существа обсуждавшихся вопросов начинался час вопросов и ответов. Журналисты уточняли полученную информацию, выясняли интересовавшие их моменты в политике обоих государств, интересовались атмосферой, в которой шли беседы. К чести наших коллег — индийских журналистов нужно сказать, что все они за очень редкими исключениями скрупулезно и добросовестно излагали полученные ими сведения. Общественность Индии имела возможность пользоваться адекватной и обширной информацией о содержании переговоров.

Беседы начались сразу же, через несколько часов после прибытия Л. И. Брежнева в Дели. Сначала Л. И. Брежнев и И. Ганди беседовали между собой. Затем состоялась встреча двух делегаций. И уже как итог первого дня индийские газеты сообщили, что переговоры начались в сердечной обстановке, что их характеризует дружеский тон и глубокий подход к рассматриваемым вопросам. Дипломатические обозреватели подчеркивали: начавшиеся переговоры, судя по всему, будут иметь далекоидущее значение для обеих стран, для Азии и всего мира. Они отмечали, что, как показало уже начало переговоров, советский стиль дипломатии отличается «тщательностью подхода и готовностью к равноправному обмену идеями в обстановке полной искренности».

Деловые встречи проходили каждый день. Встречались Генеральный секретарь ЦК КПСС и премьер-министр Индии. Обменивались мнениями министры иностранных дел двух государств. Работали руководители плановых органов Советского Союза и Индии. Собирались делегации и в полном составе. На встречах обсуждался широкий круг двусторонних отношений. Л. И. Брежнев изложил основные принципы миролюбивой внешней политики, проводимой Советским Союзом. Он рассказал об огромной творческой деятельности советского народа и его правительства по претворению в жизнь решений XXIV съезда КПСС, по выполнению планов народнохозяйственного строительства. И. Ганди выразила благодарность Советскому Союзу за его деятельность по обеспечению всеобщего мира и воздала должное его достижениям во всех областях социального прогресса. Побывавшие в Советском Союзе, говорила она, видели, какие существенные перемены произошли, какой быстрый прогресс достигается каждый год. Индийский народ с радостью следит за этими успехами, ибо прогресс распространяется повсюду и тот, кто продвинулся вперед, может также увлечь за собой по пути прогресса все человечество.

Премьер-министр Индии информировала высокого гостя об усилиях индийского правительства и народа по развитию экономики, «о наших трудностях, о том, что мы сумели достичь и каковы наши цели на будущее». Прошлый год, говорила она, был для Индии годом тьмы в результате засухи. Но индийский народ мужественно встретил трудности, несмотря на попытки реакционных элементов ввести массы в заблуждение и совлечь их с избранного пути. На этот раз, когда продовольственная ситуация стала трудной, поскольку выросли цены и прекратился импорт зерна из других стран, помощь Советского Союза оказалась в высшей степени весомой.

Советский Союз, отметил в беседах Л. И. Брежнев, высоко ценит достигнутые Индией успехи и хорошо понимает объем и сложности стоящих перед ней задач. Советские люди верят в творческие силы

великого народа Индии, вдохновляемого благородными идеалами социального и экономического прогресса, и выражают надежду, что советско-индийское сотрудничество будет содействовать решению этих задач.

В ходе бесед по широкому кругу международных проблем подчеркивалось, что усилия Советского Союза по обеспечению разрядки в отношениях между Востоком и Западом не ограничиваются лишь стремлением улучшить отношения с западным миром, а являются частью планов по созданию новой базы международных отношений во всемирном масштабе, то есть с участием всех континентов, в том числе и Азии. Глава правительства Индии дала высокую оценку личной роли Генерального секретаря ЦК КПСС в процессе разрядки напряженности. «Мы знаем,— говорила она,— что вы прилагаете большие усилия в этом направлении и будете так же действовать в будущем, потому что вы убеждены, что только в условиях мира страны, подобные нашей, которым предстоит еще пройти длинный путь развития, смогут осуществить поставленные задачи и выполнить обещания правительств, данные своим народам».

Советская сторона отмечала, что перспективы упрочения мира в Азии она видит в постепенном развитии сотрудничества между азиатскими государствами и народами, в развитии связей между странами, основанных на принципах мирного сосуществования. В этой связи в индийской печати широко дискутировалась идея обеспечения коллективной безопасности в Азии. «Западные газетчики,— писал прогрессивный журнал «Линк»,— с помощью и при подстрекательстве некоторых умников в наших правительственных ведомствах выражали уверенность, что Брежнев привезет с собой готовый план создания системы азиатской коллективной безопасности и что военные вопросы займут видное место в переговорах. Но хотя советская печать действительно популяризировала идею азиатской безопасности, нигде и никогда она не выдвигала ее как концепцию военного союза одних государств против других. И в своих публичных выступлениях и на переговорах Л. И. Брежнев разоблачил обман западной пропаганды. Представитель советской делегации Л. Замятин разъяснил ситуацию, подчеркнув, что азиатская безопасность является концепцией, которая нуждается во всестороннем обсуждении многими странами континента и не может быть навязана одним или двумя государствами остальным».

Как подчеркивалось на пресс-конференциях, весьма насыщенные по содержанию переговоры подтверждали, что между Советским Союзом и Индией существует широкое взаимопонимание как по крупным международным проблемам, так и в области развития и углубления советско-индийских связей в политической, экономической и других сферах. В печати широко цитировалось выраженное советской стороной мнение, что состоявшиеся переговоры поведут к «качественно новому позитивному развитию отношений между двумя странами».

И действительно, о качественном развитии наших отношений убедительно говорили итоги визита. 29 ноября в пышном зале «Ашока» президентского дворца были подписаны итоговые документы визита — Совместная советско-индийская декларация, соглашение о дальнейшем развитии экономического и торгового сотрудничества, соглашение о сотрудничестве плановых органов СССР и Индии и консульская конвенция.

В декларации, развивавшей основные принципы отношений между СССР и Индией и определявшей главное направление их сотрудничества, было подчеркнуто широкое совпадение взглядов двух стран по обсуждавшимся вопросам, зафиксировано их стремление к даль-

нейшей разрядке международной напряженности, указано на необходимость и дальше направлять усилия на ликвидацию существующих очагов напряженности, остатков колониализма, неоколониализма, расовой дискриминации. «Превращение Азии в континент прочного мира, стабильности и доброго сотрудничества,— говорилось в декларации,— по мнению обеих сторон, будет безусловно способствовать дальнейшей нормализации отношений между странами и укреплению всеобщего мира».

Соглашения экономического плана определяли перспективы взаимовыгодного сотрудничества наших стран на срок в пятнадцать и более лет, намечали принципы сотрудничества плановых органов обоих государств. В целом же документы визита с очевидностью свидетельствовали о вступлении наших отношений в новый, более высокий этап.

Индийская общественность назвала подписанные в зале «Ашока» документы «хартией дружбы народов Советского Союза и Индии». Отношениям между двумя странами, говорили в Дели, они придали новую глубину и более развернутый смысл. «Визит Л. И. Брежнева,— писала газета «Пэтриот»,—развернул перспективу роста индийско-советской дружбы, включающей почти все аспекты национальных усилий двух стран». Даже газета «Хинду», стоящая на сугубо националистических позициях, признавала: «Из совместной декларации должно быть ясно, что индийско-советские отношения продолжают базироваться на взаимном уважении точек зрения двух стран по различным международным вопросам и что существовавшие страхи, будто договор между столь неравными силами может означать пренебрежение мнением Индии со стороны более сильного союзника, были преувеличены».

...Наступил день отъезда. Утром 30 ноября еще завершался обмен мнениями. А вскоре после полудня «ИЛ-62» с Генеральным секретарем ЦК КПСС на борту взмыл в воздух с аэродрома Палам. Великая и многоликая Индия, лишь маленький кусочек которой увидели советские гости за пять до предела насыщенных дней визита, осталась позади. Но теплота встреч и значимость для наших стран проделанной в дни визита работы оставили глубокое ощущение нерушимости дружеских уз, объединяющих более 800 миллионов человек, понимание важности того дела, которое совместно осуществляют наши страны.

Дели—Москва



Промчатся века за веками,
И войны уйдут навсегда.
И холмику, может быть, камень
Завидовать будет тогда.

Ни сына, ни мужа сквозь слезы
Никто уже не позовет.
И память колючею розой
К надгробию не припадет.
А жизни, что спят под холмами,
Прорвутся сквозь каски, сквозь мглу.
Осыплет их бор семенами,
И солнце приучит к теплу.
Я кленом бы мог возвышаться,
Сосною в чащобах родных...

Но с этим не все согласятся,
Есть право на то у живых.

СОВЕТ САМОМУ СЕБЕ

Несу мешок заплечный издалёка я.
В нем шесть десятков зим — немалый путь.
Тяжелая досталась ноша? Легкая?
Кто ведает? Да и в годах ли суть?
Порой весомей года ночь короткая,
Пять лет бесплодных, словно звук пустой.

Не мерь, прошу я, поквартальной сводкою
Все то, что измеряется строкой.

..*

Мне слава представлялась близкой целью,
Когда склонялась в утренней тиши
Поэзия, как мать над колыбелью,
Над сладким сном неопытной души.

Чтоб я не рос, как сосунок везучий,
Готовый к славе запросто прильнуть,
Премудрая, она польнью жгучей
Себе до боли натирала грудь.

Мои шаги начальные проверив
На битых стеклах, на камнях дорог,
Она мальчишке в мир открыла двери
И босиком пустила за порог.

Из кубка славы с той поры поныне
Пью осторожно, пью не второпях.
Я горький привкус утренней полыни
Еще храню на жаждущих губах.

* * *

Мостам, а не конструкторам завидую,
 Дорогам, по которым, взяв разгон,
 Пронесятся составы деловитые,
 Не помня славных некогда имен.

Хочу, чтоб слово, если уж написано,
 Вот так же, долгих тягот не страшась,
 От имени и славы независимо
 С эпохой и людьми держало связь.

Хочу, чтоб слезы, муками рожденные,
 Существовали сами по себе,
 Как дождь, стекло туманящий оконное,
 Текущий по щеке и по тропе.

И чтоб осталась боль открытой книгою
 Для всех сердец, в пути не отболев,
 Чтоб не был грех прикрыт листочком фиговым,
 Смех — эхом грохотал, обвалом — гнев.

А кто он, автор? Жив? Иль в безответные
 Ушел края, откуда переслать
 Никто не в силах данные анкетные?
 Знать хорошо. Но можно и не знать.

Меня вы не корите, судьи строгие,
 Бывал и гнев и смех мой не таким.
 Простите, что под ними я, как многие,
 Подписывался именем своим.

ИЗ ПРОШЛОГО

Когда весной закукует
 Кукушка в зелени ветвей,
 Ты вспомни все — весну другую,
 Боры на Минщине моей.

Ты вспомни все, что сердцу мило,
 Душевной близости тепло,
 Забудь, что все бывшее сплыло,
 Откуковало, отошло.

Ты вспомни лес, где за стволами
 «Ку-ку» желало нам добра,
 Забудь желание, что с нами
 Играло в прятки до утра.

Забудь, что эхо то лесное
 К нам не воротится уже.
 Забудь... И пусть душа весною
 Другой откликнется душе.

ПАСТУХ

Пусть корят меня, будто я лодырь,
Отвыкаю от собственных строк.
Мне и песен чужих переводы
Душу греют в ненастный денек.

Если мысли не стали словами,
А слова не сложились в стихи,
Я других не виню. И локтями
Не тесню их. Иду в пастухи.

Даль рожком оглашая пастушым,
Вскинув сумку на прочном ремне,
Я готов управлять непослушным
Строем строчек, доверенных мне

Беспредельное пастбище это
Ограничено полем стола.
От рассвета брожу до рассвета,
Лишь бы хлеба горбушка была.

Строгим музам, родне именитой
Я бессонной работой своей
Рад служить, но с надеждою, скрытой
До особой поры от людей.

Рад я, если удача чужая
Под моим повторится пером,
С ходу мысли мои пробуждая,
Что, забытые, спят под кустом.

Тут уж больше себя я не числю
Пастухом — и звучит вдалеке
Вслед за первой разбуженной мыслью
Слово первое в первой строке.

И, еще не поверивший в чудо,
Я взыскательным музам клянусь:
Большей платы не брал и не буду
Брать за то, что рожка не стыжусь.

Благодарен я шири зеленой
И костру, что в лугах не потух.
Кончен срок моей службы сезонной...
Что ж, до будущей встречи, пастух!

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЕРП

Заглох тот дом, что был моим гнездом,
Что вывел в мир и радость и беду мою.
Не вечно все под месяца серпом,
Хоть вовсе и не жнет он... Так я думаю,
Шагая по проселку с посошком.

Мой след, полсотни лет тому назад
Друживший с тропкой школьною, беспечною,

Зарос травой зеленой... И, конечно, я
 Не попрекну траву. Она, сердечная,
 Тут ни при чем. Я травам с детства рад.

Электростанция над речкой синею
 С былою мощностью в сорок киловатт
 Не светит больше. Годы так летят,
 Что, кроме мачт высоковольтной линии,
 В ее судьбе никто не виноват.

Комбайн — властитель в мире полевом —
 Довел серпы до полной непригодности.
 Не вечно все. Хоть конь и полон гордости,
 Но ведь и он, во власти безысходности —
 Вчерашний всадник нынче за рулем.

Все изменилось — луг мой, лес мой лиственный,
 Старею я. Здесь нет вины ничьей.
 Так пусть плывет над местностью моей
 Серп месяца — давно уж не таинственный! —
 Единственный на жатве наших дней.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Кайсыну Кулиеву.

1

Все основное сказано. Что можно
 Произнести вдобавок? Но опять
 Я книжку записную осторожно
 Кладу на стол. Листать иль не листать?

Тут, как под крышей, мой запас отборный,
 Заметки отшумевших лет и дней.
 Я доверял их памяти моторной
 И зрительной — помощнице моей.

Ты, книжка записная, — дом, где свищет
 Сквозняк событий и незрелых дум.
 Ты — склад зерна. Но ты и пепелище
 Напрасных чувств, не взволновавших ум.

Ты — выход в мир, насыщенный озоном,
 Из каземата, где темным-темно,
 Где строчкам, добровольно заключенным,
 Определенных сроков не дано.

Лишили их движенья — это мука.
 Фантазия им хлеба не дает.
 Век, словно реактивный самолет,
 Их обогнал, превысив скорость звука.

Над крышей нависает низко-низко
 Тревожный сумрак, влажен и тяжел.
 Сгустился он... Ах, записная книжка,
 Зачем же я кладу тебя на стол?

2

Родною бухтой некогда была
Ты для меня в тени лесов зеленых.
Немало шлюпок, прочно просмоленных,
И кораблей ты морю отдала.

Мы вместе проводили их когда-то,
Их оглушил войны жестокий гул...
Как прежде, их преследуют пираты,
Торпеды, что похожи на акул.

Но лодкам и судам на тех дорогах,
Как прежде, снится завтрашний простор.
Так покидают дети с давних пор
Родителей заботливых, но строгих.

Что им до нас? Хоть это мы с тобою
Их наставляли. Это наш горит
Огонь в их топках. А из всех пробоин
В обшивках их — не наша ль кровь бежит?

Не нас, а их приветствовали звонко,
Когда трубил им славы зычный рог.
Зато за похоронкой похоронка
Летели и летят на наш порог.

А что же уцелевших ожидает?
Они винтами за бедой беду
Перегребут?

Ах, книжка записная,
Я нынче вновь на стол тебя кладу.

3

Колодцем стань, будь влагой ключевою!
Передо мною мирные поля.
Я утолю слова твоей водою
При помощи ведра и журавля.

Пусть робкий образ, брезжущий намеком
На то, что в нем таится самоцвет,
Пройдет неслышно по тропинкам мокрым,
На травах оставляя дымный след.

Солдаты спят... Как зябко им под глиной,
Под старым дерном, под крутым холмом.
Согрей их мягкой клеверной овчиной
И осени березовым крылом.

Я смертности не дам распространиться,
Я твердо наказал своим стихам
Не рваться к шумной славе, а струиться,
Спеша на помощь зреющим плодам.

Сухой земле, звенящей, словно камень,
Сухим губам, чьей жажде нет конца.

Тебя готов я вычерпать руками
От верхнего до нижнего венца.

Да, ты нужна мне, как вода живая
Сугулым вербам в выжженном краю.
А все ж другим (ах, книжка записная!)
Тебя я отдавал и отдаю.

4

За сушью — дождь. Ненастье обложное.
Стань солнцем. Злак поникший облучи.
Подняв колосья щедрой пятернею,
Ты их рабочей шестерне вручи.

Жнец измеряет времени глубины
Не по светилам в сумраке ночном,
А по звезде на дверце той кабины,
Где он проводит сутки за рулем.

Та мирная звезда ведет беседу
С далекою звездой, с которой в бой
Шагал отец за прадедом и дедом
По целине, тогда еще пустой.

Весомость хлеба измеряли люди
Ценою крови, мерою утрат.
Их бой — твой бой, хоть жнет не автомат,
А косят и молотят не орудья.

Тяжел наш хлеб. Иного не проси ты.
Что легкий труд для рук и для ума?
Степной простор просеяв через сито
Своей души, ты хлебом стань сама.

Подходит вечер, тучей нависая,
А осень гонит лист из края в край.
Но сладок хлеб.

Ах, книжка записная,
Ты на столе — как свежий каравай.

5

Быть может, ты желаешь стать ракетой?
Стать невесомой?

Жаждут корабли
Из космоса, с надмирной точки этой,
Взглянуть на очертания Земли.

Но для чего стремиться нам с тобою
К далекой невесомости, когда
При встрече с неприютностью земною
Мы невесомость чувствуем всегда?

Есть в мире войны, засуха и вьюга.
Страдальцев много. Как покинуть их?

Еще они не вырвались из круга
Немых и необжитых гнезд моих.

Я не желаю им судьбины черной.
Я так скажу, когда настанет час:
«Летите, дети памяти моторной
И зрительной. Я отпускаю вас.

Я добрым хлебом встретил вас у дома
И проводил не мелочью монет
За свой порог единственный. Другому
Уж не хозяин я. Летите в свет».

Летите в свет!..

Ах, книжка записная,
Пока живу, живи и ты со мной.
Чем будешь завтра, сам еще не знаю.
Прошу — останься книжкой записной.

Перевел ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ.



АЛЕКСАНДР КУРГАТНИКОВ

★

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Рассказ

— **С**лушай, товарищ, паренек! Стань ты как-нибудь поэкономнее, люди висят.

Я вдвинулся в зазор, на миг образовавшийся между двумя спинами, и меня прижало к сиденью, металлический поручень давил в подвздошь. По стеклу совсем по-осеннему мело дождевой пылью, в автобусе было полутемно, парно пахло мокрыми плащами. Где-то впереди плакал ребенок; плакал без удовольствия, выдавливая из себя плач, потому что был раздражен, устал и не мог дремать.

Меня в автобусе или там в столовой и прочих общественных местах всегда называют паренек, раньше я на это как-то не обращал внимания, а сейчас подумал — и верно, подходит. По всем статьям. Не молодой человек, не юноша, не мальчик, а именно паренек, и зовут меня не Саша, как звали бы молодого человека, не Александр, как звали бы юношу (впрочем, юноша — категория XIX века), не Алик, как звали бы мальчика, а Шурик — самое подходящее имя для паренька. И внешность самая подходящая — никаких особых примет: рост средний (неладно скроен, да крепко сбит и т. д.), масть неопределенно-русая. И уж совсем пареньковая форма одежды: синее пупырчатое поролоновое пальто с вязаным воротником; сегодня я надел его в первый раз, мать уговорила, боялась, что будет холодно. Мила его терпеть не могла, называла голубой мечтой провинциального парикмахера.

Мать вчера удивилась, когда я приехал домой один, но я сказал, что отвез Милу к Наталье Владимировне, и стал врать — не очень закругленно, — что их курс везут завтра в совхоз, от Натальи Владимировны ближе; по-моему, мать что-то заподозрила. Последнее время мы жили у нас (мы жили то у нас, то у Натальи Владимировны), и я думал, что все скажу Миле по дороге домой, в кафе говорить было невозможно, вообще не понимаю, зачем она потащила меня в это заведение.

Мы сидели около деревянной решетки: желтые лакированные перекладины — похоже на шведскую стенку — и на разных уровнях горшочки с традесканцией, белые в черных пятнах, под бересту. «Мы теряем самих себя, — говорила Мила, — мы теряем самих себя, и это самое худшее. Нашим отношениям не хватает — ну, как бы тебе это объяснить — айсберговости. Ну, знаешь, айсберг, он на восемьдесят процентов под водой, а на виду только двадцать процентов». Она говорила решительно и быстро, поставив руку локтем на стол и отведя ладонь в сторону, словно в пальцах у нее была сигарета. Вначале у меня было ощущение, что все это игра, текст к обстановке, к швед-

ской лесенке с горшочками, к рассеянному свету из-под красного подвесного потолка, к маленьким керамическим кофейным чашечкам, желтым снаружи и черным внутри, но потом до меня дошло, что она все это выработала в себе заранее и притащила меня сюда, потому что здесь это было легче сказать. А в себе она выработала это давно. «Понимаешь, я поняла: все, что между нами,— это что-то необязательное; но чем дальше, тем это необязательное все больше будет становиться обязательным — просто по привычке. И получаются такие классические обязательно-необязательные отношения, понимаешь?» «Не понимаю»,— сказал я. Вообще-то я понимал, но только для меня они были обязательными, с самого начала обязательными и мне казалось — для нее тоже; но я сказал, что не понимаю, потому что слова не лезли у меня из глотки около этой шведской стенки, а за столиком по другую ее сторону сидел одинокий интеллеktуал командировочно-го вида и слушал с большим интересом, выставив ухо, как локатор. Я почти со злобой смотрел на толстую чашечку, из которой Мила невероятно медленно тянула темную бурду, и ждал, когда мы наконец выйдем и я смогу говорить. Мы молча проследовали по всему длинному, придавленному красным подвесным потолком залу, пробившись сквозь густую толпу, осаждавшую вход, и тут вдруг Мила быстро сказала: «Не провожай меня, Шнур, не надо»,— быстро поцеловала в лоб и вскочила в автобус. Я остался на остановке, толпа глазела на меня; чувствуя, что продолжаю спектакль, я достал сигарету и закурил. Я ждал следующего автобуса, чтобы поехать к Миле. Автобуса не было. И тут я понял, с чего все началось. Злость взяла меня, я бросил к черту кинематографическую сигарету и пошел домой.

* * *

Когда шофер объявил ГРС, в автобусе оставалось человек десять, не больше. Я вышел на обочину шоссе, шоссе было мокрое, все в тонких, как пленка, лужицах, дождь еще моросил, но до того мелкий, что его не было видно, я почувствовал его только кожей лица и рук. Метрах в двухстах от шоссе на голом поле стояли три кирпичных домика ГРС, как три гриба на проплешинке (вокруг охранный зона, строиться запрещено). В сыром воздухе особенно резко чувствовался привычный кухонный запах газа, на самом деле вполне невинного состава — одоранта, которым мы пропитываем газ.

Мне в спину мягко задудели тирольские трубы, я обернулся — за остановкой стоял «газик», из кабины высовывался Асланов.

— Беянин! Переехать тебя надо, чтоб заметил?

Как всегда на бешеной скорости, Асланыч начал объяснять, что он меня черт знает сколько времени ждет, «такое, понимаешь, безобразия, агроном там один распоясался, нашелся, понимаешь, гусь. Поставил поперек трактор: все, кранты. Но если на принцип пойдет, то я тоже принципиальный, у него принципы, и у меня принципы. Жду, жду, а ты сны досматриваешь в обществе молодой супруги, привет ей, кстати, от меня обязательно».

Я уже привык к аслановской последовательности — сначала эмоции по поводу события, затем изложение самого события — и научился извлекать какую-то информацию даже из эмоциональной части. Из вступления Асланыча я понял, что мы опять ввязали в конфликт с землепользователями и надо ехать на трассу. По чести, я был даже рад, что не придется сидеть в дирекции, где я бы до девяти, пока Мила не ушла в институт, внушал себе, что не должен звонить ей первым, а после девяти трепыхался бы самым воробьиным образом при каждом звонке.

Я сел рядом с Асланычем, и мы поехали. За рулем Асланыч про-

должал обличать: обличал агронома, обличал меня, обличал погоду, обличал дорожно-эксплуатационное управление; слова из него высказывали все скопом, как пятиклассники после киноутренника. При этом Асланыч когда нужно и когда не нужно нажимал на сигнальную кнопку, явно наслаждаясь дудением своей тирольской трубы (он раздобыл где-то клаксон от импортной машины и теперь не мог натешиться новой игрушкой).

Асланов появился у нас в дирекции три месяца назад, когда началось строительство нового газопровода; из всех прорабов маленький, черный, глазастый Асланов был самый шумный и взрывчатый.

Мы свернули с шоссе на полевую дорогу, растекавшуюся под колесами коричневой кашей.

— Вон, смотри,— сказал Асланыч,— вон мой стоит, видишь, а вон его «Беларусь», устроил запретную зону. Самый настоящий маньяк, типичный случай.

Сквозь серую ряднину дождя я увидел пшеничное поле; смутно-желтоватое, под дождем особенно плоское, как будто придавленное, оно уходило влево, справа спускался к ручью узкий целик, поросший короткой травой, где-то далеко впереди торчала заводская труба, из трубы, как из тубика, выдавливался густой вязкий дым. У самой кромки поля виднелся аслановский экскаватор, за ним тянулась бурая налип отвала.

— Стоит, деятель,— сказал Асланыч,— ну чего стоит! Ты обрати внимание — глаза как у бешеного. А вырядился. Типичный агроном из фильма.

У обочины стоял высокий худой человек в сапогах, черном свитере и брезентовом плаще и хмуρο смотрел, как мы подъезжаем.

— Вот, пожалуйста, товарищ из дирекции,— представил меня Асланов,— он вам внесет ясность.

Агроном молча наклонил голову, то ли здороваясь, то ли показывая, что готов выслушать, как я буду вносить ясность. Асланов демонстративно, как будто дальнейшее его не касалось, вынул из-за сиденья ветошку и начал протирать стекла «газика».

Я никак не мог разложить чертеж (гигантских размеров простыня, и никогда не знаешь, как они сложены — фирменный секрет нашего проектного института) и найти нужные согласования, ветер трепал край синьки, надувал ее парусом, выдергивал из рук; я поставил ногу на подножку «газика» и начал осторожно разворачивать синьку у себя на колене. Агроном все так же молча смотрел на меня, зарываясь подбородком в высокий ворот черного свитера. Лицо у него было сухое, с выступающими скулами и тщательно выбритыми впальми щеками, очень мужское, четкое. В своем черном свитере, долговязый, худой, он показался мне похожим на мима.

Наконец я отыскал согласование и стал читать вслух:

— «Согласовывается прокладка газопровода... Деятельный слой на глубину тридцати сантиметров осторожно отложить в сторону... Восстановить мосты и канавы... Категорически запрещено движение колонн по полям...»

Агроном слушал, молча кивал, и непонятно было, что значат эти кивки, но, по-моему, он кивал просто в такт моему чтению.

— Хорошо. Теперь, если товарищ из дирекции не возражает, давайте пройдем по полям,— сказал агроном, когда я кончил.

— Идите, пройдите,— сказал с горечью Асланыч.— Над вами не каплет.

Действительно, уже почти не капало. Он бросил ветошку под сиденье, снял свою апельсинно-рыжую нейлоновую куртку и встряхнул так, что зазвякали все кольца, которыми заканчивались ее многочис-

ленные молнии, кольца были большие, золотые, вроде тех, которые носят в ушах цыганки.

— Идите, раз вы такие свободные. У меня дела найдутся. Поеду хоть машину покормлю.

Агроном повернулся и пошел сразу же, с места, очень быстрым широким шагом. Я шел за ним, зарываясь своими ботиночками в неглубокую комковатую грязь; дождем развезло только верхний слой, под ним была сухая, пыльная даже земля. Дождь перестал, за поредевшими тучами наметился белый круг солнца. Мы вышли к картофельному полю, агроном остановился так же резко, как зашагал.

— Здесь труба уже проложена.— Он поднял с земли красный черепок, показал мне.— Остатки дренажа. Эта дренажная система вступила в строй ровно через два года после того, как ее проложили.— Он говорил бесстрастно и сухо, тоном экскурсовода, взбешенного, но старающегося держаться с профессиональной корректностью.

Я посмотрел и сначала увидел обычное: ржавые плети ботвы, перемешанные с землей; потом увидел обрезок трубы, жирные, густо-черные даже на черной земле пятна солянки, глубокие колеи, выдавленные трубовами,— на дне их пенилась грязь, отпечатки гусениц и, словно вспухший черный шрам, пересекающий поперек все поле, валик газопровода. Я взял прут, потыкал валик — труба была почти на поверхности. Оставалось только поставить с двух сторон столбы с колючей проволокой и повесить надпись: «Осторожно, взрывоопасно!»

— Извоевали поле,— сказал агроном.

Я подумал, что поле действительно выглядит, как в фильмах про войну, и сказал это агроному. Он посмотрел на меня и проговорил тем же бесстрастно-абстрактным тоном:

— Пойдемте дальше.

С педантичной дотошностью он показал мне свороченный мостик, топорщившийся расщепами бревен, полузасыпанные мелиоративные канавы и прочие разрушения, произведенные строителями.

Мы вернулись обратно. На взгорке у ручья агроном остановился, сел на большой серый валун; вокруг было много таких валунов, очевидно, сюда, на целик, стащили камни со всего поля. Я тоже сел. Потеплело; на небе осталась только белая тонкая поволока, и солнце било сквозь нее, как сквозь кальку. Низко над землей стоял пар, резко пахло свежевыстиранным бельем. У самого моего ботинка торчал случайно забежавший на взгорок пшеничный колос — сжатые в крепкий брусок зерна на крепкой прямой солоmine. У меня из головы не выходило картофельное поле и шрам на нем, оно тянулось бесконечно, на всю проектную длину трассы, хотя я знал, что за нашей областью газопровод круто сворачивает на север, где нет никаких полей, а только тайга и болота. Почти физическим усилием я сократил поле до его действительных размеров и попытался сократить до действительных размеров само событие. Строители нарушили нормативы — бывает; стране нужен газ, совхоз не обеднеет.

— Я вас сюда не пуцую,— сказал агроном, глядя не на меня, а на поле.— Я узнавал: за этой трубой еще три пойдут, проезд, линия связи, от поля ничего не останется. А это лучшее наше поле.

В таких случаях самое верное — пожать плечами и сказать: «Давайте говорить серьезно, у нас проект, дело государственное». Но я молчал, смотрел на свой ботинок и на колос.

— Идите по неудобьям,— сказал агроном.— Ваша трасса куда идет, за тракторный? (Я кивнул.) Вот и идите по просеке. Видите, вон просека, пробили под ЛЭП да так и забросили. Если хотите, я вас проведу, это займет минут двадцать пять.

Ну что ж, больному легче. По просеке мы явно никуда не выйдем (вряд ли изыскатели пропустили бы такую возможность), я ему скажу: «Вот видите» — и все обойдется малой кровью.

Когда мы вышли на просеку, стало жарко. Облачная калька провалилась, рассеялась по всему небу белыми клочками; солнце палило с утроенной мощью, как будто хотело разом истратить всю энергию, которую скопило за утро. Я снял свою синтетическую шкуру, свернул трубой и сунул под мышку. Мы шли молча. Раза два я попытался начать разговор, но агроном отвечал в своей манере, ставя после каждого ответа такую точку, что продолжать было невозможно. Оттого что мы шли рядом и молчали, я чувствовал себя как-то угнетенно; идиотское правило служебной вежливости — когда имеешь дело с кем-то по работе, говорить не только о работе (это воспринимается как демонстративная официальность), а обязательно еще поговорить о погоде, или о бесхозяйственности, или о хоккее (футболе, фигурном катании), и с такой смазкой как-то все легче проворачивается; особенно полезно поговорить о бесхозяйственности.

Откуда-то сбоку, раздраженно фырча, высунул зеленый нос «газика», «газик» выхлялся на кочках, ветки ольшаника азартно, с отяжкой хлестали по брезенту. Щелкнула дверца, показался черный встрепанный кок Асланыча, и в нас на бешеной скорости полетели патетические обвинения. От ярости Асланыч начал еще иррациональнее, чем обычно: сообщил, что загорать будет в Гудаутах, «и нечего, понятно! Люди стоят», сказал, что обо мне поднимет вопрос в дирекции и выше, что надо иметь элементарную совесть, «короче говоря, беру такое обязательство — к вашему возвращению траншея будет готова, ничего, примешь, как дуся». Последние фразы были произнесены почти спокойно, даже с какой-то светской наглостью. Потом он достал алюминиевую расческу и с подчеркнутой тщательностью подправил свой кок, оглядел меня надменно и не торопясь, с достоинством сел в «газик», пропустил нас вперед и, развернувшись, поскакал обратно прямо по просеке.

— Вы не думайте, — сказал я, — Асланов без нас рыть не начнет, он мужик опытный, и ссориться с заказчиком ему расчета нет. Он вообще в своем роде фигура типичная, и ситуация тоже типичная — пришел, построил, ушел, остальное его не касается, на то и эксплуатация, чтобы доводить. Сюжет избитый.

— Все сюжеты избитые, — со злостью, прорвавшейся сквозь его абстрактно-экскурсоводческий тон, сказал агроном. — На каждый случай можно подобрать соответствующий кадр из кинофильма. Вот как вы для поля. Про войну. Это, знаете, очень упрощает жизнь, если ко всему относиться так, как будто это показывают в кино или по телевидению, вторая программа.

Он разозлил меня, потому что я считал себя вполне хорошим: гуляю с ним, ищу обход, время трачу, и наверняка зря.

Просека свернула влево, и перед нами возник перегородивший ее поперек глухой дощатый забор, за забором, далеко в стороне, торчала заводская труба — просека уперлась в территорию завода. На фоне забора, сивого, с вознесшимися над ним головками чертополоха и зонтами борщевника, стоял сияющий Асланыч в своей рыжей куртке и поигрывал голубеньким цветочком, торчавшим из верхнего кармана.

— Цветочки василечки, — сказал Асланыч самым гостеприимным тоном, показывая на цветок подбородком и пощелкивая его по венчику.

— Цикорий, — сказал агроном.

— Какая разница, — сказал Асланыч. — А я решил своим людям дать передышку. Пускай погуляют. Месяц екальвали без выходных.

Я ухватился за край забора, подтянулся и заглянул за забор. Я увидел кусок двора, заросший ржавым до черноты чертополохом и высоким борщевником, затем, метрах в ста пятидесяти, другой забор, а за ним была наша трасса, даже виден был угловой створный столбик.

Асланыч миролюбиво похлопывал агронома по правой лопатке — до плеча ему было высоко — и говорил:

— Так что зря совершили кругосветное путешествие, товарищи колумбы. Америка закрыта. Да ты не переживай. Проложим мы тебе трубу как по ниточке, труба тепленькая, парничок оборудуешь, будешь мне на именины посылать свежие огурчики. В январе месяце. Огурчики-помидорчики. Я ведь тоже «земля», землеройщик, это тебе монтажники вредят, они гады, а я хороший.

Я сказал агроному, что пойду на завод узнаю — может, они нас пропустят, это действительно был бы выход.

— Да бросьте, ребята, — произнес Асланыч самым душевным тоном. — Чего зря метать икру, какой дурак по своей территории пустит? И я бы не пустил, и ты бы не пустил. Дернем лучше в «Огонек», тем более собственный транспорт, затарим по сто пятьдесят с прицепом. За крепкую дружбу мужскую. А, агроном? Чего там, все мы люди, все человеки.

— По старой русской пословице, — сказал агроном, — где хотите, там и бранитесь, а на кабаке помиритесь.

Я посмотрел на него и подумал, что его упрямый педантизм и деловая замкнутость, может быть, даже не столько черты характера, сколько манера поведения, чтобы никаких уступок, никаких колебаний, и, вероятно, не в один день выработалась у него эта манера.

— Может, что-нибудь и выгорит с обходом, — сказал я.

— Посмотрим, что вы завтра скажете, — ответил агроном.

* * *

На заводе сказали, что согласованием ведает главный энергетик и что будет он где-то в три. Я поехал к себе.

На моем календаре крупным, элегантно косым почерком Зубова было написано: «Звонила Ведерникова (11.50)». Было двенадцать двадцать. Если бы Асланыч подбросил меня на «газике», я бы как раз успел. Мила и должна была позвонить в одну из переменок: десять пятьдесят, одиннадцать пятьдесят; у них в вестибюле всего один автомат, и вечно девицы с нетерпением пляшут вскруг него. Я представил, как она со звонком вылетела из аудитории, промчалась по лестнице и первой схватила трубку. Она всегда говорила очень твердым, деловым тоном: слушает Ведерникова, звонит Ведерникова. Я ясно видел выражение, с которым она это говорила; особенную решительность придают ее лицу густые темные брови, сходящиеся клювиком на переносице. Таким же твердым тоном она сказала мне, что оставит за собой фамилию Ведерникова. Если бы я поехал с Асланычем, я бы приехал вовремя, вошел бы, когда она звонила, снял бы трубку, а она говорит: «Шнур, я была дура. На меня нашло затмение. Все совсем не так, как я тебе вчера говорила. Ты понимаешь?..» Бред и фальшь, и нечего услаждать себя. На самом деле она сказала бы что-нибудь вроде: «Ты, надеюсь, не обиделся? Я хочу, чтобы мы остались друзьями».

— Так что наш приятель Жорик Асланов? — сказал Зубов. — Кипень в действии пустом?

Он отодвинул стопку бумаг, прижал их логарифмической линейкой и приготовился слушать. В комнате было очень светло, окно распахнуто, резко пахло газом, резче обычного, наверное, разливали одорант, но все равно чувствовалось движение свежего после утрен-

него дождя ветерка, он парусил короткие белые задергушки на окнах, гонял по полу солнечные пятна, шевелил бумаги на столах, вообще вносил какой-то бездельно-будоражающий дух.

Зубов слушал, откинувшись на стуле, подставив ветерку правильное тяжеловатое лицо. Сегодня оно казалось нездоровым: кожа под глазами как-то истончилась, пожелтела, ярко-белая нейлоновая рубашка и широкая черная оправа очков подчеркивали эту нездоровую желтизну. Наверное, у него опять разыгрался холецистит.

— Правильно,— сказал Зубов.— Картошка всем нужна.

Зазвонил телефон. Зубов снял трубку. Из реплик Зубова я понял, что звонит начальник речного порта, что весь порт забит нашими трубами, и если мы немедленно их не отгрузим, на наши головы посыплются все кары земные и небесные. Начальник порта говорил долго. Зубов взял толстый красный карандаш, стал закрашивать прямоугольник на графике изоляционно-укладочных работ. Он водил карандашом медленно, размеренно; у него вообще движения размеренные и речь размеренная, но мне всегда казалось, что это размеренность нервного человека и что, дай он себе волю, движения его станут быстрыми, беспорядочными и заговорит он торопливо, глотая слова и захлебываясь.

Зубов опустил трубку на рычаг, аккуратно докрасил прямоугольник, повернулся ко мне.

— Так вот, Александр Васильевич, про вашего агронома. Я все-таки подумал: самое благое дело — вызвать на ковер проектировщика и сравнить его с агрономом. Дадим телеграмму в институт, и пусть себе бодаются на здоровье.

Звонок из порта явно переключил его настроение в другой регистр: он как-то поскуцнел и внутренне взерошился. Я попытался заказать разговор с проектным институтом, но Ленинград обещали после семнадцати часов, а ведомственная связь с Ленинградом есть в нашем городе только у рыбаков.

С рыбаками у нас отношения сложные; два месяца назад один слесарь-сантехник перешел от нас к ним; считается, что они его переманили, так оно и есть. Я сказал, что в любом случае проектировщики приедут во вторник самое раннее, а завтра, в пятницу, в восемь утра на поле явится Асланыч со своей могучей техникой; стало быть, будем уповать на то, что агроному все это осточертеет, он махнет рукой и скажет: «Валяйте, братцы».

— Ну, хорошо,— сказал Зубов,— пообщайтесь с рыбаками, но тогда уж обязательно загляните в порт и провентилируйте вопрос с трубами. Раньше двадцатого мы их забрать не можем.

Поездка в порт была, как я понял, чем-то вроде нагрузки на поездку к рыбакам, как два билета в местный драмтеатр на один билет в «Современник», когда он приезжал к нам на гастроли.

Зубов сел писать телеграмму проектировщикам. Он писал, откинувшись на спинку стула, как-то свысока, и поза его и выражение — поднятые брови и опущенные веки — были мне знакомы: горькое удовлетворение — я выполнил свою заповедь «имей бесконечное терпение с подчиненными».

У Зубова целый свод таких заповедей, и он старается соблюдать их со всей тщательностью; заповеди — хорошие и справедливые, и сам Зубов — человек хороший и справедливый, порядочный, честный и все такое, и саркастическое удовлетворение в такие моменты, как сейчас, тоже от честности: он сознает, что, как бы ни складывались обстоятельства, его честность в целостности и сохранности, как будто он положил ее в государственный банк и она там хранится в несгорае-

мом сейфе. Последнее время Зубов взвинчен; его перебрасывают в новую дирекцию, третью в его биографии. Раньше он работал в НИИ и на строительство пошел из соображений честолюбия: он как-то рассказывал, что его коллеги по НИИ, отбив на строительстве год-полтора, от силы три, взлетали вверх, как воздушные шарики. А может быть, просто представил себя на строительстве, как будто увидел в соответствующем фильме: и как будет держаться, и как говорить, и как следовать своим заповедям, и тоже пройдет два-три года — и он взлетит, как воздушный шарик. А его вместо этого перебрасывают из дирекции в дирекцию, и воздушного шарика все не получается.

Нельзя сказать, чтобы мне хотелось ехать к злокозненным рыбникам, и вообще дипломатия и представительство не здорово мне идут, я имею в виду общий облик; но если я буду делать то, что соответствует моему общему облику, мне останется одно: сидеть в горсаду в павильоне «Бабыя слеза» и тянуть пиво. Ненавижу пиво. Я поехал к рыбникам.

От рыбников было недалеко до пединститута, и я решил зайти туда выпить кофе. (До Ленинграда я дозвонился и даже застал изыскателя, пробывавшего трассу; изыскатель сказал, что тоже пытался пройти просекой, но не пустил завод.) За черными, лоснящимися от солнца копиями чугунной ограды стояла тень от старых лип; пробитая солнечными пятнышками, тень эта расступалась, образуя широкую солнечную дорожку, которая торжественно вела к главному входу в пединститут — трехэтажное, но казавшееся высоким здание, красновато-коричневое, с классическими рельефными белыми вазами под карнизом второго этажа (бывшая женская гимназия, памятник архитектуры первой половины XIX века, охраняется государством). Мила говорила, что не поехала подавать в МГУ, потому что ей нравятся эти вазы.

Я пошел по солнечной дорожке. В глубине здания прозвенел звонок, мгновенно весь солнечный прямоугольник перед институтом заполнился девицами и сделалось тесно, шумно, пестро и лохмато. Я увидел Милу, она разговаривала с подругой, что-то втолковывала ей со своим обычным решительным видом. Она сняла очки (у нее минус один, но она носит очки принципиально) и по-мужски небрежно вертела их в руке. Я смотрел на нее, на ее темные короткие волосы, на брови клювиком и не мог к ней подойти. Мне вдруг показалось, что она меня не узнает, я буду объяснять, кто я такой, а она будет смотреть на меня непонимающе, высоко подняв брови. Пекло. Моя поролоновая шкура, свернутая трубой, нагрелась и торчала у меня из-под мышки, словно дуло допотопной мортиры. Меня окружили девицы из Милиной группы:

— Шурик, привет!

— Шурик, немедленно надень пальто, ты подвержен простудным заболеваниям!

— Милка, обрати внимание, у твоего мужа какой-то упаднический вид!

— Шурик, у тебя упаднические настроения, да?

Им сейчас читали спецкурс по русской поэзии начала XX века.

Мила увидела меня, улыбнулась, помахала рукой в знак того, что ей до меня не добраться.

Мила первой в своей группе вышла замуж, и девицы очень со мной носились. Я был Первый муж в группе. Первый представитель этого племени, экспериментально-учебный муж. Когда я заболел гриппом, вся группа целыми днями торчала у нас дома: хозяйничали, стряпали, лечили, волновались, в общем, проходили практикум по обращению с мужем.

Снова из глубины здания забренчал звонок и вокруг стало пусто, одна Мила стояла против меня и с ужасом смотрела на мои ботинки.

— Шнур, ты сошел с ума,— быстрым шепотом сказала она,— где ты был? Смотри, какие у тебя ботинки! Ты что, не пошел на работу? Я тебе звонила.

Я взглянул на ботинки; в корке сухой бурой грязи они выглядели как-то археологически. Я не успел ответить, а Мила уже говорила: «Приходи к нам сегодня вечером обязательно. Мы с мамой приготовили расстегаи», говорила в точности то же и в точности тем же тоном, что и в прошлую осень, когда мы еще не были женаты и она приглашала меня на курники, расстегаи, ботвинью и гурьевскую кашу. У меня вообще замедленные реакции, а по сравнению с Милой особенно — у нее ритм раз в десять быстрее, чем у меня; она снова махнула мне рукой и убежала, а я остался стоять на солнечной дорожке со своей поролоновой мортирой наперевес. Потом вспомнил, что надо поест, и пошел в институтский буфет.

Коридор был пустой и очень светлый, с одной стороны окна, высокие, раза в два выше обычных, с другой — двери аудиторий со стеклами, покрашенными масляной краской, краска была процарапана на предмет наблюдения во время экзаменов.

Да, все, конечно, началось с московской исследовательницы, которая ратовала. Слово «ратовать» было единственное, что осталось у меня в голове после ее лекции; правда, слушал я вполуха, больше смотрел на нее и на ее аудиторию. Мила ждала этой лекции целый месяц, только и разговоров было, что о московской исследовательнице, о ее книгах и о том, как она сумела по-новому прочесть Блока. Совершенно по-новому. И когда московская исследовательница приехала, Мила потребовала, чтобы я тоже пошел на лекцию (я написал заявление Зубову с просьбой предоставить мне один день по семейным обстоятельствам). На Милу лекция произвела потрясающее впечатление. Московская исследовательница была высокая, держалась очень прямо, читала без всяких записок, изредка только, вытянув руку, заглядывала в крохотную белую карточку, небрежно зажатую между средним и указательным пальцами. Начиная новый период, она слегка откидывала маленькую голову — античный профиль и античный узел на затылке, — в мочках ушей зажигались красные камушки. Она объясняла, за что, когда и во имя чего ратовал Блок и кто, когда и по каким причинам ратовал против того, за что ратовал Блок. После лекции московскую исследовательницу окружили плотным кольцом, и я видел, как в этом кольце мелькала черная голова Милы, а по дороге домой Мила рассказывала мне, что московская исследовательница свободно владеет четырьмя языками, что ее книгу с Блоке перевели на финский, болгарский и урду, что она человек очень нелегкой судьбы и даже теперь, когда внешне в ее жизни все как будто благополучно, в ней есть какая-то трагическая значительность. Потом весь вечер Мила молчала, разбирала старые тетрадки и блокноты в своем письменном столе (в то время мы жили у Натальи Владимировны), что-то рвала, выбрасывала. А потом вчерашний поход в кафе, разговор у шведской лесенки; и тогда, на остановке, я наконец свел концы с концами. Я понял, что она подразумевала под айсберговостью, которой не хватало нашим отношениям. Все было слишком гладко, слишком заурядно, ей ничем не пришлось жертвовать ради будущего, ради нелегкой судьбы, ради исключительности. И теперь она торжественно совершала обряд жертвоприношения этой нелегкой судьбе, а я был на ролях агнца, потому что все равно не мог принести ей никаких возвышенных страданий, для этого я был слишком паренек, а для возвышенных страданий нужен юноша, ну, на худой конец молодой

человек. Но, я думаю, вряд ли судьба принимает такого рода жертвы, жертвы по собственному желанию, жертвы впрок, я тебе — благополучие, а ты мне — исключительность, слишком это просто было бы. Я думаю, судьба сама выбирает и время, и место, и агнца. Но хуже всего было то, что и мои сложные построения и ее сложные построения равным счетом ничего не стоили; все было очень просто, и она ничем не жертвовала, потому что не любила меня или любила очень мало.

В буфете никого не было, буфетчица сидела, пригорюнившись, у включенного репродуктора — кто-то очень низким ворсистым, ковровым почти голосом рассказывал про самого себя нечто патетическое и несчастно-любственное. Как по заявке: «По просьбе товарища Беянина передаем рассказ о несчастной любви». Есть было нечего, на подносе лежали только ржаво-коричневые, мятые, даже на вид резиновые и холодные пирожки с повидлом. За стеклом стойки перед пустыми тарелками торчали на проволочных стебельках бумажки: «салат», «студень», «треска под маринадом». Все это, очевидно, было уничтожено в перемену: девицы налетели, как стая скворцов на куст смородины, все склевали и улетели. Я взял два пирожка и бутылку лимонада — кутить так кутить.

Мне всегда казалось, что я знаю Милу очень хорошо. Просто потому, что мы выросли в одном дворе и я помнил ее и в детсадовский период и в школьный (они с Натальей Владимировной уехали из нашего дома, когда Мила была в девятом классе), а теперь я сам не понимал, знаю я ее или нет.

В сущности, на Милу необычайно сильно действуют всякого рода интеллектуальные возбудители — вот московская исследовательница; после фильма «Синее и белое» она купила ледоруб и некоторое время убеждала меня, что мы оба должны заняться альпинизмом, потому что высота дает совершенно особое, обостренное ощущение себя. Я вспомнил, как она посмотрела на мои ботинки; вероятно, когда она на них смотрела, ей представлялся такой осенний черно-белый кадр: низкое небо и под этим небом я бреду не разбирая дороги, а вокруг гнутся чахлые деревца. Потому она и позвала меня сегодня вечером на расстегаи, чтобы удержать от отчаянного шага, а то еще начну спиваться или застрелюсь. Да, для нее это было кино. И чем знакомее оно ей казалось, тем увереннее она себя чувствовала и тем проще ей все было.

Человек с ковровым голосом говорил, что он чувствовал себя совершенно опустошенным и даже физически пустым, и внутри у него было пусто, и ему казалось, что даже кости у него полые, как у птицы, но он понимал, что надо жить, любить и бороться за свою любовь. «С кем бороться? — со злобой подумал я. — С московской исследовательницей? С фильмом «Синее и белое»? С тобой?»

Я дожевал пирожок, допил лимонад и с ощущением проснувшегося голода поехал на завод.

Я потянул к себе ручку обитой дерматином двери, на которой была табличка «Главный энергетик», дверь подалась с неожиданным напором, и на меня налетел большой, шумно дышащий человек.

— Мне главного энергетика, — начал я.

— Эх, как чувствовал, хотел испариться, да не успел. Ну, ладно, в таком разе проходите.

В кабинете — тесная коробочка в одно окно — было жарко, пахло нагретым линолеумом, слабо, как сквозь вату, доносился шум из цехов.

— Чем могу служить?

Физиономия у него была круглая, красная, хитрая, очень похо-

жая на солнышко, как его рисуют дети: с глазами-точками, с коротенькими черточками носа и рта.

Я объяснил суть дела. Солнышко хитро заулыбалось.

— А мы-то думали, гадали, кому эту землицу подарить. Диспетчерский час как раз вчера провели, долго обсуждали.— Он расстегнул ворот желтой шелковой бобочки, подергал его, обмахивая шею.— Я тебе, конечно, могу согласовать, так ведь не хочется, чтобы ты обо мне был худого мнения. Пойдешь потом разванивать: встретил дядю — дурак дураком и уши холодные.— Он потрепал себя по ушам.— Я ведь знаю, газовики — вы такие: оттяпаете у нас кусман — и с комприветом, Мариванна.— Солнышко вздохнуло грустно и доверительно.— Есть у нас одна задумка: профилакторий проектируем. Как раз на эфтом самом месте. Тик в тик. Отдельные комнатки, душевые, то, се, зйр кондишен. Заходи через годик, по благу устрой.— Солнышко почесало мизинцем блестящую медную лысину.— Кстати, коллега, тут слух идет, слесарей по сантехнике у вас навалом. Не сосватаешь одного человечка?

— Нет, у нас нет,— твердо сказал я.— Это вы к рыбакам обращайтесь.

По дороге обратно я заглянул в красный уголок заводоуправления и там увидел карту благоустройства территории завода. Действительно, профилакторий они собирались строить, только совсем в другом месте, на том месте, где я просил согласовать прокладку газопровода, был нарисован какой-то квадратик с цифрой «тридцать шесть». Я посмотрел вниз в условных обозначениях — оказалось, на этом месте намечалось строительство будки для сторожа. Надул-таки меня простодушный хитрец.

Сколько ни искал я после этого солнышко, оно закатилось и найти его было невозможно. Я поехал в порт.

* * *

— Шнур, ты меня слышишь? Тут автомат какой-то патологической конструкции, усовершенствованный, говоришь не в трубку, а в такие дырочки.

Я сидел за столом, слушал Милин голос; в дирекции, кроме меня, никого не было, все разошлись, остался только диспетчер в другом конце здания.

— Шнур, я была дура,— говорила Мила.— Все совсем не так, как я тебе вчера сказала. Ты понимаешь? Я говорила тебе назло. Я специально звоню не из дому, а из автомата, и в институте я специально не подходила, а сейчас ты слушай. Слышишь? Слушай. Я тебе вот что хотела сказать, все равно нужно, чтобы ты это знал в любом случае, ты понимаешь? Почему я на тебя зла. Шнур, вот ты старше меня на шесть лет, а со мною ты так, как будто ты старше меня не на шесть лет, а на шесть тысяч лет и помнишь и понимаешь все, что было за эти шесть тысяч лет. Как будто ты все знаешь, все оценил, все взвесил, все видишь насквозь. Я же видела, как ты смотрел на Гореву, когда она читала лекцию. У тебя было такое выражение, как будто делом занимаешься только ты на своей ГРС, а это все детские игры. Понимаешь? И у меня такое чувство, как будто ты только и ждешь, какую я еще глупость скажу. И мне все время хочется говорить тебе назло.

— Ну, Милый, это ты даром,— начал я.— Я всегда считал, что ты очень мудрая женщина, а...

И тут я осекся. Я услышал, что говорю тем самым шеститысячелетним тоном, и осекся, в трубке было тихо. Я сказал: «Мила!» — потом я услышал короткие гудки, наверное, она повесила трубку, впро-

чем, в этих автоматах трубки нет; и тут я подумал, что она говорила почти то, что я воображал сегодня утром: «Шнур, я была дура. Все совсем не так, как я тебе говорила». И от этого мне было хуже всего.

* * *

У горсовета мне надо было пересесть на автобус. Я пошел через сквер — правильные ряды тонких деревьев, примотанных к таким же тонким подпоркам. У подножья фонарей были расставлены плоские каменные чашки с красными петуниями. Начинался городской вечер, всюду были люди, они двигались неплотным рассыпающимся строем по аллеям, от гостиницы и к гостинице, к аквариуму кафе, к остановкам. Уже темнело, на фасаде гостиницы, как на сигнальном табло, все время зажигались новые квадратики окон, одинаково оранжевые от занавесок; площадь освещалась этими оранжевыми квадратиками и фиолетовой надписью «Спутник» на крыше кафе. Не знаю, у меня было такое чувство, как будто я только что вернулся из командировки: все мне казалось непривычным и чужим, хотя только вчера я сам сидел с Милой в этом самом дурацком аквариуме. В центре сквера около фонтана толпились кучками мужчины, обсуждали футбольные новости — так называемая футбольная биржа, предмет гордости наших болельщиков, утверждающих, что такая биржа существует только в Одессе и у нас.

Неожиданно в грудь мне ткнулись две мохнатые рыжие лапы, я увидел сияющий коричневый глаз и черную кожаную мочку носа. Динка, эрделька Зубова... Первая и пока единственная эрделька в нашем городе; теперь к ней уже привыкли и не спрашивают Зубова, живая она или плюшевая и когда он ее заводит, утром или на ночь. Я потрепал ее курчавый черный загривок. Значит, и Зубов здесь. И точно, Зубов стоял в одной из кучек. Раньше он не был активным болельщиком, но теперь решил, по-видимому, что болеть — хорошая разрядка.

Зубов оглянулся, ища глазами Динку, увидел меня, подошел. Мы постояли, поговорили о Динке, что надо выдавать ее замуж, а женихов нет. Я уже хотел идти, но Зубов спросил, с чем я вернулся из хождения по святым местам; я передал разговор с изыскателем, с главным энергетиком и сказал, что завтра с самого утра хочу снова поехать на завод. Зубов слушал, похлестывал себя по ноге Динкиным поводом, потом посмотрел на Динку, которая вытащила из чаши с петуниями смятую коробку от сигарет и с увлечением ее терзала.

— Дина, фу! — Он осторожно вынул коробку из Динкиной пасти, поискал глазами, куда бы ее деть.

— Александр Васильевич, а во имя чего, собственно, мы вообще должны так стараться ради этого агронома? Подпись его под соглашением имеется? Имеется. Все.— Зубов метко отправил смятую пачку обратно в чашу с петуниями.— Мы слишком чикаемся, склонны, знаете ли, к сантиментам. А нужно бы так: подпись есть — прения излишни. Четко и ясно. И так во всем. Хватит сиропа. Опоздал на двадцать минут — за ворота. Напился — под суд. И был бы порядок. Мне надоели гамлетовские сложности, мы, в конце концов, не благотворительное общество.

Я немного опешил от его наскока и потому ответил слегка заумно. Я сказал, что мы не благотворительное общество, но что сделать выбор можем только мы, потому что все остальные участники этой истории — Асланыч, агроном, проектировщики — вроде векторов разнонаправленных сил, а от нас зависит равнодействующая.

Динка опять подскочила ко мне, лизнула пуговицу на моей пупырчатой шкуре, потом стала теревить ее зубами.

— Александр Васильевич,— сказал Зубов решительно,— создает-ся странное впечатление. Я, разумеется, далек от подобных мыслей, но со стороны от вашей активности создается впечатление, что вам не терпится перескочить сразу через две ступеньки вверх. Дина, ко мне!

Лицо у него было замученное, глаза за очками большие, желтые, но все равно зря он это сказал.

— Завтра я все-таки поеду на завод, Сергей Викторович,— сказал я, попрощался и пошел на остановку.

* * *

Я ехал и думал: как бестолково прошел день. Совершенно бессмысленный день. Если ехать ко мне, надо выходить на кольце, если к Миле — у стадиона. Они с Натальей Владимировной любили готовить по старинным рецептам, то затевали ботвинью, то курники, как-то раз сотворили поросенка с хреном. Я просыпался раньше Милы, она еще спала, черная голова на подушке, теплый запах волос, брови клювиком — у нее даже во сне был решительный вид. Поеду до кольца; я чувствовал, что очень устал. Я был зол на Милу, зол на себя, особенно на себя, на то, как сказал ей «ты мудрая женщина», действительно — шеститысячетный тон. Тоже кого-то играл. Как агроном сказал сегодня утром, на каждый случай подобрать соответствующий кадр из фильма, упрощает жизнь. Кадр или персонаж. В других я это замечал, в Миле замечал и вчера, когда мы сидели в кафе, и раньше, и в Зубове замечал, а сам тоже подобрал себе персонаж, этакий хитромудрый паренек, все знаю, все ведаю. Как он, наверное, бесил ее, этот хитромудрый. И на лекции у Горовой и сегодня по телефону. А что было бы, если бы сотворилось чудо и я заговорил бы каким-то другим тоном, что было бы — еще одно чудо? Бред или фальшь. И тут же я думал: все-таки она позвонила и сказала те самые слова, которых я ждал утром. Ну и что? Сказала, чтобы объяснить себе и мне, почему я ей не нужен. И повесила трубку, когда услышала этот самый шеститысячетный тон. Хотя трубки не было.

Все сегодняшнее прочно держалось у меня в глазах, где-то на сетчатке, как после рыбалки: закроешь глаза — и видишь прыгающий на волне поплавок. Потешный вид был у Асланыча с цветочком василечком на фоне забора. Вот Асланыч в моем возрасте был мальчик. Такой узенький, черненький, модненький мальчик. Жора. А Зубов был молодой человек, так к нему и обращались — молодой человек, пока не полысел. Я стал думать, каким был в молодости агроном, но он как-то не влезал в эти категории.

— Следующая — «Стадион»,— сказал водитель.

— Выходишь, паренек? — спросили меня сзади.

Паренек, и все тут. Припечатали. Мне стало смешно и как-то спокойно. Все ясно, вопросов к докладчику не имеется. Пойду есть растегаи.

— Выхожу,— сказал я и начал пробираться вперед.



ОТАР ЧЕЛИДЗЕ

★

МОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

С грузинского

Поэма

Дожди шли всю осень.
По крашеным скатам
бубнило — без совести, чести и меры.
Таким вот потопом и были когда-то
по свету размыты иберы.
Дыханье теснил осязаемо жесткий
туман, будто ворот шинели колючий,
и небо промозглое — цвета извести —
вгоняло в ущелье свой клин неминучий,
и ход останавливался громоздкий,
не одолевая безвыходной кручи.
Шла проза и проза — тяжелым и рваным
расхожим размером — бесформенным цугом.
Я был недоволен стихом деревянным,
за словом не шел, не тянулся за звуком,
не слушался собственной правой руки
и жег в камине черновики.
Как душу томит ожидание взрыва
в притихших горах среди ясного неба —
накапливается поэма отзыва
единому имени: т а в и с у п л е б а ¹.
Немало услышишь ты слов именитых
любви, милосердия, веры и братства,
но э т о — один невозможный зенит их.
Пишу, чтобы далее не заикаться.
Одно титаническое средоточье
желаний земных — и небесных желаний.
Судьба их сужает и сводит воочью,
как сводит шатер черепичные грани.
И так же безвыходно, так же свободно
то поле магнитное, если угодно.
Строй линий могуществен и протяжен...
Но, право, рисунок ли важен?
То важно, что это «Магнитное поле»,
надеждою доброй меня утешая,
восприняло столько терпенья, и боли,
и жизни... И что мне — до урожая?
Я жил — я душе не мешал,
и сеял я позже,
а раньше я жал.

¹ Свобода.

* * *

Обугленной станции бревна —
топырятся черные ребра.
Простор. Тыловая весна.
На запад уходит война.
Солдат однорукый с котомкой
стоит на перроне, на кромке.
Ложится на шпалы туман.
Шатнуло солдатика — может, он пьян?
Да нет, он из госпиталя. Слаб.
Закончился первый этап
на долгом пути потрясений,
а пьян только ветер весенний...

Из сердца поэмы сюда, во вступленье,
попал невезучий герой.
Поэма — угодые свое и владенье,
простор прихотливый —
и все-таки строй,
которым мальчишка-герой очарован,
которым так ладно весь свет разлинован
и сам я утешен порой.

* * *

В стекло дождевою волной ударяло
и ветреной дробью, прицельной и кучной.
Завернутый накрест в конверт-одеяло,
лежу — как письмо за печатью сургучной.
Все шлюзы открыты, и ночью и денно
шли воды, и шум монотонный и дробный
сливался и переходил непременно
в отлетный спасительный аэродромный...
Так вот что меня так нещадно томило
и через беспамятство осени слезной —
к тому ли, что будет, к тому ли, что было, —
отбросило силой разумной и грозной!
По блеклой лазури — телесный оттенок.
Любовь старомодна, читатель, как образ
предмета, как рыцарь,
мой девственный предок,
попавший вот в этот летящий автобус.
И душу спасая от осени мрачной,
от яви мучительной, как от погони,
лечу над высокой, над черно-прозрачной
морщинистой графикой Кавкасион.
Душа сообщила железному курсу.
Вперед же, вперед, реактивная тяга,
меня относящая к первому Чувству,
которому тысяча строчек — присяга.

* * *

Утреннею порою слышится над Курою, слышится еле-еле звон Сиони...
На большом перегоне до звонницы Светицховели чистый слабеет голос,

и роняет покорно — перестоялый колос — прозрачные зерна. Оглянись — и видна вера твоя, и какие возделал сады. Все ты видишь при свете Звезды Бытия. И — каков ты теперь, на пороге последней беды. Полон круг световой на тридцатое лето. Воскресение света, друг мой.

* * *

Будьте знакомы: отрок
 годится мне в сыновья.
 Воздушный клубок, обморок —
 тридцать лет бытия.
 ...Дух захватывает — и строчка
 у края сглатывает слоги.
 Человек-точка
 переставляет ноги.
 Качается время — в долине, в ладони,
 теснится, шумит и пестреет.
 Взрослеет мальчик на дальнем склоне,
 на ближнем — стареет.
 Столп Руставели — стебель Земли.
 В сотый раз утоли
 душу заветной речью,
 эту жизнь человечью
 во имя любви —
 на возрасты не порви.

Мой мальчик! Спустившись глубоко в ущелье,
 у острого дна ты мог бы услышать
 страны колоссальной кровообращенье,
 и лучшую каплю сумела бы выжать
 родная земля для тебя —

изглубока:
 воспримет ее откровение — юный...
 Ты сам — это красное тельце потока,
 спешащего прямо в ворота Коммуны...
 ...Не тронуты правдой подземной
 и возрастом защищены,
 мальчишки поры довоенной
 так счастливы и ясны!
 А время войною уже нарывало:
 она торопила исход неминуемый
 и пробовала Пиреней перевалы,
 в них тычась косматой блуждающей тучей.
 Тогда и приспела испанская схватка,
 незрелое мужество в нас раззадоря.
 Война разгоралась — и страшно и сладко
 тянуло из-за Средиземного моря...
 Тогда имена Арагон, Барселона,
 Толедо как будто гортань холодили,
 вернувшись как эхо в родимое лоно
 картлийское, — и с языка не сходили
 и были паролем страны непокорной.
 В потемках истории с нами рассталось
 то племя иберов — и заново скорбной
 судьбою и рыцарством с нами браталось.
 Ты помнишь? Беспечная эта разлука

народом накатывала, затопляла
 цветами, слезами платформы Навлуга
 и, схлынув, мальчишек одних оставляла.
 Ты помнишь? Мтацминда вечернею тенью
 накрыла жаровню извилистых улиц.
 Ты бродишь один. Ты во власти виденья,
 глаза твои жестки, и брови сомкнулись.

...Под красным крестом, под огнем, без заслона —
 что — крест? Несилен и просрочен, как паспорт,—
 на рейде дымящей вдали Барселоны
 ревет, отвалив, перегруженный транспорт.
 А на море полдень. И штиль. И дугою
 далеко ушли берега золотые,
 и в синюю бездну пророчеством Гойи
 над портом вздымаются космы густые.
 Ты помнишь учителя? Эти рассказы...
 Высокий и статный, как сам Мате Залка,
 с простреленным легким вернулся он в классы —
 стоял у доски, опираясь на палку.
 Он девочку спас под Бильбао и с нею
 отчалил на транспорте том милосердном.
 Родные — погибли... Он кашлял, бледнея,
 платок доставая движением нервным.
 Когда отошли под обстрелом кромешным
 и берег означился — гнев иберийский
 воспрянул в ребенке, не перенесшем
 разрыва с землей материнской.
 Глаза были синие — сразу два черных!
 Как будто ее кипятком оплеснули —
 она укусила меня, как волчонок,
 и вырвалась наверх, на спардек, под пули.
 Но нечем уж выстрелить было подонку:
 прошел самолет вхолостую над нами,
 а может, и он подивился ребенку,
 внизу потрясающему кулачками...
 Лолита, просил я, усни, успокойся —
 она отвечала, что сны ей не снятся,
 и все повторяла, что войско,

что войско

должно наступать, а не обороняться.
 Ей было четырнадцать, но подружек
 она сторонилась и только твердила:
 «Изменникам — пухнуть в кровавых лужах.
 Я братьев любимых не похоронила.
 А! Я полечу к ним на самолете...»
 И дым отлетел над волнами — как мщенье.
 Все это рвалось из неразвитой плоти,
 сжигая и не принося облегченья.
 Она утомлялась, стихала, роняла
 головку на грудь, неподолгу дремала,
 как будто старушка — в платье линялом,
 что в детстве надела и век не снимала.
 И словно бы ангел войны беспощадной
 летел над морями — высоко-высоко...
 Учитель порой говорил непонятно,
 Но мы не забыли урока.

* * *

Она говорила: «Пылать я
 для вас рождена — я искра Испании!» —
 И тут же плясала в оранжевом платье
 на шумном майдане ².
 Прищелкивала — отгибалась
 навзничь — назад — семеркой!
 ...Жалеть не надо Лолиту Суарес,
 не надо плакать над Лоркой.
 Поет и пляшет — не задохнется,
 и Лорки песня — светла и туманна.
 Испания, гордое твоё сиротство
 в Тбилиси пляшет под шум майдана!
 Событий бесформица, полусфера —
 огни европейского амфитеатра.
 В тени Мтацминда. Пролог Романсеро.
 Испания сегодня — Франция завтра.
 Ведь может нация — травой пригнуться
 и так, без выстрела, кровопролитья,
 уснуть на воле — в тюрьме проснуться?
 Но я мешаю моей Лолите.
 Она не знает и знать не хочет
 такого выбора — она грузинам
 лишь бой и доблесть в бою пророчит.
 Послушай, очередь за керосином,
 тебе не боязно — так тесно рядом
 с такой плясуньей шафранно-красной,
 как этой повести — с цыганским ладом —
 с таким соблазном...

* * *

На небе не видно особенных знаков.
 Октябрьское солнце по-летнему жарит.
 В нейтральной великой державе Монако
 в стремительном желобе прыгает шарик.
 Накапливаются тридцатые годы;
 спешит, не оглядываясь, тридцать девятый,
 глядит в потаенные тихие воды
 судьба, неприметная как соглядатай.
 На школьном дворе прыщеватых мальчишек
 с винтовками Мосина собирает,
 и видя при этом народа излишек,
 она головы не ломает.
 Пометила тенью платанов и грабов,
 на первый-второй рассчитала
 и каждому первому предназначтала
 прославить отечество смертью храбрых.
 Добро бы... чет или нечет —
 жесткий простой рисунок...
 Кого-то, однако, она искалечит —
 полжизни отнимет, полсмерти подсунет.
 Извольте же быть благодарны...
 Но что я спешу с благодарностью едкой?

² Небольшая деловая и базарная площадь в районе Сололаки в Тбилиси.

...Кончается год календарный,
 кончается — десятилетка.
 Пора выпускного очарованья —
 четыре стороны счастья.
 Глаза разбежались — толпятся призванья,
 одно из которых отмечено страстью.
 Но всем для начала одна суждена
 Отечественная война.

..*

Когда просыпается первая птица,
 и только займется рассветное пламя,
 и древнему городу сладко так спится —
 со всеми своими колоколами,
 базарами, сторожами ночными,
 гуляками поздними, —
 словно молитва,
 до света во мне просыпается и м я,
 и губы мои произносят: Лолита.
 И я просыпаюсь.
 Шумит Ладжисхеви,
 у брода оскальзываются копыта,
 и катится галька, и в птичьем напеве
 мне слышится: Лола-Лоликела-Лолита...
 Ну что же, прекрасная выпала доля
 тебе, моя девочка... Целое лето
 еще впереди. А потом уже Л е л я
 тебя назовут ленинградцы... Но это
 оставим пока...
 Ветерок набегает,
 два облака быстро идут стороною,
 и жизнь хорошеет, и жизнь припекает
 за лето перед войною.
 То раннее лето и ранняя юность...
 У берега сброшено платье — как детство,
 и так неожиданна эта округлость,
 что я цепенею в случайном соседстве.
 На месте застигнутый, оторопелый,
 гляжу: Лола сходит к воде...
 Заслонилась
 на миг только радугой влажной — и тело
 пропало, как будто воспламенилось...
 Опять Лоликела соткалась из света,
 из брызг водопада, который сутуло
 над ней нависал, — и — по слову поэта —
 хрустальную шею она изогнула —
 как падали струи — движеньем согласным...
 Но что-то пугливое, что-то оленье
 мелькнуло, и вздрогнувшим т е л о м прекрасным
 она увидала меня в отдаленье.
 Смятенье! Беда! Водопадные плети,
 лозняк, на бегу разрываемый туго...
 Неделю-другую несчастные дети
 у ж а с н о м о л ч а т и дичатся друг друга...
 Вы видели радужно-млечного камня —

опала — мерцающие переливы?
 Она покраснеет — и я... И куда мне
 деваться? О господи справедливый!
 Забылось — и вновь: незнакомая, плавная
 линия кисти — запястья — предплечья...
 И ломаная, угловато-забавная
 речь становилась п е в у ч е ю речью.

* * *

Родная долина — подобье колодца,
 и чувство такое впервые знакомо:
 вдруг тесно глазам и зрение рвется
 на линию горизонта морского.
 Вы б ы л и — или приснились?
 Вы двое — и море — впервые.
 И бесконечностью разрешились
 контуры ломаные и кривые,
 и глаза от земли ушли —
 цвета блеклой морской дали.

А там, за морем, страна умирала и небо пожарами подпирала. Мы
 живы — значит, мы виноваты! Мой гений Лола, одна права
 ты — как сердце наше и наши братья, в Мадриде спящие, в Ленин-
 граде... Сияет солнце в небесной смальте, и двое в путанице тропинок
 уже толкуют о дерзком десанте, о пулях, бомбах и карабинах. Кустар-
 ник цепкий. Осыпь сухая порохом пахнет и каменной пылью, над
 морем тихим стоит, полая, солнце Кастильи! Грузия и Баскония —
 тайна родного лона — свет — синева исконная — очи твои, Лола. Лола,
 ночью в июне спать нельзя в полнолуние:

слишком зыбко и строго
 через море ночное
 столбовая дорога
 пролегла под луною

* * *

Мы едем, и наша дорога
 идет нешироким нарезом,
 скалу опоясывая винторого,
 и жметя к стене, повисая над лесом,
 отпрянувшим вниз... Карниз, свобода:
 душа через пропасть перелетела
 из тесной выбоины полусвода,
 когда кружиться ей надоело.
 Мы едем с отцом. Имеретинское лето
 вздохнуло — дыхание затаило.
 А мама стоит в стороне от сюжета,
 всего совершенного — суд и мерило,
 и чёрного платья недвижимы складки...
 Теплом и дневною дремотою веет
 с полей, пробегающих в пестром порядке.
 Я вижу: отец за рулем хорошеет,
 он «фордик» ведет — словно глянец наводит.
 Когда нас заносит на повороте,
 отец улыбается; с ним происходит

все то, что сейчас происходит в природе.
 Везде он у места, и все ему ловко,
 и впору, и кстати, и счастлив амкари³,
 когда с наковальни слетает поковка
 фамильная — в сизом небесном нагаре.

* * *

Река протекает —
 и вдруг иссякает...
 Река оставляет хорошее ложе,
 чего ей, конечно же, делать негоже.
 Уходит, уходит вода без оглядки.
 Все пусто и тихо. И камни сухие,
 что в ложе росли в вековом беспорядке,
 лежат, удивленные новой стихией.
 И прочь и подальше от бывшей реки
 детей отгоняют тогда старики.
 ...Повиснет ли озеро над долиной,
 сорвется ли вниз?
 Река ушла — а ты вернись,
 займись причиной.
 Озерцо. Торможенье. Косноязычье. Брожение ума.
 Но когда выпрямляется притча — дышит природа сама.
 В арсеналах искусства много славных доспехов —
 так что ж
 торопиться — на бруствер — под этакий дождь?
 Или кто-то родится для речи прямой?
 Все накапливается водица, дорогой мой.

* * *

Белый тбилисский зной
 пахнет дымом и кровью.
 Весь народ застигнут войной,
 весь человек — любовью.
 В нем — золотым снопом —
 грозный строй и смятенье.
 Ты — расплети потом
 солнечное сплетенье.

Поддень. Университетский сад. На костыле ковыляет калека — вперед—назад — три четверти человека. А белизна! А синева! Раз—два, раз—два — новобранцы — сюда — из Ваке. Митинг шумит. Совершается быль. Укрепясь на одной ноге, инвалид поднимает костыль: благословляет нас на победу и смертный бой, словно дерево, коренья на своей на одной. Вдруг он меня поразил: ведь ни один эшелон раненых не привозил. Что б это означало? Но появиться — мог раненый до начала — этой войны пролог.

...Завтрак — скудная травка, каменная соль на столе. Майдан — темная давка. От войны — навеселе. Новобранец в пехотной роте — несравненное чувство о си в широчайшем круговороте — поверни, понеси... И с широкой Россией, Русью так свободно свивает Грузию разразившаяся беда, как еще никогда. Близким заревом осветилась — круп-

³ Мастер.

но, с западной стороны — непостоянная необходимость — участь гордой моей страны. Но тогда, на пьяном базаре в тыловые смутные дни, эти мысли тебя, Отари, не тревожили, извини. Перепалка и перестрелка спекулянтов и торгашей. На руке у тебя — шинелка, и краснеешь ты до ушей. Поделом! Продаешь отцовский от гражданской войны до-спех... Любопытно, что муки совести опережают грех.

Августовские дни.
 Время, повремени.
 Мне — письмо от Лолиты.
 В суматохе целой страны
 нам — одним — удели ты —
 полной той тишины —
 изыщи как хозяйственник — слышишь? —
 вечности полчаса,
 голоса приглуши — и посто́й,
 чтоб не слышал, как дышишь.
 Из-за пазухи у Тбилиси
 извлеки Ботанический сад.
 Там, где иглы и листья
 на солнце сквозят,
 где в зеркальных каменных чашах
 лилии цветут —
 там останутся несколько наших
 минут —
 никуда не уйдут.

Половина письма — только буквы, только смутные звуки.
 По-грузински писала сама. Руки твои бумаги касались, и прикоснове-
 нья остались на ней. Перечитываю — ясней, где и что ты. Живая,
 здоровая... Строим доты — накаты метровые. Льют дожди, земля
 отсырела, так и ходит, и вздрагивает от обстрела. А сейчас передовая
 притихла. Ничего, говоришь, ты привыкла и к огню, и к земле, и к
 воде: «К Ленинграду не сунется враг. Только к смерти еще не при-
 выкла никак... Здесь учитель! Что я говорила!.. Он всех лучше!»
 Строчки гнутся все круче и круче.

«Мы клялись, что не будет парада
 у фашистов
 на Марсовом поле
 поверженного Ленинграда —
 Я тебе обещаю, Отари, клянусь...»
 Повторяю письмо наизусть.
 Как во сне покидаю Ботанический Рай,
 целый день наяву не живу —
 только вижу: передний край —
 оборона под дождем, под обстрелом,
 и фигурка с лопатой в противотанковом рву.
 Сколько лет наяву не живу...
 Что ж учитель? Солдат понадобился войне.
 И «недуг» — как рукой сняло...
 Старшина приказал обриться — и старшине
 я назавтра докладываю, что обрит наголо...
 Трое суток мой эшелон у Гардабани вопил,
 и военную славу пророчил мне тамада.
 ...Отродясь я еще никого не убил.

Вот беда!
 Злоба молодости, даром вышел заряд!
 Но судьбу не корю, не корю...
 Тесно — зернышки лобию -- в теплушке к солдату
солдат
 Едут. Плачут. Поют. Я лежу на полу и курю.
 И чему-то я рад...

* * *

Чуть за полдень. Солнце глядит косовато.
 Жара грозовая — надела и давит.
 И степь замерла. Сентября день двадцатый.
 ...А под Ленинградом уже холодает.
 Уставились в небо зенитные пушки.
 Разъезд. Тишина и безветрия тягость.
 Оценим в полу деревянной теплушки
 каретником-мастером вбитые накось
 граненые гвозди — квадратные шляпки...
 Все косо идет. И железно-наклонно
 те бомбы летят, как дрова... Две охапки —
 и хватит для замершего эшелона.
 Такая погода... Сухое бесстрашие.
 А может, сегодняшнее настроенье?
 Но только двадцатого вышел в тираж я.
 Простите, запомнилось, как день рождения.
 В степи потемневшей стальная тропинка.
 Состав — весь игрушечный — весь на ладони...

...Баллада — о гибнущих без поединка,
 о смерти ненужной — о том эшелоне.
 Стоит он — стоит под парами — на месте,
 на всех тормозах — на пустынном разъезде...
 А встречный? Накрыли? Гори в поле чистом...
 А он остановлен — телеграфистом.
 И к свету зеленому оба взывают
 и, с места не трогаясь, дико взывают.
 Ошибочка вышла — недоразуменье.
 На степь грозовое находит затмение.

Наверно, я выплакал лучшие слезы,
 что часто мирюсь с неизбежным и грустным,
 хотя и почетным присутствием прозы
 в стихе тяжелеющем...

Браво — искусным,
 до гроба умеющим молодиться.
 Завидное дело, да мне не годится.
 Мне сорок с походом, и я всем составом
 судьбой на больших жерновах перемолот,
 и рядом живет молодое со старым,
 как зной моей Рачи высокой — и холод.

Как требуется военным уставом,
 мой мальчик, подтянутый, молодцеватый,
 мечтает о бое — открытом и правом —
 а выпал ему — сентября день двадцатый.

А свет — от земли... Не бывало бездонней,
 затем, что принять надлежит от пехоты
 сто жизней — непрожитых — вот, на ладони —
 сто душ — или больше? — не знаю, я — сотый..
 Грозы проливается полная чаша,
 и молится в беглом отрывистом свете
 грузинская мать, попутчица наша.
 Пехотная рота — ей кровные дети —
 ей кровные дети
 по крови вечерней..
 И молит, и молит — о нас и о сыне,
 куда-то отправленном в тыл на лечение..
 Ни тыла, ни госпиталя и в помине..
 Взметнулся взрыв — как черная лилия.
 Вагончик раздался, и стены взлетели,
 сойдясь высоко-высоко без усилия
 воздушными сводами Светицховели.
 А степь неуютная — ровно и голо.
 И мать призывает имя божье,
 и бомба воет и воет...

— Лола!

И ничего больше.

* * *

В ту смуту, в ту самую мрачную осень
 под утро в каком-то последнем духане
 явилось — сквозь гомон и дымную просинь —
 как ствол — золотое, прямое дыханье.
 Какая-то сила его и зы м а л а
 и к небу вела из бесформенной плоти.
 И самого пьяного — подымала..
 ...А мы — так и слышу — как пели в той роте..
 Меж ровно ведущими голосами
 летят подголоски — и косо и криво —
 куда их несет? — не знают и сами..
 Спешат — не мешайте их розни счастливой.
 Наутро тогда я увидел впервые:
 идут из ущелья стволы вековые,
 и там, наверху, на свету, — разогнется
 пространство, которое мертвым зовется —
 и знать мы не знаем, что нам осталось..
 И двинулась с места поэма Лолиты,
 где целая жизнь озарилась под старость
 и набело вся была пережита,
 и смысл явился
 терпения страсти,
 и время кривое — от Первой до Первой..
 Тогда я отрекся от малого счастья
 и двинулся к Ушбе вечерней.

* * *

Раненные в полете
 слишком нежные птицы
 падают — чтоб разбиться.
 Воплощены в природе

все красивые мысли —
и насильственной жизни
птицам такого склада
даром не надо...
Так! Но желаньям его вопреки
лечат контуженного солдата —
молоденького, без руки.
Лежит он — подбитый без боя,
святою досадой палимый —
Лежит — неживой — казнимый
той самою казнью покоя.
За что же — мальчишке — такое?

.

Тяжелое днище, двойная вершина —
вся туча была обозрима
и двигалась, как поливная машина,
садящимся солнцем багрима.
Тебя никогда не пугала гроза.
Погибнуть от молнии небесной? Не страшно!
Ведь правда? Прекрасно, и лучше нельзя.
Но мальчику грезился бой — рукопашный.
Как праздник маджари — та добрая злоба.
Сегодня, Отари, твоя казноба⁴.

.

Вас двое — борцов в поединке простом.
Вы друг перед другом —
не враг пред врагом.
Добро вам потешиться и поразмяться —
от этого крепче старинное братство.
Его возглашают за долгим столом,
его молодым поливают вином...
Тебя усыпляет старинная греза —
а будит — железная проза:
ты умер, Отари, и надо родиться —
другому, а руку подвешат к плечу...
«Не надо, — кричит, — не хочу!..»

Еще проходили, и были недели
сквозящим подернуты мраком —
но все же
душа возвращалась —

под знаком

Пушкина и Руставели.
Он слушает сводки, он книги читает,
а дальше читатели все уже знают:
воспитаны мы на хороших концах,
надежды благие мы носим в сердцах.

.

Когда обрубают крону
тополю или клену,
я дерева не узнаю.

⁴ Состязание казнов — борцов на игрищах в старом Тбилиси.

Еле живой стою:
 Господи, так обкорнать!
 Задыхаются корни:
 некуда соки гнать,
 нет работы т о п о р н е й...
 Дерево, дерево, ты одноруко?
 Давай о свободе поговорим.
 Разумного тихого звука,
 я з н а ю, как хочется им.

..*

Свобода берет свое,
 свободно произрастая.
 Мы сотканы — из нее —
 основа простым-простая.
 Свобода берет свое.
 Но человека растя,
 чудные в нем порывы
 мы убиваем шутя:
 слишком — для жизни — живо
 и хорошо дитя.
 Но истина такова,
 что жизнь сама — для свободы
 еще не вполне жива.
 И вот вам — мои заботы,
 обязанности, права.
 И нежный гений ее
 лелея и охраняя,
 живу — гляжу на нее,
 дышу, как старая няня,
 которой житье-бытье —
 уже не свое — ничье.
 Переполненным кубком
 ты достоинь до мая...
 Пошевелило обрубком,
 все слова понимая.
 Только б души хватило —
 выстоим — не помрем.
 И зернышко хлорофилла
 не разрубить топором.
 Этим уж — я проникся
 милостию судьбы —
 вылутился из гипса
 тягостной скорлупы.
 Благодарен — и боли
 и судьбу не корю,
 потому что о воле
 с тобой говорю.

..*

Шоссе поворачивает у больницы,
 окно на мгновение озарится —
 сдвинется веер на потолке —
 тронется колесо колесницы...
 Не плачь о погибшей руке,

ниям — нету конца... Плохо, брат... Вдовье черное покрывало: смерть одна на двоих — это мать на могиле отца. Он приходит к тебе сквозь полуночное похмелье в одинокую комнату, где лежишь ты — неприбран, небрит, — укрывает колени твои тою пропитой ветхой шинелью и о вере и о доблести рода с тобой говорит. Говорит как всегда — сам себе, только трудно и глухо. А потом пропадает, и вместо него — в свой черед — в эту комнату голую та же приходит старуха: ищет, ищет по госпиталям и сына никак не найдет. И бормочет, и по комнате узкой снует без присеста: заглянула под стол и за шкаф — никого. Никого. Это — комната сына. Сюда же приедет невеста. Я — вернулся с войны п о т о м у, что убили его... Я лежу, я терплю. И тогда, не касаясь грязного пола — это раз навсегда и на все времена — бред и хмель отменив, появляется Лола — светлая, вся родная, божьей милостью — жена. Только траурная пелена притемнила снега Ленинграда. Только ветер ночей развеивает ее широко. Долго время отходит — и полнее и ярче утрата. Слово Ушба горит... Что же близко? И что — далеко?

...Взберемся повыше.
Сухая ноябрьская ржавь.
Ты видишь, Лолита...

— Я вижу...

Ты бредишь, Отари. Оставь.
Ты дожил до трезвых седин.
Гора тебе стала трудна.
Оставь, это явь: ты — один.
Один, потому что она ...
Так ветрено нынче, так ясно.
Сизифово постоянство
покоя тебе не дает.
Но мертвое то пространство —
Ты погляди — живет.
Притихло, как бы уснуло.
Гора стара и сутула.

Постояли — вперед.
И вправду — живое.
Ты видишь... И снова — двое.
А дерево не листвою,
чуть подвывая, поет.
Здесь, на самом краю,
дерево сторожевое.
Хочешь ли, про него я
песню тебе спою?

.

Было такое — или
Снилось такое? Пили
вы за дерево... С кем?
Все не припомню — кто же?
Очень близкий, похоже.
Или родной? Боже,
радости дай — всем.

Я об отце и сыне,
я о древе гордыни,

я о самой святыне..
Только боль утиши.
Все обрати во благо.
От последнего шага
дерево удержи.
Что это? Это просто
продолжение тоста.

Осень, мой друг. Поздно,
поздно иного желать.
Каменисто и круто
Две ступени приюта.
Как ты хорош отсюда,
город любимый. Смута?
Все было чудо
и благодать.

* * *

Прощаются грабы с листвою.
Над Грузией холода.
Из прожитого — ничего я
не вычеркну никогда.
А холод листву покорежил,
и входит он, душу знобя..
Но кто-то очнулся и ожил
в тебе — кто сильнее тебя!
Кому ты себя уподобил..
Ноябрь листву покоробил
и только не сладил с плющом,
которому все нипочем.
Где вышли могучие плиты,
ползучий — вцепился и влип.
Ты видишь все это, Лолита?
Ты видишь.
Никто не погиб.
Любимые — не погибают.
Крепка под ногами земля.
Не так ли и нам подобает —
огонь возжигая и для
святое мгновение жизни
одно — до окончания лет?..
Все дальше — печальнейшей тризны,
все ближе назначенный свет.
А помнишь? В апреле — Самеба
в последних цветах и в снегу.
У синего тихого неба
стоим на крутом берегу.
И туча плавучая — вровень —
напротив стоит — в два горба,
и чист горизонт и огромен,
воздушен, как наша судьба.
Самеба... Ах нет, у Гагрипша.
А то — не с тобой..
Все — с тобой.
Слабеет мой голос охрипший.
Пора возвращаться домой.

...Пора уходить из дома.
Первый свет бытия...
Первым светом ведома
Судьба моя.

* * *

Оборонительные проходили бои.
Очевидец мне попался на кончик пера.
Красносельское направление...
И запевал:— А — и,—
это после контузии,— А — и, какая жара!
А какая? Тридцать градусов в январе:
серебрится весь изнутри блиндаж...
— Телеграфист я... радист... точка — тире,
в доте восемнадцать человек — экипаж.
Я один, восемнадцатый, уцелел.
Все они там, Леля, твоя жена.
Окружили нас, капитан передать велел:
принимаю огонь на себя — и хана...

Можжевательник шумит — маленький кипарис
и березы две перед амбразурой растут.
Все опять перепутал радист-телеграфист.
Это я — восемнадцатый, это как раз тут.
Уцелела ракета — вон — северный пшат⁵.
Поле взрытое снежное видимо в перископ —
и как лебеди белые — наши... Лежат, лежат
в полшубках неношенных — спят во веки веков.

А при нашем свидании преображается свет.
Я беру его на себя — потому что могу.
Знает призванный: для такого времени нет,
как для тех, кто лег на ленинградском снегу.
Я в Последней моей — Первую узнаю.
Затаила дыханье, надолго она замерла.
Воскресает любовь — я за это пью и встаю
трезвый из-за стола.

Перевел ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ.

⁵ Грузинское название плодового дерева с серебристой листвой, родственного оливковому. Листья — как у нашей ивы.



ВИТАУТАС БУБНИС

★

ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ*

Роман

— **А** -у-у!..— долетает из леса.
— О-хо-хо-хо! — из тростниковых зарослей.

— ...Везде хозяин я...— от Козьей балки.

Бух! — глухой выстрел из липовой рощицы.

Вздрагивает озеро, рябь идет по золотистой стежке, убегающей вдаль, к розовому закатному солнцу. Все замирает, и Дайнюс, кажется, слышит в эту короткую минуту тишины, как выпрыгивает из воды рыба, по воде бегут круги, качается камышина, убаюкивая сидящую на ней стрекозу, чиркнув по воде крылом, проносится ласточка, негромко крикает утка в тростниках. И тут...

— У-гу-гу!

В какую даль ни занесет,
Найдутся там друзья...

— Пей, а то прольешь...

Проклятые крикуны! Дайнюс за милую душу схватил бы каждого горлопана за шиворот да окунул в воду...

Это было в Одессе... Мичман дал ему увольнительную. Дайнюс бродил по воскресному городу, добрал до филармонии и увидел аршинные буквы афиш: «Давид Ойстрах». Купил билет, нашел свое место, сел. И вспомнились школьный оркестр, брошенная скрипка, оставленные дома пластинки. Шаруне на концертах в школе хлопала дольше всех; он знал — только ему! Человек вышел, поднял скрипку, и Дайнюс на целый час вернулся домой. Слово пушинка, парил он над родной деревней, над озером, слышал слова Шаруне, чувствовал, как она дышит в щеку. Потом грянули аплодисменты... Почему он снова о Шаруне? Когда-то она тоже любила вечернюю тишину. Сидела в лодке, вслушиваясь в звуки деревенского житья-бытья, в далекое пение, и первой говорила: «Хорошо-то как...» И Дайнюс соглашался тихонечко, чтоб озеро не унесло вдаль голос: «Хорошо...»

— У-гу-гу! — на опушке леса.

— О-хо-хо!..— в Козьей балке.

Дайнюс вскакивает с камня, забравшись в кусты, снимает плавки, выкручивает, встряхивает и натягивает снова. Искупаешься — и легче: проходит звон в ушах, перед глазами перестают мелькать колосья. До завтрашнего утра. Завтра, едва солнце слизнет росу, комбайн снова побежит по кругу. Дайнюс любит свою работу. И не потому, что на книжке уже кругленькая сумма (хоть сегодня машину покупай). Он ведь сызмальства любил копаться в механизмах, вечно все разбирал да

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

складывал. И может, еще — смерть матери определила его дорогу? Мать лежала в гробу, отец заботился о похоронах, а ты сидел в углу и думал, как теперь будешь жить. Уже был вечер, стали собираться люди. Вошел Тракимас, он принес огромный венок из белых пионов. Остановился в ногах мамы, застыл на минутку. Потом аккуратно поставил венок и, увидев тебя, сел рядом. Что-то екнуло в груди, ты задрожал, всхлипнул. «Держись. — Председатель положил руку тебе на колено и тихо повторил: — Держись. Я был меньше твоего, когда отца похоронил, знаю, что это такое». Утром он прислал колхозные машины, длинная процессия двинулась на кладбище. А когда возвращались, Тракимас снова подсел к тебе. «Знаю, мать никто не заменит, легкой жизни не жди, — говорил он. — Но у тебя есть отец. Хороший отец, работага. Ты гордись им, Дайнюс. А летом, если захочешь, приходи к нам в ремонтные мастерские. Приходи. Я знаю тебя, потому и зову...» И ты пошел в мастерские. Ты ведь уже умел управлять трактором. Ты ведь и раньше летом не сидел без дела. И теперь для тебя нет ничего дороже запаха весенней новины и побелевшей, как снег, сирени, нет ничего краше росистых зорь и облачков пыльцы, повисших над бескрайним ржаным полем в жаркий июльский полдень. Ты ждал воскресного вечера, когда «нечаянно» забредал Тракимас, усаживался с отцом на куче камней у забора, и они, глядя на голубеющее озеро, толковали о том да сем. Отец говорил: «Дайнюс, ты бы за грушками сходил...» Ты приносил корзину с яблоками и грушками, ставил ее наземь, а сам присаживался рядом. Пахло плодами старого сада. Тракимас похваливал: мол, таких вкусных груш в жизни не едал, — а потом спрашивал: «Ну как, Дайнюс, выдюжишь лето?» «Выдюжу, председатель». — «Вот и славно, Дайнюс, молодец! Я так и знал, Гуделюнас, что твой сын не баба». А когда он вставал, чтобы уходить, отец, зачерпнув в обе пригоршни грушек, протягивал ему: «Председатель, вот гостинцы для твоих мальцов».

Так прошло твое первое трудовое лето...

...В Козьей балке, на берегу канавы, курится дымок. Четверо мужчин, развалившись у костра, ведут разговор.

— Все кругом исколесил, и никто мне не сказал: ты уезжаешь, мол, а дерево-то посадил? — говорит один из них.

Дайнюс узнает его — это брат Шаруне, Стяпонас.

— Какое еще дерево? — спрашивает парень в сдвинутой на затылок кепке.

— Старый рабочий, в сметоновских тюрьмах сидел, и спрашивает прямо: «Ты дерево посадил?»

— Мы же дома строим, заводы! Начхать!

— Не смехи нас, Стяпонас. Подумаешь — дерево... Или ты леса не видел? Сибирская тайга — шутка сказать! А он — дерево!..

Стяпонас берет стакан, подносит к губам и замечает Дайнюса. Всматривается в него, словно никогда не видел, выпив, вытирает ладонью губы, губы у него влажны и щеки тоже, блестят.

— Гуделюнасов сын? Давай к нам. — И поясняет: — Тракторист это знакомый.

— Пришвартовывайся! — говорит бритоголовый мужчина.

Шагнув поближе, Дайнюс останавливается, засунув руки в карманы брюк. У куста свалены рюкзаки и удочки, на траве лежат бутылки, на расстеленной газете, вокруг которой сидят мужчины, виден общипанный каравай хлеба и две банки «трески в томате».

— Правда уезжаешь, Стяпонас?

Дайнюс и не думал об этом спрашивать: Стяпонас не родня ему и даже не друг. И все-таки — почему человек столько лет ищет себя, свой причал?

— Ты под стол пешком ходил, когда я первый раз уехал, а сейчас меня учишь? — Голос Стяпонаса дрожит. — Братец Вацис хитер, ужак. И ты за ним?

— Я учить тебя не собираюсь, — негромко говорит Дайнюс.

— Тогда сядь! — кричит Стяпонас.

Дайнюсу не по душе эта компания, к которой так легко пристал Стяпонас, но он садится, берет стакан, отхлебывает и отдает кому-то.

— Я тебя не агитирую оставаться, Стяпонас. У каждого своя дорожка.

— А может, мне тесно здесь? Может, я задыхаюсь?

— Ну конечно, мала для тебя Литва, — язвительно говорит Дайнюс. — Тебе ширь нужна, простор. Вот Сибирь — другое дело!..

— Насмехается он, что ли? — возмущается парень, еще больше сдвигая кепку на макушку.

Дайнюс негромко смеется:

— Наверно, каждому из нас хочется хоть на пять миллиметров быть выше себя.

Люди у костра угрюмо переглядываются.

— За кого он нас принимает?

Стяпонас опустил голову, жует травинку, на скулах ходят желваки.

— Ты послушай, Дайнюс, что тебе скажу. Ты бы сейчас за конским хвостом топал да сохой отцовский участок ковырял, если бы мы вот, парни, не понастроили тракторных заводов, не бурили мерзлую тундру, чтоб нефть найти. Вот оно как!.. Тебе только подавай машину да технику. Подавай! А чьи руки это должны сделать?

— А разве здесь твои руки не нужны? — Дайнюс поднимается от костра. — Если мы все убежим, кто же здесь работать будет?

— Ну, ты-то куда не побежишь, — усмехается Стяпонас.

Дайнюс уходит Козьей балкой и слышит, как Стяпонас срывающимся голосом заводит песню:

Юг, север, запад и восток —
Везде хозяин я...

Хорошая песня, звонкая, но не спяну ее петь, и ведь в каждую песню человек вкладывает частицу себя. Когда они на корабле пели «Широка страна моя родная...», перед его глазами всплывала деревня за тысячу километров; Тарас думал о своем Полесье, где его ждала девушка; Серега вспоминал Дон... Песня замолкала, ребята, повздыхав, начинали разговор о родных местах, самых прекрасных и единственных в мире, и славно было чувствовать — широка страна, но сильнее всего тебя ждет родной хутор. Неужели Стяпонас об этом не думает? Но если он не может забыть эти слова: «Ты посадил дерево?» — значит, у него тоже сердце не на месте. А может, впрямь смысл его жизни именно там, за тридцать земель, на больших стройках, о которых трубят радио и газеты, о которых даже дети говорят? Или он просто оторвался однажды от родной земли и все не найдет покоя?

Дайнюс останавливается у гумна. Все здесь как раньше. Возвращаясь от озера, он открывал ворота и аккуратно закрывал за собой — по двору носились поросята. Что сейчас привело его сюда? Раньше он знал, зачем идет, а сейчас хочет напиться студеной колодезной воды. Целый день на комбайне, да еще в такую жару... пьешь и не можешь напиться. Да и редко у кого такая вода: вся деревня опускает в колодцы бачки с молоком, и вода отдает кислым, а у Крейвенасов она словно ключевая.

Край цементного сруба искрошился, скрипит потрескавшийся, стертый цепью вал. Дайнюс отпускает ручку, она со свистом набирает

скорость, гремит цепь, пустое ведро плюхается в воду; из глубины долетает гулкий и жесткий звук; эхо отражается от дощатой стены гумна.

По двору семенит кошка. Присев, выпускает из зубов серую пташку, прижимает лапой. Смотрит округлыми горящими глазами на Дайнюса и облизывается. Пташка разводит крылышками, кошка снова цапает ее зубами и гордо забирается под амбар.

На крышке колодца стоит кружка, и Дайнюс пьет. Вода безвкусная, да и пить он совсем не хотел, а так... Выплескивает подкружки на порыжевшую траву и оглядывается. Ни души; хотя нет, у летней кухоньки кто-то хлопчет в едком дыму ольховых листьев.

Он идет по двору к своему проселку; скажет «добрый вечер» — и все.

— Не забыл наш колодец? — спрашивает Шаруне; ее руки с треском ломают тоненькие веточки; глаза глянули тепло. Руки у нее теперь белые, отвыкли ломать хворост.

— Вода хороша.

Под кленом на как попало сложенных кирпичах стоит кастрюля. Рядом низенький стульчик, у забора — куча хвороста.

— Спешешь?

Дайнюс снова ловит взгляд Шаруне — вроде бы робкий. Давно не встречались, не разговаривали, потому, наверно. Но о чем им разговаривать?

— Да ждут меня.

— Кто ждет?

Дайнюс улыбается: неужто не мог выдумать другую отговорку? Но почему Шаруне так резко спросила? И бросила на него такой взгляд, что Дайнюс поразился — она самая, Сорока! Но только на миг. Снова торопливо подкладывает хворост в огонь.

— Мама ужин поставила и ушла корову доить.

В открытое окно избы слышно, как взрывается радиоприемник и тут же, потрескивая, замолкает.

Дайнюс упирается рукой в ствол старого клена, Шаруне опускается на стульчик, наклонясь, ворошит огонь. Распахивается вырез платья, и Дайнюс не может оторвать глаз от не стесненной лифчиком груди Шаруне. Наверняка у нее кто-нибудь есть и она принадлежит этому кому-нибудь вся-вся...

Выпрямляясь, Шаруне ловит взгляд Дайнюса, он почему-то не конфузится. Он улыбается ей как когда-то, но улыбка тут же гаснет — на память приходит осенний вечер пять лет назад. «Вернулся, значит? — спросила его мать Шаруне, придирчиво осмотрев с головы до ног. — Солдатская одежка не ахти какая, да ладно, тебе к лицу». Здоровая, Дайнюс поцеловал ей руку. Как матери. Соскучился по ней... Угостив его стаканом горячего чая с вишневым вареньем, Крейвенене спросила: «Что будешь делать-то?» «Работать, а чего еще...» Дайнюс чуть не добавил «мама», очень уж умилился при виде ее.

Она налила Дайнюсу еще чаю и через минуту обмолвилась: «Шаруне как-то приезжала... Не одна, привезла показать. Бойкий паренек, вместе учатся они. Я и говорю: не спеши, дочка... А она знай смеется...» Капли вишневого чая капнули рядом с медалями, Дайнюс оттолкнул стул, встал. «Куда это ты? Отец сейчас вернется...» Дайнюс ушел и думал тогда, что никогда больше не перешагнет этот порог. Но как часто он здесь бывал!.. Шаруне то была ласковой, казалось, они так близки друг другу, а то повеет от нее таким холодом, что Дайнюс в который раз пугался — ничего не выйдет у него... А за последний год Шаруне отдалась на край света...

— Редко приезжаешь.

— Работа.

— Я всегда твою газету читаю.

— О, сказал — мою!

— Все заметки вырезал, под которыми твоя фамилия была.

— Невелика ценность — мои заметки. — Шаруне ломает, крошит сухую веточку.

Диктор в избе бесстрастно читает:

«Я видел клочья горелой одежды, свисающие с искалеченных деревьев у разбомбленных домов, видел части разорванных человеческих тел. Видел старика, который стоял перед развалинами своего дома и оплакивал погибших жену и сына...»

— Из-за такой заметочки, бывает, неделю промучаешься... Это тебе не комбайн вертеть, Дайнюс, ты только не обижайся.

— Я понимаю, Шаруне. Как-то меня попросили в стенгазету...

Шаруне снова нагибается, засовывая под кастрюлю хворост; будто ей стыдно за Дайнюса: сравнил ее работу со стенгазетой!

— Ты счастлива, Шаруне? — вдруг спрашивает Дайнюс и думает: а сам-то ты счастлив?

— Счастлива, — твердо отвечает Шаруне, тверже уж некуда, и смотрит на Дайнюса в упор.

В дверях появляется Полина.

— Степана не видела, Шаруне?

Шаруне качает головой.

— Он там, — машет рукой Дайнюс. — Над озером.

Полина уходит через картофельное поле.

— Зачем ты показал? — шепчет Шаруне. — Не стоило.

— Раз женщина ищет...

— Теперь поссорятся.

Шаруне склоняет голову; волосы закрывают лицо; плечи опускаются, проступают острые лопатки; руками обхватив колени, она горестно съеживается. Что с ней стало? Целый день носилась к дороге, издали было видно, какая она веселая, а теперь присохла к этому стульчику и не слышит, что крышка кастрюли брякает, попыхивает пар, белая пена с шипением хлещет на раскаленные кирпичи.

Дайнюс отходит в сторону и смотрит на озеро, откуда доносится громкий говор.

— Долго еще будешь? — спрашивает Дайнюс, думая, что надо еще разочек напиться из колодца своего детства.

— В четверг на работу.

Шаруне, не поднимая головы, снимает крышку с кастрюли. Во дворе, заглушая аромат белого паслена, свежего сена, сложенного в копну рядом с гумном, разносится запах гари.

— Вот и хорошо, — говорит Дайнюс, сам еще не понимая, почему это хорошо; ах да, еще целую неделю Шаруне будет летать по тропинке к озеру, снова по двору — за деревьями хутора будет мелькать ее цветастое платье; правда, Дайнюс этого не увидит, завтра он переезжает на другой конец деревни — на последнее ржаное поле...

«В ближайшие сутки погода не изменится. Температура днем — двадцать семь — двадцать девять градусов...»

В дверях появляется Марчюс Крейвенас — простоволосый, в холщовом, с обвисшими полами пиджаке.

— Уходишь?

— Ага, дядя.

— Устаешь за день от этой тряски?

— Лучше спится.

— Молодые всегда крепко спят. А вот старики... Всякое в голову

лезет. Все не дает покоя: умирать пора, а дурак дураком, словно вчера родился.

— Все шутите, дядя.

— Вечером радио включаю... Молодым без молитвы не ложился, а стариком вот без радио... Что время с тобой делает! Раньше одна забота была — свой хутор. Кто скажет, когда человеку легче: когда он больше знает или когда меньше... Пролетел давеча самолет. Голову поднял, поглядел — реактивный, четыре мотора, и аж сердце екнуло: а вдруг?

— Нам, дядя, бояться нечего.

— Нам на головы бомбы не падают, это хочешь сказать? А мало ли где падают? И почему? Чем эти люди виноваты? Стоит старик у развалины своей избы, жена погибла, ребенок... Человек ты мой...

Крейвенас смотрит старыми глазами на Дайнюса — не смеется ли тот над стариковскими думами? Нет, Дайнюс — завидный слушатель...

Осенью, когда изба пустеет и берет тоска, когда наступают бесконечные вечера, Крейвенас при каждой встрече просит Дайнюса: зайти, посидим малость. Дайнюс заходит, сидит в конце стола, терпеливо слушает суматошную речь Крейвенаса, вникает; иногда просто ответить на стариковские «почему?», и Дайнюс отвечает, а иногда вопрос так и повисает в плотно накуренной избе. А когда Дайнюс собирается уходить, Крейвенас вдруг вспоминает: мол, Шаруне только что письмо прислала. Дайнюс снова присаживается, а старик рассуждает о дочери — какая она плакса и трусиха была малышкой и как потом выросла да остепенилась. Дайнюс не первый раз слышит эти рассказы, но они, словно теплый настой ромашки, промывают рану. «Как у нее дела там?» — наконец вспоминает он о письме. «Да неплохо, Дайнюс, она у меня умница». И все, больше ни слова, старик снова отыскивает ниточку, входящую в прошлое, и разматывает ее, будто Дайнюс не вскормлен этой деревней. Ему все равно хорошо в избе Крейвенасов, хоть старуха и любит иногда поворчать...

Шаруне все сидит на стульчике, глядя на ольшаник у озера, а может, еще дальше — на край света, — и, кажется, не слышит, о чем беседуют Дайнюс и отец.

— Думаешь, от знаний человек лучше становится? Иной только и норовит тебя укусить. Пчелы и то иному мешают, что и говорить... Пчелы...

От озера через луг плетется мужчина, за ним бредет женщина. И Дайнюс, и Марчюс Крейвенас, и Шаруне замечают их одновременно и смотрят во все глаза. Стяпонас едва тащит ноги, пошатывается, но голову держит высоко, распахнутая грудь тоже выпячена. Замедлив шаг, оборачивается.

— Чего пристала?

Полина, протянув руку, подталкивает его.

— Да иди уж, иди, пьянчуга ты горемычный.

— Кто? Это я пьянчуга? — переспрашивает Стяпонас и озирается, словно ищет свидетелей. — Я тебе не корова, чтоб за мной гоняться!

Пошатнувшись, Стяпонас делает шаг к Полине. Женщина отпихивает его, Стяпонасу едва удается устоять на ногах.

— У, ведьма! — цедит он сквозь зубы.

Полина видит теперь и Марчюса, и Дайнюса, и Шаруне около очага. Ей стыдно за себя и за мужа, она машет досадливо рукой и убегает в сторону ольшаника.

Марчюс хватается обеими руками за штукетины, и забор трещит — вот-вот не удержит покачнувшегося старика.

Шаруне, стиснув ладонями виски, смотрит на спокойное, темнеющее уже озеро.

— Ничего, вернешься...— с трудом ворочая языком, грозитя Стяпонас и плетется домой, гордо вскинув голову и выставив широченную грудь.

Из сеней выбегает Вацис, бросает взгляд на возвращающегося брата, сторбившись, несется к своему автомобилю, хлопает дверцей.

— Почему уезжает Стяпонас? — спрашивает Дайнюс.— Почему, дядя Марчюс?

Крейвенас уставился в землю, серую, потрескавшуюся от зноя, окаменелую, и молчит. Кто завязал ему рот?

* * *

Почему уезжает Стяпонас?

Почему?

Уезжает, и ладно, сказал бы, но знает: это не все; есть тому причина, но какая?.. Трудно понять Марчюсу, он запутался в своих мыслях, перебирает их, распутывает. Хочет издали начать — вдруг там затаилась ниточка, которую он ищет.

Поплевав на окурочок, растирает его каблуком и закуривает другую. Эту выкурит и пойдет спать, а то за день так уходишься, что вечером с ног падаешь.

Гаснет облако, ошпаренное закатными сполохами, небо покрывается маревом. Вот бы дождь пошел, человек ты мой! Да где уж там. По радио опять обещали ведро.

«Я видел... части разорванных человеческих тел... Видел одного старика...»

Вот-вот, говорю, разве мало места на земле? Что американец потерял там?.. Каждый день, как послушаешь, на свете какая-нибудь скверность... За тридевять земель это творится, но человек, он всегда человек, далеко он или близко,— зачем ему помирать? Мало ли тут народу погибло? В войну да после войны. Такое уж время было, говорим теперь. А иной выжил, да по сей день ран не залечит...

Дорого, втридорога досталась эта земля, и не могли они с легкой душой отдать ее. Это было гнездо отцов и дедов, свитое в поте лица, родное гнездо, из которого могли их только выгнать под дулом или вынести в гробу. Записаться в колхоз? А что такое колхоз? Что они знали о нем? Одни пересуды. Что ни подвернется на язык, то и брехали, все кому не лень потешались над артельной совместной жизнью. А еще страх перед ночными гостями...

Сидит теперь Юозапас Жёба в конце избы и смотрит на дорогу. Когда ни пойдешь, увидишь — за избой, на низкой скамье под грушей. Сухие ветви у груши, давно она не плодоносит, неизвестно, почему сын Юозапаса Пранас не срубил ее. Может, потому, что она еще в отцовское время росла и, срубил он ее, отцу не за что будет рукой держаться, когда он сидит на своей низкой скамье. Белобородый, с седыми лохмами, склонив на плечо трясущуюся голову, смотрит мутным взором — может, на дорогу, может, просто вдаль. И молчит. Прорва лет, как не говорит ни слова.

А ведь жил человек, как все. Может, чуточку больше не везло ему, правда. В страду охромела лошадь; дожди сгноили яровые; корова подавилась свеклиной, пришлось прирезать; свиней уложила краснуха, под яблоней закопал... Беда часто навевалась к Жёбе. Люди говорили: не иначе как господь за братоубийство карает... Но Юозапас не жаловался, гнул спину, не зная праздников; в час обедни отложит на минутку косу, перекрестится, опустившись на колени на жнивье, да, вздев глаза, скажет: «Помоги мне, господь...» К семи гектарам при-

резал полосу в два морга — словно куском живого собственного мяса заплатил за эти пески. Думал: засеет люпином, потом перепашет — и будет на них расти рожь, а в дождливый год и картошка... Не успел первый урожай снять, как переменялось время, перемешалось все, а потом война нагрелась. Юозапас редко выходил за хутор, мало кого видел и слушал, да и слушать не хотел; земля, кормившая и одевавшая его, — вот где начало и конец всего. Война кончилась, жить бы да поживать — земля и та стала щедрее и добрее, словно женщина под старость, а на столе появился жирный кусок, — но тут будто гром с ясного неба: ударили разговоры о колхозах. Не одному Юозапасу слова о новой жизни петлей захлестнулись на шее. Собрания до поздней ночи, вооруженные народные защитники и бесконечные разговоры, разговоры... Держалась деревня месяц, другой, а через полгода, весной, треснул лед. Ввалились мужчины в дом Юозапаса Жёбы, перевернули все вверх дном, допытывались: «Где бандиты? Думаешь, не знаем, что к тебе заходят? Салом кормишь, водкой поишь! А в колхоз не идешь!»

Жёба стоял, опустив руки. Ни слова не сказал.

Ночью жена слышала, как он встал, оделся и вышел во двор. Не побежишь ведь за мужем, если он до ветру пошел... Слышно, звякает чем-то у амбара... Скрипнула дверь хлева — пошел, наверно, скотину посмотреть, вконец бедолагу заботы одолели. А вечером ни ужинать не стал, ни словом не обмолвился. Знай отмахивается, знай глаза прячет. Господи, с чего это корова истошно замычала? И собака скулит, лает, цепью гремит! Женщина полежала на боку, подняв голову, прислушалась, слезла с кровати, набросила на рубашку полушубок, зажгла фонарь. Дверь хлева открыта настежь, собака лает взахлеб, вроде ничего больше и не слышно. Подняла повыше фонарь, посмотрела от дверей в хлев. В углу, дрыгая задними ногами, валялась корова; из перерезанной глотки хлестала кровь. В закуте лежала мертвая годовалая телка.

— Юозапас! — взвизгнула женщина, цепляясь рукой за загородку, опустила фонарь и только тогда разглядела у двери мужа.

Он лежал на боку, сжимая в руках изнавоженную солому, а из-под прижатой к груди бороды сочилась кровь. И руки в крови и лицо... И коса рядом...

Доктора отходили Юозапаса Жёбу, и среди лета он вернулся домой. Марчюс зашел проведать, но Юозапас не раскрыл рта. Склонив набок трясущуюся голову, словно пряча шрам на шее, он тускло глядел в одну точку.

Несчастье с Юозапасом, казалось, связало всем руки: от весны до осени ни одна душа не подписалась под заявлением «Прошу принять меня в коллективное...». Именно в эти дни Марчюс Крейвенас сказал своей жене:

— Послушай, как сделаем. Своими руками яму себе копать не стану. И свои руки этими бумажками марать не буду. А ты как хочешь... Бери все на себя и делай. Вступай, тебе-то что, ты баба. А я — нет! И в город не побегу.

Он, правда, не обмолвился о том, что посоветовал ему сын Миндаугас.

Наутро он сходил в Скроблу, и лесничий ему сказал: со дня всех святых можете приступать к работе...

Так началась новая жизнь Марчюса. Рабочая. Едва занимался рассвет, он сцеплял поверх полушубка рукоятки пилы, совал в карман лопоту хлеба да кусок сала и уходил берегом озера на лесоповал. Вечером, похлебав горячего супа, валился на кровать и лежал, вперив глаза в потолок. Жена зудела:

— Телку продавать или оставить — в который раз спрашиваю?..

Кольцо свиные в рыло продень, а то весь навоз перерыла... Картошка в погребке гниет..:

Марчюс не вставал, и жена призывала на помощь обитателей неба и преисподней и жаловалась: у всех баб мужья как мужья, только у нее последний мямля, всю молодость на него извела. Крейвенас слушал бесконечную руготню и думал, что нет ему места ни дома, ни в родном селе; задремав, метался во сне, а утром с большой головой брел на работу. Хотелось иногда покуражиться перед соседями — мол, что мне, я вольная лесная птица! Да язык не поворачивался. Встретит кого, бросит «доброе утро» или там «добрый вечер» и тут же спрашивает: «Чего в деревне слышно? Как вы там?» Вести были неважные, и Марчюс вместе со всеми честил местную власть и ждал, толком не зная чего.

Марчюс рубил лес, строил штабеля, прореживал молодняк, сажал елочки, а в деревне председатель сменял председателя. Первого застрелили, второй спился и сел в тюрьму, третий пропал без вести, четвертый... пятый... Жена летом и сено сгребала, и снопы на телеги грузила, и свекловину пропалывала, а осенью принесла в переднике охвостьев и тут же высыпала курам. Хоть плачь... Спасибо, жалованье Марчюса, тоже не ахти какое, но всё живые деньги. Тогда он и сказал своим детям:

— Дети мои...

...Сигарета обжигает пальцы и падает наземь. Крейвенас поднимает голову — кто-то бредет от озера через лужок. Сказочная лауме, развесившая сушить простыни туманов. Шаруне? Кто же еще...

— Не узнал тебя — богатая будешь,— тихонько говорит Марчюс.

Шаруне останавливается, перебрасывает полотенце через плечо.

— На что мне это богатство, папа...

— Поговорка такая. Сейчас, известное дело, только бы руки были, только бы голова варила.

Шаруне садится на бревно рядом с отцом и, обняв колени, смотрит на озеро, откуда изредка доносится песня — нестройная, пьяная, новая в этих краях.

— Поздно ложитесь, папа...

— Тебе, молодой, спать да спать, а мне, старику... Не знаю, что со мной, да вот сяду так, бывает, и думаю, думаю. Вспомню, что было,— и хорошо и тяжело на душе. Говорю, может, лучше и не вспоминать? Голове спокойней... И сон быстрее бы брал.

Марчюс Крейвенас поднимает тяжелую руку, хочет положить Шаруне на плечи, но опускает ее, сплетает пальцы. Словно не дочка рядом сидит — чужая девушка. Почему все так диковинно и страшно складывается? Ребенка носишь на руках, баюкаешь, целуешь. И он тебя целует, виснет на шее, просится на колени. А подрост — и остыл к тебе. И ты остыл, и ребенок остыл. Осталось что-то, чего словами не скажешь, что в самой середке у тебя сидит. Да и это что-то с каждым годом все глубже и глубже уходит, чувствуешь. С того дня, как пуповину перерезали, все дальше и дальше от тебя...

— Хорошо, что вам есть о чем вспомнить.

— У тебя разве не будет?

— Нет, папа.

— И я так думал когда-то...

Райским яблочком шлепается наземь майский жук. В полыни под забором стрекочут кузнечики; легкий ветерок колышет верхушку клена; зашуршав, широкопалые листья затихают, замолкают. У самого берега в озере всплескивает рыба. И если бы не пьяные голоса туристов, подумал бы — летняя ночь точь-в-точь как давным-давно, когда ты выезжал в ночное.

— Я тебе когда-то рассказывал о Лесорубе...

- Наверно, папа.
- Не помнишь, Шаруне?
- Вы много сказок рассказывали.
- Но о Лесорубе...

Крейвенас снова поднимает руку, осторожно, словно пустого стеклянного сосуда, касается плеча Шаруне.

- И Стяпонасу рассказывал и Вацису. Они тоже не помнят?

— Наверно, папа. Ведь это было давно, не до сказок нам сейчас. Шаруне подпирает голову руками, и из далекого детства, из мира, освещенного трескучим пламенем лучин, приплывает голос отца, вырезающего деревянный башмак...

«Жил-был бедняк. Может, его избенка стояла тут, где мы сейчас живем. Может, это его избенки бревна мы нашли в земле, когда копали колодец? Как знать... Так вот, перебивался человек с хлеба на квас, грибами да ягодами пробавлялся, хворостом печку топил. Позвал его как-то барин во дворец и говорит: «Пойдешь ты лес рубить. Если до вечера срубишь столько деревьев, чтоб из них лестницу до самого неба построить, мою дочку получишь и поместье в придачу, а если нет — велю тебе голову отрубить». Пошел человек в лес. Перепоясал сермягу веревкой, засунул за нее топорик. Идет и думу думает: «Вот и конец настал. Как это я столько деревьев срублю, чтоб барин лестницу до самого неба построил! Эх, никуда не денешься, надо рубить». Выбрал человек красавицу ель, высокую и прямую, что в самое небо верхушкой упиралась. Размахнулся — чах! — а топорик возьми и рассыпся, что глиняный горшок. Из раны на дереве янтарные слезы скатились. Опечалился человек, сел и сидит себе. Будь что будет — надо вечера ждать. Но тут заговорила ель: «Натри моими слезами руки, человек, и иди. За девятью горами и девятью лесами найдешь кузнеца, он выкует топор, ты вернешься и срубишь меня». Смахнул человек в горсть еловой живицы, натер ладони и почувствовал силу необыкновенную. Да и сам в великана превратился: высокий стал, могучий, сделает шаг — и с горы на гору ногой ступит.

Пришел он к кузнецу и говорит: «Сделай-ка мне топор, я елку буду рубить». Кузнец бухнул молотом — и топор готов. Вернулся человек, срубил ель и думает: «А вдруг барин скажет, что одной елки для лестницы до самого неба маловато?» Снова идет к кузнецу: «Сделай-ка мне топор, чтоб я весь лес повалил». Кузнец бухнул раз, бухнул другой и выковал ему топор. Человек размахнулся широко, уложил весь лес наповал и снова думает: «Может, мало еще барину. Ему ведь не угодишь!» И снова вернулся к кузнецу: «Сделай-ка мне такой топор, чтобы я одним махом все девять лесов повалил...»

Услышал эти слова человека царь птиц орел и полетел к царю зверей льву. «Человек все девять лесов вырубил, — пожаловался орел, — где мы жить-то будем, где детей своих вскормим?» Сбежались лесные звери, слетелись лесные птицы. Посоветовались они и решили: надо послать королька к громовержцу Перкунасу. Маленькая птаха корольек взвилась в небо и пропала из виду. Услышал Перкунас о том, что задумал человек, и разгневался не на шутку. Ему-то ведь тоже неприятно в чистое поле молнии метать.

А кузнец до самого вечера дубасил тяжелым молотом и такой топор выковал, который девять лесов мог одним махом повалить. Человек поднял топор, замахнулся, привстав на цыпочки, да так, что лезвием небо расколол. Перкунас рассвирепел и как ударит! Рассыпалось в прах поместье, рухнуло в пропасть, а человек, ставший великаном, обратился в камень.

А из расколотого неба хлынул дождь. Девять лет и девять дней лил дождь. И наполнил озеро до краев.

Когда люди забрасывают в это озеро сети, они вытаскивают их искромсанными на куски. Это топор Лесоруба поработал. Если лунной ночью заплывешь на середину озера и глянешь вниз, то непременно увидишь на дне каменного человека с поднятым топором. Но горе тому, кто увидит его: Лесоруб утащит его к себе.

Так появилось наше озеро. По сей день мы называем его озером Лесоруба или просто Лесным озером...»

Никогда не задумывался Марчюс, сколько правды, сколько выдумки в этом рассказе. Старое предание — как лес, как озеро, как поля, по которым бегал с детства.

— Да уж,— пожимает плечами Крейвенас,— по сей день, видно, поднимается Лесоруб со дна озера... Человек ты мой, ведь правда...

Мало ли что случалось. Неподалеку от лесничества Скроблы торчал у дороги огромный валун, который звали Наполеоновым седлом. Взорвали... Или вот, скажем, березняк Марчюкониса. Вырубили его, и сгнили бревна на поле. А могли ведь расти да расти березы. Да разве кто спросит нас, стариков? Нет, мы — пустое место: ничего не смыслим, ничего не знаем. Свалились с телеги сто лет назад, а телега катилась и укачала. А мы на месте стоим. Над нами только смеяться можно, а выслушать... Да что там скажут старики? В книгах не такая еще мудрость уложена. А сказки слушать им некогда. Никто не спросит у тебя: на каком поле что сеять и когда? Даже если в мокрую пашню, в лужу сыплют ячмень, ты молчи. Так агроном велел: план, сроки. И никто у тебя не спросит: «Ну как, дядя?..» Разве что Дайнюс иногда...

— Немного сейчас, говорю, молодежи в деревне, а таких, как Дайнюс, и вовсе один.

Шаруне поворачивается к отцу, трет руками колени.

— От комаров отбою нет.

— Дайнюс помнит и о Лесорубе и о Дубе повстанцев... Он все помнит и знает.

— Неужели, кроме Дайнюса, других таких нет?! — Фыркнув, Шаруне вскакивает с бревна, набрасывает полосатое полотенце на плечи.

— Забыла уже, как с ним...

— Ну зачем вы, папа...

— Ты уже взрослая, пора о семье подумать. Дай боже тебе хорошего мужа получить. Если что... Дайнюс...

— Не сватайте мне его, папа. Ни о каком замужестве я не думаю..

— Как это — не думаешь? Детей пора рожать, дочка.

Шаруне хлопает в ладоши и смеется каким-то странным смехом. Долго смеется, через силу, а потом замолкает, отворачивается и крепко сжимает под подбородком края полотенца.

— А вам, папа, много счастья от этой кучи детей, что на свет пустили?

Словно колом отца по голове.

Марчюс Крейвенас аж съеживается.

— Я Полине свою кровать уступила,— торопливо говорит Шаруне.— Боится Стяпонаса будить. Как повалился на постель, так и храпит. Спокойной вам ночи.

И убегает по росистой траве.

Крейвенас упирается онемевшими руками в бревно, встает, тащит одеревеневшие ноги к гумну. Слышит, как мать спрашивает у Шаруне:

— Где носилась?

— Умывалась я.

— Никого не заметила?

— Кого это?

— В огороде или в саду... Ездят тут всякие, только и жди, что залезут или украдут...

Скрипит дверь гумна.

— И этот еще не дрыхнет?

Марчюс карабкается по лестнице на сено, сбрасывает верхнюю одежду и ложится в постель. Надо бы простыню встряхнуть, думает, да ладно... Слышит, как приближаются шаги, как скрипит дверь.

— Спишь?.. Отец!

Крейвенас тяжело дышит, не хочет отвечать.

— А кто тут дверью скрипел? Отец!

Помолчав, женщина вздыхает:

— Господи, совсем уж в детство... Бродят тут всякие, по ночам блудят, вокруг хутора шляются... А ты не спи, гляди в оба, ничего из виду не упусти...

Шаги удаляются.

Марчюс Крейвенас лежит на спине, смотрит вверх и сквозь дыры в крыше видит высокое серое небо, мигающие звезды. Бывает, лежит он так и думает о бесконечной шире неба и о мудрости человека, которая может все это охватить; о чуде из чудес — людском разумении, запустившем спутник, что летит словно белая точка по небу... «Ах, человек ты мой, велик ты страшно,— думает и вздыхает: — И совсем мал...» Но сейчас звезды кажутся ему мертвыми, небо — чужим; перед глазами стоит собственная его жизнь и жизнь его детей.

Почему Стяпонас уезжает?

Почему Вацис так далеко, хотя все время вроде рядом?

Почему Шаруне такая холодная и ершистая?

Почему Миндаугас?..

Почему?

«А вам много счастья от этой кучи детей, что на свет пустили?..»

Тогда он сказал своим детям:

— Дети... Земля вас не прокормит. Ищите жизнь кто где...

Сказал, твердо веря в это.

* * *

Сквозь занавеску проникает луч солнца, загорается в пустой стеклянной банке на краю стола, скользит по тарелке, в которой мухи облепили остатки молока, перескакивает на полосатую подушку и освещает морщины на щеке женщины. Вздрагивает седая бровь, глаз, блеснув, закрывается снова, сладко слипаются веки.

Хлопает дверь хлева.

Крейвенене привстает на локте, тыльной стороной почерневшей ладони смахивает слюну, вытирает пальцами клейкое пятно на подушке. Думает: пора вставать, отец уже выводит корову.

Привалившись к стене, сбросив с себя одеяло, спит Шаруне. Голова покоится на согнутой руке, на размянувшееся лицо упали пряди волос. Задравшаяся тонкая рубашка бесстыдно обнажила по-девичьи стройные бедра. Крейвенене укрывает дочку и снова приказывает себе: пора вставать, старуха. Голова свинцовая, не отдохнула ни капли... Сколько этой ночи, господи, а если еще запоздаешь лечь. Так и ползаешь потом весь день, как сонная муха...

Хоть бы на полчаса вдремнуть еще: утренний сон-то меда слаще...

Слышит, как бежит тяжелой трусцой корова, как скрежещет по камешкам двора цепь.

— Пошла, да куда ты...

Но все так далеко...

Пора вставать...

«Мама...» Выбегает на двор, оглядывается, но никого не видит. А голос-то знакомый: «Мама!» Оттуда, из ольшаника! Она бежит по

полю босиком, в одной сорочке; бежит на голос. Ноги на диво легки, да и она сама вроде бы помолодела. Погожий, славный денек, луг усеян розовой кашкой. Но почему на ее босые ступни брызжут алые капли? Это не кашка — кровь росой опустилась на траву. Она оглядывается вокруг. «Где ты?» — кричит она на все поле. «Мама!» Бежит к озеру — голос плывет оттуда. Не вода — кровь плещется о берег в их озеро. На опушке леса спрашивает снова: «Где ты?» Голос где-то рядом, но глухой, как из-под земли: «Здесь я, мама». Она медленно подходит к маленькому бугорку под кустом, опускается на колени, руками отдирает плотный дерн. Приподнимает его — легко, точно крышку с картофельного погреба. В яме лежит Миндаугас, скрестив руки на груди, закрыв глаза. «Почему домой не идешь, сынок?» «Голова у меня разболелась», — отвечает сын. «Я тебе липовый настой приготовлю. Вставай, сынок, пойдем». Она берет его за руку, но рука у сына холодна, что лед. И вдруг — в яме оказываются одни кости. Она собирает кости в подол сорочки. Словно поленья складывает. И звенят кости, как сушеные ольховые чурбачки...

— Господи! — Крейвенене трет руками глаза, смахивает со лба испарину и тяжело дышит. — О, господи...

Никак не может отдышаться; выпучив глаза, глядит в потолок.

— Господи.

Ни разу еще не снился ей Миндаугас так страшно. Снится он частенько, но так... Мало что днем все перебираешь, ночью и то покою нет. Знай она правду о Миндаугасе, может, было бы по-другому. Отбросила бы сомнения, притихла бы. Нет Миндаугаса в живых, косточки истлели — говорила и себе и другим, а все равно: занята чем или так просто сидит — как вдруг о н позовет ее, а то просто услышит его голос. Вот она и рассуждает: не будь его в живых, откуда тот голос?..

Придут, бывало, истребители и насыдут: «Где сын Миндаугас?» «Да не знаем мы», — отвечала она. «В бандиты подался?» — «Ей-богу, мы ничего не знаем...» — «Сын у тебя бандит! Бандита покрываешь!..»

Отца тогда угнали в волость, три дня продержали. А вокруг хутора днем и ночью бродили — ждали: авось явится. Крейвенасы тоже надеялись на весточку, но напрасно. Правда, кто-то передал: мол, в дальней деревне видели ночного гостя, похожего на него, с винтовкой. Потом слух прошел — Миндаугас с чужими документами сбегал на край света. А точно никто сказать не мог. Куда же он делся?

Крейвенене помнит последний приезд Миндаугаса домой — сам не свой был сынок. То к стене прислонится, то бродит из угла в угол, то глядит в окно, то так вздохнет, что у матери аж сердце замирает. «Что с тобой, сынок? Худо?» — допытывалась она, но Миндаугас только жалобно улыбался: «Пустяк, мама». Потом показал рукой на потолок: «Слышишь, мама, как муха жужжит в паутине, копошится, бедняжка, а паутину не порвет. Скручены лапки, спутаны крылышки. И каюк...» «Ну вот те и на! Нашел о чем говорить!..» — накинулась она тогда на него: очень уж странными показались ей эти речи. «Какая малость нужна: мизинцем прикоснись — и всего затянет». — «О чем это ты?» — «О мухе, наверно, а может, о себе...» И расхохотался, но мать видела — ему было не до смеха. «Отец где?» — спросил Миндаугас. «Не знаю. Как ушел вчера...» Она-то уже знала, покосилась даже в сторону Дегимай, но не сказала. Да и Миндаугас, наверно, догадывался что к чему, зря он спросил. А через две недели... «Куда дела сына? К бандитам отправила?» — с пеной у рта кричал Сенавайтис, этот самый Юргис Сенавайтис.

Не раз и не два истребители возили отца в волость, показывали ему тела лесных: не сын ли? Нет, нет и нет... Даже отрекись отец перед ними от сына, дома бы все равно сказал. Не тогда, так позже:

А на дом легла тень — может, у Миндаугаса вправду руки в крови? Растила его, как других детей, дурному не учила, с пути истинного не сталкивала. А вдруг на нем все-таки грех? Говорят, грехи отцов падают на детей и на детей их детей. А грехи детей — как?

Крейвенене заказала молебен за упокой души Миндаугаса. Похоронила его. Без могилы, без креста... Каждую осень приходит день поминовения усопших, и каждую осень мать не знает, где зажечь свечу. Каждую осень в этот день впотьмах, чтоб не видела деревня и не посмеялась, она идет на опушку, втыкает свечу в трухлявый пенёк и зажигает ее. Набросив на плечи клетчатый платок, стоит на коленях перед свечечкой, вслушиваясь в гул леса, и вспоминает все-все, что было и что есть — ведет бесконечный разговор со старшим сыном, который явился на свет божий в муках и в муках из него ушел. И ее губы творят «Вечный упокой»...

Но глубоко-глубоко в сердце каждую осень снова загорается надежда: а вдруг?

— О, господи...

Надо вставать, и Крейвенене опускает ноги с кровати, минутку сидит, сложив руки на подоле сорочки (...кости-то, будто ольховые чурбачки, звенели...), резко машет рукой перед глазами и, цепляясь за спинку кровати, медленно встает. Надевает через голову юбку, потом кофточку, обеими ладонями приглаживает волосы, повязывает платок. Солнце уже высоко, пора доить корову, готовить завтрак, а то скоро весь дом будет на ногах. Распахивает окно — пусть войдет свежесть, утро раннее, мухи не налетят и Шаруне не будет раскрываться. Пускай поспит девочка, ее дни... Открывает дверь в боковушку — Стяпонас храпит, свесив руку до самой земли, одетый со вчерашнего. Уши бы ему натаскать; мог жить как человек, а теперь колобродит. Самого любимого ребенка не стало, а этот... о, господи, господи... Грехи отцов падают на детей...

Грехи отцов?

Крейвенене захлопывает дверь и тут же спохватывается — может, разбудила? Да ладно, хватит ему дрыхнуть. В сенях задевает ведро, едва не вылив помой, и думает в сердцах: сама не вынесешь, не сделаешь чего, не поставишь на место — никто не догадается, никто не подумает. Да и этот... совсем уж... Грехи отцов... Кыш! Отгоняет от крыльца разгуливающих кур, обводит взглядом двор. Воздух чистый, аж рябит, солнце уже шпарит вовсю, и Крейвенене, заморгав, прикрывает глаза ладонью. Дзинь-дзань, дзинь-дзань! Звенит под брусом косяка, и Крейвенене идет на этот звук. Идет ссутулившись, сердито размахивая руками.

— Косишь, значит? — издали кричит она.

Крейвенас чикает косою по стеблям осоки. Махонькое болотце, да еще перерезанное вдвое мелиорационной канавой. Сена всего ничего.

— Косишь...

Марчюс только теперь расслышал, поворачивается к ней, не разгибая спины.

— Корове на подстилку...

— А чем кормить будешь?

— Осоку жрать не станет.

— То-то...

Крейвенене облизывает пересохшие губы, берет с земли пучок рыхлой осоки, зло мнет его и отбрасывает подальше.

— Вчера хотела сказать, да не успела. Не знаешь, наверно, что Антасе ноги протянула.

Крейвенене, прищурясь, смотрит на мужа; она должна увидеть все-все, только тогда поймет, что наступил час ее торжества.

— Какая... Антасе?

— Какая... Он еще спрашивает! Да та, из Дегимай. В земле уже! Марчюс бросает короткий взгляд на лес, за которым приютилась деревня Дегимай, и снова глядит на свою жену — просто, как каждый божий день.

— А ты... вечно думаешь жить?

По спине Крейвенене пробегают холодоки.

— Я... Почему я?..

— Все там будем, в земле.

И словно ветром слизнуло всю ее радость. Она опускает голову и смотрит на свои руки — сухие, костлявые, в синих жгутах жил. И на ногтях синева... господи...

— Чего стоишь? — тихо изменившимся голосом спрашивает она. — Мне такой сон снился... Косу бери... Ну, чего стоишь-то?

Марчюс берет с луга косу, зажимает обушок под мышкой и поворачивается лицом к лесу. Дзинь-дзань, дзинь-дзань... Медленно проводит брусом, и коса звенит сипло, будто надтреснутый колокол.

* * *

Муж Антасе, лесник, погиб в первые дни войны. Шел по опушке, нес на плече плуг — собирался окучивать картошку; на дороге застрекотал мотоцикл, остановился, и немец поднял автомат. Антасе похоронила мужа и осталась одна-одинешенька. Страшно стало в избенке, да еще в такое смутное время. Не раз собиралась податься к родителям, от которых два года назад муж привез ее в Дегимай, но каждый раз думала: «Что я там найду, и без меня у них тесно». И оставалась. Хоть бы сосед жил неподалеку, но ближайший хутор — за добрую версту: зови — не дозовешься.

— Запрूसь вечером на два крюка, окна занавешу, а заснуть не могу. Зашуршит чего, я и трясусь что осиновый лист. Думаешь, парни не знают? Идут мимо, напившись, кричат, еще камнем в крышу запустят. А то придет кто и в окошко — стук-стук... Пусти, мол, это я, пусти согреться-то... Помолчит и опять: пусти, жалко, что ли... А потом уже ругаться начнет, грозит дверь высадить. Так и жила: днем работала, а ночью тряслась. Потом, правда, притерпелась, да и лезть ко мне перестали — зубы сломали...

Рассказывала она об этом Марчюсу, но много позднее. А началось все по нечаянности.

Рубили лес в стороне Дегимай. Осень выдалась промозглая, слякотная, в дождь даже у костра обедать не с руки.

— Зайдем-ка, мужики, к вдовушке погреться! — предложил как-то местный парень по кличке Огрызок.

Что с лесоруба взять? Пошли, так пошли. Ввалились гуртом в избу, чинно поздоровались с молодой хозяйкой, что хлопотала в кухоньке, а Огрызок с ходу к ней — вертится вьюном, разговор ведет.

— Ты, Антасе, всех наших парней забраковала, вот я тебе дальних привел, авось выберешь кого? Верно, мужики, бабенка в самый разчек! — И ущипнул ее за бок.

Лесорубы, все еще толясь у двери, фыркнули, но Антасе недолго думая огрела Огрызка по носу ветошкой. Захотели лесорубы, хлопая себя руками по бокам, а Огрызок вытирал рукавом вымазанный сажей нос и спрашивал:

— Уйти нам, да? Уйти? Выгоняешь нас, да?

Антасе метнулась в комнату, смахнула тряпицей лавку, убрала со стола, придвинула стул и пригласила всех располагаться. Огрызка она как бы не замечала. Мужики налегли грудью на стол, достали из карманов завернутые в газету хлеб, сало, колбасу, крутые яйца.

— Сейчас я вам мятный чай поставлю. Кипяток уже есть.

— Вот потрапишь, хозяйюшка, спасибо.

Крейвенас сидел в конце стола, складным ножом, что смастерил Стяпонас, поддевал сало, клал на хлеб, и с каждым куском по жилам растекалось тепло избушки. В плите потрескивал огонь, пахло вареной картошкой, все было будничным и знакомым. Как дома, подумалось ему. Вот бы так каждый день! Это не на пне, когда тебе за шиворот капает...

Кровать застелена клетчатым покрывалом, словно сугроб высят-ся две подушки в вышитых наволочках. На стене — коврик с красными тюльпанами и красивыми словами «Спокойной ночи!» Чисто, каждая вещь на своем месте — иначе и не поставишь. И стаканы даже, даже по ложечке каждому в стакан положила. Посреди стола — кувшин с мятным настоем, тарелка с рафинадом.

— Мы и без сахара, хозяйюшка, не стоит тратиться.

— Да ладно, чаевичайте, угощайтесь на здоровье.

Сама разлила настой, сама сахар в стаканы положила: будто жалко... Присела на лавку и смотрит, любитесь, как смачно едят мужики. Пьют кипяток и греют озябшие просмоленные руки. Одного Огрызка как бы не замечает, да и он сам не свой, шмыгает носом, жует без вкуса.

— Заглядывайте и завтра погреться, мужики. Чаю не жалко, — пригласила Антасе, провожая их до порога.

Лесорубы вернулись в промозглый лес какие-то затихшие, подобревшие. Крейвенас молчал и слушал разговоры. Один выхваливал Антасе, другой обещал подыскать ей хорошего мужа, третий сам собрался посвататься: и домишко еще стоит, и хлевок не пустой, а баба молодая да бойкая; эх, еще можно пожить на славу! Огрызок уже малость отошел и растолковывал то одному, то другому, что многие уже к ней подкатывались, да она все от ворот поворот... Сказывал кто-то, вроде с ней чего-то не так...

— Ну, гады, чтоб у вас язык поперек горла стал! — не выдержав, брякнул Крейвенас.

— Старику вдовушка приглянулась! — взвизгнул Огрызок.

— Кыш, подсвинок!

Хорошо, что Огрызок успел отскочить: у Марчюса вдруг так вскипела кровь, что он этому сопляку мигом бы зубы пересчитал.

Лесорубы замолчали, помрачнели, и снова заиграли пилы, застучали топоры; вздыхал лес, когда ели во весь свой исполинский рост рушились наземь.

Назавтра в избенку ввалились вчетвером: Огрызок, вломившись в амбицию, остался у костра. А Крейвенас обрадовался — не любил он этого зубоскала. Снова пахло мятным настоем, Антасе снова сидела на лавке и, положа на колени руки, глядела на лесорубов.

— Издалека будете? — спросила она.

Мужики перечислили свои деревни — можно сказать, по соседству. И пошутили: мол, свататься приедут по первопутку, с бубенцами.

Крейвенас промолчал.

— А вы?..

Она протянула это слово, и Марчюсу показалось: Антасе хотела назвать его дядей. Покраснел он, как мальчонка, — было с чего, мало ли кто его дядей величает, да еще под конец недели, когда щетина на щеках.

— От озера я...

— От Лесного-то?

— Ага.

— Красивые у вас места. И люди там лучше.

— Вот еще! — удивился Марчюс.

— Как-то по грибы ходила, добрела до вас, села на бережок отдохнуть, сижу себе. Вода зеленющая — не озеро, а человеческий глаз, глядишь и наглядеться не можешь. Ехал мимо человек и позвал — садись, мол. Прокатил, грибные места даже показал.

Слова Антасе ласкали душу Марчюса; она говорила с ним обо всем — не только об огороде да свиньях, — ее речи он мог слушать без конца, и ему становилось как-то легче, забывал Марчюс и беды и тяжесть на душе. В тот же вечер, опустив висячую керосиновую лампу до столешницы и прислонив к кувшину осколок зеркала, он стал аккуратно скоблить бороду; порезался, рассердившись, обругал жену неизвестно за что, послунив клочок газеты, заклеил ранку и долго протер бритву о кожаный ремень.

Утром жена сказала:

— Будто не в лес, а на храмовый праздник собрался...

Марчюс, наверное, впервые окинул Петроне таким оценивающим взглядом: юбка истрепана, в свиной мешанине, вечно негричесанная, словно гребня у нее нет. Да еще эта родинка на подбородке!.. Отвернулся в угол, крепко стиснул зубы, зажмурился и постоял так, а потом набросил на плечи телогрейку, виновато остановился перед женой, хотел сказать ей что-то хорошее, ласковое — ведь одна на хозяйстве мается с детьми и скотиной, — но не нашел слов.

— Ты зря... мне сало суешь... Детей нечем кормить будет, да и сама... за собой смотри...

Развел руками и ушел, пропал в предзвездных сумерках.

Тянулись дни и недели, в рождественский пост землю сковали морозы, пошел легкий снежок, но санного пути все еще не было.

Под вечер к лесу подъехал грузовик и остановился на опушке. Из него высыпали солдаты. За ним прикатила вторая, потом третья машина.

— Плохо дело, мужики. Пошли по домам.

Но они продолжали трудиться на опушке, а солдаты, разбившись на группы, с оружием в руках забрались в чащу. Машины развернулись в поле и укатили назад.

Когда закончили штабель, Крейвенас закурил и сказал:

— Как хотите, а я пошел.

Он двинулся по дороге, хотя через лес было бы ближе.

Смеркалось, крепчал декабрьский мороз. Тихо гудели ели, громко застучал дятел, с дороги взлетела ворона, сипло закаркала.

Прошел он километр, а может, больше, когда из-за дерева появился солдат и потребовал у него документы. Проверив, велел вернуться назад. Крейвенас объяснил, что его дом там, в той стороне, но солдат и слушать ничего не хотел.

Крейвенас тащился нога за ногу; он не знал, куда ему податься. Потом осенило. Он испугался этой мысли, отгонял ее, словно бесовское наваждение, а потом спокойно подумал: «Я же просто переночую, да хоть бы на сеновале».

Уже в потемках он звякнул щеколдой двери. В избе горела лампа. Марчюс еще раз звякнул — погромче, чувствуя, как зачастило сердце. Послышались шаги, из сеней спросили:

— Кто там?

Крейвенас оробел, не нашел слов и вдруг испугался: уйдет она, и больше не достучишься!..

— Это я, Крейвенас, что от озера...

Тишина длилась долго. Марчюсу она показалась недоброй.

— От Лесного озера...

Щелкнул крюк. «Дорога перекрыта...» — хотел он объяснить все сразу, но Антасе позвала его:

— Да заходите... Ну, идите.

На пороге он добавил:

— Не пропускают, лес прочесывают.

— Я так и подумала.

— Что ты... подумала? — испугался Марчюс.

— Что не пропустят... Да раздевайтесь же, садитесь...

Марчюс повесил полушубок на крюк у двери, сел. Облокотился на угол стола и тут же снял локоть: неудобно стало — залатанный, потрепанный рукав, а кругом такая чистота, каждая вещь знает свое место. Рядышком, на конце лавки, какие-то цветы в горшке; зелень листьев и бледность цветов напомнили о лете, о кувшинках в озере, и Марчюс бережно коснулся пальцем цветка.

Они ужинали и говорили о разных разностях: о смутных временах, о знакомых и незнакомых, о колхозе и близком рождестве. Крейвенас выложил все про свой дом, перечислил детей, Антасе поведала о несладкой вдовьей жизни.

— Замуж надо было, — буркнул Марчюс и прикусил губу, потер кулаком бритую, разруганную щеку.

— Подкатывались тут всякие, да им больше изба моя и корова нужна была.

— Неужто все такие?

— Я не говорю. Да мало кто человека ищет, а потом уж хозяйство. Все забывает и только человека видит. Может, я не то говорю...

— Ты верно говоришь.

Захлопали выстрелы; так неожиданно разорвали они вечернюю тишину, что широкие плечи Марчюса вздрогнули, Антасе ухватилась руками за голову. Стрекотал пулемет, гулко стучали винтовки.

— И когда же кончатся эти ночи?

— Перебьют лесных — и успокоится все. Думаешь, иначе будет?

— Да кто знает...

Стрекотало вокруг, громыхало, а они слушали эту страшную музыку леса и молчали. На окнах — плотные дерюжки, но Антасе прикрутила фитиль лампы, язычок пламени еле мигал, в избе сгустился полумрак.

— Хорошо, что я... не одна, — прошептала Антасе.

Крейвенасу показалось, послышалось ему это. Он смотрел на женщину, сидящую напротив, на ее руки на столе, и ему нестерпимо захотелось потрогать своими корявыми пальцами ее руки, почувствовать их тепло. Мелькнула мысль: дома все теперь тоже сидят за столом, слушают выстрелы и говорят — как там наш отец, как он доберется до дому? Но это видение исчезло, и Марчюс придвинул свою ладонь к рукам Антасе.

— Хорошо, что вы пришли...

Теперь он отчетливо это расслышал, растерянно пожал плечами, рука скользнула по столу, и в этот миг сильный взрыв потряс избу. Антасе вскочила, закрыла ладонями лицо.

— Видать, в землянку бросили, — чуть оправившись, сказал он, снова вспомнил свой дом и сунул руки под стол.

Керосин в лампе был на исходе, обуглился фитиль. Антасе встала, перебросила через плечо толстую косу (он вспомнил мышинный хвостик жены) и принялась стелить постель.

— Я, может, на сеновал... или в чулане...

— Холодно.

Она сдвинула две лавки, устроила на них постель и задула лампу.

Марчюс стоял посреди избы, нагнувшись, опустив длинные руки; неуклюжие руки, он не знал, что с ними делать. Услышал, как зашуршал сеник на кровати. Легла... И вздохнула глубоко, со всхлипом. Крейвенас впотьмах сделал два шага, сел на край кровати, словно на чугун с горячими углями; думал, утешит Антасе как дочку. Но не проронил ни слова, молчал и с дрожью ждал: сейчас закричит, обругает, посмеется.

Теплая рука нашла его ладонь, пожала.

— Антасюке...

Утром Крейвенас оделся ни свет ни заря и, остановившись у двери, обернулся.

— Это я такой... Ты уж прости меня, Антасюке...

— Нет, я...

Ответила она тихонько и, ему показалось, заплакала.

На дворе втянул в легкие морозный воздух, пройдя сотню шагов, прислонился спиной к ели и стоял, стоял... Знал: то, что случилось, страшно, непоправимо, но ведь и хорошо же; и сейчас всем своим нескладным телом он чувствовал гибкие молодые руки, обжигающие губы, всю ее. Слов не было, почти не было, но была такая ночь, какой Марчюс не знал за всю жизнь. Без малейшего стыда он вспоминал сейчас все до мельчайших подробностей и жалел ее, Антасе,— не обидел ли ненароком...

Целый день играючи тягал пилу, шутя махал топором. Даже Огрызок удивился:

— Глянь-ка, какой бойкий старик стал.

Не расслышал Марчюс этого «старик», не заметил даже, как наступил вечер. Но когда повернулся к дому, ноги сразу налились свинцом.

Неделю, потом вторую Крейвенас брел словно вол в ярме: ничего не видел, ничего не знал, одну только работу да работу. Дома жена поражалась: и дров принесет, и воды натаскает, и скотину поутру перед уходом покормит. Только вот ночью не спит, мечется чего-то. Ах, нелегко человеку, вздыхала жена.

А после рождества Марчюс снова постучался в дверь избенки..

Хорошо стало жить в это смутное время. Жизнь стала краше, Марчюс жадно потянулся к ней, словно родился вновь.

Мужики, видать, пронюхали что к чему. Шушукались, прыскали в кулак, аж пригибаясь, а когда подходил к ним Крейвенас, замолкали. Правда, долго ждать не пришлось. Падая, ель сломала пилу. Виноват был Огрызок.

— Губошлеп! — вспылil Крейвенас.— Спит на ходу!

— Хорошо, что ты, дядя, высыпaeшься.

— Ты мой сон не меряй.

— Антасе-то ноги греет...

Марчюс стиснул кулаки, набылчился. Кто-то из лесорубов заржал.

— Повадился к вдовушке мед лизать...

Крейвенас всем телом обрушился на Огрызка, крошил его затылком снежный наст. Могло все бедой обернуться, да мужики подбежали, оторвали. Огрызок, размазывая кровавые сопли по щекам, грозил судом, но Крейвенас сказал коротко:

— Еще раз услышу — убью!

Притихли все.

А когда весной жена высадила окна у Антасе, Марчюс обронил:

— Больше сюда не прибежит, не бойся.

И правда — больше жена не являлась на опушку.

Деревенские бабы языками секли Марчюса хуже кнута, но Крейвенас проходил мимо них прямой, плечистый, высоко подняв седеющую голову, и мысленно отвечал: «А хоть тресните вы тут все!» Но

когда старший сын Миндаугас обмолвился: «Не стоит людей смешить, отец», Марчюс только подобрал голову в плечи.

Весть о том, что пропал Миндаугас, ударила его словно обухом. У Марчюса земля ушла из-под ног: мир, который он так упрямо создавал, оказался хрупким и неверным.

— Грехи отцов... — сказала жена.

Могла и не говорить.

Марчюс не был набожен — по привычке и приличия ради изредка поторчит в костеле, и ладно, — теперь он тоже не считал, что его покарал бог. Но он думал: должно же быть нечто, чего не постигаешь головой. «Такая уж судьба человека», — когда-то говаривал отец. Может, и впрямь это кара судьбы? Обижал семью, своих родных детей — вот и покарала его судьба, отняв старшего сына.

Перст судьбы мерещился Крейвенасу что ни день, что ни час. Чем дольше ждал и не мог дожидаться весточки о сыне, тем сильнее верил: за грехи отца...

Собственными руками выкопал он глубокую канаву поперек дороги, ведущей за лес. Думал — все, покончено с этим. Но не прошло и месяца, как Марчюс привалился плечом к стене избенки — долго стоял свесив голову, не смея открыть дверь. До вечера бы так простоял, но Антасе позвала в дом, усадила. Словно тонущий за соломинку, ухватился Марчюс за молодые руки и, вздрагивая всем телом, стал жаловаться на судьбу.

— Как быть, Антасюке? Как теперь жить-то?

Антасе молчала, уставившись в темный угол избы; долго молчала, словно потеряв дар речи.

— Почему ты молчишь, Антасюке?

Антасе выдернула руку, положила ему на плечо, провела осторожно, словно спина у него — сплошная рана.

— Иди домой, Марчюс. К детям. Так будет лучше.

Марчюс снова копал ту проклятую канаву на дороге, чтоб никогда уже не перешагнуть ее.

Не раз ночью бродил на опушке, глядя на темные окна избенки. Переправившись через озеро, сиживал на том берегу, ухватившись руками за голову. Сколько раз смотрел в сторону леса, остановившись посреди двора!.. Присмирел, затих и вдруг почувствовал себя стариком. Жена не преминула разглядеть эту перемену и снова взяла над ним власть...

...Куча лет прошла с того дня, когда они, лесорубы, заглянули в избенку на опушке.

И нет больше Антасюке...

Дзинь-дзань, дзинь-дзань — звенит над болотцем одинокая коса.

* * *

От запаха картофельной ботвы кружится голова. Во рту едкий привкус, слюна горькая — ни проглотить, ни выплюнуть. Все согнувшись да согнувшись. Солнце обжигает затылок, огненный шар повис в одной точке — хоть бы на пядь откатился в сторону озера, тогда бы сказала: обедать пора.

Шаруне ставит ведро наземь, выпрямляет спину, потягивается.

— Не могу больше...

Мать не слышит ее — не желает слышать, конечно; и Шаруне минутку топчется на краю поля. Да и стоять не постоишь, когда от солнца спина и голова горят огнем. Звякнув ведром, ступает по жаркой борозде, наклоняется, стряхнув плеть ботвы в ведро, ежится — противно-то как. Срывает листик и швыряет на дно. Проходит вперед и снова срывает, стряхивает. В ведро старается не заглядывать, хотя

перед глазами так и стоят рыжие жуки; они же там кишмя кишат; даже рука, держащая за дужку ведро, чувствует, как они там шуршат... Тошнота подступает к горлу, и если она не перестанет думать об этом, то не успеет сделать эти десять шагов до края поля, как ее вырвет. Надо думать о чем-то другом, надо забыть об этой гадости. Но о чем ей еще думать, когда по ботве ползают эти рыжие, в черную полоску... словно насосавшиеся клопы...

— Я не могу, мама!..

— Кушать картошку любишь?

Мать трясет ботву обеими руками, она несговорчива как всегда, а сегодня еще чем-то расстроена.

— Не стой над душой, Шаруне.

— Вациса надо было позвать. Или Стяпонаса.

— Сама знаю, сколько у меня детей.

Шаруне думает: надо было спозаранку куда-нибудь убежать. Ладно, сию минуту все бросит, а мать пускай как знает. Можно подумать, что она сюда на колорадского жука приехала! Гадость-то какая! Она же всю жизнь боялась жуков да лягушек, по сей день в лесу не сходит с тропы, чтоб на змею не наступить.

Ей же надо уходить, хоть тресни надо, и Шаруне хочет думать только о том, как... Но перед глазами эти кровавые точки...

— Давай чего набрала,— зовет мать, и Шаруне, вздохнув с облегчением, бежит на лужок.

Откупоривая темную бутылку, мать выплескивает из нее в ведро немного керосина, потом зажигает бумагу и бросает. Взлетает пламя, валит черный дым.

— Чтоб вас пламя навеки пожрало! В жизни эта саранча на наше поле не прилетала...

От едкого керосинового дыма Шаруне мутит еще больше.

— Я пошла, мама! — Она убегает, слыша, как за спиной ворчит мать.

«Был бы тут Ауримас,— думает Шаруне,— мама не посмела бы гнать меня на картошку».

Вацис, взобравшись на крышу избы, постукивает молотком. Он всегда находит себе занятие, каждую новую дыру в заборе зачинит. Из открытого окна доносятся спокойные голоса Стяпонаса и Полины. Видно, про вчерашнее не вспоминают. Почему девушки так часто говорят: «Не пойду я замуж, хватит, насмотрелась чужого семейного счастья»? Может, потому, что не за кого выходить, а найди только... «Как там Ауримас?.. Вот чепуха, я же не думаю...»

Шаруне моет руки у забора. Старательно, третий раз уже намыливает, но все не смывается едкий запах картофельной ботвы, а вместе с ним — липучая картина кишаших в ведре жуков.

— Посмотреть на тебя со стороны — такая барышня, просто фи-фа,— сидя верхом на гребне крыши, смеется Вацис.

— Только с крыши разглядел?

— Крашенные ногти на выставке не покажешь... Нашла бы себе занятие получше...

— Имеешь в виду — прибыльной?

— Ага.

— А мне хватает, не жалуюсь.

— Мама полные сумки нагружает, отец рубль сует. Конечно, можно и так...

— Жалко?

— Почему? Нет. Только, думаю, надо о будущем позаботиться. Сегодня так, завтра этак. Жизнь, она на месте не стоит. Лучше сразу забыть эту моду — родителей доить.

Поставив ногу в таз, Шаруне задирает голову, смотрит на брата, но тот вроде не видит ее — раскладывает белые drankи, постукивает молотком.

— Крыша-то совсем прогнила, живого места нет. Не латать надо, а новую крыть. А откуда возьмешь? Лесоматериал теперь дорог, хоть стены бы обшить вагонкой...

И все стук да стук.

— Ничего я у тебя не прошу!

— Твое дело... Говорю, пока не поздно.

Шаруне торопливо вытирает ноги, надевает босоножки, забежав в свою комнатку, натягивает цветастое платье. Стоит перед зеркалом, а слышит этот перестук на крыше. Руки трясутся, гребень падает на-земь. Стук, стук! Стук! Словно в затылок гвозди вбивает.

— Куда опять понеслась? — догоняет Шаруне голос Вациса.— Ты, сестренка, будто кошка, не фыркай! Если хочешь иметь родной кров, то и подопри его, видишь, что шатается. Своими плечами подопри, свою лепту внеси, так сказать.

Не отвечая, Шаруне ныряет под яблоню, ветка задевает за волосы — вся прическа намарку. Шаруне приглаживает волосы пальцами и потом только вспоминает про расческу в сумочке.

Уже на дороге успокаивается, даже журит себя — не принимай близко к сердцу, что каждый дурак скажет, — и, стройная, статная, идет с гордо поднятой головой, сама лучше всех зная, что красива, зная тоже, что из окон новых домов поселка следят за ней бабы, смотрят во все глаза бывшие одноклассницы. Сверлят ее глазами.

Она и не глядя видит — за домом Сянкуса блестит в тени деревьев «Волга»; во дворе режутся в бадминтон пузан муж и, кубышка уже, молодая женщина. Загорелые потные тела лоснятся на солнце. (Сянкувене хвастается перед бабами: «Моя девочка с зятем каждое лето в Сочи ездят! Как, вы не знаете, что такое Сочи?!») В избе Марчюкониса запущен на полную мощность приемник, сопрано надрывно изводит: «...пропало все, и нет возврата...» Дом Дайнюса она видит издалека: новый коттедж из белого кирпича, застекленная терраса, дверь и оконные рамы выкрашены в желтый цвет. Прошлым летом здесь высились груды кирпича, кучи гравия, а сейчас даже деревца посажены; жалкий у них вид, правда, — чахнут в такое лето, листья побелели от пыли, свернулись трубочками. Перед домом на огороде копошится Дайнюсова мачеха. Шаруне слышала... Мать рассказывала — в деревне о ней всякое болтают... Дайнюсова мачеха встает, набрав пригоршню свежих огурчиков, провожает взглядом Шаруне, пока та не проходит мимо, и тогда только зовет:

— Мадонна! Где ты, дочурка? Кушать пора.

И еще один взгляд бросает Шаруне — на дом Юозапаса Жёбы. Замедляет шаг, даже дышать перестает. Под старой грушей, привалившись спиной к ее корявому стволу, сидит человек. Выцветший плащ, выцветшая шапка; весь он будто чучело, а может, пугало — для устраниения деревенских ослушников. Шаруне каждый день ходила мимо него в школу и все равно не могла привыкнуть.

По дороге приближается грузовик с соломой. Шаруне бросается на обочину и прикрывает ладонями щеки: облако пыли обволакивает ее, пыль садится на руки, на волосы, на новое платье. Пыль медленно оседает на деревьях, на пожухлой придорожной траве, на старике с мертвым лицом, сидящем под грушей.

На почте — ни души. Шаруне подходит к деревянной перегородке, видит на ней недописанную телеграмму. «Срочно приезжай, в аварии погиб...» Кто погиб? Почему здесь эта телеграмма?..

Из приоткрытой двери в перегородке выходит краснощекая девушка, такая толстая, что Шаруне в первую минуту не узнает ее.

— Шаруне! Здравствуй, Шаруне, и не заходишь...

— Привет, Домицеле. Недавно я в деревне.

— Задаешься! Куда нам до тебя, знаю, знаю, забыла старых подруг, ни к одной не заходишь, кого ни встретишь, ни спросишь, говорят — а как же, не была, не заходила, прячется, что ли, видеть нас не желает!..

Домицеле тараторит не переводя дыхания, еще гуще краснея, потом спохватывается:

— Ты не обижайся, Шаруне, я ж так, по-простому... Вот техникум кончила да тут увязла, и никакой перспективы, скука, женихов нету, а если какой и остался, то и кривой и дурной, лучше уж одной перебиваться.— Она глубоко вздыхает мощной грудью и продолжает: — В городе-то классно, выбирай кого хочешь, да еще такая, как ты. Не знаю, что бы отдала, чтоб в город перебраться, бросить работу, что ли, да на стройку пойти, в общезитии комнатку дадут, тогда уж другая перспектива!..

Она и в школе болтушкой была, думает Шаруне, но ведь не такой же!

Пока Домицеле, разинув рот, вбирает в легкие пропахший клеем и сургучом воздух, Шаруне успевает сказать:

— Вильнюс мне дай.

Она называет номер телефона.

— Фамилия?

— Чья? — не понимает Шаруне.

— Да в Вильнюсе.

— Не надо, кто подойдет.

— Не надо, так не надо... Сейчас...

Домицеле крутит диск телефона, просит принять заказ, повторяет номер.

— Ухажеру звонишь? — спрашивает она и крепко закусывает губу.

Шаруне ждала этого вопроса, из-за этого вопроса, пожалуй, она так долго и не решалась сюда прийти.

— На работу... по делу... насчет отпуска,— запинаясь, начинает она.— Может, прибавят денька два, а то по-дурачки получается — в четверг выходить.— Но на всякий случай меняет разговор: — Телеграмму недописали. Кто это погиб?

— Да ты не знала его, что ли? Пилипайтиса из Смяльгяй сын, пьяный на мотоцикле ехал, в автобус врезался... А Дайнюса как ты встретила, он же все о тебе да о тебе, хороший парень, красивый, да вот никого не видит, одну тебя, сама знаешь, школьная любовь. Но у тебя, наверно, в городе есть перспектива? Как не будет у такой! Ты только не обижайся, но Дайнюс и мне по вкусу, не знаю, что бы сделала, чтоб...

У порога чистит ноги пожилой человек. Домицеле, словно захлебнувшись, замолкает, и Шаруне думает: слава богу, пронесло... Она шагает по комнате от стены до стены, у телефонной будки дверь открыта настежь и не закрывается плотно — работа Домицеле: наверно, чтоб все слышать.

Старик говорит, что хочет послать сыну денег (экзамены сдает мальчик, жалуется, что все вышли; известное дело, город на каждом углу карманы вытряхивает), только вот очки дома забыл и буковок не разберет.

— Будь добра, милочка, заполни своей белой ручкой как надо.

Замурлыкав, словно ленивая кошка, Домицеле просит у старика паспорт.

Половина второго. Поглядев на часики, Шаруне снова шагает по скрипучим пересохшим половицам. Душно, видно, не проветривают, окна с зимы не открывали, сквозь пыль улицы не видать. Останься она в деревне... вышла бы за Дайнюса... Да будет тебе, дуреха... Скоро дадут разговор, ты услышишь Ауримаса... А вдруг с ним несчастье, вдруг он в больнице... «Погиб в аварии...» Ауримас иногда брал у приятеля мотоцикл; свой-то продал, собирался новый купить. Почему она раньше об этом не подумала, а только злилась от нетерпения? Ждать всегда трудно, от неизвестности всякая муть в голову лезет, и она, конечно, зря... зря... Как-то он вез Шаруне через сосновый бор, мчался, но она не боялась, сидела, прильнув к его спине, крепко обхватив кожаную куртку, и смеялась, кричала, а спрыгнув на укромной просеке у реки, растянулась на зеленой лужайке, раскинула руки и, глядя на голубое высокое небо, сказала: «Как хорошо убежать, Аурис...» Конечно, зря она выдумывает про Ауримаса всякие ужасы, он любит ее, вот-вот она услышит его по-всегдашнему спокойный голос.

За перегородкой стрекочет телефон. Шаруне замирает.

— Меня, Домицеле?

Домицеле лениво берет трубку и сразу же оживает, радостно просит кого-то, чтоб оставили для нее. Во вторник непременно, мол, заглянет.

— Не забудь — седьмой номер, а то еще не влезу...

Шаруне стоит у телефонной будки: между лопатками скатилась капля пота; противно, словно жук ползет. У нее даже дыхание перехватывает от мысли о картофельном поле. Вечно у нее в голове... «Девять баранов дерутся», как выговаривала мама отцу, упрекая, что тот «вечно без памяти»... У, духотища! Сколько еще ждать?.. Старик сейчас уйдет, он уже деньги пересчитывает... И Домицеле опять заведет свою шарманку... Может, убежать?.. Прямо сейчас, до разговора с Ауримасом!

— Вильнюс! — сообщает Домицеле.

Шаруне бросается в будку. Ну конечно — дверь не закрывается. Шаруне обеими руками сжимает трубку. Громкий треск, тишина. Бесконечная тишина. Наконец телефонистка бросает:

— Говорите.

Шаруне слышит музыку. Она долетает издалека, эта удалая джазовая мелодия,— Шаруне знает ее.

— Алло! — Мужской незнакомый голос... тоже оттуда, издалека.

Шаруне растеряна, в висках стучат молоточки. Наверно, другая квартира, или она номер перепутала, а может, Домицеле.

— Алло!

Еще секунда — и там повесят трубку.

— Ауримас... Это квартира Ауримаса?..

— Кто его просит? — кокетничает незнакомец.

— Позовите, пожалуйста, Ауримаса!..

На том конце провода слышны приглушенные голоса. Шаруне не разбирает слов, и наконец раздается Ауримасово:

— На проводе.

— Здравствуй, Аурис, это я...

Шаруне улыбнулась бы, но лицо онемело.

— О, салют! Что нового в цветущей деревне? Огороды уже пропололи?

Там, далеко, раздается дружный хохот. Она прикрывает рукой глаза от этого хохота.

— Аурис... — не говорит, а выдыхает она слово и немного успокаивается. — Ты же обещал, Аурис...

Глухо рокочут ударники, сейчас, кажется, партия гитары... Они сидели за низким столиком, на котором стояла бутылка белого вермута... Листали шведский журнал с картинками обнаженных красоток... Пили из одного бокала... Курили одну сигарету, чтобы дружба стала крепче... и он сказал: «У тебя красивое имя, Шаруне...»

— Послушай, девочка, — доносится издали голос, чужой, незнакомый голос, — мы ничего друг другу не обещали. Ни-че-го! Ты слышишь?

Повесить трубку... тотчас же повесить трубку... не надо больше. Но она не может оторвать ее от уха, все сильнее прижимает потными ладонями.

— Алло, ты слышишь? Алло!

Кажется, что трубка из тонкого стекла — Шаруне осторожно кладет ее.

— Поговорила? — спрашивает Домицеле.

Шаруне тупо смотрит на нее от двери.

— Не прибавили отпуска... Нехорошо-то как...

И только на дворе вспоминает, какими глазами смотрела на нее Домицеле, как вытянулось у той лицо. Шаруне глубоко вдыхает, но воздух горячий, обжигает грудь.

Скорей на берег озера, думает она; лечь в тень, спрятаться от солнца, от всех...

* * *

Заговорив, он о многом бы рассказал — его верный спутник, потертый, истрепанный, с помятыми боками, заржавевшими железками на углах, его старый друг, выдавший виды чемодан. В вокзальной толчее он был удобным стулом и мягкой подушкой на цементном полу, дважды был украден и возвращен, однажды обменен попутчиком и снова найден, пронзен ножом в темном переулке, когда ты защищался им от хулиганов... Тьму веселых и грустных историй поведал бы его старый друг. Он не мог бы похвастаться, что приютил у себя стопку сотенных, золото или серебро, дорогой отрез или шкурку выдры, верблюжью шерсть или таджикский шелк... Правда, руки его хозяина пересчитывали толстые пачки денег, иногда укладывали и ценные вещицы, но он был равнодушен к ним, как ребенок, не знающий их стоимости. На севере, помнится, он верно хранил у себя ветвь оленьих рогов; Стяпонас долго таскал ее с собой — может, вспомнил детство, лес за озером, лося, которого видел в чаще? А может... ведь отца звали Лосем, да и самого Стяпонаса когда-то... В Бухаре прихватил диковинный камень: легкий какой-то, пористый; если взглядеться, увидишь ослиную голову. По пути в Уральск познакомился в поезде с юной совсем татарочкой; разговаривал с этой красавицей, шутил, и двое суток пролетели как один миг; на степном полустанке девушка соскочила с поезда и долго махала ему рукой, а вернувшись в купе, он увидел на полке ее цветастый платок; аккуратно сложил его и спрятал в чемодан. И еще... много необычных вещей перебивало в чемодане. Но постоянное имущество хозяина, сказал бы чемодан — если б заговорил, конечно, — телогрейка, свитер, пара нижнего белья, ушанка (если на голове хозяина сидела кепка), кусочек мыла, бритва, ну, еще кое-какая мелочь. Иногда буханка хлеба, круг колбасы или банка консервов. Складной нож — в кармане брюк; и сигареты со спичками; в бумажнике вместе с паспортом и трудовой книжкой — листочки с адресами (увы, редко он кому-нибудь писал) и пяток фотокарточек, сделанных в ателье. Не его, девушек, с одинаковыми надписями, слов-

но все они сговорились: «Когда забудешь, посмотри». Внизу — имя: Ольга, Виргиния, Соня... Одни из армии, другие попали в бумажник потом. Ах да, первой была Виргиния... Отслужив, ты устроился в Шяуляй, жил в общежитии рядом со стройплощадкой — четыре парня в одной комнате. Веселая была жизнь! После работы собирались, выпивали и тянули песни. Все были родом из деревни, вот и завывали с тоской: «Не беги, не беги из деревни, не бросай ширь полей, темный лес...» На стройке и с Виргинией познакомился. Славная была девушка, в бухгалтерии работала. Месяц, другой — и Стяпонас перетащил свой чемодан к ее родителям. А после свадьбы началось... Тесть строил дом, каждый день тебе бубнил — не хватает, мол, кирпичка, цемента, а вечерами приставлял Стяпонаса к работе. И Стяпонас наконец сказал: «Нет!» Тесть аж присел, словно ему коленки подсекли. «Ведь половина твоя будет». — «Не надо мне». — «Где думаешь жить?» — «Я и в общежитии могу». — «Моя дочка туда ногой не ступит!» Поговорили, значит, Стяпонас вытащил из-под кровати свой чемодан — и в дверь. Виргиния к нему не пришла, он тоже не вернулся. Вот и осталась только карточка: «Когда забудешь, посмотри». Но Стяпонас не любит карточки рассматривать, только Полина — вот дуреха-то — изредка попрекнет: зачем таскаешь, сожги. Тоже мне тяжесть. Пускай лежат в бумажнике. Можно, конечно, и в чемодан бросить, на самое дно. Добрый друг примет их, спрячет под телогрейкой, под теплым исподним бельем.

— Чего сидишь так?

Полина швыряет на стол охапку высушенного белья. В комнате пахнет озером, полями.

— Думаю.

— Еще не поздно билеты вернуть, Степан.

Стяпонас неуклюже встает со стула.

— Это раки пятятся, а человек... Шагнул одной ногой, валяй и второй.

— А если в яму?

— Перескочи!

— Кто знает, куда так дошагаешь...

— Легкой жизни, Полина, мы с тобой не искали, ее и не будет, факт. Работа нас ждет. Ты слышишь, Полина, работа! Ты опять пойдешь в штукатурку...

— Работы и тут хватает. Зачем уезжать куда-то?

— Вот посмотри, Полина, что я в газете нашел. «Черкассы. Вступила в строй новая очередь железобетонного завода».

Полина подбегает к Стяпонасу, вырывает газету из рук.

— Черкассы... Правда! Черкассы! — весело восклицает она, зардевшись, как девочка, и читает коротенькую заметку. — Мне кажется, я там каждого человека знаю.

— Мы первые цеха строили.

— Мы... Черкассы!..

Полина вдруг оказывается далеко-далеко, наверное в Черкассах, в городе, где она сделала первый шаг и где взяла в руки кельму, в городе, который не баловал ее и с юных лет научил дорожить хлебом. Ее город, детдом, вырастивший ее, дитя войны...

— А то развернешь газету или услышишь где-нибудь — Березовск, Тюмень... и сразу голову поднимаешь — и там работали! Когда иду по колхозной улице тут, в Букне, и мимо едут машины, ты знаешь, что мне в голову приходит? Ведь это наш пот, рабочий! И что-то вскипает в груди — кажется, проголосуешь на дороге и на первой же машине помчишься туда, где огромные заводы, где самые большие

в мире мосты, самые мощные ГЭС. Я же никогда не был там ненужным. Разве это плохо, Полина? — Стяпонас берет руки жены, сжимает их и смотрит в ее посеревшие глаза с каким-то удивлением. Так много наговорил ей, как никогда еще.

Полина медленно, нехотя возвращается из этого длинного и короткого путешествия.

— Это неплохо, Полина, что мы во многих местах побывали.

— Плохо.

— Почему?

— Ты! говоришь так каждый раз перед переездом.

— Полина...

— У меня нет родного дома, Степан, я не знаю, где он стоял. Хотела хоть твоим обзавестись! Я ехала сюда как на родину. Это же твоя дом.

— Полина... — Стяпонас виновато и жалобно смотрит на жену. — Мы же нигде не чувствовали себя чужими, Полина...

— И родителей хотела иметь. Твоих родителей. Эх, если нет у тебя настоящего... Степан ты мой, Степан...

Голос Полины дрожит. Она отворачивается, хочет включить утюг, скрипит вилкой, все не попадает в розетку.

Ей нелегко, думает Стяпонас. «Бродяга! Вечный бродяга!» — сердится иногда Полина. В Черкассах она работала в бригаде штукатуров, и Стяпонас, обмолвившись о женитьбе, тут же добавил: «Но я не такой, как все, Полина». «А какой ты?» — «Да не такой, чувствую...» — «Ты — мой настоящий». — «...Не то, Полина... Я какой-то...» — «Ты — самый красивый». — «Нет, мне кажется, посиди я дольше на одном месте, тут же заведу корову да огород. Ведь в моих жилах течет мужицкая кровь. Но я не хочу, чтоб у меня руки были связаны. Меня все тянет... то туда, то сюда...» «И я такая, Степан! — наконец поняла Полина, или ей показалось, что поняла. — Меня тоже тянет куда-то. Так бы и побежала, хоть и против ветра...» Они расписались, а через год прочитали объявление, приклеенное на дощатом заборе: набор рабочих на сибирские стройки... «Поехали, Полина?» — «Поехали, Степан». Когда родился ребенок, Полина сказала, что хорошо бы получить квартиру; обзавелись бы мебелью, вечером смотрели бы телевизор; иная жизнь бы началась. Она все чаще заговаривала о гнездышке — самое время где-нибудь обосноваться навсегда, а лучше всего, конечно, вернуться на Украину, к широкому Днепру, в Черкассы. Стяпонас неопределенно обещал, распевая эту свою песню «Везде хозяин я...», и тоскливо прислушивался к грохоту пролетающих мимо поездов. Полина часто спрашивала Стяпонаса о его родине. А когда приходило письмо от Шаруне, Стяпонас переводил его в мельчайших подробностях: о лесе и озере, о ручных лосях и косулях, о погожих днях и щелбете птиц в саду, о родителях и брате Вацисе, которые тоскуют по нему и хотят поскорее увидеть. В письмах были запахи родины, неизведанное тепло, полнота жизни, и Стяпонас невольно думал о родине — не о той, старой, которую покинул, а о новой, которую так чудесно расписала Шаруне. И Полина твердила: «Как хорошо, что у тебя есть отчий дом, родители». Она же первая вслух сказала: «Степан, давай поедем туда». Конечно, сейчас она не в силах во всем разобраться, а Стяпонас не умеет или даже не хочет ей объяснить.

— Не нагревается, — говорит Полина. — Что ж ты стоишь, Степан? Свой чемодан и то уложить не можешь. Горе мне с тобой, ты у меня вроде горба на спине.

— Не заводись, — просит Стяпонас.

— Утюг бы псчинил.

Нужны плоскогубцы. Вацис-то знает, где они, может, даже он и взял. Все еще стучит по крыше, будто дятел. Хорошо бы как-нибудь обойтись, но ведь пальцами гайку не открутишь...

Солнце бьет прямо в глаза. Стяпонас прикрывает их рукой.

— Вацис, где плоскогубцы?

Вацис лежит животом на лестнице.

— Плоскогубцы где, спрашиваю?

— А тебе зачем?

— Надо.

— И мне надо. Не видишь, что ли.

— Я сейчас...

Плоскогубцы скользят по крыше, со звоном падают к ногам Стяпонаса.

«Даже не взглянул,— думает Стяпонас.— Что за человек?» С одним встретился, выпил три бутылки пива — и уже знаешь его насквозь, раскусил. С другим день, второй нужен, пока увидишь, что за птица. Разных людей навидался Стяпонас; спал под одной крышей, без крыши тоже — в степи, в грузовике под дождем, работал вместе, ел, пил и пел, и ни с кем еще не было так трудно найти общий язык, как с Вацисом. Может, потому, что он брат? Странное дело... с братом — и не о чем говорить. Одного колоса зерна, на одной земле взошли и выросли. Когда Стяпонас уходил в армию, Вацису шел четырнадцатый, он разводил кроликов, потом продавал и хвастался, что у него уже шестьдесят семь рублей. Свою копейку, бывало, не потратит ни на конфеты, ни на мороженое. Как-то Стяпонас увидел, как ребяташки, обступив Вациса, уговаривали: «Положи в рот лягушку, десять копеек дадим». Вацис морщился. «Пятнадцать дам!» — закричал какой-то сморчок. «Давай уж, только маленькую», — наконец согласился Вацис. «Нет, сам, сам поймай!..» Ребята прыгали от радости, а Вацис ползал по канаве в поисках лягушки. Стяпонас схватил его за вихры и поколотил. Но Вацис не понял: почему его, а не ребяташек?

— Так долго копаешься? — нетерпеливо упрекает Полина.

На столе расстелена простыня, разложено исподнее Стяпонаса. Куча детских вещичек, женино белье.

— Могла раньше собраться, — ворчит Стяпонас, но этим только подливает масла в огонь.

— Я-то могла? Могла, конечно! Все думала: хоть раз образуешься, хоть на старости лет человеком станешь. Как все люди.

Стяпонас супит брови и уже который раз сегодня просит:

— Не заводись, Полина.

— Виски седые, а все еще не остепенился.

Полина закусывает губу, плечи дрожат, она вздыхает; берет утюг, плюет на него и яростно гладит белье Стяпонаса, всем телом налегает.

На полу чемодан с вматытым углом — ухмыляется веселый друг, верный спутник.

— Уже? — спрашивает с порога Вацис. Он окидывает взглядом комнату, задержавшись поочередно на чемодане, на белье, что гладит Полина, на стоптанных сапогах, на черной телогрейке.

— Возьми.

Но Вацис не спешит, мерно пощелкивает плоскогубцами и с нескрываемым презрением снова окидывает взглядом вещь за вещью.

— Так, так, — наконец оценивает он все имущество Стяпонаса и задом выбирается в дверь.

Стяпонас вскакивает, сжав кулаки, бродит из угла в угол. Останавливается у бокового окна и тут же отворачивается: на солнце

сверкает машина, и он уже сам знает... войди снова Вацис... лучше пускай не показывается... хоть это и брат... твой брат... «Не бей брата!» — крикнула вчера Шаруне.

За дверь раздаются шаги, и Стяпонас вздрагивает.

Вбегает Марюс — замурзанный, босиком.

— Мама, бабушка варит батвиняй.

— Чего, чего? — спрашивает Полина.

— Батвиняй,— повторяет ребенок.

Полина пожимает плечами, достает из кучи белья платок.

— Научат ребенка, и не поймешь... Смешно...

— Совсем не смешно,— говорит Стяпонас, подзывает сына и сажает к себе на колени.

— Ты бабушку любишь?

— Люблю.

— А когда вырастешь, приедешь к ней?

— Когда я вырасту, ее уже не будет. Она так сказала. Старые люди умирают.

Стяпонас прижимает голову Марюса к груди и зажмуривается. А открыв глаза, видит на полу свой чемодан. Осклабился верный друг...

* * *

Яблоки крупные, золотистые с солнечной стороны, пахнут выдержанным вином. Не все поспели, но можно на выборку срывать, пока не стяхнул ветер или воришка не сбил с ветвей.

Вацис топчется вокруг белого налива, привстав на цыпочки, откручивает яблоки. Корзина почти полна, килограммов десять будет; увесистые, словно камни, и жесткие, но только видимость такая: нажмешь пальцем — и останется ямочка, сразу потемнеет. Надо аккуратно снимать каждое — упаси бог, если упадет на землю или ударится о сук.

С верхушки, как ни прыгай, не достанешь, и Вацис приносит стремянку. Но пока залезать не стоит, еще несколько штук сорвет у самой земли — и корзина будет полна. Вот спряталось под листьями яблочко... и еще — как это он проглядел, не червивое вроде... еще одно... Вот и все, довольно.

Вацис, по-детски разинув рот, смотрит на яблоню. Молодое деревце, седьмой год как посадили, а ветки так и гнутся. На краю сада еще один белый налив, тоже ранний, облепленный яблоками. К этому потом сходит. Остальные яблони летних и осенних сортов. Выгодней всего самые ранние или уже зимние сорта, это ребенку ясно. Но разве отец сообразит? Насовал летних яблонь; падают яблоки, гниют, смотреть обидно...

— Где пустую корзину найти? — спрашивает он у матери, которая возится у летней кухни под кленом; подходит ближе.— Чем это ты занялась, маменька?

— Пышек на вечер изжарю.

Запах шипящего масла приятно щекочет ноздри, хотя Вацис только что отобедал. Сглатывая слюну, тянется рукой к миске с горячими пышками, но сдерживается.

— Лучше бы полежала, маменька.

— Стяпонас... Может, последний раз ужинаем...

Ее голос дрожит. Мать казалась твердой, даже равнодушной к тому, что Стяпонас отбывает, а сейчас...

— Кто же его выгоняет?

— Не выгоняем мы его, упаси господь.

— То-то! — Вацис оглядывается, будто почуяв спиной пронзающий взгляд брата, и добавляет: — Мозги не вправишь.

— Говорю, поди, последний... уедет и уедет... Да и ребенок, Марюс, своя кровь...

— Корзина-то где? — раздраженно спрашивает Вацис.

— Что же мне — картошку вывалить и отдать? — сердится и мать.

— Бог весть что затеваешь... Пышки! Спать бы пошла, раз делать нечего.

Вацис кружит по двору, заглядывая в подстрешья, сердито пинает валяющуюся у забора сломанную плетенку. Хоть бы ящик нашел... В мешок нельзя — поколотятся яблоки, уже не то. Топчется перед крыльцом, вкусный запах пышек действует на нервы, но он больше ничего не говорит — пускай мать жарит, раз ей хочется, будто ему жалко — и входит в сени.

Скрипят пересошие ступеньки, шатаются, надо закрепить, весь дом надо ремонтировать, и Вацис прикидывает. Бревна-то здоровые, смолистых елей, аж звенят, когда ударишь обухом топора по стене — избе еще стоять и стоять. Ну и духотища же на чердаке, надо бы оконца вынуть, чтоб сквозняком протянуло. Но кто, кроме него, делает? Ничего никто не сделает, только разговоры одни. И мать постарела и отец... Совсем как цыпленок стал. Полон дом народу, а крепкой руки нет. Так все насмарку пойдет, ветром все разует...

Мягкая паутина прилипает к лицу, и Вацис сбрасывает ее пальцем, словно клейкого слизняка. Стоит, шарит взглядом в полумраке. Всякой утвари понавалено, всякого хлама. Через балку переброшены невыделанные овчины — моль поест, придется выбросить, а сколько раз отцу говорено... Новые, неокované колеса от телеги, видно, еще с того года, как колхоз создавали, на чердаке спрятаны. Заляпанная известкой рваные штаны, поношенный пиджак, рассыпавшаяся кадка, керосиновая лампа. Ужас, сколько тут паутины, вот-вот глаза залепит. Вацис встряхивается и выставляет вперед согнутую в локте руку. У дымохода стоит колыбель. Уже большой был, когда отец повесил ее в избе рядом с кроватью, но проворчал: «Не такое нынче время, чтоб моя малышка в корзине из-под картошки росла». Мать заматала руками — мол, выросли мальчики, вырастет и Шаруне в колыбели, — но отец месяц спустя принес на плече старую скрипучую и визжащую коляску. В тот же день колыбель отправилась на чердак.

Прочная колыбель, из еловых корней, с ручками — в самый раз будет. Как это раньше не додумался. А сколько барахла в ней! Изношенные башмаки, пузырьки от лекарств — конца им нет. Вацис выбрасывает все на кострику и опрокидывает колыбель, морщась от пыли.

Отец привез колыбель с базара еще для Миндаугаса. Старший сын... Старший брат... Вацис слабо его помнит. Миндаугас редко навещался домой. Учился. Отец радовался — хоть одного сделает большим человеком, а Миндаугас как в воду канул. Дурак. Видно, приложил к чему-то руку, якшался с ночными, ни о чем не думал. А мог ведь пересидеть, переждать, поглядеть, чем все это обернется. Спасибо хоть без вести пропал, никто пальцем не покажет: бандит, мол. Ох и замарал бы Вацису анкету! Брат-бандит! Стяпонасу-то что... Работяга, с него и взятки гладки, а вот Вацис...

Баякала колыбель и Вациса, младшего брата. Но только в сказках третий брат — дурак. Хм! Старший свою глупую башку в землю сложил, средний избрал долю бродяги. А могли ведь все прилично устроиться. Скажете, Вацису легко было? Даром даже червивого яблока никто не дал. Все своими руками да своим умом. Среднюю кончил, устроился учителем. Жалованье мизерное, дети на шее — жуть! Учил-

ся вечерами, три курса экономического факультета окончил и... по-дальше от школы, а ну их всех! Ответственный работник, дом с мансардой, под домом — гараж... Да уж если есть у тебя голова на плечах, то в наше время живи да поживай. Стяпонас бесится, пролетария корчит. Ясное дело, завидует. Зависть его гложет — Вацис уверен в этом. Сам ведь тоже мог и дом построить и машину купить... и жену как жену... Что ни заработает, все через глотку пропускает. А потом кипятится. Глупо это. Верно сказал кто-то: каждый — кузнец своей судьбы. Вот и покуем, братец, — ты свою судьбу, а я свою.

Перевернув колыбель вверх дном, стучит ею по балке. Пыль набивается в нос, и Вацис долго чихает. На дворе снимает ковбойку, вытряхивает, вытирает ею лицо.

— Вот так так, — удивляется мать. — И раскопал... Ни два, ни полтора.

— А что, плохо? Целый мешок влезет.

— Детьми мочились...

— В самый разочек...

Вацис осторожно выколачивает колыбель о землю, сняв с забора тряпку, протирает ее. Пышки пахнут так, что рот мгновенно наполняется слюной.

— Всю деревню позовешь? Жаришь да жаришь.

— Да сколько их тут...

— Мне не жалко, маменька, только... необязательно. Никто ведь не гонит его, Стяпонаса-то... — И уходит с колыбелью в охапку.

По дороге едет порожний грузовик, далеко, за фермами, стоят комбайны: наверно, обеденный перерыв. На озере лодки — три, четыре, пять... Это здесь, на этом конце. Гомон купающихся, плеск воды. С каждым годом все больше народу здесь отдыхает. Да, таких мест немного, и кто побывал хоть раз, на следующее лето друзей с собой позовет. Пройдет еще год, другой... Говорят, озеро отвели под городскую зону отдыха. Сколько в этом правды, неизвестно, до поры до времени все на бумаге, но вдруг... Тогда целыми семьями сюда хлынут, а где жить будут? Хм...

Со стремянки видно далеко, и Вацис, набрав яблок в подол ковбойки, не спешит спускаться, обводит взглядом поля, смотрит на мгlistое от зноя озеро, на лес. У ржаного поля видит отца. Чего ему там надо? Семенит по ржищу, нагибается, поднимает соломинку. Опасливо оглядевшись, подбегает к краю луга, где торчит нескошен-ный пук побелевшей ржи, срывает колосья и, набрав полную горсть, чешет домой. словно гонятся за ним. Хм, усмехается Вацис, ну и ну... Что делает с человеком старость — нарвал колосьев и дует, как мальчишка. Вообще-то бойкий старик. А вот овчину никак не отнесет вы-делать, не допросишься...

Вацис аккуратно укладывает яблоки в колыбель. Неподалеку на тропе стоит Мэрюс и робко глазет на него, трет ногу об ногу.

— Что скажешь, парень? — спрашивает Вацис, улыбнувшись маль-ышу.

Мальчик все трет ногу об ногу; муравьи искутали, что ли?

— Почему не отвечаешь, раз спрашиваю?

Мэрюс молчит и смотрит. Вацис подбирает с земли желтые па-данцы.

— Скажи, кто ты такой? — Вацис подходит к мальчику. — Ска-жи, яблок дам.

Мальчик, зардевшись, шевелит губами.

— Ну, кто ты?

— Мэрюс, — наконец говорит мальчик и складывает ладоши ко-рабликом.

— Я тебя спрашиваю, кто ты — литовец или украинец, а?
 Ручонки Марюса опускаются, он моргает большими пестрыми глазами.

— А может, русский?

— Русский! — весело отвечает мальчик.

— А ну беги, яблок не дам.— Вацис поворачивается к нему спиной, делает шага два, потом, остановившись, улыбается: — Скажи: я литовец.

— Я литовец,— повторяет Марюс.

— Правильно,— хвалит Вацис, словно ученика на уроке в сельской школе когда-то.— И еще скажи: мой папа литовец, и я литовец.

— Мой папа литовец, и я литовец.

— Молодец! На яблоки и чеши.

Мальчик берет ручонками яблоки, они падают, он собирает их, они снова падают в траву. Вацис смотрит на него.

— Ну, беги отсюда! Достал — и уматывай...

Мальчик бежит, рассыпая паданцы.

Наполнив яблоками колыбель, Вацис перетаскивает ее и корзину к автомобилю, располагает на сиденьях, застеленных полосатым ковром. Потоптавшись во дворе, бросает взгляд на ясное небо: рановато еще, но поедет не спеша.

В комнате у лавки стоят два чемодана, рядом — объемистый рюкзак, сумка. Полина пришивает пуговицу к детским штанишкам. Стяпонас сидит, утонув в сигаретном дыму.

— Попрощаться пришел,— вяло говорит Вацис.

Стяпонас разгоняет рукой дым, тушит сигарету в пепельнице, доверху наполненной окурками.

— Вечером вас не будет? — спрашивает Полина.

— Нет.

— А завтра? Может, подбросите нас...

— Полина! — обрывает ее Стяпонас.— Раз ему надо, то пускай...

— Надо, сейчас уже надо...

— Спозаранку яблоки дороже. И покупателей больше, воскресенье.— Стяпонас говорит бесстрастно, но Вацис чувствует скрытую издевку.

— Оказывается, еще не все успел забыть,— язвит в ответ Вацис.

— Копейка рубль бережет, братец. Скоро на «Волге» будешь раскатывать.

— Думаешь, нет?

— Рубль да рубль...

— Не говори — как всегда, так и сейчас: без денег — дурак набитый, а при деньгах — все двери перед тобой открыты.

Стяпонас резко поднимается со стула, сует руку:

— Будь здоров.

Ладонь у брата твердая, как камень, чувствует Вацис. Раскаленный камень. Смотрит брат мимо, на виске бьется жилка.

Вацис подает руку Полине, наклоняется над Марюсом.

— Ну, парень, кто ты такой? Кто? Не слышу.

— Марюс.

Услышав, как затрещали кулаки Стяпонаса, Вацис ныряет в дверь.

* * *

Счастье улыбнулось ему с самого утра, суля славный денек. Жена собиралась в магазин, положила на кухонном столе авоську с четырьмя рублями и убежала куда-то. А Сенавайтис как нарочно вернулся, вспомнил, что сигареты дома забыл. Взял с подоконника поча-

тую пачку, а тут — деньги! Нет, он не сволочь какая-нибудь, чтоб хапнуть все до копейки. Разделил по совести — себе половина и ей половина. И выбежал рысцой, пока супруга не увидела. Факт, когда явится обедать, будет гроза... Но в какой день она не грёмела, гроза-то?

Тут бы и сбегать в магазин, конечно, но Сенавайтис отложил это дело: еще на жену наткнется, разорется баба посреди улицы. Не стоит. Он уж потерпит часок, а потом тихо, культурно приобретет. Хотя ох как трудно терпеть, когда у тебя в кармане две рублевки шуршат.

Сенавайтис бродил по телятнику с вилами в руках, толкал с места на место вагонетку, а под ложечкой все посасывало да свербило пересохшее небо. Поболтал с телятницами, отмочил соленое словцо, а те сразу замахали на него руками: мол, уходи! Вот девы непорочно зачатия, тьфу! Снова уныло слонялся среди загоронок. Сунет руку в карман, подержит и, расплывшись в улыбке, облизнет сухие губы.

Едва разошлись телятницы, как Сенавайтис пулей метнулся огородами да дворами.

И везет же! В магазине — ни души.

— Вон ту бутылочку красненького.

— А платить кто будет?

— Что?! — оскорбился Сенавайтис, с головы до прилавка окинув взглядом продавщицу. — Порядочного человека подозреваешь, девонька, да?

— Знаю я таких...

Шея Сенавайтиса налилась кровью:

— Шиш ты знаешь, тьфу! — И швырнул на прилавок два рубля.—

А это что? А?

Опустил в глубокий карман штанов бутылку крепкого, взял пачку сигарет и еще сдачи получил полную горсть. На дворе остановился, закурил.

На лавочке сидят две бабы — автобуса ждут. Жаль вот знакомых не видно, а то угостил бы; сегодня он угощает! Что ж, на нет и суда нет, надо идти, работа ждет.

Шагает счастливый Сенавайтис. Пиджак нараспашку, руками мерно машет. Посредине улицы идет, ведь не украл же. Да и кто догадается, что у него в кармане булькает винцо. На ферме зайдет в комнату отдыха, сядет за стол как человек и сковырнет ногтем пробку. Будь здоров, Юргис! Твое здоровье, Сенавайтис! Если б не бутылочка, скучно бы жилось. Опрокинешь «фужер» — и мир становится другим, иными красками все сверкает. Хоть и в такие минуты... Бывает, кулаки сами сжимаются и так зудят, что только держись, стиснув зубы.

Нащупывает двумя пальцами горлышко и вполголоса, чтоб не услышал кто-нибудь лишний, затягивает свою любимую:

И снова девка на столе...

— Тьфу, гад! — плюет, спохватившись, и заводит сначала:

И снова водка на столе,
И снова девка рядом,
И снова мы навеселе,
Все ту же песню тянем...

Вот бы во весь рот затянуть, деревню потешить!

— Гуделюнене!

Дайнюсова мачеха набросила на забор одеяло, выбивает пыль, а Сенавайтиса так и подмывает отпустить шуточку.

— Старик блошек наплодил, Гуделюнене?

Женщина бросает взгляд через плечо.

— Да иди куда шел, иди.

— Говорят, малина в ольшанике поспела,— смотрит на нее, прищурив глаза, Сенавайтис.— Пошли по ягоды, а? Не пожалеешь.

— Нализался с утра.

— Очухайся, Гуделюнене! Хочешь, дыхну, как милиционеру.

— Дыхни туда, где не сходится! — Гуделюнене в сердцах хватается одеяло и исчезает за стеклянной дверью террасы.

— Вот оно как, подружка моя,— говорит Сенавайтис бутылке.— Только за голову тебя взял, а кровь в жилах уже вскипела!

И идет себе, насвистывая,— хватит, мол, терпеть, пора смазать колеса.

У лип Жёбы прыгает через канаву, чтоб свернуть на лужок, и только тогда спохватывается, куда угодил. Это место он всегда стороной обходит, и надо же.. Старается не глядеть на старика, сидящего под грушей, но глаза сами нацеливаются на него и по спине пробегает холодок, словно кто-то цапнул голиком. Взгляд Юозапаса Жёбы спутал ноги, и Сенавайтис бредет по дороге, страстно желая быстрее спрятаться за пригорок. Он знает: теперь долго будет чувствовать на себе этот взгляд, чего доброго, и ночью приснится. Частенько снится ему то время, и он вскакивает, обливаясь холодным потом. А ведь Сенавайтис правда ни при чем!.. Может, и круто взял, но ведь некогда было песенками да танцами в колхоз заманивать, медовые речи говорить. Из-за кустов на них были нацелены винтовки. И не только себя Сенавайтис охранял, но и новоселов, тех мужиков, которые первыми подписались под заявлениями «Прошу принять...». Вот и надо было говорить коротко да ясно: или — или. Кто мог подумать, что Жёба на себя руки наложит? По сей день торчит у дороги, словно болячка, язва тех дней.

Сенавайтис прячется за придорожный тополь, дрожащими руками открывает бутылку, достает из кармана пиджака жестяной стаканчик, наливает и выпивает до дна. Рукавом вытирает вспотевший лоб, потом уже губы. Переводит дух. Полегчало малость, но еще не то, не совсем... Но допьет бутылку там, в комнате отдыха.

Покачившись, Юргис Сенавайтис ударяется затылком о ствол тополя. Тьфу, старик... Старик Юозапас Жёба, да пропади ты пропадом! Юргису сказали «надо» — и он работал, советскую власть на селе создавал. Товарищей своих похоронил, героями погибли. Он-то выжил и не прятался по углам. Ранили, починили, снова ранили, снова починили. И все-таки выжил. Поставили руководить заготовками всей волости. Руководил. Да вот нашелся умник: мол, товарищ Сенавайтис, вы без образования и не годитесь... «А когда надо было бандитов бить, почему об образовании не спрашивали?» — «Это дело другое...» — «А почему я только три класса кончил? Не спрашиваете?» — «Мы понимаем, товарищ Сенавайтис, вы кулацкое стадо пасли. Но сейчас...» — «Спасибочки!» Хлопнул он дверью и прямым ходом в закусокную. Надрался до потери сознания. Инспектором назначили, рядовым. Работает, гад, а куда денешься. Снова вызвали. «Товарищ Сенавайтис, мы наметили вас направить на село». — «Кем?» — «Председателем будем рекомендовать. В родную деревню». — «Ладно». Оценили-таки его по заслугам. От радости в лепешку расшибался, думал, покажет им, что может, все увидят, что есть еще у него порох. Сказали: «Надо сеять кукурузу». «Есть кукуруза!» — ответил он и половину угодий засеял. Бабы чуть глаза не выцарапали: мол, без хлеба останемся. А ему разве легко было? Он же верил в эту кукурузу! Через два года вызвали опять: «Товарищ Сенавайтис...» И пошли, и пошли... А в заключение: «Колхоз отстающий, вы пьянствуете...» Он как разозлится:

«Пью, значит? Почему пью? Думаете, слепой, не вижу, в какую лужу вы меня посадили своими наставлениями?» — «А как же другие председатели?..» — «Другие чихали на ваши указания и домики для себя в городе строили!» Взбеленился начальник, разругались они с ним вдрызг. Хлопнул дверью, вернулся в колхоз. Хлестал, само собой, целую неделю. От злости да досады мог задушить любого. Так и спустились бригады. А потом уж и на мелиорацию... на фермы... Тьфу!

В дверях обводит глазами телятник и решает в комнату отдыха не заходить — вдруг наткнется там на какую-нибудь противную харю. Выливает в стаканчик остаток, бутылку засовывает в темный угол. В груди уже тепло, тиски расслабились, только пот градом льет по щекам. Жарко тут, вот в чем дело.

«Вот так понемножку, понемножку и укатали меня! — отдувается Сенавайтис, без любви оглядывая телятник. — Тьфу!»

Но расстройство вроде прошло, в глазах и то посветлело.

И снова водка на столе,
И снова...—

пробует запеть, но встряхивает головой, берет вилы и, шаркая подошвами, идет по цементному коридору. На дворе сбрасывает пиджак, плюет на ладони. Поддевает вилами навоз и швыряет в кучу. Он свою работу сделает, и аккуратно сделает, никто не упрекнет, что целый день валялся пьяным. Да он и не пьян, он же никогда не надирается, как другие, червячка заморит — и ладно. А работы — хоть самой черной — Сенавайтис не гнушается. И хлеб, который он ест, заработан честно, на поту замешан.

Поднимает голову, переводя дух. Волоча за собой длинющий хвост пыли, по дороге катит белая «Волга». «Чья это, вроде не видел», — думает Сенавайтис и снова налегает на вилы.

* * *

В субботу, даже не позвонив, как снег на голову!

— Не удивляйся, Тракимас. В «Единстве» был, домой ехал, а банка сама к тебе повернула. Как у тебя рожь?

— Примерно половина. Думаю, во вторник перейдем на пшеницу.

— Значит, слово сдержишь, дружище?

— Если черт ножку не подставит.

— А ты черта по ножке! Молодец, Тракимас, молодец!

— Механизаторы стараются...

— Механизаторы!.. Не скромничай, Тракимас, ты еще вытянешь колхоз в передовые. Уже сейчас по ряду показателей на верх сводки вылез.

— Молоко вот упало, товарищ Смалюконис.

— Тяжелое лето, жара. А ты поищи резервы, Тракимас, район должен удержать знамя.

— Зубами вцепимся, а не отдадим! Да вы присаживайтесь!

— Некогда. А что, если нам, дружище, по колхозу проехаться, с людьми пообщаться?

— Это всегда! Только вот час неподходящий — комбайны на обед остановились... А вы, товарищ Смалюконис, наверно, еще не обедали?

— В такую жару и есть неохота.

— Без обеда нельзя... Я вот тоже...

Тракимас снимает телефонную трубку, набирает номер. Он уже заразился хорошим настроением гостя. Что ни говори, не каждый день районная власть наведывается в колхоз, иной раз зовешь не до-

зовешься на собрание или торжественный вечер. А тут — заехал, доброго слова не жалеет. По доброму слову иногда просто тоскуешь...

— Рожь хорошо идет?

— По двадцать семь берем.

— Молодец, Тракимас, выше запланированной для района. Вот оно как! Значит, тянешь нас в гору.

— Если бы побольше удобрений...

— Удобрений, говоришь? Там видно будет, дружище, может, и увеличим фонды. Обещаю пока не обещаю, но... тебе помочь надо.

— Спасибо, товарищ Смалюконис...

Наконец телефон отзывается.

— Где ты пропадаешь? Звоню, звоню,— сердится Тракимас.— У меня гость, мама. Приготовь обед на двоих, ну, знаешь...

Он и раньше так звонил матери: приготовь обед, скажи детям... Она чаще всего подходила к телефону. Желю не звал, даже, бывало, не вспоминал о ней целый день — знал: придет и застанет на месте. Как диван в гостиной, охотничье ружье на стене; все ведь казалось привычным и надежным. А сейчас едва вспомнит про дом, как сразу обжигает мысль — е е нет. Интересно, Смалюконис уже знает? Чтo только не спросил... У Тракимаса нет желания давать объяснения. Да и что он может объяснить?

Но Смалюконис, играя ключиками от машины, ходит по кабинету, поглядывает на стенд с диаграммами роста производства, останавливается перед листком с портретом кандидата в райсовет. «Черт, забыл сорвать,— думает Тракимас.— Еще обидится, ведь целый год...» Но гость бодро поворачивается, его широкое благодушное лицо расплывается в улыбке.

— Что же, дружище, как ни верти, а своим избирателям надо помогать в первую голову.

— Ловлю на слове! — шутит Тракимас и, взяв гостя под локоть, ведет к двери.

В тени плакучих ив прижалась к забору белая «Волга».

— Кстати, пока не забыл...

Смалюконис небрежно кладет руку на открытую дверцу машины, пальцами другой опирается на кузов. Ладно сидящий кремовый пиджак, розовая сорочка с широким галстуком в полоску, коричневые брюки, тупоносые югославские туфли. Тракимас невольно улыбается: как певец перед роялем.

— Еще весной, дружище, мы с тобой толковали. Но так все и повисло. Помнишь, конечно...

Тракимас напряженно морщит лоб — хоть убей... Весной... В сущности, недавно, а все из головы вылетело.

— Да нет вроде... Вечная запарка, не припоминаю...

— Смотри пожалуйста! Ты ко мне зашел, сидели в кабинете, насчет техники говорили, а потом... Про один такой строительный объект...

Ах! Все встает перед глазами, каждое слово давнишней беседы звучит в ушах, но Тракимас чувствует, как к горлу подступает комок. И, сам не понимая почему, пожимает плечами, разводит руками:

— Странно, но...

— На самом деле странно, Тракимас. Ладно, бывает, спорить не стану.— Голос Смалюкониса остывает, лежавшие на дверце пальцы взлетают и раздражено играют ключиками от машины.— Раз так, начнем переговоры сначала.

— Я, правда, товарищ Смалюконис... — краснеет Тракимас; и надо же было затевать эту детскую игру в прятки, но ведь и на попятную не пойдешь.

Стремительно вращаются вокруг колечка блестящие ключики, а Тракимас словно замороженный смотрит на них.

— Я тебе, Тракимас, подсказал тогда — хорошо бы на берегу озера баню построить...

— А-а-а,— протягивает, вроде бы вспоминая, Тракимас; дурацкая игра, он все больше злится на себя, хотя и пытается улыбнуться.— Вспомнил теперь.

— Ну и как? Ты тогда обещал подумать. Ладно, раз уж вспомнил, давай обмозгуем это дело...

Тракимас засовывает руки в карманы брюк, окидывает взглядом поля.

— Вообще-то я думал... — нехотя роняет слова.— Нельзя сказать, что я не думал.

— Не спорю, прибавится хлопот, но ведь не так уж много. Послушай, дружище, наряды на материалы тебе даем. Рабочую силу даем. Организационных трудностей никаких.

— Я вот думаю... что люди скажут?

— Люди? — Смалюконис раздражается смехом и тут же замолкает, словно поперхнувшись.— Что — люди? Колхозники сами этой баней пользоваться будут.

— У них свои баньки есть — с каменкой да вениками. И при механических мастерских у нас душевая построена.

— Не валяй ты дурака, Тракимас! Вон Тамашаускас баню соорудил. И что люди говорят? Ничего они не говорят. Да если слушать каждого болтуна... Эх, дружище, дружище... Скажешь, мы не работаем? И за колхоз и за весь район в ответе. У нас-то есть право культурно провести время, отдохнуть? Да и гостей где-то принимать надо. Мало ли гостей приезжает? Из центра, даже из-за границы могут пожаловать... Посидеть в уютной обстановке, потолковать... Скажешь, это преступление? Люди! Людей воспитывать надо, дружище, а лишней болтовне давать отпор.

Держа руку на отлете, Смалюконис смотрит на золотые часы: мол, время идет, нечего рассусоливать. Но Тракимас не спешит с ответом. Переступает с ноги на ногу, морщит лоб, косится даже на небо — кажется, что грянет гром.

— Куда двинемся, Тракимас? Садись.

Тракимас оживает:

— Может, на ферму сперва? Скот на выгоне сейчас, но свиньи, телята...

— В телятник.

Смалюконис как стоял спиной к открытому автомобилю, так, не поворачиваясь, и забрался. Тракимас обходит машину и ждет, когда ему откроют захлопнутую дверцу.

Смалюконис правит уверенно, спокойно откинувшись на зеленоватый ковер сиденья.

— Ну как, Тракимас? — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, объясняет: — Видишь ли, дружище, у Тамашаускаса-то баня примитивна. Всего три года как построили, а безнадежно устарела. Жизнь быстро идет вперед, теперь размах нужен. У твоего озера для бани место просто идеальное. Вылитый Балатон. К слову, есть путевки в Венгрию на октябрь, съездить не хочешь? А может, в Финляндию?.. Надо осмотреться вокруг, дружище, не только у нас люди красиво живут... Проект, между прочим, согласован, рабочие чертежи готовы, объект к местности привязан. Веранда с видом на озеро, банкетный зал, две гостиные, комната для охотников. На втором этаже три комнаты для ночлега. И конечно, баня со ста сорока градусами и спуск

в воду с перилами, чтоб окунуться. Все на высшем уровне, чтоб не опозорить район... Стройматериалы, дружище, тоже не твоя забота. Не только хватит, но еще и останется. Суть вся вот в чем — ты выдвигаешь эту идею и строишь баню на свое имя, то есть на имя колхоза, конечно... Жду ответа.

Тракимас опускает стекло, в автомобиль врывается ветерок.

— Когда мы в конторе были, товарищ Смалюконис, я не показал... Потом как-нибудь покажу. В папке у меня двадцать семь заявлений. Двадцать семь колхозников, в основном специалистов, желают перебраться в поселок. И все спрашивают — когда? А если выстроим за год дома четыре, то это уже будет хорошо. Стройматериалов не хватает.

— Знаю, Тракимас. Думаешь, я не знаю? У всех примерно такие дела.

— Так вот...

— Что — вот?

— Эта баня... Люди потом рта раскрыть не дадут.

Смалюконис, бросив взгляд на Тракимаса, прибавляет газа, и машина стрелой взлетает на пригорок. Внизу блестит озеро, зеленеет лес.

— Плох руководитель, который общего языка с людьми не находит, вот что я тебе скажу, товарищ Тракимас.

Поежившись, Тракимас тупо смотрит на бегущую дорогу. Стоит ли ломаться, глупо это, чего он добьется? Мало ли трепала его жизнь, самое время бы сделать выводы. В один год с Тамашаускасом в колхозы пришли. Земля одинаковая, прочие условия примерно равны, а Тамашаускас когда уже первый в районе. Почему? Умеет! А ты-то думал — все сам сделаешь, организуешь, увлечешь за собой людей. Бегал высунув язык, прижимая каждого — по закону, в Крикштонисе с районной трибуны требовал навести порядок в руководстве колхозами. «Ничего, Тракимас, держись», — замечал тебе в перерыве кто-нибудь из президиума и тут же уходил. Ты видел, как он по-приятельски беседует с Тамашаускасом, как Тамашаускас кланяется, угощает сигаретами и все говорит не переставая. Ты желчно усмехался — а ну его! Прошел год, другой. Тамашаускас сидит в президиуме, Тамашаускас с делегациями ездит в другие районы и другие республики, Тамашаускас — член райкома, Тамашаускас — член бюро... А ты все требуешь с трибуны лимиты на стройматериалы, удобрения, комбикорма, машины. Разумеется, тебе обещают, да, обещают... а потом советуют быть спокойнее, сдержаннее... больше опираться на внутренние резервы... учиться умению руководить... «У Тамашаускаса?» — язвительно спросил ты однажды. «Да хоть бы и у Тамашаускаса», — чинно ответили тебе. В Крикштонисе, правда, на дверях кабинетов появились новые таблички с фамилиями. Но... может, только фамилии другие? Тамашаускас ведь всем угодил, не зря Смалюконис его поминает. Баню построил, в гостях отбою нет; Тамашаускас им бычка зарежет, деревенского хлеба испечет, в пруду для них форель развел. Только маловата баня, устарела баня, построй-ка ты, дружище, современную на берегу озера. Может, еще... отгородить квартал леса да ко суль за ногу привязать... Чтоб гости могли без промаха бить из ружья. Люди будут над тобой смеяться, механизаторы, плюнув, уедут — есть же хозяйства, которые могут предложить уже готовые квартиры... А ты бегай, разрывайся, горячись... Зато у тебя будет баня. Распарился, в холодную воду плюхнешься — и спокоен. Живи да веселись... в банкетном зале. А кто будет работать, кто хлеб будет выращивать, мясо, молоко давать? Кто?

— Стоп! — аж подпрыгивает на сиденье Тракимас. — Поворот прозевали. Налево...

Смалюконис, не говоря ни слова, дает задний ход и сворачивает на проселок. Подъехав к фермам, останавливается в тени сеновала. Тракимас вдруг забывает все: он — хозяин и горячо объясняет гостю, сколько здесь телят, какого возраста, какой упитанности, сколько мяса продали государству и сколько еще продадут. Смалюконис как будто и не слышит, равнодушным взглядом обводит телятник, засовывает голову в комнату отдыха.

— Мусор, — морщится он. — Не можете прибрать? Ни плакатов, ни газет...

Поглядывает на телят, шупает лоб одному, другому, поморщившись, добавляет, что плохо чистят закуты, поилки тоже не ахти что... Почему в «Единстве» у Тамашаускаса все так и блестит, сразу видно, что человек заботит о приплоде, то есть привесе...

За фермой Юргис Сенавайтис сгребает с земли навоз и швыряет в кучу.

— А где же техника? — спрашивает Смалюконис.

— Есть и техника. Все на жатву бросили...

Сенавайтис хохочет. Кладет обе руки на черенок вил и пялится мутными глазами на Смалюкониса. И снова хохочет. Тьфу!

— Стало быть, ни бе ни ме? — ухмыляется он. — Не узнаешь, начальничек?

Посмотрев исподлобья на Сенавайтиса, Смалюконис как-то слиш-ком уж беззаботно отвечает:

— Район большой, населения много... Каждый день новые люди...

— Да, Смалюконис, где уж ты меня узнаешь. Высоко взлетел.

— Вы так говорите, товарищ... Кто вы?..

Тракимас пытается увести Смалюкониса.

— Не обращайтесь внимания, лучше пойдем.

Но Смалюконис любит все выяснить до конца.

— Вы, товарищ, видно, не знаете, с кем говорите?

Сенавайтис хихикает:

— Да я тебя знал, когда ты был, можно сказать, вот с эту кучку навоза...

— Сенавайтис, кончай! — бросает Тракимас, но Сенавайтис и слышать не хочет.

— Костюмчик черный, башмачки блестят, в школу идет, булочку жует, что мама испекла... По воскресеньям — в костел. А я бандитов тогда бил! Твою жизнь защищал...

— Народный защитник? Что-то вроде помню... Сенавайтис? Но как это вы? — Смалюконис растерянно обращается к председателю. — Как же он так... народный защитник?

— Может, выпил человек немножко.

Сенавайтис не слышит и не видит Тракимаса.

— Удивительно тебе, да?.. Тогда ты даже в пионеры не вступал, мамочка не пускала. А сейчас белая «Волга», начальник! А я-то с винтовкой ложился и вставал, Советы создавал. А сейчас в навозе ковыряюсь, тьфу!

— Наверное, сами виноваты!

— Да нет, не жалею, что так вышло. Я никакой работой не гнушаюсь. Но нет поганей, когда на твою шею садятся всякие... Что, не нравится? Правда, она всегда глаза колет.

— Ваша правда, товарищ Сенавайтис... извините, я не хочу сравнивать.

— А ты валяй прямо, я человек простой. Мой первый партбилет

бандиты прострелили. Вот тут! — Сенавайтис задирает рубашку, выпячивает мохнатую грудь, помеченную рваным шрамом под левым соском. — Тут! На два сантиметра выше — и в сердце, можно сказать. В сорок девятом, пятого октября.

Смалюконис растерян; достает из внутреннего кармана пиджака белый платок, смахивает пот с лица, долго трет ладони; словно стесняясь наготы Сенавайтиса, отводит глаза.

— Ваше прошлое... прошлые заслуги, какими бы они ни были, еще не дают права оскорблять...

— Конечно! Куда теперь мне! Это прежде...

Смалюконис оглядывается, видит Тракимаса и, кажется, только теперь вспоминает, что он не один; приблизившись, раздраженно шепчет:

— Почему молчишь? Выставил на посмешище? Может, и сам... в рабочее время пьян?..

Запнувшись, машет рукой — хватит, мол, — и, по-всегдашнему прямой и степенный, удаляется мимо фермы. Тракимас с минуту стоит остолбнев, потом подбегает к Сенавайтису.

— Что ты наделал? Ты понимаешь, что натворил?

Сенавайтис хихикает, его угловатые плечи вздрагивают.

— Пень ты неотесанный...

Тракимас сжимает кулаки, вот-вот ударит изо всей силы Сенавайтиса, но только прижимает их ко лбу и, громко вздохнув, уходит.

— Председатель! — догоняет его голос. — Рублик бы дал...

Не оборачиваясь Тракимас бредет по проселку.

Когда он открывает дверь комнаты, мать спрашивает:

— Гость где?

Он устало подходит к круглому столу, на котором аккуратно расставлены большие и маленькие тарелки. Посредине красуется бутылка коньяка. Откупоривает дрожащими пальцами, наливает себе и выпивает. Потом садится на диван, откидывается на спинку.

В дверях, сложив высохшие руки, стоит мать. В чистом платье с белым передником. Смотрит на сына и молчит.

* * *

Без семнадцати три, надо спешить, и Дайнюс, не дожидаясь, пока мачеха подаст мясо, сам берет со шкафчика; может, не стоило самому, да ладно, некогда ему, да и Зося... то есть мачеха, ни разу еще не попрекнула; зря он переживает...

— Прорва работы на складе! — Отец, широко расставив локти на столе, дует на ложку. — Везут и везут, едва поспеваем через веялку пропускать.

В эти дни он редко обедает дома — трудно вырваться, — довольствуется бутербродами. И Дайнюс только вчера да сегодня пришел: сейчас по соседству работает, не будешь же терять час-другой в такое ведро.

— Добавочки, Зосяле, — просит отец.

— Мадонна, сколько раз тебе повторять! Иди кушать, все давно остыло! Хватит телевизор смотреть.

Из соседней комнаты доносится музыка, голоса; видно, идет фильм, от которого Мадонну трудней всего оторвать. Наконец Зося уходит туда с тарелкой.

— Смотри только не разлей! — слышно из соседней комнаты.

Отец неуклюже встает, долго скребет поварешкой в кастрюле. За последний год он крепко сдал, смотреть на него тяжело, до пенсии

пять жатв (ведь в жатву самая для него работа), как и дотянет... Но только ли работа сгибает его в дугу, спутывает ноги?

— После работы сразу домой приходи, — говорит мачеха отцу.

— Почему? — Отец держит ложку на весу, на стол капает суп.

— К портнихе еду.

Ложка плюхается в тарелку.

— Опять?..

— Что «опять»? На примерку.

— Я ничего не говорю, Зосяле. — Мокрые губы отца кривятся в улыбке. — Такую дорогу... за тридцать километров... и каждую неделю.

Мачеха резко оборачивается; обнаженные руки скрещены на пышной груди.

— А где прикажешь искать портниху? — спрашивает она спокойно, но в ее голосе звенит металл. — Или ты хочешь, чтоб я выглядела как деревенская? Хочешь, да?

В ушах Дайнюса звучат слова, которые она когда-то сказала... нет, которыми она три года назад смертельно подкосила отца. Может, она и раньше говорила это, откуда знать Дайнюсу. Неужто и сейчас посмеет повторить? Такими глазами смотрит на отца...

— Я что, я ничего... раз надо. — Отец кое-как выдавливает на лице улыбку.

«...Сын мой, не осуждай меня — решил жениться. Ты ее знаешь, Зося...» Дайнюс бросил письмо, хлопнул дверью кубрика и выбежал на палубу. Была темная ночь, штормило, а он стоял, уцепившись за обледеневший поручень, ловил открытым ртом холодный воздух и все равно задыхался.

Не поехал на свадьбу отца, хоть и получил телеграмму, не приехал на побывку; эти несколько дней пробродил по улицам Одессы, словно бездомный пес. Думал не возвращаться после службы, но домой захотелось; да и отца любил, соскучился по нему. Вернулся. Наслушался разговоров — и серьезных, и шуток пьяных мужиков.

Дайнюс еще учился в школе, когда Зося стала работать в буфете около автобусной остановки. Веселое это было местечко; гремели пьяные песни, звенели, разбиваясь, бутылки. Если пьяного спрашивали: «Где был?» — тот отвечал: «У Зоси». Мужья так и женам объясняли: у Зоси опрокинул кружечку... У Зоси соседа встретил... У Зоси селедки достал... Все у Зоси да у Зоси. Когда умерла мать и Дайнюс уехал служить, отец зачастил в буфет. Брал бутылочку пива, долго тянул, украдкой поглядывал на Зося. Иногда перекидывался с ней словом. А та со всеми ласковая была... В конце года нагрнула ревизия. Недостача чуть ли не в три тысячи! Буфет закрыли, всех поклонников Зоси словно ветром сдуло. И вот однажды вечером, рассказывают, пришел отец и, потоптавшись у двери, предложил: «Я покрою...» Нет, вначале он, наверно, обмолвился о беде, которая с ней стряслась, потом, пожалуй, намекнул, что она ему приглянулась, а он так одинок — трудно человеку одному. Зося слушала его и молчала. А потом уж он, наверно, и предложил: «Я покрою недостачу, Зосяле». Может, еще что-то добавил, но Зося показала на дверь. Он ушел. Через два дня она явилась сама... И, наверно, в тот самый день отец написал письмо ему, Дайнюсу.

И еще рассказывали... Когда родилась дочь, деревня, посчитав на пальцах месяцы и дни, решила: тоже недостача. Оно, конечно, родятся и раньше сроку недоноски всякие. Но чтоб такая крупная семимесячная девочка — это уж увольте! Бабы, бывало, прямо в лицо удивятся: «И в кого эта девочка? Ни в отца, ни в мать...»

Зося нарекла дочку странным, святотатственным именем — Мадонна. Как бы плюнула этим именем всей деревне в лицо.

— Было там чего или нет, но твоя мачеха — молодец баба, старик может спать спокойно, — сказал Варгала. А потом пояснил: они, мол, бились об заклад, изменяет Зося старику или нет. Нашлюнас на десять бутылок коньяка спорил — возьмет, мол, Зосю, и точка. А потом явился в механические мастерские с поцарапанной харей и сказал: «Вот жаба подколодная!..» Вечером выставил коньяк, и хлестали мужики до утра.

— Любит старика, — убежденно сказал Варгала. — Такая мода нынче: до замужества гуляй, а вышла — завязала! Одним ключом отпирать.

А как-то, когда Зося собралась в город, отец упрекнул ее: мол, зачем сейчас, сено в поле, другой раз съездишь... Зося выпятила грудь, подбоченилась и рубанула:

— Думаешь, раз купил меня за три тыщи, то и будешь держать на цепи?

Отец сгорбился и понурил голову, не выдержав Зосиною взгляда.

— Я тебя... из тюрьмы... вытащил, — пролепетал он.

— Из одной тюрьмы вытащил да в другую посадил... Вот так!.. И заруби это на своем старом носу! Запомни раз и навсегда!

Дайнюс не сумел тогда заступиться за отца, сказать такое слово, чтобы Зосе стало стыдно. Он сам застыдился и бросился вон из избы.

И сейчас... и сейчас, наверно, у нее на кончике языка эти самые слова...

Без шести три... Он опаздывает. Хотя тут недалеко, десять минут ходу.

— Езжай, Зосяле. — Отец чуть не подавился куском; он виновато улыбается. — Сигарет поищи, если время будет. Тут «Примы» нету, а от других кашель душит.

Дайнюс выпивает стакан молока, встает. В соседней комнате перед зеркалом причесывается мачеха.

Дайнюс нажимает на ручку двери.

— Мадонна пока у Марчюконисов побудет.

— Последний автобус... в десять приходит.

— Знаю! Да вряд ли успею. И суббота сегодня, в автобус не толкнешься.

На дворе Дайнюс прислоняется спиной к углу дома, через рубашку чувствует, как нагрело солнце кирпичи. Деревца еще с кнутовище, тени не дают. Много лет пройдет, пока вырастут, и отец не дожидется таких деревьев, как там, над озером... Неужели отец слепой? Никогда никому не чинил зла, и вот...

Стучит вдалеке комбайн, ровно три, а еще десять минут дороги... Надо спешить... И все стоит напрягшись, ждет, когда же скрипнет дверь. Наконец-то... Медленно делает шаг, другой, подстраиваясь к отцу; вдвоем выходят на дорогу. Молчат. Отец машет руками, несет отяжелевшее тело. Руки Дайнюса засунуты в карманы брюк, он на голову выше отца и в плечах шире. А может, просто отец сдал за последний год.

— Папа, — Дайнюс сглатывает слюну, — не тяжело там, на складе?

— Нет, мешки таскать не надо, все механизировано.

— Все равно... Пыль...

Отец машет рукой, смотрит на дорогу, но наверняка ничего не видит, перебирает ногами, как загнанная кляча.

— Мне сюда, папа, — Дайнюс перескакивает канаву, — я спешу...

— Счастливо, сынок.

— Бывайте, папа...

Дайнюс бежит по жнивью.

* * *

После обеда Крейвенас отправился на лодке в лес, сгреб сено (сухое, сунь спичку — вспыхнет что порох), сложил две высоких копны. Теперь может хоть до морозов стоять; слежится, усядет, а место высокое, не затопит осенью-то. Возвращаясь, увидел под дубом костер: полуголые парни варили уху, оглушительно гремел транзистор. Крейвенас подошел к ним, попросил потушить костер. Парни отнекивались, отпускали шуточки, и Марчюс погрозил, что сообщит леснику. Огонь залили водой, зато пустили транзистор на всю катушку, один из парней в диковинной шляпе с широкими полями истошно завопил какую-то песню.

Близился вечер, и Крейвенас растопил баньку. Зима или лето — через субботу он разводит в каменке огонь: что может быть лучше, как погреться на полке да отхлестать себя березовым веником. Пускай молодые в озеро лезут, а для стариковских костей жгучий пар — самое что ни на есть лекарство. А сегодня вдобавок такой день... такой вечер.

В стоптанных башмаках на босу ногу, в чистой рубашке Марчюс плотно закрывает дверь бани, чтоб не остыла: вдруг жена вздумает попариться или сосед увидит, что курится дымок, и пожалует. Поворачивается лицом к озеру — безмятежному, розовому в лучах садящегося солнца, — смотрит на лес за ним, глубоко втягивает в легкие чистый душистый воздух, и на душе становится ясно и хорошо. Сует полотенце под мышку, берет мыло и, простоволосый, медленно выходит на тропу.

Кто-то вроде мелькнул за кустами. Марчюс оглядывается — из ольшаника появляется старушонка. В одной руке палочка, в другой — горшок, перевязанный веревочкой.

— Не Гарбаускене ли, часом? — спрашивает Крейвенас, хотя и знает, что это она.

Старушонка ставит горшочек на тропу, заправляет седые прядки под платок, сгорбившись, смотрит на него; она в каком-то выцветшем балахоне, босая.

— Нездешний, наверно.

— Крейвенаса не узнаешь?

— А-а, Крейвенас, боженька мой! — радуется старушонка. — Близехонько еще вижу, ягод и то набрала вон сколько — богатый нынче год, — а издали человека не признаю.

— Старость не радость, Гарбаускене, ничего не попишешь. И так держишься молодцом, ты же меня старше...

— Да как сказать, Крейвенас, одногодки мы с тобой...

— Пускай, — уступает Марчюс.

— Одногодки, Крейвенас, одногодки! Как подумаешь, боженька ты мой, всего ничего осталось, а жить хорошо...

— Хорошо жить. Радио слушаешь, газеты считаешь — до всего тебе дело есть.

— До всего, Крейвенас, очень даже до всего. Вот я могла бы дома сидеть, ан нет. Наварю ягод, ребятам будет.

— Приезжают? — спрашивает Марчюс и тут же смущается: зачем спрашивать, разве он не знает!

— Приезжают... — тихо говорит старушонка. — Да все некогда сыночкам-то. Большие люди они у меня, занятые. А навещают, грех жаловаться. Альбинукас вот был, помнится... и Юргитис...

Всем она так отвечает... Неужто она верит, что никто в деревне не знает правды? После смерти мужа Гарбаускене долго перебивалась одна, пока сыновья не уговорили ее продать дом. «Поживешь у нас, мама, зачем тебе маяться». Продала избу, амбар, большой сад, уехала в город. У Юргиса поселилась, у старшего. Ему и деньги дала на ко-

оперативную квартиру. «И для тебя, мама, комната будет». Вселились, комнаты разделили, а матери... «Ну зачем тебе, мама, отдельная, на диванчике переспешь». Жила, но сноха все кривилась: мол, неудобство-то какое, только грязь разводит. Позвал к себе Альбинас. Прописал ее. Они как раз ждали новую квартиру, говорили всем: матери комната нужна. Прошел год, въехали — и опять то же самое. Жена Альбинаса возьми и скажи: «Мама, Юргису ты все деньги сунула, а пожить у него не хочешь...» Как мышь под метлой, просидела зиму, а в прошлом году весной вернулась в деревню к незамужней сестре в избенку, которая еще крепостное право видела. Сестра принять-то приняла, но и весть разнесла по всей деревне.

— А как же, Крейвенас, приезжают... Хорошо живут сыночки. Да и я, слава боженьке... Пенсию власти сами домой приносят, хорошие власти, дай им боженька здоровья. Еще ягодок да грибков наберу — много ли мне надо, вот бы только в глазах не потемнело да чтоб детям было хорошо.

Поднимает горшочек за перевязь, устало кивает головой.

— Побегу я, Крейвенас. Спасибо, что меня разглядел.

И семенит, отталкиваясь палочкой, в сторону ольшаника, откуда пришла.

— Гарбаускене! — Голос Крейвенаса срывается. — Ты не туда идешь, Гарбаускене...

Старушонка останавливается, водит головой, постукивая вокруг себя палочкой, и вздыхает:

— Вот, боженька ты мой...

Крейвенас провожает ее взглядом, поеживается. Наверно, прокладно стало, да еще после бани...

У гумна снова смотрит на озеро, на алеющее вечернее небо и на далекий лес и будто видит в тумане избенку Антасе с заколоченными окнами, пустой вишенник, красные георгины у забора... И горшки на цитакетинах... Почему жена сказала ему это?

— Отец?

Покачнувшись, как от удара в спину, тащит к избе онемевшие ноги. Лучше бы не говорила. Ведь если не знать, можешь без конца удерживать все при себе, думать, что где-то теплится огонек, слабенький, гаснущий, но ты хоть издали можешь погреть у него озябшие руки.

— За смертью тебя посылать! — сердится жена. — Корову в хлев загонишь, подоена. Не тяни.

— Баня растоплена, — напоминает Марчюс.

— Есть у меня время!

Вешает на забор полотенце, кладет на столбик мыло; думает: надо бы одеться; берет из сеней пиджак, сует ноги в галоши; солома в них теплая, видно Петроне только что разулась. А жена у него неплохая, грех жаловаться. Ладят ведь, уже сколько лет ладят... Поначалу, правда, долго тыкала в глаза Антасе. Даже при людях пеняла. Марчюс молча забивался куда-нибудь, думал, что это из-за него пропал Миндаугас. Потом жена притихла, успокоилась. Ему самому уже все это казалось сном; чем дальше, тем реже вспоминалось. А вот сегодня все ожило... Когда жена сказала ему об этом, лицо у нее, заметил Марчюс, было точь-в-точь таким, как когда-то... И глаза и голос... Он подумал: ни о чем она не забыла, оказывается. Да уж, не забывчивая у него жена...

— Отец!

Хлопают двери хлева, гремит железный засов. Марчюс вытирает галоши о траву у забора.

— Совсем уж, отец... — ворчит в дверях Петроне; она в новой юб-

ке да желтой блузке в черный горошек. И в туфлях.— Куда бутылку засунул?

— В сенцах, за мешком.

— Нашел место.

Выстроившиеся по краям стола пустые тарелочки окружили кушанья: отварное мясо и копченое сало, окорок из магазина и сосиски, горка черного и белого хлеба; посредине огромным боровиком высится стеклянная ваза с пышками, посыпанными сахарным песком. Крейвенас робко оглядывается — растерянно, словно гость. У окна стоит Стяпонас, на краешек кровати присела Полина, к ее коленям прислонился Марюс. В углу — чемоданы, узлы.

— Сядем, что ли,— говорит Крейвенас и, расположившись в конце стола, ставит перед собой бутылку; повертев, поглядев на этикетку, скovyривает ногтем пробочку.

Стяпонас бросает кепку на чемодан, проводит рукой по длинным волосам. Его движения медленны и неуклюжи, словно он смертельно устал.

— Стяпонас, ну...

— Сядем,— говорит Стяпонас и трогает жену за плечо.— Давай, Полина.

Марюса они сажают между собой. И один и другая почему-то глубоко вздыхают, уставившись на стол.

Вбегает мать, расставляет стаканы.

— Вроде длинный день, а бежишь, бежишь и не успеваешь,— говорит она.— Не сиди именинником, отец, разливай.

— Шаруне! — зовет мать, оборачиваясь на дверь.— Не забыла ли чего? Рюмку вот кокнула, да мы с отцом из одной. Шаруне, живо!

Шаруне появляется на пороге — легкая и стройная, распущенные волосы падают на плечи, губы подкрашены, брови подведены.

— Мухоморами объелась? — корит мать.— Раз уж не приехал, то и не жди.

— Нужен он мне! — надувает губы Шаруне, пытается рассмеяться, но только страдальчески кривит рот.

Мать придвигает для дочки стул, но Шаруне садится на высокий табурет рядом с Полиной.

— Вот и в сборе,— торжественно начинает Крейвенас; сейчас он скажет красивую застольную речь, его слово сейчас особенно нужно детям; покосившись на пустующий стул, говорит: — Вацис... Вечно он занят по горло...— И замолкает, увидев, как перекосилось лицо у Стяпонаса.— Ну, выпьем! — Марчюс торопливо осушает свою рюмку.— Да пейте! — добавляет он, наливая жене.

Стяпонас выпивает до дна, Полина тоже поднимает свою рюмку.

— Чего ждешь? — Стяпонас заметил полную рюмку перед Шаруне.

— Не лезет.

— Понятно, это вам не коньячок с кофейком,— ехидничает Стяпонас.— Вы к нему привычные...

— Можно подумать, видел.

Шаруне с вызовом выпивает, морщится, а Стяпонас медленно продолжает:

— Вацюкас-то хитрее всех. Не пьет, не курит. А если и выпьет, то с нужным человеком. Должно быть, подсчитал, сколько экономит на том, что не пьет... Или сколько пользы оттого, что выпьет.

Крейвенас налегает грудью на стол, тычет вилкой в сало, никак не подцепит кусочек. И когда Стяпонас замолкает, накладывая себе еду, заводит свой разговор:

— Гарбаускене встретил. Собачья старость у бабы.

— Я тебе так скажу, отец: каких детей вырастишь, на тех и нарадуешься.

— А ты уж сразу, мать! — сердито говорит Марчюс.

Разве можно так судить? Он-то хорошо помнит детей Гарбаускасов, на его глазах выросли. Старший одних лет с Миндаугасом, а младший родился, когда Стяпонас уже на карачках ползал. Миндаугаса нет, да и Стяпонас... Вацис... Видать, не только он в те годы говорил детям: «Земля-то не наша теперь...» И Гарбаускас, видно, то же сказал. Они-то хотели одного — чтоб детям лучше жилось. Не знали, в какую сторону жизнь повернет. О, если бы знали!..

— Разлей всем, отец.

Стяпонас хохочет — видно, все не выходит у него из головы Вацис. И, проглотив кусок, бросает:

— Иной человек вроде хорька: одна забота — о теплой да мягкой норе, а что вокруг себя воздух портит, и не думает.

— Ну и сказал! Ни два, ни полтора, — морщится мать.

— Тоже мне философ-самоучка! — пытается ужалить Стяпонаса Шаруне в ответ на его насмешку.

— Не удивляйся, сестричка. Жизнь такому научит, что слова сами из глотки прут, кулаком и то никто не заткнет.

— Видала, как вчера с Вацисом философствовал.

Стяпонас сипло хохочет.

— Ты вуз кончила, сестричка, вот и скажи мне: чего ради человек живет? — Стяпонас наклоняется к Шаруне, вглядывается в ее растерянное лицо. — Для того, чтоб брюхо набить? Чтоб все иметь? Чего ни захочешь — все под рукой... Или есть другой какой-нибудь смысл?

— Не думала я об этом, — пожимает плечами Шаруне. — Живу, и ладно.

— И все, значит?

— Не знаю, Стяпонас.

— Человек двадцать лет скрывается где-то. Может быть, его преследует страх, он боится всего, а почему — сам не знает. И у такого человека тоже есть какая-то цель?..

Шаруне рассмеялась было, но очень уж серьезно говорит Стяпонас.

— О ком ты? Кто этот... человек?

— Кто? А если это твой брат?

— Ты? Ты же не скрываешься? Может, Вацис? Так и он весь на ладони!

— Твой брат, Шаруне.

— Не морочь голову, Стяпонас. — Мать пододвигает тарелки. — Окорочу возьми, кушай... Полина!..

Стяпонас не слышит матери. Никого он не слышит и не видит, смотрит в окно.

— Какой смысл в такой жизни? Двадцать лет где-то таяться. — Вдруг он встряхивается. — Выпьем!

Выпивают все, даже Шаруне не увиливает. Мать потчует каждого, сама накладывает на тарелки, сетует, что не сумела ничего вкуснее приготовить. Потом всплескивает руками — совсем про пиво забыла! Выбегает в сени и возвращается с тремя запотевшими бутылками.

— Отец...

У Крейвенаса нечем открывать бутылки, но Стяпонас мастерски сбивает крышки о край лавки.

В стаканах пенится пиво. Марчюс, отхлебнув, отставляет стакан. Не нравится ему «казенное». Когда-то сам варил, вот это было пиво! Выпил стакана три — аж слеза прошибает, такая крепость. Сейчас ста-

рики уже не варят, дети не умеют; помои бы пили, только бы побыстрей, только бы готовое...

— Отец...

Жена напоминает ему про бутылку, а сама следит, чтобы все закусывали, чтобы ничья тарелка не пустовала. И Полину не забывает, накладывает ей полную тарелку. Полина даже руками отмахивается. Шаруне давно уже вилку отложила. Нет, спасибо, сыта, на ночь наедаться вредно. После третьей рюмки она повеселела, все вроде приободрились, но всех сковывает какая-то тревога, связывают слова, которые так и не будут произнесены. Говорят то о погоде, о нынешней засухе, о лодке Раулинайтиса, которая прошлой ночью пропала с озера... И снова. Пейте, кушайте, может, пышку?.. Помолчат и снова плетут, вяжут сеть из случайных слов. Этого не может скрыть даже грубоватый голос Стяпонаса, его невеселое похохатывание. Крейвенас понимает, как тяжело Стяпонасу сейчас, в этот вечер. А ему, Марчюсу, легко? Пожалуй, даже тяжелее. Эта тяжесть приходит издалека, проникает сквозь напластования лет, из тех времен, когда он говорил своим детям: «Дети, не будет вам здесь житья. Сами видите, земли нет. Не наша она, не накормит она вас. Помните, сколько мать принесла за год работы охвостьев? Уходите в город, ищите работу». Когда Стяпонас вернулся из армии, не чужой кто-нибудь, а он, отец, сказал: «Только не вздумай в колхозе увязнуть. Сам видишь, что творится. Воруют, пьянствуют, порядка нет. На фабрику иди, на стройку...» Не он один говорил такое. И Гарбаускас, наверно, и Марчюконис. В те дни, бывало, прискачет на лошади председатель — это тот, чей каменный дом по сей день белеет в Крикштонисе, — набросит поводья на столбик ворот и машет кулаками: «Вот оно как, Крейвенас (или Гарбаускас, Марчюконис...), детей — в город, а кто в колхозе работать будет? Кто, спрашиваю?» Бесился председатель — сносил в наказание хлева и амбары, гнили потом бревна, сваленные в кучу у конторы, — сотки нарезал такие, что ничто не росло, лошадей для огорода давал в последнюю очередь. «Я им покажу, паразитам!» — покрикивал, а на деле бил косою о камень, холодные искры брызгали, никого не зажигая. Крейвенас стискивал зубы: а вот и не сдамся, не одолеешь меня! И говорил детям: «Уходите... Только не здесь...» С тяжелым сердцем столкнул детей с земли; так птица оперившись птенцов выбрасывает из гнезда: летите и не оглядывайтесь на старое гнездо — свое вейте, в своем птенцов высиживайте. Он, Марчюс, сам перекусил пуповину, связывавшую детей с землей: перекусить-то перекусил, а перевязать не сумел — по сей день кровоточит рана.

И не то главное, пожалуй, что они подались в город. Марчюс понимает — и без его наставлений уехали бы. Но, вытолкав их из дома, не посеял ли он в своих детях семена перекасти-поля? Отобрав у них плуг и косу, не выбил ли одним махом из-под ног и землю?

— Ты помнишь, Стяпонас, что я сказал когда-то? — робко спрашивает Крейвенас. — Сказал — земля вас не прокормит. Ведь помнишь, а?

Стяпонас бросает взгляд на отца. Помнит ли? Да стоит ли сегодня об этом вспоминать? Кому от этого станет легче?

— Выпьем, отец.

— Уже тогда бога в помине не было, когда я это говорил. — Марчюс странно посмеивается. — Если б бог был, он бы мне язык скрутил...

— Окстись, отец! Совсем уж окосел. Не наливай ему, Стяпонас, довольно.

— Я знаю, что говорю! — Крейвенас, привстав, снимает с полки перевязанную белой ниткой метелку из ржаных колосьев и садится.

Почему-то в этот миг все за столом затаив дыхание слушают, как

на ладони Марчюса Крейвенаса шуршат крупные колосья, оцетинившиеся золотыми зернами.

— Хлеб,— говорит он тихо.— Свежий хлеб...

Каждый год Марчюс, бывало, сорвет ржаные колосья и, вернувшись с поля, положит их на полочку в избе. «Достатка этому дому!» — говорил он, когда все, скосив рожь, садились за стол ужинать. «Достатка»,— первой отвечала жена. Теперь она молчит. И Стяпонас... Можно подумать, все забыли об этом.

— Отец, ты же, кажется, нынче ржи не сеял,— язвительно бросает сын, и рука отца с метелкой колосьев тяжело опускается на стол.

— Нашей деревни рожь, колхозная. Нас всех эта земля кормит... это поле...

Крейвенас замолкает, повернувшись боком ко всем, смотрит в открытое окно, вроде ищет что-то взглядом.

Закатное задымленное небо озарено багровыми сполохами. Верхушки елей светятся зеленоватой желтизной. Озеро уже темное, мгла стелет на нем мягкую постель.

— Смотреть бы и смотреть... Красиво-то как, человек ты мой,— глубоко вздыхает Крейвенас и сдавленным голосом затягивает песню:

Закачались ветви дуба,
Когда нас, парней...

Замолкает; перехватило дыхание.

— Спойте, дети,— обводит всех потеплевшим взглядом и снова, откинув седую голову, затягивает:

Закачались ветви дуба...

Тишина, голос Марчюса тоже затихает. Не та песня, некому подтянуть. Даже Стяпонас... А ведь как пел когда-то! Бывало, воскресным вечером возвращается Марчюс с сыновьями от озера, и Миндаугас красивым, чуть дрожащим голосом затягивает. Отец со Стяпонасом подпевают. Все замолкает вокруг, слушает песню. Идут они втроем, рослые, косая сажень в плечах, грудь колесом, кажется, даже в избу на пригорке не войдут — не уместятся... И бабы в деревне говорят: «Лось сыновей своих вывел...» Ах, Стяпонас, почему ты так устался на лужицу пива на столе, почему кусаешь губы?

И тут неожиданно, словно вздох, раздается:

Ох, от реки да от бурной
почему, журавушка, летишь? —

тихим, ясным голосом спрашивает Полина. Вековая изба Крейвенасов превращается в слух. Много разных песен — и грустных и развеселых — слышала она, но такой еще не доводилось.

Ох, парень ты чернобровый,
почему бросаешь меня?

В расширенных глазах отражается не лесное озеро — днепровские зори освещают их светом далекого края. Полина вырывается из избы и летит в свой край, в детские дни над широкой рекой.

Ох, кинь, журавушка, перо
в холодные волны Днепра...

Стяпонас широко раскрывает рот, и Крейвенасу кажется — вот когда запоет его сын, подтягивая жене. Но он только вздыхает. Полина закрывает лицо уголком платка.

— Пышку бери, Стяпонас,— сдавленно говорит мать, Шаруне отодвигает табурет.

— Как на похоронах!..

Нервно шагает по комнате, включив радио, находит далекую станцию, где гремит оркестр, перебирает в такт ногами, вроде танцует, но тут же щелкает клавишей.

— Не получается... точь-в-точь... как на похоронах...

И выбегает во двор.

Марчюс Крейвенас не сводит глаз с мягких теплых вечерних теней за окном. Бормочет:

— Красиво у нас, говорю. Ты только посмотри, Стяпонас...

* * *

Усталый комбайн приползает под вековые тополя, попыхтев, громко вздыхает и, содрогнувшись всем громоздким корпусом, застывает. Пыльный, раскаленный, пахнущий смазкой, бензином и хлебом. К нему пристраивается еще один, потом подъезжает третий, четвертый... Стадо комбайнов готовится к короткому ночному отдыху.

Дайнюс, сняв руки со штурвала, опускает их и сидит крепко зажмурившись, а перед глазами еще плывут колосья, мельтешит необъятное ржаное поле, падают валки соломы. И усталые руки, и разбитая спина, и одуревшая от напряжения голова чувствуют — закончился день. Еще один бесконечный день твоей жатвы миновал...

Председатель тут как тут — радуется, что парни поднажали, что комбайны шли как по маслу: мол, если все без сучка и задоринки, то завтра-послезавтра — на пшеницу! Варгала тычет пальцем господу богу в окна:

— Скажите спасибо всем святым, которые мочиться позабыли.

Нашлюнас, погремев ключами, смачно ругается и открывает капот.

— Барахлит? — Тракимас хлопает его ладонью по спине.

— Никогда не можешь знать.

— Послушай-ка, Нашлюнас..

Председатель явно не знает, как подступиться; Дайнюс не первый раз замечает за ним эту нерешительность, когда надо отчитать человека или сказать ему что-нибудь неприятное.

— Послушай-ка, Нашлюнас, откуда ты достал эту пружину?

Нашлюнас усердно копается в моторе, что-то бурчит под нос, кажется, насчет «жаб» да «змей».

— Слышишь, о чем спрашиваю?

— Какую еще пружину?

— Не придуривайся...

— Купил. А что?

— У кого купил-то?

Нашлюнас хохочет — лицо чумазое, одни зубы видны:

— Это уже мое дело, председатель.

Тракимас молча смотрит на замасленные пальцы комбайнера.

Дайнюс осматривает свою машину, проверяет все, что только поддается проверке при горячем двигателе.

— Послушай-ка, Нашлюнас. — Голос Тракимаса теперь звенит, как натянутая струна. — Может, довелось слышать, кто комбайн в «Единстве» на части разобрал?

— Не доводилось.

— А может... твоих рук дело?

— А ты видел, председатель? Ха, ха, ха!

— Да не смейся ты, я серьезно спрашиваю!

— Сказано — купил! И не цепляйся, председатель, ладно? Ничего же не выйдет, жаба пупырчатая!..

— Радуетесь, что за руку никто не поймал?

— Да купил я! — со злостью кричит Нашлюнас. — А если не нужна пружина, хоть сегодня продам. И четвертак верну!

Тракимас молчит. Ведь не скажешь: продавай... то, что нужно позарез, из рук не выпустишь, хоть и...

Едва ли сам Нашлюнас руку приложил, думает Дайнюс. Известный трус, на такое дело не пойдет. А вот что покупает краденое — знал; что ж, и председателю это ясно.

— Смотри, а то поздно будет! — предупреждает Тракимас и торопливо уходит.

Подождав, пока председатель удалится, Варгала хмыкает:

— И хитер же ты, как погляжу!

— У тебя учусь, гад полосатый!

— У меня-то? — Варгала растерянно оглядывается и заходит за свой комбайн.

— Хотите, мужики, сказку? — Нашлюнас потирает руки, глазки у него блестят. — Хотите, а?

— Детям побереги, — хмыкает Варгала.

— Эта для взрослых, змея подколодная! Сказку для взрослых слышал, а?

— Ладно, давай.

— Так вот, чтоб вас жаба драла... Жил-был однажды гражданин Блат. Что без него человек? Ничто! Соску и то не купишь. Не говоря уж о туфлях, шифере или проклятых запчастях. Если ты с Блатом в ладах, он все для тебя достанет. И тут, гад-перегад, постановление — покончить с гражданином Блатом. Нельзя же дальше так, граждане! Пора похоронить этот пережиток. Положили в гроб, крышкой накрыли. Заколотить надо. Да, заколотить... а гвоздей-то нету, чтоб вас змея съела!.. А где достанешь их без Блата? Делать нечего, отпустили его; Вот и здравствует гражданин Блат. По сей день всех выручает...

Нашлюнас заливается хохотом, аж ногами сучит от наслаждения.

— Чего не смеешь, жабы рогатые?

— Грустно... — говорит Варгала, катая в пальцах сигарету.

— Грустно? Почему грустно?

— Что выпустили этого твоего Блата. Когда тебя в ящик сунут, уж не выпустят.

— Почему меня, жаба зеленая? Почему?

— Могли бы и меня, конечно... — смиренно соглашается Варгала.

Теперь уже смеется Дайнюс. Долго смеется, а потом горько задумывается: видно, не зря говорят — каждого механизатора или водителя можно без суда сажать в тюрьму: откуда же он берет запчасти? И не для себя комбинирует — для колхоза. Вот так, из-под полы, не раз и Дайнюс без зазрения совести покупал разную мелочь, без которой с места не сдвинешься.

Удостоверившись, что комбайн завтра пойдет как часы, Дайнюс поворачивает домой. Отец успел вернуться со склада и молча бродит по двору, сердито поглядывая на дорогу. Мачехи еще нет: Дайнюс уверен — сегодня она и не вернется. «Портниху дома не застала, долго ждала», — скажет завтра. Не раз ведь уже отвечала так.

Дайнюс долго умывается, садится за стол. Больно смотреть на отца, который, едва загудит вдали машина, кидается к окну и впивается взглядом в сгущающиеся сумерки.

— Папа!.. — вырывается у Дайнюса. Он должен... обязан что-то сказать.

— Ты меня? — поворачивается от окна отец.

Дайнюс отодвигает тарелку.

— Не хочется, — говорит он. — А ты почему не ешь?

— На меня не смотри... Но ты хотел мне сказать другое. Говори, Дайнюс.

Отец садится напротив него, сжимает коленями сплетенные руки. Чтоб не задрожали?..

— Я осенью на заочное поступаю...

— Хорошо, Дайнюс. Пока молод... Но мы это уже обговорили.

— А я и забыл... правда...

— Ты будешь хорошим инженером. Только...

— Что, папа?

— Да нет, я знаю, сынок, что ты все равно останешься здесь...— Серые глаза отца изучают столешницу, потом он поднимает глаза на Дайнюса; брови вздрагивают.— Запутался я в своей жизни-то. Но ты ведь не осудишь; мне так хотелось тепла... Семь лет твоя мать почти не вставала...

— Не надо, папа...— Дайнюс кусает сухие губы, мотает головой.

— Может, я был недостаточно добрым к ней...— Отец, не слушая Дайнюса, продолжает ровным сдавленным голосом: — Не спросил ее даже, когда в колхоз пошел. Предложили работать бухгалтером — не отказался. Смешно вспомнить, какая тогда была бухгалтерия. Да я и сам мало чего смыслил. Как-то утром нашел записку, за щекоткой была: «Если будешь служить большевикам — аминь». Потом вторая записка... Мать со слезами просила: бросай все, уходи. Я молчал, стиснув зубы. Уйти с дороги? А кому ее уступить, дорогу-то? Кто пойдет по ней? Нет! Ты малышом был, не помнишь. Слава богу, что не помнишь. Как-то возвращаюсь вечером, а они в саду под деревьями ждут. Не знаю, как проморгали, что я портфельчик со всей бухгалтерией в крапиву швырнул. Наставили автоматы и хохочут: «Сведем-ка счета, бухгалтер!» Швырнули мне лопату: копай себе могилу. Медленно ковыряю землю под яблоней — помнишь, старую, антоновскую — да поглядываю искоса на троих вооруженных. Майский вечер, за садом да ольшаником блестит в озере вода. А сырая земля пахнет, а жить хочется... «Живей!» — ткнул один из них дулом в спину, а я как вдарю ему лопатой по рукам — и к озеру! Вжикнула пуля, обожгла плечо, они бежали за мной, гнались. Я кинулся с берега в озеро, нырнул, притаился в молодых тростниках. В деревне разлаялись собаки. На берегу ругались. Потом захлопали выстрелы откуда-то со стороны, рядом вскрикнули, и я понял — народные защитники идут. Спасибо Сенавайтису, если б не он со своими ребятами... Когда вернулся, мать лежала без сознания, а ты спал — тебе тогда шел пятый годик.

— Помню немножко,— негромко говорит Дайнюс.

— И даже после этого я не уступил им дороги. А мать все чахла да чахла, возил я ее по докторам, по больницам — и ничего. Не был я добр к ней...

Гложет отца непонятная тоска... А разве ты мог быть другим, отец? После бесконечной маминой болезни ты захотел выпрямиться, поднять голову и оглядеться, но... что-то ослепило тебя.

— Я никогда не говорил с тобой, сынок, о самом тяжком. Верил, что ты меня и без слов понимаешь.

— Я понимаю, папа...

— Но ты же хотел мне что-то сказать.

— Да, папа.

— Говори. Хотя я и сам знаю...

На улице взрывается машина, отец втягивает голову в плечи и прислушивается.

— Пойду прогуляюсь,— говорит Дайнюс.

Комната пахнет побелкой. Койка, стул — вот и вся мебель. Временно, конечно, а потом Дайнюс наведет у себя уют...

Он с ног валится от усталости, но ведь не заснет... Шаги отца, его тяжелые вздохи долго не дадут спать. Дайнюс бредет в кино.

На экране бушует море, вспененные волны швыряют корабль. Народу даже в последних рядах немного... Мало кто приходит сюда, когда можешь дома лежа смотреть телевизор. И Дайнюс редко заглядывает — показывают всякое старье. Сегодня даже название не посмотрел и у билетерши не спросил. Оборачивается: за спиной развалился старик Марчюконис.

— Какая картина, дядя?

— Импортная.

— Название-то какое?

— Импортная, говорят!.. Не мешай, ягодка... — Марчюконис дышит ему в лицо перегаром.

...Шторм крепчает, волны швыряют корабль, в каютах мечутся люди, радист потерял связь с материком... Дайнюс был в девятом классе, когда на сцену прямо перед экраном, на котором целовалась парочка, из темноты вылезла корова и истошно замычала. Завопили дурными голосами бабы и бросились к двери; запищали перепуганные дети. Вспыхнул свет, и правда — на сцене стояла самая что ни на есть живая корова, мотала рогатой головой, а в дверцу за сценой бросились два паренька. Шум, смех, ругань! Сидевшие ближе к двери мужики выбежали на двор и поймали озорников — Нашлюнаса да Симаса Раулинайтиса. Пошутить, видите ли, решили с пьяных глаз; нашли на клевернице корову Сянкуса, притащили и запихнули в дверцу. По пятнадцать суток схватили они тогда, наверно, по сей день помнят... Вода захлестывает корабль, на палубе паника, радио не работает, а волны все выше...

Дайнюс вздрагивает, поднимает голову. На экране и в зале темно, скрипит стулья, кто-то свистит в углу, кто-то кричит:

— Давай узелок вяжи, раз пленка порвалась!

Вспыхивает свет, освещая плакат на стене: «Привет передо-ви кам ж а т в ы!» Около плаката стоит Шаруне. Их глаза встречаются. Шаруне улыбается. Дайнюс поднимает руку.

— Только сейчас? — спрашивает, когда Шаруне опускается рядом.

— Только.

— Хорошо...

— Что хорошо? — Горят в наступившей темноте ее глаза, и Дайнюс не знает, что ответить.

На экране снова колышется море, три «робинзона» строят шалаш.

— Господи, какое старье, — шепчет Шаруне.

— Не мешайте, — ворчит за спиной Марчюконис громко, на весь зал.

Шаруне оглядывается через плечо и презрительно фыркает, ее жаркие пальцы сжимают локоть Дайнюса.

— Нравится?

— Глупость какая-то, — говорит он и, помолчав, добавляет: — Уйти, что ли...

— Поздравляю!

Шаруне встает с кресла и, отпустив локоть Дайнюса, идет к двери. Уверена, что он побежит за ней. А он вот нарочно с места не стронется. Скрипит дверь, за ней исчезает Шаруне, и Дайнюс, еще успев подумать, что все равно не следит за экраном, вскакивает, бежит по проходу, задевая кого-то. Слышит, как хмыкает Марчюконис.

Летние сумерки не густы, видно далеко. На дороге стоит Шаруне.

— Может, досмотреть хотел?

— Чепуха!

— Я немножко пьяная. — Шаруне прислоняется к плечу Дайнюса и

тут же отступает.—Стяпонаса провожали. Не выдержала я: настроение, как на похоронах.— Она смеется звонко, с переливами.

— Чему же ты радуешься?

— Я не радуюсь... Каждый едет за своим счастьем...

— Нет, Шаруне, нет. Каждый человек, на какой бы станции он ни вышел, все равно остается самим собой... Разве можно убежать от себя, от трудностей?

Они идут черепашным шагом, и Дайнюс знает — ни ему, ни Шаруне не хочется домой. Тихая ночь, дорожная пыль излучает пряное тепло, молчат кусты сирени, яблоньки. Кое-где из окон бьет свет; на дорогу ложатся черные кружева — тень заборов и деревьев.

Из открытых настежь окон избы Раулинайтиса доносятся громкие мужские голоса, звон бутылок. И вдруг кто-то затягивает:

Все собаки лают,
Лапы поднимают...

Пьяные голоса разом подхватывают:

Только наша шавка — нет!

Ревут на всю улицу.

— У нас на хуторе хоть пьяных песен не услышишь...— Шаруне качает головой.— И зелени больше...

— Летом лучше у озера, конечно. Но и в поселке вырастут деревья, Шаруне...

Ой, Зузанна,
Скажем прямо —
Жизнь на диво хороша! —

тянут мужики песню, не щадя глоток.

— Тебе не жалко старый хутор?

Дайнюсу нелегко ответить прямо: нет, не жалко. Ведь не поверит Шаруне, да и он сам...

Выпьем, выпьем, выпьем!
Выпьем, выпьем, выпьем!
Выпьем и опять нальем!..

Кажется, крыша избы приподнимается от этого рева.

— Давай пойдем т у д а, Шаруне.

— Пошли!

Они сворачивают на незаметный проселок, ведущий к озеру. Идти бы так и идти, чтоб никогда не кончалась эта дорожка, как в школьные годы. Дайнюс не верит в чудеса: одну дорогу не пройдешь дважды. Шаруне пошла своей дорогой, а разве он торчит обомшелым верстовым столбом? Он тоже идет своей дорогой, ведь не всем дано тянуться гуськом.

— Здесь стояла наша изба.— Дайнюс рассказывает как о седой старине.— Там был хлев, а напротив гумно... Ты ведь помнишь, Шаруне?

— Твой отец тогда позвал нас с берега и сказал... Ты ушел с отцом в избу, а я осталась в лодке, долго еще сидела в ней.

Дайнюс находит руку Шаруне, крепко пожимает: значит, она не забыла тот день, она все помнит.

— Здесь старые липы росли, а здесь сад. А груши какие вкусные! — вспоминает Шаруне.

— У дорожки в саду антоновка, отец под ней себе могилу копал...— У Дайнюса пересыхает в горле.

— А сейчас...

— Сейчас клеверное поле.

— Жалко тебе родные места, знаю,— твердо говорит Шаруне.— И будь человеком, не изображай героя.

Дайнюс стоит на клеверище, он как сейчас помнит, что здесь росла береза, из которой отец по весне брал вкусный душистый сок. Мимо нее к озеру спускалась тропинка — сколько раз он пробежал по ней... Жаль этих мест?.. А разве не было жалко расставаться с игрушками, хотя их у него, можно сказать, и не было? Хотелось побыстрее вырасти, боялся насмешек: мол, ребенок еще!.. Жалко и старый костюм выбросить — столько лет носил, на танцы в нем ходил, девушки брызгали на лацканы дешевыми духами.. Но рукава обтрепались, и ты из него вырос. Надо! Со многим приходится распрощаться, если решил жить лучше. Крестьянину и курную избу когда-то покидать было жалко, но ведь не остался он в ней жить!

— И не в этом даже суть, Шаруне, не в этом. Раньше трудно жилось, люди мыкали горе, но верили — станет лучше; не им, так их детям, об этом даже песни сложили. И для полного счастья тогда им не хватало только хлеба. А сейчас, ты послушай, Шаруне, человек сыт, одет, при деньгах, его уже не заботит завтрашний день. Он уверен, что с голоду не умрет. Человек машинами управляет. За день я убираю такое поле, какое вся деревня когда-то не могла скосить. Я сам, понимаешь? И все-таки недостает чего-то... Знаю: завтра сяду на еще более мощную машину, сделаю еще больше, а дальше что? Ну, построю квартиру, куплю машину. Хорошо, а дальше что? Дальше-то? Может, я правда псих? Но ты не знаешь, что это такое, когда ты садишься на трактор и срываешь с лица земли цветущий сад. Пусть старый... Пусть ты посадишь потом новые... Но сейчас ты едешь, валишь яблони, и словно белое облако взлетает яблонев цвет. Или валишь облепленные яблоками деревья, давишь их гусеницами. Знаешь, что так надо. Что людям за каждую яблоню заплачено сполна. Государство заплатило. А все-таки, если бы ты увидела, какими глазами смотрят эти люди на умирающий сад. Садил-то его не для денег, не для корысти — для красоты садили деревья. Можно ли возместить красоту деньгами? И вот что еще скажи: посадит ли когда-нибудь с чистым сердцем новый сад человек, уже видевший однажды, как по этой его красоте проехался гусеницами трактор? Его будет преследовать мысль — все временно... Послушай, Шаруне, я как подумую... Нельзя ведь людям забывать о красоте... И может, потому мне хочется быть здесь, в деревне. Ты не смейся, я серьезно говорю.

— Ты добрый чудак, Дайнюс,— с восхищением говорит Шаруне и, положив руки ему на плечи, смотрит прямо в глаза.— Ты совсем не такой, как другие.

— Спасибо, — горько бросает Дайнюс; в его голове все еще роятся мысли, мелькают вопросы...

Почему отец, проходя мимо хутора, от которого не осталось ни следа, останавливается и долго смотрит? «Здесь мы жили!» — как-то сказал Дайнюс, когда уже не было ни построек, ни деревьев; сказал торжественно и печально. Отец покачал головой и ответил: «Здесь мы маялись, сынок». Но весной, когда после ночных заморозков в лучах солнца задымились пашни, отец однажды свернул к озеру и замедлил шаг, широко раскрыв рот, вдыхал запах чернозема. А в конце июня Дайнюс увидел его у большого цветущего поля. «От этой красоты клевера душа болит», — сказал он и провел рукой по влажным глазам.

— Как-то в деревню забрел собиратель фольклора и спросил: «Где же песни о ржи-зимотерпице?» Я расхохотался: «Да там же, где косы с цепями». Он рассердился... А меня тоже злит, когда искусственно хотят сохранить старое... Может быть, я и не так понимаю какие-то

вещи, но как все это примирить... Нет, не то... Ведь я не только вижу, как все меняется, но и сам, своими руками...

Дайнюс подходит к кромке воды и смотрит на затуманившееся озеро. Потом спрашивает тусклым голосом:

— Кто этот Ауримас, которому ты сегодня звонила?

Краешком глаза замечает, как Шаруне вздергивает подбородок. Очень уж странный у нее смешок:

— Домицеле доложила?

Дайнюс спохватывается: не стоило спрашивать, конечно. Какое у него право спрашивать?

— Да не отвечай ты, не надо.

— Почему, могу и сказать.— Шаруне глядит на тот берег озера, откуда долетает радостный смех и отдельные слова.— Бывает, поверишь человеку, покажется он тебе необыкновенным, а проходит время — и видишь: мыльный пузырь.

— Ты об этом... Ауримасе?

— Может, и о нем. А может, вообще... Ты не думай, что Ауримас такой...— Плечи Шаруне вздрагивают, кажется, она вот-вот заплачет.— Домицеле погибает. Хотя я... А мне-то что, руки у меня не связаны..

Шаруне даже руками разводит, пытается изобразить улыбку, но улыбка неживая и жалкая; Дайнюс видит, как Шаруне раздирает отчаяние.

— Там весело у них,— глухо говорит она.— И костер и песни. Наверное, они голову не забивают всякими... этими...

Дайнюс поднимает руку, хочет обнять девушку за плечи, как когда-то, но только сжимает пальцы и стоит оцепенев: почему-то руки начинают дрожать.

— Там все такие, как этот твой, голову себе не забивают...

Шаруне, будто толкнули ее, отскакивает в сторону, делает несколько шагов по берегу, остановившись, смотрит на озеро — или на тот берег, где высоко взлетают искры костра и под брэнчанье гитары поет мужской голос. Она сбрасывает белые босоножки, быстро снимает через голову платье. Швыряет на луг.

— Одежду можешь не стеречь! — с яростью говорит она.

— Шаруне...

Все так неожиданно — словно на берегу вдруг появилась сказочная жестокая лауме, и он не знает, ей-богу, не знает, что сказать и что сделать.

Ноги Шаруне уже шлепают по воде, она все глубже и глубже уходит в озеро.

— Шаруне! Что ты надумала?

— На тот берег поплыву,— не оборачиваясь отвечает она.— Там веселее...

— Шаруне!

Ее загорелое тело тает в ночной тьме; плещет вода, блестят белые брызги.

Крякает дикая утка.

На том берегу мужской голос поет:

Любовь твою я унесу...

Любовь твою я унесу...

— Шаруне!

Дайнюс сбрасывает одежду и кидается в озеро. Спотыкается о камень, больно ушибает ногу, вскакивает и несется по мелководью.

— Шаруне!..

Шаруне плывет молча, она спокойно удаляется, Дайнюс, нырнув,

широко загребает руками. Болит ушибленная нога, но боль в воде затихает — скорей, скорей надо догнать ее...

— Шаруне, да что ты?.. — отфыркиваясь, говорит Дайнюс и левой рукой наконец касается плеча Шаруне. — Не шути, Шаруне... Зачем ты? Давай назад, Шаруне.

— Я хочу туда... — как маленькая твердит она. — Там весело... на том берегу...

Дайнюс берет Шаруне за руку и больше не отпускает. Шаруне не сопротивляется, и они плывут назад: как будто просто решили искупаться... Как раньше, хотя тогда они по ночам не купались, хватало и погожих дней.

Он выводит девушку на берег, не отпуская руки. И стоит на берегу, все не выпуская ее дрожащей руки.

— Какая ты еще глупенькая, Сорока...

Испугавшись, чтоб она снова не убежала, Дайнюс обнимает девушку за плечи и сжимает крепко, до боли.

* * *

Обычно Тракимас первым заикался об этом, но сегодня и в голову не пришло. За такой долгий день так доконают заботы, что к вечеру ничего больше не хочется, кроме как ноги вытянуть да голову на подушку положить. Хотя и заснуть не скоро удаётся...

После обеда его настиг телефонный звонок директора школы: пошли, председатель, а? Тракимас пошевелил лопатками, как бы сбрасывал тяжелую ношу с плеч, и ответил: пошли, попытаем счастья!..

Какое там счастье — мужская забава, да и только, но проветрить распухшую от мыслей голову полезно. Внезапный визит Смалюкониса, обернувшийся такой глупостью, не пройдет даром, конечно. Ну и гад же этот Сенавайтис!.. Залил глаза и порет невесть что. Роняет «авторитет вышестоящих лиц», скажут, примите меры, товарищ Тракимас... Четыре года назад, когда Смалюкониса еще не было в районе, эти слова сказал другой. И недвусмысленно добавил: «Таким не место в партии...»

Сенавайтис тогда еще бригадой командовал. Без спроса ворвался в контору, без приглашения сел за стол и знай молчит. Отдувается, зыркает на гостя и молчит.

— Что скажешь, бригадир? — спросил Тракимас.

— Может, и ничего, — пожал сутулыми плечами Сенавайтис. — Послушать хочу. А вы говорите. Говорите! — властно сказал он, но, видно, понял, что не хватит терпения долго молчать, и добавил: — Могу и я поговорить, ладно... Хочу у тебя спросить, председатель. Как раз сейчас, когда и власть сидит. Только ты правду говори, председатель, хоть, может, и не с руки при этом... — Он покосился на агронома производственного управления. — Скажи, чья это выдумка — укрупнение бригад? Говори как есть, председатель...

Тракимас рассмеялся:

— Жизнь этого требует.

— И все? И только-то?

— Могу шире объяснить, Сенавайтис. После укрупнения бригады производительнее можно будет использовать...

— Выкручиваешься. Я спрашиваю — кто приказал? Ладно, если этого боишься, — показал взглядом на гостя, — можешь и не отвечать. Я и без тебя знаю.

Гость из райцентра покраснел, но сохранял спокойствие и достоинство. Он ждал, конечно, чтоб председатель показал этому нахалу на дверь. Но Тракимас не спешил, он хорошо знал Сенавайтиса и давно привык к его выходкам.

— Сам знаю, что в бригадиры не гожусь. Самокритично говорю, председатель. Когда надо было в бандитов стрелять, Сенавайтис был в самый разочек. А сейчас Сенавайтис — нуль... Пока он боролся, мокроштанники вузы закончили...

— Может быть, хватит, товарищ Сенавайтис? — вежливо прервал агроном.

— Это они... оттуда дали указание укрупнять бригады! Точно знаю!

— Скажем, так. Но ведь это разумное указание. И не думай, пожалуйста, что районные власти не заботятся о колхозах, что они нам не помогают...

— Председатель, ты готов им пятки лизать.

— Вы пьяны, товарищ Сенавайтис, — уже нетерпеливо заметил гость. — И если вы немедленно не уйдете, я буду вынужден...

— Хо-хо-хо! — заржал Сенавайтис, поперхнувшись, сухо закашлял, долго сипел со слезами на глазах.

Гость из райцентра не стал ждать: набрал телефонный номер и под кряхтенье Сенавайтиса бесстрастно сказал в трубку:

— Товарищ начальник, пришли пару ребят в Букну. Пьяный гражданин ворвался в контору, сквернословит, буянит. Сию же минуту!

Положил трубку, и наступила тишина. Глаза Сенавайтиса остеклели, он словно лишился дара речи.

— Не стоило... — с трудом выговорил Тракимас.

— Вы, товарищ председатель, оправдываете мелкое хулиганство?

— Человек поговорить пришел...

— Только не вздумайте убежать, гражданин! — предупредил гость Сенавайтиса.

— От бандитов и то не бегал! — вскочил Сенавайтис и презрительно ухмыльнулся: — Ну и развели же мы трутней, развели на свою голову...

Приехали два милиционера, усадили Сенавайтиса в фургон и увезли. Тракимас обзвонил всех кого только мог — ничего не помогло. Его самого отчитали: вот какие у тебя кадры, оказывается, где же воспитательная работа?..

Сенавайтис десять дней подметал улицы, убирал рынок, а домой вернулся уже не бригадиром. Когда услышал эту новость, замолчал, уставившись в пол, потом загляделся в окно на зеленевшее озимое поле.

— Все ниже, значится, и ниже. С помощью товарищей — в могилку? Ха, ха...

На партсобрании никто не стал оправдывать Сенавайтиса. Все говорили пространно, пытались вникнуть... Стычка с гостем из райцентра, в сущности, пустяк, главное — почему человек споткнулся. А когда поставили на голосование исключение Сенавайтиса из партии, никто не поднял руки. Тракимас тоже не поднял: почувствовал, как все впились в него глазами. Присланный из района инструктор сказал новую пыльную обвинительную речь, но Тракимас отразил ее в двух словах: «Мы хорошо знаем Сенавайтиса, знаем, с кем он...» Конечно, Тракимаса не погладили за это по головке, на бюро пропесочили как следует. А через полгода Сенавайтис как-то признался ему:

— Знаешь, председатель, что тебе скажу: шел тогда на собрание с веревкой в кармане. Если чего, думаю...

— Дурень! — рассердился Тракимас. — Последний ты дурень, Сенавайтис!

— Согласен, председатель, дурень, это уж как пить дать. Но зачем тогда жить?..

Ершист этот Сенавайтис. Вечно недоволен, прикидывается, что все

его обижают. Не раз уже Тракимас ему прямо в лицо говорил: «На себя как-нибудь посмотри, Юргис. На себя! Увяз ты в обидах, обомшел, плесенью покрылся... И потому с места не стронешься. Твои приятели, с которыми ты бандитов бил, сейчас и председателями колхозов стали и на партийной работе... Почему ты на них не равняешься?» Выслушал Сенавайтис, насупил брови: «Ты не думай, что я такой... ничего не понимаю... Знаю, желали мне добра! И руку протягивали, а я оттолкнул... Бывает, последними словами себя клянусь, а потом опять...» Но затих Сенавайтис надолго. Брюзжал, конечно,— видно, и концы отдаст, а не перестанет разносить тех, что «пробрались на теплые места»,— но хоть на рожон не лез. А вот сегодня заварил кашу — полный котел; всем хватит. Смалюконис не спустит. Эх ты, Сенавайтис, Юргис Сенавайтис, дальше своего носа не видишь, а правду ищешь. И какую правду?

По дороге с ружьем на плече Тракимас хотел было зайти к Сенавайтису, да передумал. «Вооружился председатель, как я когда-то,— захихикает тот, конечно.— Но не кабанов мы тогда у леса подстергали!..»

У Сенавайтиса что ни слово, то «тогда», и не подумает, что сейчас не послевоенные годы... Все еще с этой старой меркой (черное — белое, враг или свой) ко всем приступает. Крепко ты постарел, дружище... «Дружище...» Горько усмехается, невольно повторив любимое словечко Смалюкониса, и протирает рукой глаза: семеро кабанов могли мимо пробежать, он бы не заметил.

Вечерняя заря пригасла, посерела как-то. Небо низко, на нем мигают редкие звезды, края задернуты туманом, поднимающимся над лугами. Деревня выключила радиоприемники, телевизоры и заснула; только над озером туристы еще поют о любви, о дальних странах и путешествиях. Укромный уголок каждое лето притягивает все больше народу. Редко где найдешь еще такое красивое место. Смалюконис знал, что выбирал...

Тракимас срезает в развилине толстой ивы, устраивается удобнее с двустволкой на коленях, вглядывается в чашу. Неужели так ни один и не вылезет на мушку? Ячменное поле манит кабанов, вон как испакостили кусок, что ближе к лесу. Другие охотники тоже расположились неподалеку, ждут. Часа два уже ждут — и ничего. А ведь бывает, и... Рассказывают, Сенавайтис тоже как-то выбрался на охоту. Уговорили мужики: бывший народный защитник, покажи, как стреляешь. Пульнул в косулю, ранил. Та падает и встает, кровь струей хлещет на белый снег. «Добей!» — говорят Сенавайтису, а тот мнется, то поднимет ружье, то опустит. Добить косулю добил, а на охоту больше не пошел. Посмеялись мужики и оставили его в покое. Чудной человек, не поймешь его. И с чего это он сегодня распетушился? Ведь и так у него дела плохи... Смалюконис не забудет... Про баню когда еще говорил, вроде между прочим обмолвился, а ведь не забыл, все слово в слово сегодня повторил. Шут возьми, неужто Тракимасу жалко людям баню построить? Смешно. Но зачем прикрываться колхозом? Мы, видите ли, ни при чем, мы только изредка заглянем в гости, баню построил Тракимас для колхоза, для колхозников. Эх, к чему это, колхозников-то вокруг пальца не обведешь; послушай, что они говорят о «корчме» Тамашаускаса...

Нет, пиши вам будет баня. Тракимас крепко стискивает ружье. И тут же пальцы разжимаются, глаза закрываются сами. «Надо обломать рога этому упрямцу,— скажет Смалюконис.— Давайте посмотрим, откуда он взялся такой, что раньше поддельвал». Ну, пускай смотрят сколько им угодно! Что они там найдут? Я могу спать спокойно... И все-таки... может, ты сам себя не знаешь, может, есть там такое, о чем тебе и не снилось все эти двадцать лет? А он докопается, вызовет тебя и спросит: «Так что, Тракимас, ты бандитским связным был?» Эка

важность, что тебе тогда было пятнадцать лет и ты, ни о чем не догадываясь, чистосердечно выручал Миндаугаса Крейвенаса, этого молодого лесничего. Может быть, действительно Крейвенас был бандитом и ты невольно помогал ему?..

Лезет же в голову всякая чушь... С шестнадцати лет в комсомоле. Кому это не известно? Что ж, ты уже тогда обманул товарищей, скрыв от них свои связи... Но никто же ничего не знал толком о Миндаугасе Крейвенасе... Нет, главное — ты боялся рот раскрыть, старался все забыть, лишь изредка тебя прошивала боль, словно от неизвлеченной загноившейся занозы. А в колхозе фамилия старика Крейвенаса тебе часто напоминала об э т о м, но ты отгонял эти мысли и не щадил хутор у озера. А может, была причина для гнева? Не осуждай себя напрасно, Тракимас. Крейвенас сам был виноват, он ведь часто дразнил тебя. Помнишь, как ты в первый же год заглянул на хутор Крейвенасов? Ты уже знал кое-что о его обитателях, у бригадира выспросил.

— Как поживаешь, хозяин? — бодро спросил ты, пожимая тугую, словно древесная губка, ладонь Крейвенаса.

— Бьюсь как рыба об лед.— Глаза Крейвенаса недоверчиво смотрели на тебя.

— Отделился ты от всех, Крейвенас, отгородился..

— Если хочешь о колхозе потолковать, председатель, то не на того напал. Вот жена — колхозница. А я — свободен! — Марчюс гордо произнес это «свободен», даже голову вскинул и руками развел.

— Ну просто орел из тебя, Крейвенас,— посмеялся ты.— Хлоп, хлоп—и полетел. Только ногами в землю врос.

— В землю своего хутора, председатель.

— И я на твоей земле стою.

— Кто на хутор ко мне пришел, тот и гость.

— Не очень-то радушно меня встречаешь, Крейвенас.

Крейвенас огляделся, подозвал жену от хлева:

— Иди, мать, сала нарежь, бутылку поставь.. Твоя новая власть пожаловала.

— Не надо так, Крейвенас,— сказал ты мирно, ничуть не обидевшись.— Я пришел с тобой потолковать как с честным человеком..

— С каких это пор я честным стал для председателей? — оборвал его Крейвенас.

— Не знаю, как ты с прежними председателями ладил. Мне до этого дела нет. Давай начнем все сначала, Крейвенас. Жена в колхозе работает, а ты невесть где.. Почему? Почему не можете оба дружно?..

— А за трудодни красивыми словами платить будешь, председатель? Никак это уже аванс, что наговорил? Недельку уже отработать придется за посулы-то?

— Не веришь, значит, Крейвенас?

— Теперь уж так, человек ты мой, что у тебя в кармане, в то и верь...

Крейвенас был несгибаем, а когда ты, выведенный из равновесия, пригрозил, что урежешь сотки, Марчюс даже ухом не повел: мол, закон один для всех. Разрывался ты в эти дни, бился о толстый лед кулаками и головой, от всех требовал одного — работы! Никаких поблажек ни себе, ни другим. Пускай все видят, что делаешь ты, говорил, а ты должен видеть, что делают другие. Тогда же ты встретился с Крейвенасом и во второй раз, у озера. Тот нес выловленных щук... Надо было не заметить, пройти мимо? Ты был суров со всеми, а тем более с человеком, который живет на колхозной земле и на колхоз плюет. Ты подумал: «Да, Миндаугас Крейвенас не с луны свалился таким...» А каким он все-таки был? Ты разве знаешь? Смалюконис знает!.. Опять... опять...

Конечно, от усталости такие мысли. Каждый день на ногах, хло-

пот полон рот, да и дома... Пусто дома и холодно, не тянет туда, идешь как поневоле. От усталости шут знает что мерещится, правда.

На опушке, кажется, шевельнулись кусты, затрещали сухие веточки. Тракимас вздрагивает, мысли разбегаются. Осторожно поднимает двустволку и, затаив дыхание, прислушивается. Глаза устали, руки онемели. Наверно, померещилось, думает, и тут же расслабляются напряженившиеся мышцы, мерно начинает биться сердце.

В ночной тишине звенит музыка кузнечиков, ветер шелестит в вершине ивы.

Домой пора, думает Тракимас, уже пожалев, что пошел на охоту: повалялся бы в постели, ведь завтра-то не выходной. Ах да, собирался проветрить голову. Где уж там... Даже с колхозными делами справиться легче, чем со своими мыслями...

— Да, Тракимас,— шепчет он наконец, словно развеивает этим шепотом свои сомнения.— Да, Тракимас, в понедельник с самого утра ты позвонишь Смалюконису и скажешь: «Я передумал. Колхозники не могут жить без финской бани на берегу озера, у леса...»

Не ради себя ты позвонишь и скажешь, спохватывается он. Не ради святого спокойствия, убеждает себя. Ты же печешься об общем благе, о колхозе. Ведь и Тамашаускас, без сомнения, для пользы дела баню выстроил...

А может, Смалюконис теперь и говорить не захочет? Обиделся ведь. Все из-за этого Сенавайтиса, правдоискателя...

Неподалеку гремит выстрел, Тракимас вздрагивает. Наконец-то! Еще выстрел, и крик:

— Ребята, взял!

Тракимас не прыгает наземь и не бежит к добыче. В тяжелом оцепенении сидит он, прислонясь спиной к стволу, и тупо смотрит в серый сумрак...

Это не кузнечики трещат, не комары хоровод ведут, не лес тихо дышит. Это угасает эхо дня. Исподволь слабеет оно, убывает, спадает каплями росы. Но летняя ночь коротка, не успеет день сомкнуть глаз, как снова разбудят его взмывший над деревней жаворонок и мотоцикл парня, отвезшего домой девушку.

Дни не знают устали, тяжелое бремя несут, не откладывая ни на миг, а ты вот идешь и шатаешься, двустволка давит на плечо, ноги налились свинцом, словно глину месишь. Отдохнуть бы. Хоть с часок, хоть с два. А может, упасть на луговину за огородом, положить голову на локоть и заснуть. Сладким сном. Но Сянкувене поведет поутру на выгон телянка, увидит тебя, тут и пойдет гулять по деревне: председатель пьяный валяется, до дома дотащиться не мог... Толки, пересуды... Всегда их хватало и будет хватать... А что еще делать бабенкам-то — языки бы отсохли без работы. Но ты ведь сам ткнул в глаза Смалюконису: что люди скажут?.. Не все равно тебе, ох, не все равно, что болтают в деревне, нет хуже, когда приходится свои поступки скрывать от людей. А кому же объяснишь все как есть, перед кем откроешь все карты? Мол, так и так, такая нынче обстановка, надо, товарищи...

Тракимас, досадливо рассмеявшись, проводит жаркой ладонью по росистой листе вишенки.

— Вы такой веселый, председатель...

Словно головой о притолоку!

— Напугала? Хоть ружье не снимайте!

— Как ты тут, Регина?

— Да так... Гуляла... Слышу — идете...

— Издали узнала?

Мягкие брызги смеха как бы обволакивают Тракимаса.

— Где же добыча?— Регина подходит вплотную, трогает рукой ружье.— Не застрелили?

Тракимасу бы сказать: «Спокойной ночи!» — и уйти, так было бы лучше, он это знает, но почему-то забывает и сон и гнетущую усталость.

— Смех да и только,— оживленно говорит он.— Бабахнул директор и как закричит: «Взял!» Все сбежались, а кабана и след простыл.

— А вы?— шепчет Регина. Она уже больше не смеется.

— Что... я?

— Вы никого не убили?

— Даже не выстрелил.

— Никакой из вас охотник.

Ее пальцы теперь медленно взбираются по рукаву... Сбрось-ка ты пиджак, пень неотесанный, расстели под вишенкой и позови присесть. Какая красивая ночь, скажи. Потом запрокинь голову. Давай звезды посчитаем, скажи. А потом? Неужели ты слеп, не видишь, чего она хочет? Не первый день такими глазами она на тебя смотрит, следит за каждым твоим шагом, ловит каждое твое слово. Сам ты ведь тоже охотно с ней болтаешь, тебе хорошо с ней... Она же тебя... Глупости! Какой может быть разговор о любви? Глупости. Бери, что само идет в руки. Протяни руку и хватай. Сорви яблоко, давно уже созрело. Не ты, так другой надкусит. Обгрызет и бросит. Бери...

Жесткие руки Тракимаса сжимают плечи девушки.

— Регина, ты ждала... меня?

Зазвенели колокольчики смеха, словно по земле покатались.

— Солнце ждала.

— Регина, ты ни о чем не думаешь,— глупо говорит он, конечно, глупо, мужчине не положено говорить так; мир летит куда-то стремглав.

— А ты?

Говорит «ты», и Тракимас думает: «Все вскачь! Куда она спешит?..»

— Хочу, чтоб ты хоть раз в жизни забыл, что ты председатель.

— Это нетрудно, Регина... Но ты хоть задумалась?..

Снова эти колокольчики:

— Какой ты рассудительный...— Снова смех. Но это уже не колокольчики; слух режет звон бьющегося стекла.— Иногда женщины не зря от таких рассудительных...

— Что ты сказала, Регина?— наконец-то доходит до него.

— В шутку я... Тебя никто не обвиняет...

— А кого же винят, Регина? Кого винят?

— Да в шутку я... Разве не знаете...

— Кого же винят?

— Которая бросила, ту и винят... Она не стоит вас... тебя...

Пальцы Тракимаса разжимаются, руки опускаются, и он говорит: — Пойдем по домам, Регина.— Он едва справляется с дрожью в голосе...— Пора по домам...

Делает шаг назад, потом в сторону.

— А может, я заблудилась, не знаю, где мой дом.— Регина часто дышит.

— Рассветет — и найдешь.

Огибает ее, словно камень на тропе, чувствует спиной насмешливый взгляд. Да, того, кто отталкивает протянутые женские руки, мужчиной не назовешь...

— Кто же вас дома ждет? — догоняют его слова.— Думаете, она вернется?..

Спешит Тракимас, бежит не оборачиваясь. Лишь у дома замедляет шаг. Возвращаясь с работы, он всегда хозяйским взглядом окидывает деревню, погруженную в летнюю ночь,— старые дома, забетони-

рованные фундаменты, возведенные стены новых домов... Окидывает взгляд росистые огороды и сады, колкое жнивье и золото яровых, помигивающие фонарями фермы на пригорке... Как всегда поздним вечером, он бросает взгляд на деревню... Но куда сегодня подевалась радость оттого, что во всем этом есть и частица тебя? Единственная его радость... А может, просто... боится перешагнуть порог своего дома? Кто ждет его?..

Бесшумно открывает дверь, бесшумно закрывает, чтоб никого не разбудить. Вешает на стену ружье, снимает патронташ и осторожно кладет на тумбочку. Садится на край белой постели. Надо снять башмаки, раздеться и растянуться наконец. Но долго еще сидит, облокотившись на колени, свесив голову.

Негромко скрипит дверь, в проеме появляется хрупкая фигурка младшего сына. Она сиротливо застывает, и Тракимас не может сказать ни слова — перехватывает горло.

— Тсс...— вытянув шею, шипит Генюс, словно гусенок,— бабушка спит.

Руки сами хватают ребенка, сжимают в объятиях, сажают на колени. Шершавая ладонь проводит по лохматой головке, по жарким плечам.

— Я не спал, папа.

В горле стоит комок.

— Ты так не жми меня, больно...

Тракимас закатывает ребенка в одеяло и говорит:

— Сейчас...

Сбрасывает одежду, забирается в постель.

— Папа...

— Что скажешь, сынок?

Генюс молчит, уткнувшись носом в плечо отца.

— Папа...

— Я слушаю....

— Как мужчина мужчине тебе скажу, ладно?

Снова что-то стискивает горло.

— Ладно, папа? Как мужчина мужчине...

— Говори, Генюкас. Только лежи, лежи.

— Нет, я сидя,— говорит мальчик.— Папа, Марчюконис приходил.

— Зачем он приходил?

— Папа, он говорил — ты за стекла заплатишь.

Тракимас уже и забыл об этих парниковых рамах.

— Это ничего, сынок. Купим и отдадим ему. Оба съездим и купим. И ты скажешь ему: я больше никогда...

— Но, папа...

— Что же еще?

— Только я тебе как мужчина мужчине.

— Говори, будь мужчиной.

Генюс наклоняется к уху отца и шепчет — чтоб только бабушка не расслышала:

— Папа, пока Марчюконис бабушке на нас ябедничал, я сбежал к роднику, где у них бачок с молоком, и... и...

— И что же ты сделал?

— И... и в молоко напикал...

Тракимас тоже садится, он не знает, смеяться ему или плакать.

— Я тебе как мужчина мужчине, папа...

Генюс шмыгает носом — вот-вот разревется. Столько не спал, ждал, пока отец вернется, доверил ему секрет... как мужчина мужчине, и вдруг...

— Па... па-а-па... — Утыкается отцу в грудь, пищит жалобно и тоненько, словно мышонок в капкане.

— Не плачь, сынок, я же тебя не ругаю. И бабушке не скажу. А Ролаңдас знает? Ему я тоже не скажу.

Генюс, натянув на голову одеяло, дрожит, попискивает, видно, держится из последних сил, но все-таки ударяется в слезы.

— Не надо, — утешает Тракимас сына, — давай лучше заснем. Давай будем спать. Завтра поговорим. Завтра...

Всхлипнув, сын замолкает. Близость отца успокаивает Генюса, сильная и добрая рука убережет его от всех несчастий.

За окном струится летняя ночь.

* * *

Рука сталкивает одеяло — словно камень скатывает — и лежит бессильная, вялая, откинута далеко. Грудь вздымается с трудом, рот ловит спертый воздух. Можно подумать, печку натопили — духотища такая, что облипает, будто тина, лицо, руки, все тело. Выйти бы в ночь да растянуться на росистой траве в саду и глядеть на звезды. Как давным-давно... Неизвестно, что за хворь это была — такая чешотка на него напала, что он до крови раздирал подмышки, живот, глаз не мог сомкнуть. Ничто не помогало — ни вонючее собачье сало, ни какая-то желтая мазь, которую мать привезла из города. Как-то, не в силах терпеть, он вылез в окно, лег нагишом на траву, и прохладная роса мгновенно погасила огонь. Это было чудом летней ночи, и он поверил в него, но за деревней захлопали выстрелы, загнали его в избу, и он снова не мог заснуть...

Пальцы сжимаются, шершавый кулак поднимается, застывает в воздухе и, опустившись на разгоряченный лоб, до боли трет его.

— Поля...

Даже голос теряется в этой духотище. Полина примостилась на самом краю раскладушки — всегда так лежит, пока Марюс не заснет, а часто и сама засыпает. Ребенок-то спит без задних ног, упыхался за день. Вспомнит ли он, когда вырастет, дом над озером, будет ли рассказывать о дедушке с бабушкой?

— Полина... Спишь?

Скрипит раскладушка, но ответа нет.

На кухне шаркающей походкой бродит мать. Тяжело вздыхает, бормочет что-то; хлопает дверцей буфета, передвигает стул. «Она ложится последней. Считает, что, кроме нее, никто о доме не думает. На ногах да на ногах. Отец давно уже ушел на гумно; тоже вряд ли заснул. Грызет старика беспокойство, прошлое перед глазами стоит. Ведь неспроста сегодня спросил: помню ли, как он сказал, что земля нас не прокормит? Все помню. Как я тащил фанерный чемодан, как он провожал меня полем до дороги, как смотрели на раскисшие осенние поля с гниющими в прокосах яровыми, на низкое мутное небо и не знали, о чем говорить. «Там иначе будет», — наконец сказал отец, и я зашлепал по грязи вдаль, в неведомое там. Поначалу мучила вина — вот покидаю родной кров, отрекаюсь от всего, что у меня было, беру в руки посох бездомного странника, но это чувство скоро прошло. Открылся огромный и малознакомый мир. Я верил, что в этом мире — начало моего пути. Сейчас могу сказать — много дорог прошел, и не в поисках жареных голубей, которые бы сами в рот залетали. Что же обрел? Наверное, многое. Что утратил? Видно, тоже немало. Но если взвесить все, как следует измерить...»

Скрипит сенная дверь. Шаги матери за окном; они удаляются через палисадник к хлеву. Не ляжет ведь, не убедившись, что все двери закрыты, что никто не хозяйничает в саду или в огороде. По-

стоит посреди двора, прислушиваясь к ночи, бросит беспокойный взгляд на тот берег, откуда доносятся развеселые крики парней. Куда-то убежала Шаруне и как в воду. Стяпонас знает свою мать, он догадывается, что она будет делать, что думать, ему понятны ее заботы.

— Полина...

Полина перебрасывает платье через спинку стула и забирается под одеяло.

— Спала, Полина?

— Нет.

— И я не могу.

Жесткая рука ложится на женину грудь, пальцы сжимают, словно клещи.

— Больно.— Полина отталкивает руку, но та настойчиво защищает свои права — обнимает, скользит по нейлоновой рубашке.— Не надо...

— Мать на дворе.

— Все равно не надо.

Стяпонаса бросает в жар; это разгоряченное тело он хочет сжать в объятиях, хочет слиться с ним и хоть на короткий миг забыть весь мир и самого себя. А может, хочет заглушить свою горечь и досаду.

— Полина...

Сопrotивление жены еще пуще распалает Стяпонаса, он все-таки обнимает ее, привлекает к себе, целует лицо, глаза, волосы.

— Да подожди ты,— вырывается Полина.— Я тебе скажу... Я же тебе еще не говорила...

Руки слабеют, даже тело обмякает от этого необычного голоса, и Стяпонас ждет чего-то, перестав дышать.

Звенит ночная тишина, по двору приближаются мягкие шаги; хлопает, закрываясь, сенная дверь.

— Отодвинься, потный весь.

— Что ты хотела мне сказать?

Облокотившись, подняв голову, Стяпонас смотрит на лицо жены... В темноте не видно глаз, но он знает — она смотрит на него и глаза у нее расширенные, огромные.

Пальцы Полины касаются его лица, осторожно и ласково проводят по колючей щеке.

— Я всегда точно, как часы. Не затягивала,— говорит она.— Сейчас уже вторая неделя...

Он слушает ее голос, такой будничнй, приглушенный, слушает почти спокойно, будто она говорит о том, что Марюс вырос из штаншек.

— Поначалу думала — ничего. А сегодня под вечер тошнить стало. И груди вон какие, набухли, потрогай...

Стяпонас валится на спину, голова погружается в жаркую подушку, и ему кажется, что он плывет в молочном тумане, вместе с кроватью плывет, со всей избой.

— Все. Доигрался,— толкает она его в бок сердито, но не больно.— Что теперь будет, скажи? Как жить-то будем без своего угла? С двумя детьми.

Стяпонас поднимает руки, словно подпирая обрушившийся потолок. Но потолок высоко, он прочен; руки белеют в темноте, потом они тянутся к женщине, бережно обнимают ее. Губы нежно прикасаются ко лбу.

— Спасибо тебе, Полина,— тихонько шепчет он на ухо.

— Подумай, как жить будем.

— Все обойдется.

Эти слова звучат как заклинание, и Стяпонас верит — все обойдется! Ему очень хочется, чтоб и Полина поверила. Невелика важность, что он еще не знает, чего ей пообещать. Трехкомнатную квартиру в новом районе, белокаменный дом в рабочем поселке, сверкающий автомобиль? Полина знает Стяпонаса и только рассмеется от таких обещаний. Да и ему это показалось бы смешным. Нет, он обещает то, во что верит сам: все обойдется! Будут жить, как многие живут. Работают и живут. И детей растят. И... кочуют по всему Союзу?

— Еще не поздно, Степан... Пока не поздно...

— О чем ты? — пугается он.

— Давай останемся, Степан. Ты слышишь? Никуда не поедем. Хватит жить на колесах.

Стяпонас садится в постели, прислоняется лбом к выставленным коленям. Не просто Полине с ним. Но что он может изменить? Он страстно желает, чтоб ей было хорошо; все женщины любят выращивать цветы на подоконниках, заводить девять пар выходных туфель и набивать шкаф костюмчиками, кофточками да пальто. И для себя и для мужа, а главное — для детей хотят они устойчивости.

— Давай здесь останемся, Степа.— Рука опускается на плечи, ласково гладит его.

Верное желание, понимает Стяпонас. Дерево тоже чахнет от частых пересадок. Стяпонас ведь надеялся пустить корни в эту землю глубоко и прочно, чтоб никакой ветрище его не выдрал. Как же теперь объяснить, как же произнести вслух: «Здесь нет мне места, Полина»? Язык не поворачивается сказать ей, своей жене, эти тяжелые слова; лучше он сам проглотит их, как горчайший полынный отвар. Даже скажи ей, Полина ведь не поверит. «Чужой... в отчем доме?» — спросит. И что ей ответишь?

— Давай останемся, Степка.— Рука скользит по костистым плечам.

Стяпонас тихо говорит:

— Не могу...

Словно обожглась Полина.

— Обо мне ты и не подумаешь! Тебе все равно...

— Не заводись, Полина,— просит Стяпонас; перекатившись через жену, шлепает босиком к окну, распахивает створки. Ночная прохлада оmyвает лицо, обнаженную грудь. Стяпонас перевешивается через подоконник, втягивает пряный запах лаванды и шалфея, вслушивается в трескотню кузнечиков, шорох жучков, зуденье комаров и далекий ночной гул.

Где-то хлопает выстрел из охотничьего ружья.

Скорбно стонет Полина. Свою судьбу клянет, а может, его, вечного непоседу и бродягу... Трудно ей понять Стяпонаса, конечно. Но разве Стяпонас сам всегда себя понимает?..

... В тот день после смены он не спешил в общежитие. Устало брел по середине улицы. В свете фонарей искрился снег, заиндевевые провода смахивали на бельевые веревки, натянутые на высоких столбах. Мимо пролетела оленья тройка, запряженная в нарты, у подворотен слонялись косматые незлобивые псы, вечерний город казался побудничному спокойным и сонным. Из чайной вывалились мужчины, постояли у двери, дружно загалдели и через высокие ворота забежали в какой-то двор. Стяпонас вошел в чайную. Здесь было жарко, пахло пивом и сигаретным дымом. И еще шкурами: за одним из столиков сидели четверо ненцев в оленьих малицах, они пили чай — весь столик был уставлен полными и пустыми уже стаканами.

Стяпонас взял две бутылки пива и сел за свободный столик у стены. Расстегнул телогрейку, положил шапку на пустой стул и налил в стакан пива. И вот тогда за соседним столиком он увидел человека, который сидел боком к нему, как-то чудно уставившись на пустые бутылки. Острая рыжая бородка, в руке курилась сигарета; человек забыл о ней; белый пепел сыпался на стол. Лицо этого посетителя чайной показалось знакомым Стяпонасу. Да разве вспомнишь: нефть привлекла в эти места уйму народу.

Стяпонас осушил стакан, налил еще. И все не спускал взгляда с человека. И чем дальше смотрел на занятого своими мыслями бородача, тем сильнее его беспокоило, что действительно уже где-то встречал его. Где? Когда? Человек, по-видимому, почувствовал его взгляд, поднял голову, и их глаза встретились. Стяпонасу показалось... Он боялся упустить взгляд человека, не мог отвести глаз. А может, его сковал страх: что это исчезнет, едва он отведет взгляд. Они сверлили друг друга глазами, пока бородач наконец не поднял руки, не провел по лицу и не полез в карман кожанки за сигаретами.

Стяпонасу казались знакомыми взмахи рук этого человека, даже выражение лица, с которым он только что смотрел на пустые пивные бутылки, знакома посадка головы — по-птичьи склоненная набок.

«Что же делать?» — думал Стяпонас.

Человек жадно курил, его седеющая голова утопала в сизом дыму. Бородач отвернулся, но Стяпонас чувствовал, что он тоже наблюдает за ним краешком глаза.

Что делать?

Встал, с шумом отодвинул стул, подсел к соседнему столику.

— Закурить не найдется? — спросил он, не узнавая собственно го голоса.

Человек не ответил, просто придвинул пачку и коробок спичек к Стяпонасу. Стяпонас долго выбирал сигарету, не спеша чиркал спичкой, и все глядел на человека. Сухое продолговатое лицо, ложбинка на кончике носа и верхней губе. Холеная бородка...

Стяпонас все еще держал сигареты в ладони. Человек протянул руку и, глядя куда-то мимо него, сказал:

— Мне пора.

Стяпонас налег грудью на столик, наклонился к нему.

— Я вас где-то видел.

— Возможно.

Протянутые пальцы нервно шевелились — человек ждал свои сигареты, и Стяпонас в этот миг окончательно поверил, что он не ошибается. Неужели тот не узнает его?

— Даже ваше имя могу сказать...

— Бывают ясновидящие, но я им не верю. Дайте-ка сигареты, мне пора.

Стяпонас положил ему на ладонь пачку, незаметно коснувшись кончиками пальцев его прохладной руки; снова поймал взгляд тусклых глаз.

— Ведь это я, Стяпас, — просипел он по-литовски. — Твой брат...

Рука с сигаретами застряла в кармане кожанки. Человек бросил короткий взгляд на Стяпонаса, встал, застыл на минутку, непонимающе пожал плечами и повернул к двери. Рослый, широкоплечий...

— Миндаугас!

Человек не остановился, не вернулся от двери, даже не оглянулся, и Стяпонас сидел, вконец растерявшись. Все было так неожиданно, что ему показалось: он бредит.

Когда он, схватив шапку, выбежал на улицу, ветер швырнул ему в лицо рыхлый снег, залепил глаза, погрузил в белый вихрь.

— Миндаугас! — крикнул Стяпонас, но голос пропал в мягком шелесте снега.

Сгорбившись, втянув голову в воротник, он метнулся в одну сторону, потом в другую, забежал во двор чайной.

— Миндаугас!

Подбежал к тени, маячившей на другой стороне улицы, но это была женщина.

Пурга со свистом гнала снег, обжигая лицо, срывая с головы меховую шапку.

Несколько вечеров подряд Стяпонас являлся в чайную, пил пиво и сидел допоздна. Бродил по улицам, вглядываясь в каждого встречного. Но человек с бородкой исчез. Пропал навсегда. Стяпонас уверял себя, что это был Миндаугас. Но почему тот не захотел говорить? Почему убежал? А может, он скрывается здесь? Может, у него руки в крови и он бродит, как душа без места? А может... Когда бандиты забрали у него деньги, Миндаугас убежал, побоявшись тюрьмы? Может, может... Но прошло какое-то время, и Стяпонаса одолели сомнения. Вдруг это обыкновенное совпадение? Человек, чем-то похожий на Миндаугаса, испугался его настырного взгляда, принял его за одного из тех петухов, которые вечно задираются. Наверно, все померещилось.

Вечерами в чайной Стяпонас додумывался до самых разных вещей. Однажды, вернувшись в общежитие, он сказал Полине:

— Поедем дальше.

— Почему? — спросила Полина.

— Надо.

Ему тогда почудилось, что он обязательно встретит брата где-нибудь в медвежьем углу. И сейчас, пускаясь в дорогу, он не признавался даже себе, что надеется на эту встречу. А может ли человек, заблудившись много лет назад, по сей день блуждать, отрекшись от своего имени?.. Зачем? Если он виноват, пусть искупит вину, а если нет — пусть живет, как все люди. Пусть мать узнает: жив ее сын...

Надо... Но за что Полине такое горе? Сын растет, да еще...

Мимо гумна возвращается Шаруне. В ночи четко стучат ее каблучки. Замолкают за кустом сирени. Видно, стоит под кленом у забора. Сон не берет. Эта духота летних ночей...

Стяпонас идет от окна, садится на край кровати, в сером полумраке смотрит на лицо жены.

— Полюша...

Она дышит спокойно — словно долго плакала и только что затихла.

Он наклоняется к жене, виновато прижимается лбом к мягкой щеке.

— Мой ты... Да куда я без тебя!.. — Полина жаркими руками обвивает шею мужа.

* * *

Так и не заснул до утра. Валялся с открытыми глазами, вспоминал все, перебирал, ворошил прошлое. Вряд ли только это видение гоняет его по стройкам... Ведь и до той заледенелой чайной он легко перебирался с места на место... «Видать, таким малость чокнутым уродился, — подумал. — Или отец меня на едущей телеге сработал, — усмехнулся Стяпонас, — но ведь не ишу легких хлебов... И никто еще не сказал, что плохо работаю... И никто не скажет!»

За окном уже теплится рассвет, всю щебечут ласточки. Стяпонас встает, смотрит на спящую жену, думая о том, который явится в

этот мир весной, после зимних холодов. Укрывает Марюса. Мальчик просыпается, просится на горшок. Стяпонас поднимает его, подождав, снова укладывает.

— Спи.

— А ты уже выпался? — спрашивает Марюс.

— Спи, сынок.

— Дай руку, а? — просит Марюс, и Стяпонас дает ему руку; мальчик обеими ручонками сжимает его пальцы.

На кухне скрипит кровать — мать перевернулась на другой бок и захрапела с посвистом.

Тикают, хромая, усталые стенные часы.

Мальчик заснул, и Стяпонас осторожно отнимает руку, выходит. Стоит под кленом, яростно скребя пальцами за пазухой, впитывает утреннюю прохладу — до того хмельную, что голова идет кругом, и Стяпонас опирается плечом о шершавый ствол. Голубеет серое предрассветное небо, на востоке уже занимается заря. Добрую тишину не может нарушить даже пронзительный щебет ласточек, и он слышит, как под рубашкой колотится сердце — тревожно и больно почему-то.

Медленно идет по саду, пахнущему росистыми яблоками, взяв с травы румяный кислый падаец, откусывает и швыряет в крапиву под забором. Словно вор, крадется мимо хлева, мимо гумна, топчется на тропе, ведущей к озеру, медленно бредет по луговине. Руки в карманах брюк, голова низко опущена, но глаза внимательно глядят исподлобья, все замечают, вбирают в сердце, запоминают на долгие годы вперед — кто знает, когда он вернется. И вернется ли?.. Да, в городах прожил больше половины своей жизни, но черная прохлада земли, зелень полей, голубизна озера, видно, до последнего вздоха будут манить его. И все же пути назад нет. Деревня для Стяпонаса — страна детства, в которую не возвращаются. Красивая страна, родная, но все мосты к ней сожжены. И он, словно лось, познавший волю, ширь полей и свою недюжинную силу, задохнулся бы в загоне.

Небо все ярче алеет; меркнет белесый кружок луны, подмигнув, гаснет утренняя звезда. Над озером стелется белый туман, в прибрежных тростниках просыпается рыба. Издали доносится плеск воды и скрип уключин. Из-за ольшаника появляется лодка — ранний рыбак плывет попытать счастья.

Стяпонас спускается к воде, смотрит вдаль и вспоминает, как тонул когда-то, а Миндаугас вытащил его, словно мокрого котенка. Счастье, что не один купаться пошел. Миндаугас здорово плавал, классно прыгал в воду со склоненной ольхи; все мальчишки глядели на него выпучив глаза и мечтали когда-нибудь так насобачиться. Велика важность, что отец отправил Миндаугаса учиться — они все равно оставались друзьями, а летом даже спали в одной кровати, точнее болтали до утра, и мать потом никак не могла добудиться, сердилась на них: ведь в хлеву ревела не выгнанная в поле скотина.

Стяпонас нагибается, смачивает руки летней, не остывшей за ночь водой, влажными ладонями проводит по небритым щекам. Видит на мелкой гальке белую ракушку. Берет ее, подбрасывает в руке и, глубоко вздохнув, поднимается на пригорок. Солнце взошло уже, осветило верхушки елей в лесу, в вышине зазвенел жаворонок, в ольшанике защелкал соловей. Широко открыв глаза, Стяпонас осматривает такой родной и такой чужой мир, потом опускает голову и бредет домой. Все быстрее и быстрее, словно испугавшись, что опоздает в дорогу.

В избе шумно, все успели встать. Полина одевает Марюса — тот клюет носом и капризничает. Шаруне причесывается перед зерка-

лом. Лицо посерело, припухло, глаза заспанные. Мать бегаёт из сени к летней кухне, где жарится глазунья — на скорую руку, другой завтрак не приготовила. Отец сидит под окном, положив руки на стол, и смотрит куда-то. Может, на ржаные колосья в пустом стакане. От вчерашнего вечера стоят. Затаенная боль отца чужда Стяпонасу. Сейчас — как нарочно сейчас — вспоминает он, как отец лупил мать хлыстом здесь на полу, как в ярости сбил его с ног... И как скакал на лошади через всю деревню и хлестал его прутом по спине, покрикивая: «Из дому бежать! Из дому!..» И свою по-детски ужасную клятву: «Вырасту и не прощу тебя, отец! Никогда тебе этого не забуду».

Теперь-то уж точно нет смысла думать об этом — разве отец виноват в том, что твои глаза смотрят вдаль и ищут другой смысл в жизни!

Стяпонас сжимает кулаки; в горсти лежит ракушка. Вертит ее в пальцах (когда-то они с Миндаугасом нанизывали ракушки на ниточку; индейское ожерелье, сказал Миндаугас) и сует в карман.

После завтрака Стяпонас выходит за матерью на двор и говорит ей под кленом:

— Мама...

Мать оборачивается, вытирает руки о передник.

— Вы с ней как хотите, если господь разумом обделил... Ребенка жалко.

Отвисшая нижняя губа мелко дрожит.

— Мама, я тебе никогда не говорил...

Ей Марюса жалко, думает он, мама не знает, что уже весной явится еще один, сын... наверняка сын, зачатый здесь, на земле отцов.

— Когда дом пустеет, хоть головой об стенку бейся... Ребенок хороший, поладили мы с ним.

— Мне кажется, я Миндаугаса встретил.

Мать поднимает глаза, смотрит на Стяпонаса как на полоумного и отворачивается.

— Нашел над чем смеяться.

— Я не смеюсь...

Мать снова смотрит на Стяпонаса, ухватившись рукой за штакетину. Нет, это не глупая шутка, Стяпонас спокойно... почти сердито говорит.

— Где ты его видел?.. Когда?..

У Стяпонаса пересохло во рту.

— Там... На Севере. Три года скоро, в ноябре стукнет...

— Господи! — Мать, кажется, накричит на Стяпонаса, выругает его, но сдерживается, шепчет увядшими губами: — Чего же ты молчал? Почему не говорил?..

Что он может сказать? Он ведь ничего толком не знает, даже сейчас сдуру заикнулся об этом.

— Почему молчишь, Стяпонас?..

— Да я не знаю, мама... Может, это и не он был. Я с ним заговорил, а он меня не узнал. Или не захотел узнавать. И пропал, пропал.

— Господи, не понимаю!.. Ты видел его или нет?

— Видел... А может, нет, не знаю. За одним столиком сидели, но он не захотел меня узнавать. Наверно, не захотел...

Стяпонас уже жалеет, что проговорился. Как мать поверит, что брат не узнал брата? Или не захотел узнать?

Резкое утреннее солнце освещает озабоченное лицо матери, в глубоких складках залегли тени. Стяпонас, не спуская глаз, читает эти таинственные письма, которыми исчертила ее лицо жизнь.

— Ты никому не сказал, что видел его?

— Я только тебе.

— Это был он, я знаю,— шепчет мать и берет Стяпонаса за руку; никогда еще с такой лаской она не брала его руку.— Это он был, только ты никому... Я даже отцу не скажу, еще сболтнет кому.

— Если он жив, сам должен объявиться. Зачем себя заживо хоронить?

— Жив он, я знаю. Но ты никому не говори. Ты молчи. Если еще встретишь его, даже в письме не обмолвись. Мало ли кто может письмо прочитать.

Грустно и страшно слышать этот голос — он приходит из смутных и опасных лет. Чего она испугалась, мать? Больше всего, наверно,— боже упаси, еще выяснится, что Миндаугас запачкал руки... Она хочет верить в своего первенца, и никто пусть не покушается на эту веру.

Стяпонас идет к распахнутой двери избы.

— Пора,— говорит он не оборачиваясь; мать растерянно смотрит ему вслед.— Пора,— повторяет он в избе, угрюмо обводя взглядом всех — вдруг постаревшего отца, затихшую Полину с ребенком, о чем-то напряженно думающую Шаруне.— Вперед! — добавляет без особой бодрости, скорей с горечью.

В руке Стяпонаса уже раскачивается чемодан с ослабившимся углом, старый друг его странствий. Отец берет другой чемодан, Шаруне — увесистый узел.

— Уже...— встречает их за дверью мать, который раз вытирая руки о передник.

На садовой тропе пляшут тени яблонь, шуршит под ногами спаленная зноем трава. Они идут молча. Отец откашливается, вздыхает, берет чемодан другой рукой, покосившись на улы, безмолвные и неживые.

На проселке мать говорит:

— Дальше не пойду, дом один...

Стяпонас ставит чемодан наземь, поднимает голову и читает в материнских глазах тихую просьбу: «Никому ни слова...»

— Будь здорова, мама...

Кладет тяжелую руку матери на плечо, нагнувшись, целует в морщинистую щеку и ловит губами соленую слезу. Но мама сдерживается, не плачет: одна скупая слеза застыла в складке щеки.

— Да поможет тебе господь,— говорит она и тут же обнимает Полину, свою сноху. Целует ее впервые в жизни.— Ведь так ладил...— лепечет она и гладит голову Полины.— Ах, каждый человек... лишь бы был человеком...

— Мы еще свидимся, мама,— говорит Полина, но старая, кажется, не слышит: берет на руки Марюса, качает, как младенца.

— За что ребенку это горе?

У Стяпонаса снова в руке чемодан, и несколько шагов он смешно пятится, не отрывая от матери глаз.

Мать хочет что-то сказать ему напоследок, но Стяпонас больше не ждет, он вышагивает по проселку, скособочившись от тяжести чемодана. За ним семенит Полина, тащит за руку ребенка, бредет, ссутулясь, отец, мелкими шажками переступает равнодушная ко всему, сонная Шаруне.

Взошедшее солнце скрывается за маревом, но уже печет вовсю. Еще один знойный день.

В деревне заводят трактор.

У дома Сянкусса под окнами поблескивает автомобиль.

«Вацис, наверно, к рынку подъезжает», — думает Стяпонас спокойно.

На пригорке он незаметно обводит взглядом озеро, родной хутор, утонувший в зелени деревьев; видит мать у старого сада. Находит в кармане острую ракушку, сжимает ее в ладони, и в ушах вдруг раздается голос старого рабочего: «Где растет твое дерево?»

* * *

Шаруне как вошла в свою комнатку, так и упала на кровать, спрятав лицо в подушку. Плечи вздрагивают. Давно не плакала: поклялась ведь себе когда-то, будь что будет, обходиться без слез. Хоть бы поговорить с кем! Но кому откроешь свою тайну? Матери? Когда-то, еще девочкой, поделилась с ней, что влюблена в учителя; было крику на всю неделю, и Шаруне зареклась ей что-нибудь рассказывать... Нет, никто ее не поймет, все — чужие. И Ауримас и Дайнюс... Дайнюс? «Не думал, не верил, что ты такая, Шаруне... я тебя не отпущу, никому тебя не отдам...» — «А куда ты меня денешь?» — «Не смейся, Шаруне, я серьезно. Иди к нам учительницей...» Святая невинность. Каким был в школе, таким и остался. Откуда и берутся мужчины, которых жизнь ничему не учит — живут они с завязанными глазами. «Какая ты чудесная, Шаруне, я даже подумать не смел. Давай завтра вечером встретимся, Шаруне, хорошо?...» — «Ладно, приду»...

Рука соскользнула с кровати. Задохнувшись в жаркой подушке, Шаруне поворачивает лицо. Глаза сухие... вот и хорошо, что сухие; пора взять себя в руки и плюнуть на все. Трижды плюнуть. В ее годы — сотня ауримасов да тысяча дайнюсов. Это уж факт. Главное — чего ты сама стоишь. А она знает себе цену и ни капельки не преувеличивает. Тьфу, тьфу и еще раз тьфу... На Ауримаса, на Дайнюса и на всех на свете...

Шаруне раньше думала, что ни на кого в семье не похожа. Последыш, отщепенка. Но теперь ей кажется — она Стяпонасовой породы. Как Стяпонас ни перед кем не склоняет головы и делает все что заблагорассудится, так и Шаруне. И впредь так будет поступать. Зря не сказала Стяпонасу об этом, когда провожала, брат был обрадован... Или хоть посмеялся от души. Она так ничего и не сказала ему за все эти полгода. В письмах живописала родные места, звала домой, а потом забыла об этом и ни разу по-дружески со Стяпонасом не потолковала. Брякнет словцо — вот и весь разговор. Грохочет поезд по полям, выжженным нещадным солнцем, увозит в дальние края Стяпонаса, Полину и маленького Марюса. Может, и ей сесть да уехать? Куда-нибудь далеко-далеко, за тысячи километров, хоть в лесистые горы Алтая. Там никто ее не знает, и она никого. Только так может человек переродиться и начать новую жизнь, сорвав с себя прошлое, словно изношенную сорочку. Все сызнава... Ведь какая из тебя журналистка, по правде говоря. Устроиться в редакции устроилась, но не прошло и года, как из литработника стала корректоршей. И себе и другим сказала: «Меня не понимают!» А если — не в свои сани села? Один Дайнюс верит в тебя, в каждом номере газеты ищет твою фамилию!

Плечи Шаруне подергиваются от невеселого смеха. Лежит ничком и думает, думает. Только-только успокоится — даже в глазах вроде бы светлеет, — как все начинается сначала, и она в тихой ярости впиивается зубами в подушку. Нелегко на все наплевать, ох нелегко... А может, написать письмо Ауримасу? Бросить ему в лицо, пускай знает... пускай...

— Завтрак на столе.

Голос далекий, незнакомый, и Шаруне, не поднимая головы, открывает глаза.

— Чего лежишь как после порки?

Мать просунула голову в дверь. Глаза вроде больше стали, блестят печально, словно запотевшее стекло. Скрипит ручка, дверь открывается настежь.

— Разлеглась... Да что с тобой?

— Ничего.

— Вчера шлендала что драная кошка, а сегодня и вовсе скисла. Случилось чего?

— Я сейчас.

Шаруне не смеет сказать прямо: отстаньте вы все от меня! А как хочется побыть наедине с собой! Мутит от одной мысли о еде.

Мать молчит, смотрит в окно.

— Мог и не уезжать Стяпонас, если по правде. Ан нет, мечется по белу свету и сам не ведает чего. Пооди узнай, вернется или нет...

С чего это мать вдруг обвиняет Стяпонаса? И Шаруне неожиданно приходит в голову — мать хочет оправдаться! Противно слушать. Шаруне привстает на локте, ладонью отбрасывает волосы.

— Вы хотели, чтобы он уехал.

Мать вздрагивает, машет руками.

— Хотели! Потому что Вацис этого хотел.

— Завтрак на столе, остынет...

Хлопнула дверью так, что стекла задребезжали. Почему мать рассердилась? Правду не скроешь. Но почему Шаруне тычет ей эту правду в глаза?

Переворачивается на спину, оправив платье, закидывает руки за голову...

В полдень за садом появляется автомобиль, Шаруне бросает мокрое полотенце на забор, вешает купальник и прикидывает, что же ей делать: снова повалиться на кровать или еще постоять здесь. Всем телом чувствует прохладу озерной воды и легкую усталость, потому, наверно, что долго плавала.

Автомобиль аккуратно подъезжает к заборчику палисадника и застывает в тени клена.

От гумна в обрезанных головках сапог на босу ногу шлепает отец. Из-под выцветшей фуражки свисают седые космы, щеки небритые; длинные высохшие руки болтаются, как цепи. И мать выглядывает из избы; комкает в руках угол передника, спохватившись, убирает лавочку, смахивает ладонью землю — как Марюс пек куличи, так все и оставил.

Открывается дверца автомобиля, но Вацис не торопится вылезать. Сидит, положи локти на баранку, и задумчиво трет кулаком подбородок.

Неловкая тишина все длится, и отец уходит, будто вспомнив неотложное дело. Правда, останавливается все-таки у хлева.

Солнце палит вовсю, жухлая трава сухо хрустит под ногами Шаруне.

— Не собирался заезжать, да заехал.— Вацис наконец-то бодро выскакивает из машины и аж на цыпочки привстает, потягивается.— С ног сбился, — жалуется.— В городе солнце всходило — в такую рань приехал.

— Яблоки-то почем? — спрашивает мать.

— Дешевеют. Пропасть навезли.

— Все продал?

— Последние на пять копеек дешевле пустил, мигом разобрали. Не будешь же торчать целый день.

— И то хорошо.

— Ходил утром нарвать Марюсу в дорогу — нету, — говорит отец, глядя в сторону.

Румяное лицо Вациса расплывается в улыбке.

— Стяпонас привык на рубли жить, купит и яблок.

— Срам! — бросает отец, взмахнув своими цепами.

— Хм! — хмыкает Вацис, едва сдерживая смех, хотя молчать больше нет смысла: сейчас он скажет, что лежало на душе. — А ему вот, скажи, папенька, не было стыдно со всем семейством целых полгода у тебя на шее сидеть?

— Он работал... — Отец часто моргает.

— Заработал и спустил. Как всегда! — рубит сплеча Вацис. — Разве что черствую буханку привезет.

— Он мой сын... — Отец оглядывается в поисках помощи или испугавшись, что услышат посторонние.

— Хм! — снова хмыкает Вацис и расплывается в улыбке. — А Полина — сноха?

— Сноха! И внук Марюс.

Мать не знает, чью сторону держать. Такой уж день сегодня, лучше бы всем помолчать. Дух Стяпонаса не выветрился из избы, а они уже судят.

— Хватит! — властно поднимает она голову. — Совсем уж, отец... И ты, Вацис... Кончили!

Шаруне будто привязали к забору — не может и шагу дальше ступить (убежать бы в свою комнатку и закрыться на крючок!).

— Не говори так, Вацис, — тихо-тихо просит отец.

— Я правду говорю. — Вацис стоит на своем, он вообще никогда не уступает.

— Кончили! — повторяет мать и мягко предлагает: — Может, покушаешь, Вацис?

— Поеду, некогда мне.

— Все мотаешься да мотаешься.

— А кто за тебя смотается? Шифер для крыши обещали. И доски заказал, пригонят целую машину. Все нужно.

Отец, смягчившись, подходит поближе.

— Нужно, — соглашается он.

— Колхоз ведь не даст. В поселок, мол, перебирайся! Ищите дураков! Такое место бросить и перебраться поближе к дорожной пыли?

Вацис потирает ладони, бросает взгляд на белое солнце за вершиной клена и, кажется, только теперь замечает Шаруне. Улыбается свысока и, потоптавшись, говорит:

— Послушай-ка, Шаруне, ты переселяйся в большую комнату. Отец может на гумне спать, как спал, полезно... для здоровья. Верно, папенька?

Шаруне, ничего не понимая, смотрит на него, и Вацис объясняет:

— Большая комната теперь пустует, а тебе же все равно.

— А что с маленькой? — любопытствует Шаруне.

Вацис снова потирает ладони.

— Завтра отдыхающие приезжают.

— Кто? — таращит глаза мать.

— Отдыхающие. Муж с женой. Сегодня столковались, им тут нравится.

— Им нравится тут? — Мать никак не может понять Вациса. — Почему тут? — Она обводит взглядом двор и, наконец поняв что к чему, твердо бросает: — Нет! Чужих под свою крышу не пущу!

— Да не даром же, маменька! — терпеливо объясняет Вацис. — И за комнату заплатят, и молоко покупать будут, всякую овощ, Петушки подросли, тоже сгодятся. Ты только подсчитай, маменька!

Но мать не желает подсчитывать. Подумать страшно: и у плиты и в сенях какие-то чужие люди! Нет уж...

Вацис хмыкает.

— Привыкнешь, маменька. Придется привыкнуть — и привыкнешь.

— Мать правду говорит, — подхватывает отец. — Всю жизнь без чужих прожили. А если кого и пускали ночевать, то не за рубль. И кормили как гостя.

— Я вот что придумал, папенька: сделаем ремонт, на чердаке еще комнатки две оборудуем... Койки поставим... Ну, хоть по три в каждой комнатке...

— Что ты, общежитие тут устроишь?

— Хм, некогда мне, спешу!.. — улыбается Вацис и наконец добавляет твердо, хозяйским тоном: — Так вот, ты, Шаруне, очистишь комнатку, а ты, маменька, приберешь. Завтра я их привезу. Пока!

Нырнув в автомобиль, захлопывает дверцу и, сделав круг по хутору, исчезает за воротами.

Еще долго витает в воздухе запах бензиновой гари, расплзается голубоватый дымок, чернеет помятая шином трава.

— Тьфу! — обретя дар речи наконец, сплевывает мать. — Чего стоишь столбом, отец? Совсем уж... А Шаруне тоже!.. Когда не надо, готова всем глотку перегрызть, а теперь как воды в рот набрала. Тьфу!

Все стоят, не поднимая друг на друга глаз, словно только что сообща совершили преступление.

— Тьфу! — Мать сплевывает в третий раз и убегает в избу.

Отец подходит к Шаруне, вроде хочет ей что-то сказать, но только вздыхает и, шаркая броднями, плетется в сад. Костлявая спина с торчащими лопатками сутулее обычного. Шаруне хочется найти ласковое слово для отца, побыть с ним, не оставлять его одного. Но она стоит не двигаясь и с ужасом чувствует, что не может этого сделать. Не первый день растет, затвердевает равнодушие ко всему на свете, все меньше в Шаруне тепла для других.

Далеко в поле гудят комбайны. По дороге с рычаньем ползет трактор.

Воскресенье, называется...

— Салют, киса!

Шаруне оборачивается. Рядом стоят два парня — нахалы с того берега. Парень с цепочкой на шее бренчит на гитаре, а другой, в «сомбреро», галантно кланяется, приложив руку к сердцу.

— Мы давно собирались взять приступом твой замок, киса-принцесса. Все не отваживались. Мы думали, его стережет девятиглавый змей и как только мы приблизимся...

Шаруне сердито отворачивается; опять они со своими глупостями!..

— Чего вам надо?

— Ты сердисься? Мы нанесли тебе оскорбление тогда, не так ли? Падаем на колени и слезно просим — одари нас улыбкой, киса-принцесса.

Шаруне изображает ухмылку.

— Пленительно! Еще разочек!..

— Надоело! — Шаруне поворачивает к крыльцу. — Чего вам надо?

— Прекрасная принцесса, нам нужен.. Мы не смеем произнести это слово...

Снова бренчат струны, а парень с цепочкой торжественно заявляет:

— Нам нужен лук!

На этот раз Шаруне от души смеется.

— Лук?!

— Только лук...— униженно говорит парень в «сомбреро».— Мы готовим пир, будем жарить шашлыки. Но без лука какой шашлык?..

Шаруне заходит в палисадник, где по соседству с георгинами мать сунула и несколько головок лука. Вырывает молодые луковки вместе с перьями.

— Киса-принцесса, мы приглашаем тебя к нам.

— А вам не надоело?

Парни, по-видимому, давно не встречали такой несговорчивой девушки. Они удивлены.

— Пробьет час — зеленый лес и озеро запахнут шашлыками! — восклицает парень в «сомбреро», а гитарист затягивает:

Если льва мы встретим,
Короля зверей,
Шкуру с него снимем —
Дайте нож скорей...

— До свидания, красавица! — кричат они с луговины.

Вот бы догнать этих разбитных парней, дурачиться целый день, хохотать и веселиться на том берегу, а в сумерках сесть к костру и затянуть песню!

— О-хо-хо! Мы тебя ночью похитим! Где ты спишь? Которое твое окно?

«Правда, где я сплю? — думает Шаруне и горько добавляет: — У меня нет здесь своего окна. «Очисти комнатку...» Этими словами Вацис наглухо заколотил мое окошко».

Шаруне стоит перед дверью комнатки, не смея открыть ее. Уже много лет подряд каждое лето это ее убежище, безмятежное, полное воспоминаний детства, аромата садовых цветов за окном. Странное дело: пожив здесь, в этом уютном спокойствии, она начинала тосковать по большому и шумному миру — по бойкой трепотне, шипенью кофейных автоматов, постоянной спешке. Но пробежал месяц, другой — и Шаруне вдруг недоставало ее уютного убежища; в пятницу она втискивалась в автобус и, стоя на одной ноге, катила за девяносто километров на поиски того, что давно утрачено. Находила или нет, но каждый раз возвращалась с родного хутора в город сильнее, богаче... Богатства этого не взвесишь и не измеришь. Что же она возьмет с собой в дорогу сейчас? Затоскует ли теперь хоть когда-нибудь по родному дому? «Очисти комнатку...»

Вот кровать, на которой провалялась все утро, но Шаруне не может теперь на нее лечь. Даже стул отодвигает в сторону и потерянно окидывает взглядом каждый предмет, пока не замечает в углу клетчатую дорожную сумку...

— Что тебе в голову взбрело? — через полчаса спрашивает с порога мать.

Шаруне стоит перед зеркалом и молчит, даже не обернется. Подкрасив губы, берет большую и легкую сумку.

— Уезжаешь? Вот те здрасьте!..

Шаруне не собирается ничего объяснять, только спрашивает:

— Где отец?

— Может, у коровы... Не знаю. Послушай, Шаруне...

— Я поехала, мама.

— Подожди, положу чего-нибудь в дорогу...

Покачав головой, Шаруне уходит через сад. Думает: этой тропой утром провожала Стяпонаса; поезд уносит его куда-то. Дайнюс будет ждать ее вечером; нет, кто-нибудь ему скажет, люди-то видят все; наверно, Домицеле поспешит доложить, с радостью доложит. А что скажет Дайнюс? Зачем она назначила ему свидание? Сама не понимает, что с ней вчера творилось. А что творится сегодня? Она будто перед высоким порогом, который надо перешагнуть и идти дальше.

Шаруне шагает — стройная, красивая, с ниспадающими на плечи распущенными волосами. Такая легкая — как ветер. Пускай плятятся бабы из открытых окон, пускай буравят ее осуждающими взглядами, пускай завидуют тому богатству, которого природа пожалела их дочерям. Да, она, Шаруне, знает себе цену...

* * *

Взвизгивают тормоза.

— Куда топаешь, Юргис?

— Да тут... по соседству.

— Садись.

— Да не стоит...

— Ладно уж, садись, садись!

Пошаркав изнавоженными сапогами, словно собрался войти в квартиру, Юргис Сенавайтис разваливается на жарком сиденье.

— Как на сковороде, — ухмыляется он.

— Дьявольски печет. В магазин?

— Неужто на лбу написано, председатель?

— Так ты же это ремесло не бросаешь.

— Боюсь, председатель, что стаж прервется. — Хихикнув, Сенавайтис чмокает сухими губами. — Слух идет, свежее пиво привезли. А работа сделана, можно сказать. Все в ажуре.

Тракимас смотрит на Сенавайтиса, на его большие задубелые руки, покоящиеся на коленях, на опаленное солнцем и сейчас даже добродушное лицо.

— Ах ты, Юргис, Юргис...

Машина едет медленно, будто Тракимас тоже кончил свою работу. Оба молчат, смотрят на бегущую дорогу.

— Злишься, председатель?

— Не знаю.

— Вижу, что злишься. За вчерашнее.

— По правде, так зло берет.

— А чего злиться-то? Может, я что не так сказал? Может, все не правда?

Тракимас горько усмехается.

— Да ты подумай — какая она, твоя правда? И кому она нужна — главное?

Сенавайтис резко поворачивается к Тракимасу.

— Не научился я, председатель, перед начальством на задних лапах ходить. Чего нет, того нет. И умру таким.

— Человека научись для начала уважать. Человека!

— Справно хозяйствовать и кулак умел, можно сказать. Хлеба тучные, скот на загляденье. Встретятся два кулака — только и разговору: столько-то ржи намолотил, столько-то беконных свиной сдал. А вот человеком быть, сволочи...

— Если тебя послушать, — смеется Тракимас, — мы на кулаков похожи.

— Оглядишься вокруг как следует — и таких хватает.

— Из-за своего упрямства и остался таким, Сенавайтис... Ничего не добился... А ведь мог... Скажешь, не мог хоть малость глаза продрать?

— Три зимы я учился. И знаешь, о чем думал, когда топал четыре километра в школу? Одиннадцатый год мне пошел, когда я думал: вот найду по дороге в школу полный бумажник, принесу отцу, и не придется мне больше кулацких коров пасти, смогу книжку купить и длинную конфету в пестрой обертке. Каждое утро бежал эти четыре километра посередине дороги и все глядел — где же мой набитый бумажник? Буду учиться, думал, в город уеду, брат тоже в школу пойдет... Да уж, мы набивали бумажники богатыям, а они их не теряли...

— Своим детям расскажи! — нетерпеливо обрывает его Тракимас.

Не любит он, когда ищут себе оправдание, копаясь в детских грехах. Никто не говорит — было трудно. Он и сам ходил в вечернюю, заочно учился. Что значит не было условий? Было бы желание... У кого есть цель, тот шут знает что может...

— Стой! — требует Сенавайтис.

Тракимас сжимает баранку.

— Не доехали еще...

— Стой, говорят!

На лбу у него испарина, губы дрожат.

— Не посмотрю, что гонишь...

Сенавайтис нажимает на ручку дверцы, подается наружу. Тракимас правой рукой хватает его за плечо, ногой нажимает на тормоз.

— Смерти ищешь?

— Ха, ты бы только обрадовался — никто бы воду не мутил. Вижу, что струхнул... Давай, давай, строй баню.

Что он говорит?! Откуда он знает?!

— Людям рот не заткнешь, можно сказать, для них все как на ладони.

— Юргис!..

Сенавайтис захлопывает дверцу и шлепает сапожищами по обочине. Через разодранную штанину мелькает белый треугольник бедра.

Ключик дрожит в пальцах Тракимаса. Зажигание жужжит, двигатель не заводится. Наконец машина трогает с места и, погрузив Сенавайтиса в серую пыль, улетает. Тракимас отпирает контору, заходит в кабинет, грудью наваливается на стол. Сидит и смотрит перед собой — не на кипу бумаг, не на толстые амбарные книги, куда-то в даль, ищет там концы оборванной нити. Надо связать ее, да так, чтоб узелок не торчал.

Еще утром позвонили из райцентра: «Римвидас, не хочу говорить, от кого слышал, но сведения верные...» «Ну и не говори», — бросил Тракимас: он ненавидел сплетни. «Я не спрашиваю, что было у вас со Смалюконисом. Дело ваше. Но вчера вечером Смалюконис на дне рождения у одного здесь сказал: «Выпестовали мы кадры, путаются под ногами вроде камней». Тебя назвал». — «Ну знаешь, приятель! Бабам оставь эти «сказал — назвал»...» — «Дело твое. Я как друг предупредил, пока не поздно...» Тракимас швырнул трубку, сплюнул — портя настроение с самого утра. Глупости какие-то. Ведь решил уже — в понедельник позвонит Смалюконису: «Я передумал, пускай будет...» Но теперь, после разговора с Сенавайтисом (конечно, не стоило над ним смеяться: «Своим детям расскажи!»)... Что же главное? Страх перед какой-то неясной виной в прошлом? Меньше получишь стройматериалов, удобрений? Тебя не похвалят с трибуны, зато всегда найдут, за что поругать? Вглядись хорошенько. Ведь не

это, не это главное. Есть же что-то... настоящее, существующее не один день и важное не для тебя одного, Тракимас...

Ты пойми: Смалюконис не главный в районе, и завтра ты можешь постучаться в кабинет первого. За большим столом поднимется седой человек, улыбнется всем сухощавым открытым лицом, крепко пожмет руку и сам, как всегда, спросит: «Как дела, Тракимас?» Всегда он тебе помогал, выслушает и сейчас...

Тракимас вскакивает и, так и не вспомнив, зачем заглянул в контору — вроде и было какое-то дело, — махнув рукой, уходит. Возвращается, бросает взгляд на барометр — «ясно», вот и конец пастбищам да огородам.

На крыльце обводит взглядом полуденную улицу. У автобусной остановки толпятся люди — одна молодежь. С чемоданами, разбухшими спортивными сумками и огромными авоськами, полными яблок. Обратило в город... Хотя плачь — нужны два тракториста, а вот попробуй уломать... А почему Гуделюнас подпирал забор? Смотрит под ноги, никого не видит. И руки у него пустые, ждет кого-то...

Подъезжает автобус, люди кидаются к нему, отталкивая друг друга. Кондукторша кричит:

— Дайте сойти!

Вылезает бабенка, другая, проталкивается Гуделюнене, оправляет мягое платье, бросает взгляд на мужа и проходит мимо — гордая и прямая. Гуделюнас бредет за ней, словно путы на ногах, едва успевает за женой. Интересно, кто подменяет его на складе? Может, все бросил, пришел встречать молодую жену? Хотя нет, он никогда не махнет рукой на работу. Хороший он человек... Видит и Крейвенасову Шаруне, которая отчаянно рвется к двери автобуса: откинув с лица волосы, ныряет в толпу, оттолкнув локтем какую-то тетку; кажется, вот-вот по головам пойдет, ни на кого не посмотрит. Одного дерева побеги — и Миндаугас таким был. Ах, не начинай ты снова... И все-таки... Да, ты своими пальцами перелистаешь пожелтевшие страницы, отыщешь запись: «Дело Миндаугаса Крейвенаса» — и расскажешь все, что знаешь о нем. И почему до сих пор молчал, расскажешь. Нужна ясность. И уверенность. Для тебя. Для всех. Даже для старых Крейвенасов, конечно.

Уже садился в машину, когда услышал за спиной:

— Председатель!

Кричал, не слезая с велосипеда, почтальонов сын.

— Возьмите, председатель. Хорошо, что поймал.

Тракимас трогает с места. Тяжелая голова, в ушах звон. Вытянуться бы теперь в тени на берегу озера да отдохнуть, забыть все — ни о чем не думать хоть полчаса...

Тракимас косится на конверт, машину заносит; чудом не влетел в канаву! Знакомые округлые прямые буквы пляшут перед глазами, а он все еще не может поверить. Снова смотрит на конверт, читает адрес и смахивает ладонью пот со лба. Нет, не показалось — жена пишет... Целый месяц... спустя такой месяц, когда он один... Он ведь знал, что она напишет! Каждый день ждал этого письма, ждал того часа, когда жена перешагнет порог, вернется. Он хотел увидеть ее лицо, посмотреть в глаза... после всего этого. И услышать, что она скажет. Молчать будет? Просить прощения? И Тракимас горько улыбнется — хмелея от торжества и страдания, приготовившись за свою боль отплатить болью. А может... лучше разорвать это письмо не читая и ничего не зная! Пускай будет тишина.

Не останавливая машины, он берет письмо обеими руками, медленно отдирает самый краешек, словно повязку, присохшую к ране.

Швыряет на сиденье рядом. Круто поворачивает баранку, машина несется по жнивью, сделав круг, едет обратно. Тотчас же прочитаты! Он должен знать все как есть.

Домой не надо, он должен прочитать в одиночестве. А если придется, и ответ написать! Сейчас же, сию же минуту...

Тормозит перед конторой, «газик» заносит, машина полна пыли. Запирается в кабинете и прислоняется спиной к холодной кафельной печке. Вынимает из конверта белый листок, разворачивает его и зажмуривается.

Только бы...

«Римвидас,— наконец читает он. Когда-то письма начинались: «Дорогой Римис... Мой Римис...».— Римвидас, я отлично понимаю, каким неожиданным и тяжелым для тебя было мое исчезновение. Только не думай — предупреждаю заранее, — что я прошу меня простить. Я просто хочу объяснить, чтоб ты хоть в чем-то меня понял. (Что она еще может объяснить? Что еще не ясно?) Ты не думай, что мне было легко в то утро уезжать. Я ведь знала, куда еду и зачем... (Она знала, она готовилась к этому заранее, точила нож!) В ту ночь я хотела услышать от тебя хоть какое-нибудь слово. Видно, ждала доброго, теплого слова, как и каждый божий день. Но ты вечно жаловался на усталость, и по твоим раздраженным речам можно было понять, что для тебя важнее всего на свете коровы, свиньи, телята, центнеры, килограммы... Той ночью я тоже положила руку на твое плечо, разбудила. Помнишь, что ты мне сказал? Забыл, наверно... (На самом деле, что же такого он ей тогда сказал?) А я вот не могу забыть: «Хоть ты не морочь мне голову!» И повернулся ко мне спиной. Не знаю, могли ли добрые слова в ту ночь что-то изменить. А может, и могли. Я-то всегда ждала от тебя добрых слов, твоей близости. Мне был нужен ты целиком. Я — женщина, и у меня только одна жизнь. И право на счастье. (Право на счастье... Что такое счастье? Разрушить жизнь другому ради своего счастья?) Ты не думай, что я забыла о детях. В конце августа приеду. Охотно забрала бы с собой обоих мальчиков. Но если что, хотела бы увезти Роландаса. У него хороший слух, здесь он сможет учиться музыке».

Господи, как хладнокровно она рассуждает, как для нее все ясно! Тракимас едва добирается до стула. Опускается на него, опирается подбородком в грудь и сидит долго, не думая ни о чем. Потом, все еще тупо глядя перед собой, медленно разрывает пополам листок, аккуратно складывает эти две половинки и снова рвет... Снова складывает и снова рвет... Шорох бумаги скребет по сердцу, проникает в мозг. Тракимас вскакивает, швыряет на пол горсть бумажек и топчет их ногами, твердит сквозь зубы:

— Вот тебе, вот тебе... Ты меня на колени не поставишь! Выдеру тебя с мясом из сердца и жить буду! И не в чужой постели счастье буду искать! Нет! Нет! Жить буду!..

Затихает, сипло дышит, глядя на бумажки, потом встряхивается, как-то напружинивается весь.

— Буду жить,— говорит спокойно, словно клянется кому-то. Обводит взглядом стены, увешанные диаграммами роста производства, замечает предвыборный листок с портретом Смалюкониса, пододвигая, срывает его.

Долго стоит, смотрит на разбросанные белые клочки. Встает на колено, поднимает бумажку. «...повернулся ко мне спиной... Ждала от тебя добрых... нужен ты целиком...» — читает обрывки фраз и слов. Берет второй клочок, третий... Все подбирает, аккуратно складывает на столе. Замечает увядший цветок, который вчера оставила Регина, вынимает из стакана и выбрасывает в окно...

Пронзительно звонит телефон. Тракимас поднимает трубку, говорит «алло» и удивляется, не узнав своего голоса.

* * *

Еще в полутьме, не спустившись с сена, на котором спал, Марчюс Крейвенас подумал, что хорошо бы так валяться да валяться без конца. Он ничего уже не хочет, ни до чего ему дела нет. Жизнь шла и прошла мимо, а он остался сидеть на краю канавы вроде побирушки. Пыль на рубище и лице, она вязнет на зубах, во рту горечь; изъеденные соленым потом глаза ослепли. Ноги не повинуются, омертвели; столько лет верно служили глупой башке — как тут не устать... Вот-вот, глупой башке!.. А ведь что ни делал, все казалось единственно верным, единственно возможным, но время каждый раз насмеялось, издевалось как над последним дураком. Верил в землю, в ней видел начало всех начал, отдал ей себя всего с потрохами. Но земля с ним скупилась, с другими расщедрилась. Как женщина. Верил в бога, выпрашивал у него то дождь, то ведро, то урожай, каждой весной взяв в руки лукошко с семенами, крестился: «Благослови, господь». Господь был глух; зывал к нему, а он молчал; настал час, когда попросил: «Если ты всемогущ, боже, то сделай так, чтоб семя, брошенное рукой безбожника, упало в землю мертвым». Но семя оказалось всхожим, и он понял: не от бога все. Верил в детей: вырастит их, думал — в люди пустит. Разбежались, разлетелись, как пепел на ветру, а ты, отец, сиди дурак дураком. Нет, милье, не в кого больше верить. Одно осталось — валяться так и не вставать, ему, старику, нужен покой...

— Отец!

Властный голос жены поднял Марчюса. Крейвенас проводил сына Стяпонаса, и снова его окутало равнодушие, как саван, пахнущий сырой землей. «Не осуждаю я тебя, сын мой, — думал Марчюс. — Ты ведь сызмальства был другим, словно росток со слабыми корнями, не прижившийся на твердом грунте. Твои глаза все искали что-то за межой, за озером, за лесом... И когда я гнал тебя через деревню, думал об одном: ты — будущий хозяин хутора, тебе не положено дурить. Я хлестал прутом не твои детские плечи — я хотел до смерти запороть твое дурное желание убежать из-под родного крова. А вскоре сам тебя выгнал — уходи, сын! Сделав первый шаг, ты уже не останавливался: все дальше и дальше шел. Что же ты обрел там, сын мой? Нашел ли в далекой Сибири могилу деда?.. Ни разу, наверно, не подумал о ней. Страдания дедов для вас сказки. Заводы там, железные дороги, большие города — рассказывал ты... Я спрашиваю, сын мой, не вывернул ли ты истлевшие кости, когда рыл котлован под фундамент дома? И ни о чем эти кости тебе не напомнили? Что ж, я не виню тебя, у тебя своя жизнь, которую я никогда не понимал; и сейчас она для меня туманна. Может, потому так больно заньло сердце, сын мой, когда я провожал тебя, твою жену и твоего ребенка»...

Крейвенас устало листает книгу своей жизни, каждая страница что жернов — трудно ее поднять. Скрипят жернова, грубо мелют. Марчюс знает: из этой муки не будет пирогов. «Объелся ими за свой век, по горло сыт, спасибо. Ничего больше не хочу, — думает Марчюс, — ничего мне не надо...» Когда ушла Шаруне, даже не попрощавшись, ему почудилось, что это сон. Что ж, бывают сны, которые длятся тридцать, сорок, а то и все семьдесят лет... Может, снова при снятся ему дети за обеденным столом: и Миндаугас, первенец, которому сразу после рождения он посулил образование и красивую жизнь, и Стяпонас, и Вацис... Вацис сказал... Марчюс вздрагивает, и

его покидает оцепенение... Пустой и унылый дом, разогретый полуденным солнцем, пышет жаром, словно истопленная печь. Марчиус сидит, привалившись спиной к теплой стене, вцепившись руками в лавку — пальцы немеют, покалывает их иголочками. Вацис сказал: «Завтра отдыхающих привезу...» Готовься встретить их, говорю. Брось в кувшин с водой сотового меду. Ведь взял из ульев свежий мед. Из замерших ульев ты вынимал соты, с которых капал мед, а пчелы были спокойны, не жужжали над головой, не садились на руки. Но кому до этого есть дело? Приготовь квас и потчуй гостей, как твой отец когда-то. Только не рассказывай им, пожалуйста, ни о старой колоде, ни о Дубе повстанцев, ни о Лесорубе. Не станут слушать. А если все-таки расскажешь, того и гляди спросят: «Сколько мы должны?» Они заплатят за все. «Ты только подсчитай, мама», — сказал Вацис. Он-то умеет все измерить да взвесить. «Как теща поживает?» — спросил ты прошлой осенью. «По-старому... верно...» — буркнул Вацис. «Передай ей привет». — «Да ее... нету...» — «Это еще что? Умерла?» — «Хм, живет, только не при нас. В доме для престарелых...» Крейвенас пошатнулся: «В богадельню отдал?!» «Почему это в богадельню? Дом для престарелых обеспечивает безмятежную старость. Я слышал, что за границей — в Швеции, что ли, — все могут вносить определенную плату, чтоб потом удобно...» — «Ничего себе порядок! А как жена позволила свою мать?...» — «Посоветовались мы с ней, я убедил. Потом устроил через знакомства. Не так это все просто... Да и какая у нее жизнь была при нас? Еле-еле ходит, одно горе с ней. А девочка наша уже большая... А там и одевают, и кровать постеляют, и кушать подадут. Чего еще нужно старому человеку?..» Крейвенас помолчал, но сердце все не отходило. «Скажи-ка, сын, за сколько рублей могут купить родители в старости сыновью любовь?» Вацис аж пунцовый стал, как в детстве после порки. «Зачем ты так, папенька?.. Невесты что...» «Отвечай, раз спрашиваю», — не уступал Крейвенас. «Да что ты, право?» «Отвечай!..» Вацис заерзал, глянул исподлобья. «Ну, отвечай...» «Хм, ты как-то смешно говоришь, папенька... Кто же за деньги покупает эту, как ее... любовь?..» «Покупают! Продают! Покупают!..» — задыхался Крейвенас; ему почудилось, что недалек день, когда Вацис и его с матерью отправит туда, силой засунув в свою легковушку. «Ты это зря, папенька, — успокаивал его Вацис. — Теща сама захотела. Сама! Говорит: что я буду путаться у вас под ногами... когда власть бесплатно... Она сама так!..» Долго оба молчали, каждый думал о своем, потом Крейвенас устало попросил: «Матери своей так и скажи, как теперь вот сказал: теща сама захотела...» — «Да она правда сама...» — «Матери расскажи...»

— Что делать-то будем?

Словно с того света вопрос, и Крейвенас не отвечает, только увидев рядом жену, поднимает глаза.

— Что делать-то?

— Если б жить не надо было, могли б и не делать ничего. Сел и сиди вот так. А то свалился под яблоню и лежи день-деньской.

— Ты уж совсем, отец...

— Если б жить не надо было, говорю.

— Ни два, ни полтора...

— Зачем тогда спрашиваешь? Дай настанет осень... А осенью...

— Уж совсем осень. Ранняя в этом году. Все желтеет, чахнет.

Дожди скоро начнутся.

Крейвенас обводит взглядом унылое жнивье, вздыхает. Для нее осень начиналась, когда дети улетали из дому. От каждых таких проводов веет дождливыми осенними вечерами, бесконечными зимними метелями. Опять пристанет какая-никакая хворь, свяжет ноги да уло-

жит в постель на неделю, а то и на целый месяц. Горячим отваром ромашки отпариваешь озябшие руки и все беспокоишься — покормлены ли куры, корова, свинья. А если оба разом свалятся, упаси господи!.. Едва тащишь ноги, а идешь — лучше уж ты закрой глаза, а не живая тварь в хлеву. А потом притащится по сугробам паренек из деревни и скажет с порога... как прошлой зимой: «Старуха Марчюконене померла». «Уже?» — «Уже!» — «Упокой, господи, душу ее, настрадалась бедняжка». — «Приходите, просили передать. Во вторник похороны». Ушел, по пояс проваливаясь в сугробы. Лежит женщина в гробу, высохшая как щепка, мигают, потрескивая, свечи, а в стьлой горнице на длинных лавках у стен сидят старики и старухи в тулупах, тянут песнопение об ужасах ада да суете жизни человеческой, а потом кто-нибудь возьмет и спросит: «Чей теперь черед, а?» Спокойно спросит, словно о сенокосе разговор. «Не Юозапасу ли пора?...» — «Какому Юозапасу-то?» — «Да Юозапасу Жёбе... Давно мог господе приборить. Ведь, можно сказать, человека и нет». — «Ах, нельзя так говорить. Каждому свое предназначение. Лучше споем духовное, соседи...» Затянут скрипучими голосами песнопение, и опять... словно о сенокосе разговор...

— С чего это осень всегда такая длинная?.. И зима тоже...

— Для каждой твари так. Да еще под старость, говорю... Когда дом пустеет...

Крейвенене присаживается на лавку рядом с Марчюсом и, сунув руку под передник, достает скомканный листок.

— Погляди-ка, чего тут. Завалилась бумажка за дочкину койку, не знаю — выбросить или припрятать для нее.

Заскорузные пальцы разглаживают листок; положив на бедро, мать еще проводит по нему ладонью.

— «Ауримас...» — читает Марчюс и опускает руки с листком на колени. — Может, не стоит читать? Шаруне писала.

— Читай, отец.

Крейвенас поднимает листок, бросает взгляд на жену.

— Раз ты хочешь... «Ауримас...» Никак тот парень, которого она все ждала?

— Ты читай, отец, читай.

— «Ауримас, я верила тебе, одному тебе, но и ты, оказывается, такой же, как все...» Почему — «как все»? А каким еще быть человеку?

— Ты читай, отец.

— Может, не стоит, говорю, письмо-то чужое...

— Да какое оно тебе чужое? Может, дочка тебе чужая? Читай.

— Раз ты хочешь... «...такой же, как все. Ты плюнул на слова, которые мне говорил, на меня плюнул. Ладно, я тоже плюю. Ты не бойся, я не из тех девушек, которые травятся или топятя...»

— Господи, отец! — Жена хватает Марчюса за руку. — Как она страшно пишет! Ты читай, читай, я хочу все знать!

— «...травятся или топятя. Я проклинаю тот день, когда тебе поверила и отдалась...»

— Не читай! Не надо! Хватит! — Крейвенене вскакивает, ломая руки. — Господи! Шаруне, доченька... Как же она так... Ты слышишь, отец? Ты слышишь?

— Слышу, — глядя себе под ноги, отвечает Марчюс. — Я все слышу. Я-то слышал и когда ты без толку наряжала Шаруне да приговаривала: «Дайнюс — деревенский парень, выбрось ты его из головы, ученого найдешь, себе ровню...»

Жена всплескивает руками.

— Я виновата! Я! Всегда я виновата! О, господи... Давай! — Вы-

рывает листок из рук Марчюса, бросается прочь, но тут же останавливается, смахивает слезу и возвращается.

— Дальше почитай!

— Нету.

— Как так — нету?

— Нету. Все.

— Так-таки все?

— Недописала и бросила.

— Дай сожгу, а то еще попадется кому-нибудь. Господи, господи... Свой век прожить не дают спокойно. От такой жизни гробанешься как-нибудь на дороге — и аминь.

— Оно бы хорошо. Думаешь, будут за тобой смотреть, если сляжешь? Или за мной? Отдаст Вацис в богадельню. Как тещу, говорю.

Крейвенене упрямо вздергивает подбородок, даже ногой топает: как он может плести такое о сыне, который... которому...

— А вот и нет! Мой сын такого не сделает!

— По мне-то хоть бы сразу... Брякнулся — и готов.

— Господи, точь-в-точь как эта Антасе!.. Нашли под забором мертвую. Без свечи, без молитвы... Глаза мухи выжрали...

Спохватившись, Крейвенене оглядывается на мужа; да ладно, не стоит жалеть о сказанном: почему у нее одной должна душа болеть? Но лицо у Марчюса будто кирпич — неживое какое-то, не поймешь, что думает... А все-таки задело его, видать. Встает с лавочки, хватаясь рукой за стену, глаза прячет. Совсем уж дряхлый стал на старости лет...

— Какая жизнь, такая и смерти! — бросает она с ненавистью.

Крейвенас, сделав шаг, замирает, переживает.

— Куда идешь-то?

Куда же он идет? Откуда знать Марчюсу, куда он идет. Он просто почувствовал, как кто-то тронул его за плечо, и услышал: «Встань и иди». Куда ж он должен идти? Кто-то шепчет ему: «Иди и своими глазами посмотри на заколоченные окна. Издали, из лесу увидишь. Иди... Пройди этой дорогой еще раз... может, в последний раз... той дорогой, по которой ноги вели тебя тысячу раз, а мысли — пятый год... каждый день. Иди и посмотри. Хоть издали... сейчас... столько лет спустился... Иди, иди...»

— Господи, так я же спросить хотела — что нам делать? Отец! Вацис же сказал... Очистим эту комнатку или нет? Все мне одной да одной...

Марчюс оглядывается через плечо.

— Очисти.

— И я так думаю. Вацис сказал... Может, и ничего эти люди, пускай живут. И молоко у нас есть, и яйца, и молодая картошка, огурцы... Не даром ведь, заплатят... Может, оно и ничего, как подумашь...

Кто-то ведет Марчюса к озеру, тянет за руку, ласково нашептывает: «Столько лет ты не ходил этой дорогой через лес... Иди по ней — и ты узнаешь каждое дерево, каждую орешину, которые провожали тебя, когда... Ты найдешь все, что хотел забыть, а не забыл. Иди... Иди же...»

Припекает солнце, все еще жаркое, хотя и в тусклом мареве. Ветерок, сухой, обжигающий; только с озера тянет прохладой.

— Куда ты, отец?.. — догоняет его голос, и Крейвенас бросает женщине первое, что приходит на язык, боясь, как бы она не задержала его на этом берегу.

— В лес... Сено сгрести надо.

Садится в лодку, и кто-то сует ему в руки тяжелые весла.

* * *

— Дайнюс! Что тебе скажу!

— Комбайн Нашлюнаса из строя вышел?

— Еще чего... брось свои глупости!

Дверца «газика» открыта настежь, Тракимас стоит, широко расставив ноги, засунув руки в карманы брюк.

— Ты помнишь, Дайнюс, как первый раз на комбайн сел?

— Это было сто лет назад...

— Четыре года назад, совсем недавно. Объехал поле словно с бороной, с комбайна спрыгнул, ноги трясутся, мокрый, будто из озера вытащили. Помнишь, что ты сказал? Я-то как сейчас помню.

— Председатель, не стоит...

— Ладно, не стоит, так не стоит,— соглашается Тракимас и вдруг тычет пальцем прямо в Дайнюса.— А знаешь, кто ты теперь? Нет? И не догадываешься? Лучший комбайнер в районе!

Дайнюс стягивает с головы порыжевший берет, вытирает потное лицо, глаза. Потом смеется:

— Трижды ура!

— Сегодня вечером в Доме культуры... Не опаздывай, Дайнюс.

Дайнюс снова вытирает беретом лицо.

— Не смогу,— трясет он головой.— Сегодня вечером... Не смогу.

Тракимас пожимает плечами, оглядывается. Вот и пойми этого чудака! Трудовая слава ему ни к чему? О, это капитал! Каждый такой человек — капитал. И зерно в закромах — капитал. И этим крепко Тракимас. В этом его сила! Пускай Смалюконис говорит, что хочет... Пока человек жив, он в силах исправить все...

— Дайнюс, надо!

Шуршит зерно, пересынаясь желтой струей в кузов грузовика, шофер стоит на подножке, сосет сигарету и лукаво посмеивается.

Дайнюс молчит, смотрит в сторону, а по лицу блуждает неясная улыбка.

— Значит, по рукам!

«Газик» удаляется по жнивью, а Дайнюс, покачав головой, говорит себе:

— Нет, не смогу.

Его глаза вдруг натываются на взгляд шофера: нехороший взгляд.

— И дураку понятно! — ухмыляется шофер. Прилипший к губе окурочек элозит, кажется — пивка вцепилась.

Но Дайнюс не хочет замечать ежидства. Такой уж день сегодня, что голова хмельная с самого утра и этот хмель несет тебя словно на крыльях. И ночь была такая... впервые в жизни он валялся в кровати, обняв подушку, не смыкая глаз — боялся закрыть их, чтоб его счастье не нарушили дурные сны.

— Опять приклеился к Крейвенасовой Шаруне? Старик Марчюконис со смеху подох, пока за вами в кино сидел...

Лицо Дайнюса расплывается в улыбке.

Шаруне... Словно шелест ржаных колосьев.

Шаруне... Словно льющееся струей зерно.

Шаруне... Словно начатая борозда пашни.

Шаруне!

— Очень ты ей нужен.

Говори... Пускай все говорят. Он знает то, чего не знает никто. Только он и Шаруне. «Мы долго и мучительно искали друг друга», — сказал он ей. Она ответила тихонько, но он расслышал: «И нашли».

— Наверно, свидание вечером?!

Ядовитая ухмылочка. Почему люди стараются поддеть друг друга, почему хотят отравить чужое счастье? Говори... Говори... «Я буду

ждать тебя здесь, на этом же месте, Шаруне». — «Жди, Дайнюс, приду». — «Пока, до вечера, Шаруне». — «Пока, Дайнюс...» Пока...

— Чего молчишь? — глаза буравят Дайнюса. — Шаруне уехала, не жди!

Улыбка на лице Дайнюса тускнеет, но тут же расцветает.

— Выдумаешь! — бросает Дайнюс.

— Своими глазами видел, как в автобус втиснулась.

Дайнюс сидит, налегая грудью на штурвал — весть пока где-то в пути, не дошла до сознания, — но вдруг он скатывается наземь, подбегает к водителю и чуть ли не за горло хватается:

— Что ты сказал?!

— Не таких еще видел. Очнись, малолетка.

Глупость какая-то! Над тобой смеются, а ты поверил, дурак?

Шофер вразвалочку уходит за машину. Добавляет оттуда:

— Мне-то что? Начал я...

Неправда! Неправда все... ведь Шаруне... Шаруне... Нет!

Дайнюс вскакивает в кабину грузовика, мотор взрывается, и машина, дернувшись, несется прямо по жнивью.

— Стой, гад! — догоняют его слова. — Слышь, стой!.. Сто-о-ой, га-а-ад!..

Лишь на повороте Дайнюс косится назад и видит, как шофер отчаянно машет руками посреди поля.

Грохочет грузовик, подскакивает на колдобинах.

— Смерть ищет парень! — Бабенки, идущие по дороге, проворно скачут через канавы.

— Вконец ошалел! Куда его черт несет! — удивляются мужики у склада, выбегают на дорогу, но успевают увидеть только облако пыли.

Разлетаются, хлопая крыльями, куры, кудахчут всюю, возмущаются, что их подняли из теплых лунок в пыли.

Дайнюс смотрит на дорогу. Только на дорогу, больше он не видит ничего. Он то и дело трясет головой: «Нет! Нет!»

Пронзительно взвизгивают тормоза, и машина сворачивает на проселок, ведущий к хутору Крейвенаса. Внизу сверкает озеро, за ним темнеют зубчатые башни леса... А это что?! Дайнюс больше не смотрит на узкий проселок, колеса разрезают жнивьё; он не может оторвать глаз от леса.

— Горит! — кричит он отчаянным голосом; его словно прошили пулей навывлет — такая острая боль в груди.

Тормозит перед избой, открывает дверцу кабины.

— Есть кто живой?

Крик будит хутор от полуденной дремы.

В дверях появляется Крейвенене; в руках у нее подушка в свежей наволочке.

— Лес горит!

Женщина бросает взгляд на лес, и подушка белой гусыней выскользает из рук.

— Господи, отец! Отец в лесу! Господи!

Грузовик разворачивается в просторном дворе и с грохотом несется к деревне.

— Гори-им!

* * *

Может, и слишком высоко пылал костер под дубом, Марчюс не припомнит. Он ведь не поднял головы, не посмотрел в ту сторону. Даже странно. Как он мог не посмотреть?.. Подгреб бы к ним, накричал. Но он все двигал и двигал веслами. Даже не Марчюс — кто-то двигал веслами, а он сидел, глядя на удаляющийся дом, и на сердце,

как когда-то, лежал тяжелый камень; никак не удавалось скатить его и утопить в озере. Ничего не видел вокруг, слышал только шепот: «Пройди этой дорогой еще раз и вспомни все, что было, ведь ты можешь вспомнить об этом без стыда...» Выходит, пепел давних лет не остыл; тепло, сохранившееся под ним, толкало Марчюса вперед.

Нос лодки чиркнул по отмели. Марчюс сошел на берег и огляделся в поисках тропы, ведущей через лес. Поднял голову и замер, словно в столбняке, залепетал:

— Человек ты мой!

На том месте, где рос вековой дуб, вихрился черный дым, заволакивая ельник, мечась между верхушками деревьев. Иди... Пройди той дорогой, сказал кто-то, и Марчюс вздрогнул, развел руками.

— Сгинь! — зло прошипел он невидимому искусителю и с юношеским проворством кинулся сквозь густой ельник.

Если бы посмотрел... Может, еще от дома было видно! Ах, человек ты мой...

Выломав осину, Крейвенас сбивает пламя, ползущее по мху и нижним сухим веткам елок. Убивает золотистых змеек, которые пожирают живое, смертельно жалят. Но змейки проползают мимо, забегают то слева, то справа. Марчюс пятится, все хлещет своим венником, и, кажется, так мало надо, чтобы одолеть пламя — огонь еще стелется по земле, не касаясь ветвей и верхушек высоких деревьев, — пока только дым бурлит, вихрится и ползет сквозь чащобу. И тут раздается оглушительный треск — пламя взбегаёт по сучьям сухостоя, взмывая над лесом огненным флагом, потом никнет, перебросившись на соседнюю сосну. Руки Марчюса бессильно повисают; надо бежать, скорей бежать отсюда!.. Но увидев под ногами тлеющий мох, падает на колени, срывает с головы фуражку и тушит ею огонь, хлопает по нему ладонями. Столько лет прожил у леса и ни разу не видел горящих деревьев. И одна война прошла и другая, где-то вдали дымили лесные пожары, но этот рукав леса, вклинившийся в озеро, зеленел и зимой и летом, в дождь и оттепель, не тронутый лесорубами, густой, в высоких кустах орешника и крушины. Не зря душа Марчюса была не на месте, не зря он тревожился: в такую сушь не дай боже кто бросит спичку... Целую неделю под боком у него горел огонь, веселились парни днем и ночью. И девки визжали... А ты каждый день плыл мимо, смотрел на костер и вздыхал — мол, никому и дела нет, никто не позаботится... Была бы, мол, табличка с казенной надписью... Ах, человек ты мой...

Рев огня поднимает на ноги Крейвенаса — умаявшегося, едва не задохнувшегося в горьком дыму. Он продирается сквозь чащу, острые сучья царапают лицо; на спине порвалась рубашка... Марчюс бежит, пока не ударится о толстый ствол ели так больно, что в голове поднимается звон. Привалившись к дереву, поднимает изъеденные дымом глаза, раскрывает рот, чтобы крикнуть. Но жара зажимает голос, и только глаза все не могут оторваться от охваченного пламенем дуба. Сквозь слезы Марчюс видит великана, этого Лесоруба, высоко поднявшего сверкающий топор, чтобы одним махом срубить девять лесов. Топор ударился о высокое небо, полетели рои искр, обжигая лицо и руки Крейвенаса. Но почему не грянет гром, почему не хлынет ливень? Почему так тяжело дышит дуб, дрожит широкими листьями, почему потрескивают, сгорая, ели вокруг? «Смилуйся над нами!..» Откуда доносится эхо песни повстанцев? «Смилуйся над нами!..» Откуда же долетает эта песня — словно дыхание огня?

Марчюс зажимает руками уши, закрывает лицо. Отрывается от ели, бросается в сторону, спотыкается, встает и бежит снова, но

огонь отбрасывает его назад. Кидается в другую сторону, через прогалину. Задыхается; жаркий дым набился в рот, словно кипящая смола; он падает, пытается руками ухватиться за что-то.. Тлеющий папоротник обжигает пальцы, будит его из забытья, и Марчюс слышит, как приближается гомон, крики, гул машин. От озера... от дороги... близятся голоса, доносясь сквозь громкий треск пламени...

Вставай, Марчюс! Вставай! Ты должен идти... идти...

— О-о-о! — задыхаясь, кричит Марчюс.

* * *

— Гори-и-им!

Слово несется над деревней, кружится черным смерчем, и люди бросают работу, лица искажает ужас.

— Гори-и-им!

Это слово настагает Тракимаса, когда он толкует с заведующим скотофермой, он вскакивает в «газик» и мчится сломя голову. Вбегает в контору, хватая телефонную трубку.

— Алло! Алло! Пожарная?

Набирает снова, повернувшись к окну, смотрит за озеро. Над верхушками елей поднимается сизый дым, не спеша расплзается. Еще только начало... надо поскорей!..

Набирает номер.

— Шлите людей! Лес...

Снова набирает:

— Из Букны... Алло!

Глаза смотрят на опушку. Каждая секунда длится без конца... Скорей, скорей! Кажется, по всему берегу горит лес. «Идеальное местечко, вылитый Балатон».

Сжав кулак, Тракимас бьет костяшками пальцев себя по лбу. Опомнись!

— Лесничество? Алло, лесничество? Уже знаете? Выехали?

Выбегает на улицу, садится в «газик» и мчится, догоняя Дайнюса. Полный кузов мужиков, вповалку лежащих на зерне, они подсакивают на ухабах и кричат наперебой:

— Сбесился! Раскидает нас! Не гони! — Барабанят по кабине: — Убьешь, гад, с женой не успел попроситься!

— Жми, Дайнюс, не слушай его!

Дайнюс жмет да жмет.

Услышав грохот машины и крик мужиков, из фермы выходит Юргис Сенавайтис. Опершись на вилы, сплевывает. Куда же их несет нелегкая? Но бросил взгляд направо, заморгал мутными глазами — и живо метнулся в телятник.

— За оружие! — командует во всю глотку. — Забрались в тенек и ничего не видите, сволочи!

Возчик кормов Марчюконис складывает карты, взглядом приговоренного к смерти смотрит на женщин, которым только что показывал «фокус-марокус» — сын приехал из города и научил.

— Третья мировая началась, ягодка? — Старик едва ворочает языком.

— Лес горит! Народное добро! Шевелись, старик! И вы, бабы, вперед!

— Сдуру ты, Юргис! Чего тут носишься? — галдят женщины, чуть не набрасываясь с кулаками на Сенавайтиса.

Марчюконис вздыхает, усмехается в усы:

— Ну и напугал же, ягодка! А я-то думал...

Сенавайтис поднимает навозные вилы, нацелившись на Марчюкониса, словно в ржаной сноп.

— Вперед, сволочь! Живо запрягай!

С Сенавайтисом шутки плохи. Марчюконис встает, сует колоду в карман.

— Вот еще... Юргис, ягодка... как после войны, когда с винтовкой... — закатывает глаза Марчюконис.

Выгоняет Сенавайтис всех, кого только застал на ферме, усаживает в телегу, оглядывается.

— Погоди!

С красного пожарного стенда срывает две лопаты, ведро, огнетушитель, бросает в телегу и сам забирается.

— Вперед! — отдает команду, не выпуская вил из рук. — Гони, старик, этих сволочей, ног не волокут. Гони! Или дай мне!

Тарахтит по дороге телега, несутся вскачь лошади, Сенавайтис охаживает их черенком вил.

Вся Букна на ногах — бежит на помощь лесу...

Еще не присосавшись к материнской груди, ты уже вдыхал сосновую и еловую живицу. Мать вынесла тебя впервые во двор, посадив на руку, и прежде всего показала: «Лес! Там — лес». Подрастет, думала, сделает шагжок, упадет, ударится о землю и сам узнает — это земля. А там, вдалеке — лес. Лес, дитя мое, большущий лес, и в нем живет леший. Если не будешь слушаться, отдам тебя ему, пускай забирает. Будешь слушаться? Ты хороший мальчик? Будешь меня любить, когда вырастешь? Ребенок боялся леса, но едва научившись ходить, бежал к озеру, смотрел на тот берег и просил: «Я хочу в лес». Росли дети, дряхлели старики, а лес зеленел на том берегу.

— Чего войны не сожрали, то огонь пожрет, — вздыхает Гарбаускене, стоя за домом.

Опираясь на палочку, она все еще ждет сыновей.

— Хорошо, хоть ветер не на деревню, — говорит Сянкувене из своего двора. — Не приведи господь, еще искру занесет...

Во всей деревне галдят дети, носятся как угорелые, то и дело бегают к озеру. Бабушки зовут их домой, кричат, чтоб не смели лезть в озеро, не вздумали бежать вокруг него в лес. Но дети не слышат бабушек. Их привлекает и вой пожарных машин, и крики мужчин, которые доносятся через озеро.

— Рубите просеку, мужики! Не давайте огню проходу!

Тракимас водит пилой — сам не знает, как она появилась у него в руках. Быстрей, еще быстрей!.. Пот заливает глаза, дым стелется по земле, хорошо еще, что ветер несильный. Мимо пробегают люди в красных шлемах, раскатывая пожарный шланг, вот уже он надулся удавом, слышен шум воды.

— О-го-го!

— Сюда перебросилось! Сюда!

Звонит пила, стонет смолистая ель. Быстрей, быстрей! — стучит в висках мысль, и Тракимас сросся с ней: кажется, нет ничего больше на свете, никаких забот и дел.

Кто-то продирается сквозь кусты, запыхавшись, хватая его крепкими пальцами за плечо.

— Где Крейвенас? — По исцарапанному лицу Дайнюса струится кровь. — Он должен здесь быть, Крейвенас! — кричит Дайнюс; в уголке рта — кровь.

И Тракимас выпускает рукоять пилы. Прибежав одним из первых, он слышал голос — глухой, словно из-под земли — и не подумал... он ничего не подумал, ведь там такой жаркий дым...

— Там! — выдыхает Тракимас. — Кто-то кричал... там... я слышал...

Хватает полы пиджака обеими руками, набрасывает их на голову.

— Там! — еще раз выдыхает и ныряет в дым.

Дайнюс топчет за ним, обгоняет Тракимаса.

— Осторожней, Дайнюс! — Поперхнувшись дымом, сжимает губы, а в голове проносится: «Назад!.. Назад, пока не поздно!»

Гудит лес, хлещет вода, и Тракимас, попав под струю из шланга, останавливается, переводит дыхание. «Назад, назад!» — стучат молоточки в висках.

— Дядя Марчюс! — жутко кричит Дайнюс.

Промокнув, набравшись сил, Тракимас снова кидается в черный дым.

— Дядя Марчюс!..

Ничего не видно. Только голос. Глупый парень, пропадет ни за что... голову потерял...

— Марчюс!..

Пропадет без меня... пропадет...

— Возвращайся! — кричит Тракимас.

* * *

Встань, Марчюс! Встань и иди...

Разгребает руками жаркий мох, утыкается воспаленным лицом в сухую и рыхлую землю, слышит голос, приплывающий откуда-то издалека.

Встань, Марчюс!.. Ты пройдешь той дорогой... В Дегимай.. В Дегимай? Она же здесь, эта деревня, она сама пришла к тебе, и теперь ты никуда больше... никуда... Все горит... все сгорело дотла... и ты лежишь... словно под яблоней... на солнцепеке... Но почему пчелы так больно жалят руки, лицо и плечи? Они же были добры к тебе, ты с неприкрытым лицом шел в сад, к ульям... Ульи мертвы, и пчелы озлобились, бросаются... все тело горит, так они жалят.

Встань, Марчюс! — доносится голос из недр земли.

Дети, зачем вы собрались за этим столом? Не будет для вас здесь жизни... земля не прокормит... уходите... Иди, Стыпонас, и ты, Вацис...

Вернись!.. Вернись, Стыпонас... Неужели это я тебя выгнал? Это я говорил?.. По чьим полям грохочет твой поезд?.. Он катится по мне... по моему телу...

Не стало Антасе...

Как жить будем, Антасюке?.. Не руки у тебя — головешки.

— Дядя Марчюс!

Кто же зовет его? Кто? Близо кричат.

Серая, горькая тьма.

Пусто...

Вниз... вглубь... в яму...

— Дядя!.. Марчюс!..

Встань!

Марчюс привстает на опаленных бессильных руках, поднимает одуревшую голову, с трудом открывает глаза и за озаренной трескучим пламенем прогалиной видит великана, возникшего из черного дыма и огня. Но почему его топор застыл и не может расколоть небо-свод?

Воды... воды...

— Дя-а!.. Ма-а-а!..

...Жил-был Лесоруб... Позвал его однажды барин и говорит: «Срубишь деревья... для лестницы в небо...» Вот идет человек... идет.

* * *

Набегают предгрозовый ветер, сгибая сосновый молодняк, трещат ветки, и из черного облака дыма в озеро кидается лось. Сопит, окунувшись в живительную воду, плывет, рассекая широкой грудью волны.

Высоко подняв ветвистые рога, плывет лось с того берега. Солнце под вечер обленилось, замерло — не смеет опускаться за затянутый дымом лес.

На дрожащих ногах выбирается лось на берег, отряхивает мокрую лоснящуюся шерсть, смотрит далеко в поле, по которому возвращаются усталые люди к работе, к своим комбайнам.

Стоит старая женщина на холме, сжимая руками шею, и раскачивается на ветру...

— Почему ты не лось, Марчюс?!

Но лось не понимает, что говорит ему женщина. Он долго смотрит на нее глазами цвета болотного мха, а потом поднимает голову, легко откидывает широкий свой венец и степенно бежит по деревне — молодой, могучий и гордый.

Перевел с литовского ВИРГИЛИУС ЧЕПАЙТИС.



Н. Н. МИХАЙЛОВ

★

ЧЕРСТВЫЕ ИМЕНИНЫ

Я жил. И добывал книги из путешествий. Пролетел, проплыл, отшагал миллион километров. До Луны и обратно.

В вольном пути столько раз дрожал от страха. Ждал расправы в плену у басмачей, терпел кораблекрушения, вонзался в землю с самолетом... Но зачем? Смысл в том какой?

Полнота ли существования или поиски ее?

Нужен ли был этот риск? Не для меня, а для людей.

Там, на горах и в морях, я, кажется, был смелым, дрожь подавлял и тем упивался. Не значит ли это, что где-то и в чем-то был трусом сугубо? Порядочный пианист в заданной пьесе не выходит из темпа: в одном месте ускорил, в другом замедляет — возвращает забранное. Отклонения выравниваются. Я храбрился в морях и горах — не означает ли это, что в обыденной жизни внешние силы сгибали меня?

Хочу подумать. О скитаниях и книгах. О побуждениях. Понять хочу — что же кидало к порывам и срывам, к удачам и разочарованиям, к праздникам и похмелью?

Не ошибусь ли, угадывая меру откровенности и сдержанности, нащупывая равновесие между уверенностью и сомнениями, между утверждением себя и недовольством собой?

Боюсь — осудят: взялся говорить о себе. Нескромность дурна. Но неискренность и жеманство не лучше. Думает о себе и оценивает себя каждый, один больше, другой меньше. Никому не возбраняется. И даже следовало бы поощрить — только пораньше, пока взыскать с себя еще не поздно. Чтобы потом не укоряться словами поэта: «Слишком мало я в юности требовал».

Но зачем такие думы оглашать? Имею ли право?

Все же отважусь. Ведь это жизнь человека. И жизнь под шпорами и с уздой времени — значит, не такая уж частная.глядишь, из допроса себя выпадет толк и для других. Может быть, кто-то про спотыкания и тупики моей скачки послушает.

Излагать опыт жизни приемом беллетриста, в третьем лице — путь законный, но обходный. Так легче поделиться сокрытым. Не стыдно: не то я, не то не я. И не заподозрят в тщеславии. Но достоверность утрачивается.

Пойду напрямик.

Глава первая

ШАР

Мужественные люди, как известно, любят угол, эстеты — овал, а я люблю шар.

Что в пространстве проще и яснее? — хотя над шаром ломали

голову Архимед и Гиппарх. А Герману Шварцу понадобились годы, чтобы доказать истину вполне очевидную: из всех тел наименьшая поверхность у шара.

Наименьшая. И разнообразнейшая до границ мыслимого, если шар — земной. Чуть приплюснутый, шершавый, почти на три четверти мокрый. И, сказано в стихе, меблированный.

Посреди степи чувствую, как Земля вдали закругляется — всякий раз я на вершине шара. В Южной Америке или по ту сторону экватора в Африке взаправду жил антиподом, до смешного — головою вниз. Боясь сорваться и упасть в небо.

Мне снятся высокомерные сны: вытяну ноги и упрусь в Апеннины, закину руку за голову и ударюсь о Чукотку.

Когда на минуту отвлекусь от дела, сразу пускаюсь блуждать по земному шару — видовой кинематограф: бегут одно за другим места, где был, где ездил. В миг радостного возбуждения перед глазами молнией вспыхивает пейзаж с гористым кругозором, с извилами реки. Космос, кратеры Луны, полет на Марс — сожалею, но мне безразлично. Земной шар, только он — и на нем выпуклый и зазубренный щит страны, где вырос.

Солнечная толчея, визг скрипок, дух опорожненных бочек и раздавленных ягод. Золотые ковры свисают из окон. На празднике винограда в далеком покотом Марино, в городке у края Римской Кампаньи, Зина купила мне брелок на булавке. Тогда мы не знали, что на память. Какой выбрала брелок? Малюсенький разноцветный глобус, вращается на ножке.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕОТКРЫТЫЕ ГОРЫ

Много лет до того: мне двадцать два года, я распахан и пуст, как поднятый пар. В час рассвета тоска. Чего-то недостает. Чего же?

Тогда ничего дорогого я не мог утратить. Того, что мы можем утратить, нам и не хватает.

В Консерватории который раз «Шехеразада» — со все большим волнением. Восток, Багдад — и хрупкое соло скрипки.

Я искал отвлечения в мечте о далеком — о Центральной Азии, за горбом земного шара. Сушь, пыльный ветер, качка на верблюде. За желтыми барханами пустынь — бурые камни склонов и блистающие фирны вершин. Тучи в ущельях. Лед.

Юрты кочевий редки. Караванные тропы сбивчивы. Наречия невнятны. Древние города засыпаны песком, а перевалы — снегом.

Почему дорога и любовь так близки? Откуда обычай свадебных путешествий?

Кончив второй курс, одиноко отправляюсь в Центральную Азию — на Памир. Более трудного мне не придумать, сильнее себя не измотать.

Сердцевина Памира была тогда запечатана. Сейчас она видна в левом окне самолета Ташкент — Душанбе (цена билета и зрелища — тринадцать рублей). А в те караванные и пешеходные годы белое средоточие пиков, хребтов и ледников цепенело неузнанным.

Теперь Памир весь положен на карту. Перепоясан автомобильной трассой. Седло перевала Акбайтал, по высоте почти равное Монблану, даже взорвано аммоном, снесено для удобства шоферов. А в те времена Памир был недостижимым и невероятным — где-то в дали

и выси, не то у нас, не то в Афганистане. Ничего привычного — все в первый раз.

Слышно было что-то загадочное о древних поднебесных проходах из памирских долин в теснины Дарваза, к притокам Пянджа. Я прочитывал на карте, на голом пятне, похожем на типографский брак: «б. перевал Танымас», «б. перевал Кашалаяк». Эти «б» — как заклатье. Что значит «бывший перевал»?

Летом 1928 года на Памире советско-германская экспедиция открывала неоткрытое, кончала с тайной. Вот я там и оказался.

То была жажда пространства и отчаянной игры, но я убеждал себя, что служу географической науке. Какая там наука! — бильбоке, ловля шара.

Копытами верховых коней попираем здельвейсы. Царапая вьюк о скалу, лепимся по узким каменным карнизам. Лошади оступаются на жердочках над пропастью.

Опасность возвращает жизни ускользящую ценность.

За поводья втаскиваем храпящих коней по оледенелой круче к ветреным зубьям перевала Джебтык. В зыбких миражах пересекаем ковыльную тишину Алайской долины. С плеском бредем через реку Кызыл-Су — цвет ее воды как коралл. И в снегу летней вьюги восходим на Памир.

Поскрипывает деревянное киргизское седло. Щиплет ноздри конский пот. На рыси у лошади хлюпает что-то вроде селезенки. Неповторимые дни, неповторимые дни. Я на кровле мира — отсюда Тянь-Шань стирается в Монголию, Кузнь-Лунь — к равнинам Китая, Каракорум — в Тибет, Гиндукуш — в Кашмир. Недалеко и Гималаи. Ноги в стремях. Уход от всех дум. Связка мировых горных цепей в моей руке.

Но наплыв промелькнет — и снова неприкаянность.

В омертвелых корытах долин не земля, а пепел сторевшей земли. Скаты гор в мерцании выщербленных сланцев. Ветер свистит в дырах, просверленных в скалах. Песком шелестят смерчи. Тропа отмечена верблюжьими костями, обглоданными и прокаленными, — белые письмена на обнаженной коре земного шара.

Пустынно. Прозрачно. Тревожно.

У развалин рабата Маркан-Су навстречу всадник во весь опор — за плечами винтовка. В киргизской войлочной шапке с черными отворотами, но не киргиз. Осадил коня, тот на дыбы. Не сказал ни слова и умчался.

Памир, затаенно-громадный Памир. Мы шли и шли. Я предавался то восторгу, то унынию.

«31 июля... Пока солнце не село, стал взбираться на гору. Выше, выше... Кара-Куль под ногами. Бивак — точка, но видно, как вьется дым от костра.

Подымаюсь высоко и сажусь на камень.

Ну вот.

Озеро на глубинах синее, на мелях зеленое. На карте полуостров, но я заметил ошибку: он отделен от берега проливом. Солнце уходит за далекий хребет. Я один. Очень высоко.

Вот. Смотрю. Передо мною мир, со времен Марко Поло нетронутый. Жажда жизни пронизывает меня — кажется, с этих минут я должен быть вечно счастливым. Праздником вижу все свое будущее — танцую на горе...»

«8 августа... Безжизненное ущелье Балянд-Киик, перевал Каинды — воздух разрежен, трудно дышать.

Поели шурпы с крошками. В миске плавали волокна от мешка,

щекотали рот. Засохшую узбекскую лепешку камнем раздробил, как орех.

Даже и тропинки нет — лошади пятнают режущий щебень каплями крови.

Зачем я здесь, в долине без дорог? Найду ли в жизни чего хочу? Как мною распорядится случай?..»

Преждевременная печаль, ожидание блага...

ПРОСТРАНСТВО

Жажда пространства началась не с Памира. Тогда ее обострило неустройство души.

Некий психолог называет личность, приверженную пространству, «хорологической» — от греческого «хора», место. Следовательно, не я один такой. Не редкость.

Был ребенком — хотел дознаться: а что за тем лесом? Чертил карты окрестностей.

Карта обдаёт меня радостью. Вижу — висит, я к ней устремляюсь.

Люблю вместо бумаги или стекла класть на рабочий стол карту — расстелить и пришиллить: пишешь — будто едешь.

В Уругвае увидел журнал с эпиграфом: «Жить не необходимо, плыть — необходимо». Плыть, *навегаг*. Во времена великих открытий эти слова были девизом португальских и испанских мореплавателей. Теперь иносказание. Но у газетного киоска на улице в Монтевидео я вычитал и смысл прямой, тогдашний: всегда хочу плыть.

Как изначален, общечеловечен этот символ. «Сломай дом, построй корабль» — зовет клинопись вавилонской поэмы о Гильгамеше, древнейшей поэмы на Земле, ей пять тысячелетий. Герой еще молод, он смело странствует в поисках тайны бессмертия. А вот близость конца:

И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

В незнакомом городе мне прежде всего нужно уяснить основы плана, иначе город не почувствую. Был, помню, в Новокузнецке — первым делом обошел главные перекрестки, заглянул в даль улиц и, как школьник, начертил схему на бумажке. А за суматошный день проездом в Амстердаме ничего не уловил — мучаюсь до сих пор, образа города нет. Ни каналы, ни Рембрандт, ни золотой кораблик с парусами на шпиле дворца не утешают. Не вижу с о р а з м е щ е н и я.

Великое блаженство: смотреть с воздушного корабля на Землю, на живую карту. Летел однажды из Владивостока в Москву через Сибирь: двое всю дорогу не отрывались от иллюминатора — я и десятилетний мальчик, прильнувший к стеклу.

Уехав, ношу перед собой образ города или ландшафта. Я, как говорится в психологии, эйдегик: что уловлено сетчаткой глаз, в мозгу живет долго. Такое больше свойственно детям. Возвращаясь в какое-нибудь прелестное место, разочаровываюсь и скучаю: не вижу нового, все уже известно, все пережито.

Геометрию, учение о пространстве, я люблю, алгебру — нет: геометрию с ее чертежами я в и ж у.

В пространстве я дома. Что значит заблудиться? Чутьем выхожу куда надо.

Мне важно знать не только «что», но и «где». Читаю в газете: в Ленинграде на набережной Мойки опознан дом Ломоносова. Дано описание — число этажей, внешний вид. Но дома я не вижу — потому что не знаю, где же на Мойке? На каком берегу? В каком конце? Ближе к Новой Голландии или к месту, где жил Пушкин? Заряд для

меня пропал. У писавшего не было потребности обозначить пространство, а я без точной привязки к местности мало что понимаю.

С чувством местности — картографы, летчики, полководцы, грибники.

Откуда у современного человека страсть обозреть пространство? Где ее истоки? В ориентировочном рефлексе древнего охотника? В атавизме «территориального императива», как у птиц и зверей, оберегающих для себя пространство в лесу? Говорят, и петухи-то поют под утро, чтобы еще раз громко засвидетельствовать право на свой двор, на клочок пространства.

В ранней молодости я любил Эренбурга, Пильняка, Лидина и Маяковского — ведь в те годы они были главными в нашей литературе путешественниками по городам и странам. И теперь еще проносятся в голове давным-давно прочитанные строки. Вышел в Варшаве на Театральную площадь — звучит Эренбург: «Вот уже спит Варшава. Только на Театральной площади какой-то запоздалый призрак целует руку вымышленной пани...» И Лидина не забыл: «В серый тишайший вечер, по-северному угрюмый в Бретани, я приехал в бретонский городок Кемперле...» Обрывок Пильняка из рассказа о Шанхае: «Ничего не иметь, от всего отказаться — ради путин, ради ветров». А вот Маяковский: «Мне необходимы путешествия. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг».

Нарочно не стану искать и сверять. Пусть не дословно. Оставлю, как живет во мне с юности.

Читал я и путешественников-нелитераторов — Пигафетту, Кука, Козлова, Ливингстона, но из всех таких книг запомнил одну лишь фразу Пржевальского: «Мила и сердцу дорога свободная странническая жизнь». Он занес эти слова в дневник в Караколе. О городе на пороге Тянь-Шаня, о следах Пржевальского будет речь впереди.

Стало быть, в путешествии мне нужна эмоциональная сторона. Не столько изучить, сколько узнать, постичь, пережить.

Главное — пережить. Я больше видел, узнал и перечувствовал, чем написал. Боже мой, видел почти весь мир, а написал так мало.

Бывает «эскейп» — отрешенные люди, не всегда сами то понимая, убегают подальше на деле или в мыслях. О том сказал Пушкин: «Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Но я, кажется, не знал «эскейпа». Если не считать юношеские блуждания по высям Центральной Азии вроде Памира.

Зина любила праздники, и каждую новогоднюю полночь мы сидели вдвоем за домашним столом — покорный обряд, я надевал новый костюм, при галстук. Однажды в такую ночь вдруг написала на листочке:

Тепло в квартире, люстра, бра,
И хватит пошлого добра,
Но все равно его влекут
Канада, Куба, Млечный Путь.

Взял карандаш из ее руки и ответил:

Ах, год проходит словно дым,
Чтоб быть добрей к своим родным,

Чтоб не вставать во тьме кромешной
И не плестись час до Потешной,

Чтоб не утратить красоты
Из-за больничной суеги—

Иди работать консультантом
И дорожи своим талантом,

Побольше книжек напиши,
Живи спокойно, для души,

И может статься, как-нибудь
Возьму тебя на Млечный Путь.

Когда дело касалось пространства, я впадал в низкую самонадеянность.

САД

Может быть, бродяги в роду?

В ста километрах от Москвы, на берегу Протвы ютится городок Верея — при внуке Дмитрия Донского стольный град крохотного княжества. Жили там старoverы Лупичевы, предки моей матери, — гоняли баржи. По Протве, пока не обмелела, шел хлеб с Оки на север, к Гжатску, и дальше волоком в верховья Волги. Баржа, хоть и плоскодонная, тоже корабль. Не там ли мои корни?

В Верее мы с матерью жили каждое лето. От выгона вдоль дороги за поля и леса, за холмы уходила цепь телеграфных столбов. Чем дальше, тем они, конечно, становились короче и тоньше, пока не исчезали совсем. Бывало, обнимешь столб — и цепочка уносит тебя за тысячи верст. Ведь такой же серый ствол врыт где-нибудь в узком ущелье. На гребне перевала. Припав ухом к обтесанному столбу, слушал я дребезжание проволок.

Дед мой, потомок тех, кто баржи гонял, отслужил век в Москве в Тверской мануфактуре и оставил бабушке небольшой и старый деревянный дом на Садовом кольце возле Высокого моста через Яузу. В том доме со скрипучими половицами, теплыми изразцами и черным роялем я рос. Теперь почти центр, а тогда урочище было дремотное. В саду по утрам трещала и свистела горихвостка. Случалось, залетал соловей.

Сад с забором, сверху утыканным гвоздями, был для меня не столько местом игр, сколько долиной странствий. Раньше чем научился читать, вычертил я карту дорожек, клумб и склона к Яузе. Любителем путешествий стал в бабушкином саду, среди яблонь, сирени и подснежников.

Мансарду сдавали под ночлег кондукторам с Курской дороги. Они-то и были первыми странниками, каких я увидел. Землепроходцы с тормозной площадки хвостового вагона являлись передо мной в ореоле — в овчинных тулупах до пят, с тяжелыми керосиновыми фонарями в руках.

В сад доносились гудки паровозов с Курского вокзала. Мне было лет восемь, когда страсть ездить и видеть сказалась поступком. Дачный уже трогался — я быстро вскарабкался меж буферов на площадку под острой грудью паровоза «С» и, замирая от восхищения и жуты — совершенно то же ощущение, что и над льдиной у Северного полюса, — впереди всех домчался до Москвы-Рогожской, оттуда домой пришел пешком. Перепачкался в мазуте и масле, меня оглушал паровозный свисток, и машинист грозил из будки кулачищем.

А я был несмелым. Водили за руку, пичкали сладким, зимой кутали в башлык. Первый раз безотчетный порыв нарушил спокойную, осторожную жизнь.

Каждый год паиньку выбирали старостой в классе, и он послушно следил за порядком. Но однажды решил поленом припереть изнутри дверь школы, чтобы не проник учитель ненавистного счетоведения — тот подергал ручку и ушел. Я делал обратное, не замечая того. Оставался собой и становился другим.

Начинал раздваиваться, начинал жить.

За дальними горами, у края света, где в детском воображении спинами соприкасались Россия, Индия и Китай, таился в ту пору тихий угол Семиречья. Среднеазиатский бег воды в арыках мимо украинских беленых домиков со ставнями на болтах, под сибирской четырехскатной крышей. Город Верный в тополевой листве, с собором из тьяншаньских елей, обшитых крашеным тесом. Пыль Скотского базара и заурядные землетрясения. Альпийские луга на переходе снежных и лесистых вершин в горячую пустыню.

По крынке молока за урок на пианино, которое кто-то когда-то из Ташкента привез на лошадах.

Ташкент что Париж — подпевали на танцах:

Жена мужа в Ташкент провожала—
Падеспань, падеспань, падеспань.

Учителя в бывшей гимназии — сосланные интеллигенты. На чердаке Короленко в «Русском богатстве», баллады Шиллера — Жуковского.

Большеглазая девочка — наверно, с тюльпаном в косе. Один дед — переселенец с Полтавщины, другой — амурский казак.

Во дворе дерево «урючина» и сказочные звери — конь Рыжка, корова и пес Соболька. У девочки завидное здоровье: ссадины заживают быстро, «как на Собольке», сон охватывает внезапно — засыпает за ужином с пельменем во рту.

Шла с братом Васей, семирек загляделся, вскочил, лоток опрокинул, гора апорта раскатилась по базару.

Письмо Нины Сергеевны Гражданкиной мне

«6 ноября 1972 года.

...Рассматривала слайды, снятые близ солотчинского кремля, натолкнулась на кадр: папоротник, густой, темный, и с ним алая гвоздика. И вдруг зазвучало: «Цветочек милый мой лесной, ты вновь распустишься весной. А мне уж больше не цвести, себе веночков не плести...» И она четырнадцати лет, моя веселая, жизнерадостная подружка, «нетужилкина деревня». Тоненькая, длинная. Своенравная, обидчивая, вспылчивая. Наряжена цыганкой, волосы волнами распущены по плечам, глаза плутовские, улыбка во все лицо, закушена губа. Румяная, яркая, как гвоздичка. Колотит в самодельный бубен. На школьном вечере, давно это было. Такой ты ее не знал».

Глава вторая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В НЕОТКРЫТЫЕ ГОРЫ

...Лето 1928 года за дальними горами. В изнурительном походе я приближаюсь к неисследованной области в глубине Памира.

Обгоняем караваны на старинном пути в Китай и Индию. Верблюды медленно идут в жестяном звоне без эха: передний брякает колоколом. Разбросав длинные ноги, один лежит на иссохшей земле. Он

брошен. Живот вздут, шея завита кольцом, в горле влажный хрип. Верблюд поднимает голову мне навстречу. Его взгляд. Лошадь пятится.

Солнце как пламя. Люди не камни, а здесь даже камни загорели — покрыты глянцевитой коричневой окалиной.

Редкие киргизы верхом на лохматых яках. Пасут курдючных баранов среди скал. Редкие таджики с мотыгами на крутых уступах. Землю втащили в корзинах.

В тех местах жизнь запаздывала. Дали конфету — ее в рот с бумажкой. Дали банку консервов — мясо вон:

— Рахмат, теперь у нас будет посуда.

По дорогам еще бродили рваные дервиши. Измаилиты отсылали крохи намытого золота в Бомбей Ага-хану, живому богу.

И все же в сельсовете председатель — женщина. В Хороге печатают журнал на стеклографе. Афганцы вчетвером, держась за плечи друг друга, переплывают на надутых шкурах порожистый Пяндж — в кино.

На привале ко мне пришли киргизки, молодая и старая, — по оплошности приняли за начальника. Попросят защитить от злого старика. Размышляю — чем же могу им помочь? Ведь через час мы уходим.

Цель не оправдывает средства. Кроме вот таких трудных случаев. Подбочился и начертал в походной книжке — сейчас оттуда списываю:

Протокол.

Становище Кара-Чим.

Составлен в том, что Муса Чаута ругает и бьет жену и сноху.

Начальник.

Грозно читаю. Проводник Кабулбай, подмигивая, переводит. Стarik бросает сурковый треух нам под ноги и клянется аллахом.

После брода через Танымас карта кончилась. Между утесом и ледником лагерь передового отряда, разбитый за неделю до нас. Странно быть там, где раньше никто не был.

Распоряжается немецкий географ и альпинист Рикмерс, знаток Средней Азии и Кавказа, покоритель Ушбы. Слова отчета: «Время сохранялось звездным хронометром».

Рикмерс говорит по-русски. Как, наверно, поступил бы всякий в моем возрасте, кричу ему в глухое ухо: вымаливаю разрешение пойти еще выше, за пятнадцать километров, в самый высокий передний лагерь, где с белым пятном карты борется топограф Иван Георгиевич Дорофеев с помощью буссоли. Не хочет:

— У вас нет опыта, ноги без кошек. Наши носильщики-таджики разбивают такие штиблетишки за один рабочий день. Придется возвращаться босиком, а это невозможно, дорога ужасна.

И вдруг однажды:

— Где тот юноша, что хотел идти наверх? Я вам верю.

С рассвета путь чертя голову по ледяным холмам, пирамидальным и крутым, как на ледниках тропических. С прыжками по камням, острым, как осколки стекла. И через пять часов встреча с Дорофеевым. Широкий дядя в щетине. Помнит ли он?

— Откуда взялись? Из Москвы когда? Нобиле спасли? Эка куда мы затесались. Самая середина тайны. Тут они, чертовые перевалы на Ванч и Язгулем. А ледника Шереметьева вовсе не нашлось. Зато Танимасских восемь вместо одного. Вышел на Федченко. Скажите Рикмерсу: больше семидесяти километров. Вот обрадуется. Кажется, самый большой ледник в мире. Кроме нас с вами, об этом пока никто не знает. Смотрите — бабочку поймал на такой высоте, отнесите старику.

От палатки до ледника рукой подать — за озерком. Меж острых вершин изогнулась белая лента с просинью, с черными галунами морен. Исчезает вдаль.

Ледник звенит и ухаёт — сырой, холодный. Сползают булыжники и катятся по склонам. В гротах бурчат водопады. В промоинах шепчут ручьи. Вдруг — как алмазом по стеклу: лопнул лёд.

В то время не было лучей лазера, чтобы исчислить скорость ледяного потока. Не могли извлекать изотоп кислорода с атомным весом восемнадцать, чтобы узнать, какой был климат, когда ледник родился. И не умели бурить огненной струей, чтобы определить толщину льда.

Приборы еще не придуманы, но тикают часы на руке и под подошвой скользят камни. И от Галилея дошла формула, вызубренная в школе: высота падения равна половине произведения ускорения силы тяжести на квадрат времени.

Валун свергаем в ледниковую трещину и впиваемся в стрелку. Шум затихает на шестой секунде. Отнимем скорость обратного звука. Пренебрежем сопротивлением воздуха. Подсчет в уме: глубина трещины около трехсот метров.

— Ого, вот сверзишься! Пожалуй, пять Иванов Великих один на другом.

Повторим, проверим. Глыба снова с гулом летит вниз, чиркая стенки, разогреваясь от ударов, высекая искры. И источая запах гари. Запах горелого камня, летящего в бездну.

Метал я камни и не думал о том, что случится со мною через два года в глубине глетчера на Тянь-Шане... Нет, пока не скажу, чем кончилось падение в трещину.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ИЛИ ЕДИНСТВО

Смолоду тянулся я в путешествия, к дальним горам, но не было у меня подходящего товарища. И возник в школе Валя Гусев. Милый друг, наверно, без тебя я жил бы благоразумным дачником.

Валя, нежная душа, был кругом талантлив: художник, музыкант, бегун, пловец. Он любил валторны Рихарда Вагнера и жизнерадостные челюсти Дугласа Фербенкса. Он стал моим Калинычем, из четырех стен и из сада вывел на вольный воздух — в лес Лосинового острова, на Боровский курган, к озеру Сенеж.

Нам было по шестнадцать, когда на велосипедах покатали к верховью Волги по проселкам. Ночевали на сеновалах. Молотили цепями. Мололи рожь на ветряной мельнице. Прислушивались к тверскому говору: местность пониже — поника, местность повыше — горйца.

В конце концов Валя даже научил меня крутить сальто-мортале — я, правда, не успевал, подпрыгнув, перекувырнуться в воздухе и больно стукаться спиной оземь. Тем ценнее.

Появился среди учеников Мара Найдис. Диалог:

— Банально говорить о погоде.

— Банально говорить, что о погоде говорить банально.

Так мы сразу оценили друг друга.

Пошли в Политехнический музей на лекцию Каннабиха «Что такое ум?». Но запомнили только пример глупости:

— Я люблю гулять один.

— Я тоже. Поэтому давайте гулять вместе.

Мара стал моим Хорем, гением реализма, вдохновителем взвешенных поступков. Милый друг, наверно, без тебя я сплошь бы отдавался вздорным затеям и плыл по течению.

Сейчас смотрю на путь двух моих товарищей. Они противопо-

ложны, верно. Но это было бы слишком просто для жизни. Каждый вмещал противоречия.

Гусев был эмоционален, но всегда крепко держал себя в руках. А рационалист Найдис однажды, мною обиженный, заплакал от душевной боли.

Найдис не рисковал бы собою в горах, как смелый альпинист Гусев. Но в жизни Гусев неохотно шел на крутые повороты и потому иногда занимался делом не самым для него интересным.

В горах неторопливый Гусев опрометью ринулся и самоотверженно спас меня от смерти. Дома, когда я нуждался в участии, практически бесполезном, рядом оказался практик Найдис.

Гусев был крайне скромно, но строг, и я стеснялся. Найдис задавал лишние вопросы, но притом располагал к откровенности.

Гусев стал архитектором. Он был в высокой степени эстетичен, но не очень смутился, взирая на вокзалы в стиле ренессанс.

Найдис сразу выбрал дорогу финансиста. Притом обладал безошибочным литературным вкусом. Но сам мог сочинять лишь ради юмора:

И, грусти полный,
Гляжу я вдаль:
Не зяблик ли томный
Летит отголь?

В главном они были различны. Один умозаключал — и пожирал книги, загромоздившие комнату. Другой чувствовал — и вертелся на трапеции, которую привинтил дома к потолку. Этот равнобедренный треугольник, наверно, я сам подыскал. В нем скрывалась моя судьба.

Однажды летом, уже студентами, мы с Валею Гусевым блуждали по горам Кавказа. На почте в Казбеги я получил письмо от Мары Найдиса из Москвы:

«Друг мой!

Сажу в библиотеке Наркомфина и думаю о человечестве — о себе, о женщине, о людях. Не знаю, что хочется. На днях потащусь с Будавеем на курорт в Алупку. Еду с неохотой. Но ведь надо. Скорее бы зима, летом я не человек.

У нас все по-старому (где у нас? что по-старому?).

Знаешь, патрон Каценеленбаум, который расписывается на червонцах, сказал, что моя работа «Банкноты» по заключению конкурсной комиссии лучше других, из чего следует, что стипендию Владимирского должны присудить мне.

Погода хорошая, от станции недалеко, не поехать ли в Быково к предкам на дачу? Может, так и сделаю. Ехать или не ехать? Ехидная чертовка Линцер обозвала меня помесью Гамлета с калькуляцией, что ты на это скажешь?

В воскресенье я мог утонуть в Пехорке. Одна девица утонула.

Нет у нас с тобой культуры интеллекта. Или есть? Вероятно, нет. А воля у нас есть? Настоящий человек — это Кислицын, который на большой перемене ел вареные яйца целеустремленно.

Я вчера думал, умеем ли мы жить. Ты своеобразно умеешь. Умеешь воспринимать как двое различных. Два элемента. Два полюса в одном. Ты себя отбрасываешь и становишься — чем, не знаю.

Твой Мара».

Когда я позже стал печатать очерки, из них, думаю, выглянула та же двойственность. Две стороны натуры, как кажется, сливались то химически, то механически, а то спорили между собой и губили друг друга. Тяга к делу: пояснить — вот как ведет себя ледник Алибек. И тяга к художественному: полюбоваться — вот как ледник Алибек прекрасен.

Еще позже так было и с книгами.

В путешествии — то есть в литературной теме — для меня привлекательна эмоциональная сторона. И тем не менее писания свои о Земле, о странах, о России пытался строить на точных научных устоях. Вот тебе и раз. Эмоцию и мысль нельзя резко разграничивать, это ясно. Но все-таки что же в моих строчках было главным — чувство или знание? Подпав под иллюзию гармонии, я плюхнулся между двумя стульями.

Несытый летучими впечатлениями, черпал из географической науки. Получалось: увиденное густо прослоено знанием. Или наука поставляла мне строительный материал для образа?

Если то, что я в жизни делал, причленяется к литературе, к искусству — хотя бы отчасти, — то, возможно, наука, точнее область знаний, есть форма моего искусства? Я не знаю.

Никто еще, кажется, не молот такой вздор: наука может быть формой искусства.

С писателями в Литературной энциклопедии статей не согласовывают, что объяснимо. Литераторам сдается, будто они хорошо понимают, что сотворили, а это далеко не всегда так, поэтому не обережся претензий. Но я вполне доволен, как обо мне написала М. Д. Смородинская — не знаю ее. Думаю, она уловила нерв, нервишко моих работ: их двойственность. Я хотел бы сказать — двуединость.

Говорено среди другого: «В произв. М. сочетаются научн. и художественные элементы, строгая простота и романтический пафос». Такие ли качества сочетаются, я не вправе судить сам. Но что сочетается не совсем легко сочетаемое, это, по моему разумению, верно.

Двойственность или двуединость присуща, конечно, отнюдь не мне одному, а всем работникам так называемой научно-художественной литературы. В основе коренится особое, неясное мне, более тесное, чем обычно, совмещение познания и эмоции.

Не знаю, как об этих людях сказать. У них не просто познание, а скорее постижение. Сообщение вместе с впечатлением. Сближение понятия и образа, если хотите. Единение различного, вернее — не вполне совпадающего.

Такая двуединость — недостаток или достоинство? Характер способностей, если набраться храбрости говорить о способностях, — вот это что. Ничего тут не поделаешь, надо мириться. Не забудем слов Белинского: если не считаться с характером способностей, «выходит страшная путаница».

Психологи, литературоведы, философы не спешат в этой путанице разобраться. Либо они считают дело ясным, либо не стоящим внимания.

А как было бы, на мой взгляд, интересно изучить, скажем, двуединое дарование Мариэтты Сергеевны Шагинян. Или литературную работу Александра Евгеньевича Ферсмана.

Поговорить о возросшем давлении науки на искусство мы все горазды, но попыток разгадать законы творчества очень мало. Больше пишем, что Эйнштейн играл на скрипке. А на скрипке играл даже хирург Платон Речет у Корнейчука.

Эффектные образы и парадоксы застревают в зубах. На концерте в Петербурге Лист бросает белые перчатки под рояль, Колумб ставит яйцо торчком, Гёте находит межчелюстную кость у человека, а Эйнштейн играет на скрипке и высоко чтит Достоевского.

Вопрос давний и не единичный: поэт и ученый — что у них общего и что различного? Не только в поведении, вкусах и привычках, а прежде всего в сути творчества.

Ученый мыслит понятиями, а поэт образами — следуя за Гегелем, думал Белинский. Но когда? Более века назад. А мы так и повторяем.

Сам понимал, что вопрос не столь прост. Он Герцену писал: у одних литераторов «ум уходит в талант», а у других «талант уходит в ум». Не очень ясно, но что делать, острое слово легче дается, чем новая научная формула.

В чем-то поэт и ученый различны, в чем-то сходны..

В Милане я увидел «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, чудом уцелевшую на стене трапезной в церкви, разрушенной бомбой. Остолбенел — не только композицией пораженный, она известна, не только красками, они выцветают, а перспективой, трехмерностью. Репродукции эту глубину пространства ловят плохо. Я сказал:

— Математика.

Зина ответила:

— Эх ты! В слиянии с искусством.

ПРИБОЩЕНИЕ

Мара Найдис, пытливый мальчик, прельстил меня идеей безумной — написать собственную многотомную энциклопедию, охватить все. Мы с жаром взялись за дело, быстро расправились с рекою Аа и дошли до Абсолюта, на чем и потерпели крах. Знай мы, что третье издание Большой Советской Энциклопедии вовсе пренебрежет этим словом, пошли бы и дальше

Конфуз с Абсолютом заставил меня приняться за историю философии, за уяснение смысла жизни. По малости лет был уверен, что он наукой давно разгадан, только мне неведом.

Записался в университетскую библиотеку на Моховой и приступил к чтению переводных немецких курсов. Но немцы мои оказались не учителями, а только классификаторами.

К тому же меня уткнула в тупик неспособность мыслить логично. С горя бросился к «Системе логики» Милля. Упира локти в пюпитр — и ничего не понимал. Запрокидывал голову, шарил глазами по круглому куполу, крышкой отъединявшему меня от мироздания, и бессилие перед тайнами мудрости подавляло меня.

Потом попал в объятия Канта. Мне, как сказано, нужно видеть — и я прикалывал к стене трансцендентальные схемы: субъект — квадратик, вещь в себе — кружок, явление — треугольник. Выписал с предпоследней страницы «Критики практического разума» слова итога, будто первый их открыл: «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

«Во мне» — значит, бог. Но с богом уже раньше было покончено.

Семья моя не была религиозной, но не была и безбожной. В великий пост разрезали ножом в шахматном порядке желто-зеленое желе горохового киселя в глубокой тарелке, вынимали средний кусочек и наливали туда подсолнечного масла. Перед пасхой возили в Гавриков переулочек в церковь к отцу Варфоломею говеть, каяться в грехах, которых я еще не нажил.

С богом пришлось управляться самому. Действием: стащить комок творога и оскоромиться в страстную субботу. Чтением: я воевал с богом старомодно, как разночинцы-интеллигенты прошлого века, — с помощью «Силы и материи» Бюхнера, немецкого Базарова. Остался конспект — начиная с эпиграфа из Ломброзо: «Книга, не встречающая никакого сопротивления, не может иметь большой ценности. Что нравится каждому, то — музыка Оффенбаха». Запомнил смешное:

в книге, изданной в Петербурге, бог был ниспровергнут, но писался Бог, с большой буквы.

Время текло, я читал. И постепенно просветился: Кант — идеалист, Милль — эклектик, Бюхнер — вульгарный материалист, Реклю — анархист, Ключевский — буржуазный либерал... Вокруг шумела революция, и я перешел к Плеханову. Ничто не вразумило меня столь решительно, как его ясный, острый, легкий «Монизм». Так мы все называли книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Она-то и ввела меня в общий фарватер.

Затем, естественно, я проштудировал все тома «Капитала». От сих до сих тогда никто не задавал.

И я уже верил, что моральный закон будет установлен разумным и активным классовым действием. Не сомневался, что новое общество утвердит справедливость, сломит отчуждение, искоренит привилегии, раскует личность, даст ей духовную свободу, навсегда покончит с рабством.

Сегодня, полвека спустя, в дневнике тех лет нахожу умильную фразу — зеленый подросток писал: «По этому вопросу я вполне согласен с Марксом».

В первый год жизни вместе в день моего рождения тащит, сгибаясь, тяжелый сверток. Он занял полкомнаты.

— Что я тебе купила!

Срывает бумагу: бюст Карла Маркса. Мог бы стоять в парке.

НЕ БЕЗ ЧЕРЕМУХИ, А БЕЗ ФЕСТОНЧИКОВ

Сама жизнь моя началась в переломный строгий час — в Москве в конце декабря 1905 года, на высоте вооруженного восстания. В городе бои, на улицах и мостах стреляют — акушерка едва добежала.

Летом 1914 года услышал:

— Война.

Стояла жара, вокруг Вереи горели леса, пахло гарью. Мне шел девятый год. Вернулись в Москву. Я прочитал в «Русском слове» похвальбу генерала фон Ренненкампфа, командующего Первой русской армией: «Дам на отсечение правую руку, если не войду в Берлин». Видел, как громили фабрику Шрадера, по ветру летел пепел. Заодно, не разобрав, на моих глазах потрепали и заводик Смита, англичанина. У дяди, прапорщика 212-го Романовского полка, скрипела свежая португезя. Он привез мне с фронта, как тогда полагалось, австрийскую винтовку. Я переставлял флажки на карте, они медленно сдвигались вправо. С матерью мы мерзли в первой очереди за хлебом, это было на Покровке, принесли домой мягкие булки, обсыпанные белой мукой, запах их помню.

В феврале 1917 года шел в школу по Грузинскому переулку, нес ранец, встретил товарища:

— Поворачивай обратно — революция.

На фронтоне школы замазали слово «императорская». С форменной фуражки маленькую корону велели сколоть — осталась дырка.

В октябре 1917 года дом наш попал под траекторию Андроньев — Кремль. С горы над Яузой пушки вели огонь по юнкерам, стекла в окнах со стуком вздрагивали, слышу удар воздуха от летящих снарядов.

И все то время слышу. Трамвайную мачту с круглой пробоиной — экспонат перед Музеем революции — видел на своем месте, на поле сражения: у решетки Тверского бульвара, против кинематографа «Великий немой». Сам читал аршинные буквы на розовой стене Страст-

ного монастыря, возле теперешней редакции «Нового мира»: «Не трудящийся да не ест». Помню день, когда исчезли «аго», «ея», ять и в конце слов твердый знак. Помню, как после 1 февраля сразу пошло 14-е. Знаю, что такое калабашка — землянистый хлеб, тогда мерили на восьмушки. Помню, как за билет на галерку Большого театра платил пятнадцать миллионов рублей.

Забор, ограждавший наш дом и сад, был сожжен в буржуйке. Дворницкая сторожка у ворот давно опустела, снег сгребали мы с отцом, пока он не ушел фельдшером на фронт, в дивизию Киквидзе — лечить от сыпного тифа. И болеть самому. Чтобы позже от последствий тифа умереть.

Отец Зины погиб от той же болезни. В память отца отдала много лет диссертации «Отдаленные психические последствия сыпного тифа». Абракадабра нервных сплетений, срезы пораженного мозга. Вместе с другими медиками искала средства — как бороться.

Не случайная, не проходная тема. России пришлось эту беду изживать.

Школьником я выстоял гулкую январскую ночь, на снегу пылали костры. Очередь обогривалась и в маленькой аптеке, где сейчас Телеграф: вдавливались — и тотчас обратно, давали место другим.

Лицо Ленина помню. Зеленый френч, запах хвои — ступали по веткам. Похоронный марш шел откуда-то с хоров.

Был на Красной площади, когда погребали. Морозный туман, пар от дыхания, красные петлицы шинелей — почему-то петлицы назывались «разговорами». Мавзолей деревянный, его построили за ночь.

Мое поколение росло в жесткое время. Революционный ригоризм. Презрение к лишним условностям. Сдержанность в проявлении чувств.

Скованность — вовсе не бесчувственность. Нет чувств — нечего и сковывать.

Садился недавно в такси — подбегает девушка:

— Подбросьте до магазина новобрачных, очень спешу.

Поехали. Спрашиваю:

— А чего в том магазине продают?

Невеста вытаращила глаза:

— Вы что, сами свадьбу не справляли?

— Представьте, не справлял.

— С луны свалились,

...То было поздней осенью 1930 года в Ташкенте. Мы сговорились встретиться на углу Пушкинской и Гоголя (в Средней Азии слово «улица» не произносится). На углу в маленьком доме был загс. Теперь не нашел я того домика, на его месте огромная махина. Помню красное сукно на столе и фикус в кадке. Равноправие по закону полное — не мелькнуло и мысли, что от девичьей фамилии можно отказаться. Ни свидетелей, ни испытательного срока не требовалось.

Женщина, приложившая печати, не имела оснований подозревать нас в будущей неверности, нерадивости, сварливости, неуживчивости, поэтому она никаких обнадеживающих напутственных слов не произнесла. Зина сразу побежала по Карла Маркса на медфак, началась лекция. А я залез в трамвай и поехал по Кафанова в свою каморку возле Куриного базара. Стоял на площадке. На площадках

ташкентских трамваев, бельгийских, с колесиком, висела латунная дощечка: «Воспрещается портить оборудование и части его». Падал снежок на мокрую грязь. О моих высоких чувствах кондуктор с мотком билетов не догадывался.

Я думал: как же запись в книгу актов, даже и очень важную, может определять ритм нашей внутренней жизни? У внутренней жизни свой ход, свои ступени.

Жизнь наша началась сама собой спустя недели. А может быть, и месяцы. Может быть, и годы...

Наверно, приятно, вытерпев долгую очередь, подкатить к загсу на «Чайке» с флестончиками. Мы того лишились. Подозреваю, Зина втайне жалела, что не было свадьбы, ей ведь праздновать нравилось. А я полагал, что семья создается не этим, но, как писал Достоевский, «неустанным трудом любви». Трудом. Случалось — нелегким.

ПРИМИРЯЮ ЧАСТНОЕ С ОБЩИМ

Не только стремлением на край света жил я в отрочестве. Передо мною брезжили идеи добра и справедливости. Но нелегко было им прорваться сквозь мещанский уклад бабушкиного дома.

В низкой сторожке, пропахшей махоркой, дворник читал мне вирши дяди Михея из «Газеты-копейки», вполне благонамеренной, но читал он ершистые рифмы так хитро, что ребенок начинал думать.

Жили мы небогато, но и не так уж бедно, поэтому провала между богатыми и бедными я не замечал. Больше бередило неравенство моральное, потому что сам его почувствовал — в школе.

Учиться отдали за два года до революции в Императорскую практическую академию коммерческих наук — пышное название было у школы на Покровском бульваре, основанной еще в 1810 году и едва ли не лучшей в Москве. С внутренней церковью. Иногда приезжал на дутых шинах попечитель — губернатор Джунковский, свиты его величества генерал в аксельбантах.

Тут, в привилегированной школе, я впервые испытал унижение. На законе божием старообрядцы должны были покидать класс, как и лютеране, евреи и караимы, — нас, нечистых, принимали в ту школу неохотно. Я и не подозревал, что нам для духовного развития было полезно считаться изгоями.

В актовом зале висели доски с именами кончивших с золотой медалью, как в фойе Малого зала Консерватории. Я старался, прилежно зубрил и вышел в лучшие ученики. После первого года на акте мне выдали в награду сочинения Гоголя — шаркнул ножкой. Честолюбиво смотрел на доски — золото на белом мраморе. Чувствовал, что доску смогу заработать. Но и тут вонзилась в меня стрела несправедливости. Еще не было ни мечты о равноправии, ни ненависти к привилегиям, но гордыня и обида проснулись, — причина пустая, совсем ребяческая, но тем более понятная. Лишь дети дворян и знатных купцов обличены правом носить золотую медаль в петлице на аннинской ленте, а я — мещанин.

Получал первые уроки гражданского сознания. Теперь мне уже не казалось, что в отечестве все было так, как следует.

Вырос я — и встал вопрос: как же сочетать с общественным переустройством страсть частной, отдельной души — страсть уехать и что-то увидеть? А очень просто: уехать, увидеть — и рассказать, как там, куда съездил, идет перестройка. Написать о путешествии — только и всего.

Легко сказать. В школе я получил звание техника банковского дела и подал в Мосгорбанк помощником бухгалтера.

Стоял за конторкой и старательно помогал сводить ежедневный дебет-кредит. Но плелся домой и раскрывал тетрадку — известно, чем ты более одинок, тем дневник нужнее:

«В углу пахнут лыжи. Фиолетовое окно, вечер, легкий мороз. Эмалевый закат на Севере, книга. Конечно, вот где я. Это мое...»

В первый год свободного приема в вузы выдержал конкурсные экзамены, из банка ушел, и теперь у меня были летние и зимние каникулы. Больше ждал их и готовился к ним, чем постигал науки.

Раз уж ехать, то как можно дальше. В атласе Петри по Кольскому полуострову тянулась красная черта: «Предел человеческого обитания». Шла полоска: «Максимум северных сияний». Знал я поговорку поморов: «От Колы до ада два шага». Теперь на Кольском полуострове атомная электростанция, в Мурманске чуть не вдвое больше жителей, чем во всей Исландии. А тогда я увидел край дикий, как Юкон.

Россия, говоря словами Ключевского, непрерывно «колонизовалась» — осваивала окраины. Но, как ни удивительно, знала мало писателей-краеведов. Писатель-художник Каразин, писатель-этнограф Максимов, писатель-путешественник Арсеньев, писатель-охотник Пришвин, очеркист Немирович-Данченко — кто еще? Мы больше читали о близком — про изморось Петербурга и дубравы Орловщины. Потому наше поколение явилось на окраины с чужими образами — с «Тысячью и одной ночью» в Среднюю Азию, с Лондоном на Север.

Саами еще звались лопарями — они промчали меня в буран на оленях по окоченевшей тундре, держа хорей, как копье. В погосте у камелька без трубы зябла лопарка с голым младенцем.

По дороге на Мурман, как розовая люстра, вращалась лесная Карелия: лучи низкого солнца вспыхивали в стеклярусине. Петрозаводск был весь деревянный, кроме губернаторских зданий с чугунными львами на Циркульной площади — сколок Петербурга.

По холмам и замерзшим озерам в санях до водопада Кивач. Спрыгивая с одиннадцати метров, он в полную силу ревел среди глухого леса: еще не отвели струю для гидростанции. Я думал: у нас и свой Канадский щит из гранита!

Затем летом пешее путешествие по Кавказу. Снежные пики, ледники, перевалы. Газыри и кинжалы карачаевцев, башни сванов, щиты с крестами у хевсуров.

Собравшись с духом, я написал четыре путевых очерка: два северных — «Мурманск» и «Кивач», и два кавказских — «Карачай» и «Ледник Алибек». Как говорится, «о ростках нового». Тогда были только ростки. «Горцы строят свой первый город...»

Раньше других появился «Карачай» — в журнале «Знание — сила». С картинками Гусева. Первые строки в печати: «Карачай меня встретил грозой. Я перешел его черту в облаках...» Еще не знал, что «встретил меня» — штамп.

Хороши и другие мои первенцы. Ах, ах — в очерке о Мурманске «я вспомнил, что...». С «Кивачем» еще того лучше: «Мороз крепчал».

Но как бы ни была бездарна первая публикация, по закону трудовой писательский стаж исчисляется именно с нее.

Мое слово напечатано! Радостная минута. Но тогда же узнал я и руку редактора. В «Киваче» была точная, но, как я считал, романтическая концовка: на пути с водопада — в лесу изба со взвозом, жареные сметки в сковороде на трех ножках, песня под кантеле. Твердая рука все это вычеркнула, написав: «...и возвращение к трезвым рабочим будням».

А потом я отправился на Памир.

ФАКТ

Старался понять, уяснить свою манеру.

Работы мои не знали выдуманного сюжета, они не шли к той литературе, которая у нас называется беллетристикой, а у англичан — словом «фикшен». Человек я, кажется, искренний — и думал: как же буду писать, чего не было? С такой установкой романистом не станешь.

Да если бы и захотел, то, наверно, не смог. Мало воображения. Мне трудно измыслить острый сюжет. Нет интереса к придуманной фабуле. И не только в писаниях: что-то не очень люблю читать романы. Предпочитаю факты и стихи.

Импульс жизни всегда был у меня сильнее, чем импульс искусства. Отдал бы, пожалуй, любую свою книгу — ну, в шутку сказать, за восхождение на Килиманджаро. Отчасти поэтому возгонка жизненных впечатлений до романа, до «фикшен» мне и чужда и непочувствительна.

Лишь захваченный уж очень хорошим романом забываю о равнодушии к беллетристике.

Я, может быть, бука, но не сухарь. Я даже сентиментален. Сколько раз читал предсмертное письмо Виктории, не существовавшей, вымышленной Гамсуном,— и каждый раз потрясаюсь.

Люблю сюжет документальный. Нелегко его найти, отобрать, еще труднее скомпоновать, без потери достоверности драматизировать.

Думаю, тяга к факту не только в свойствах личности, но и в духе того ушедшего времени. Жизнь была совершенно необычная, и факты ее, казалось, настолько ценны, что не нуждаются в подмене.

Репортажи Кольцова, «10 л. с.» Эренбурга, «Электрозаводская газета» Сельвинского, индустриальное вдохновение Агапова — до чего интересно! Зачем же измышлять?

Гераклит остановил людей, разочарованных обыденностью увиденного и отпрянувших в растерянности. Великий диалектик сказал им: «Здесь-то и селятся боги».

В театре Мейерхольда я смотрел на голую кирпичную стену, с вызовом заменявшую рисованный задник, и говорил себе: какое превосходство над Малым театром!

В свое время и роман был новизной, на которую косились. С каким трудом роялю удалось вытеснить клавесин — даже Вольтер, человек передовой, и тот объявил, что фортепиано смастерил кастрюльщик.

Раньше сила факта в литературе не была так заметна, но она проявляла себя от века. По «Илиаде» и «Одиссее» начертана карта течений и ветров античного Средиземноморья. Шлиссельбуржец Морозов даже пытался в фантазмагориях Апокалипсиса узреть карту звездного неба начала нашей эры.

Давно высмотрел я у мемуаристки Смирновой-Россет слова Голя: «Всегда думал написать географию; в этой географии можно было бы увидеть, как писать историю». Вот я и нашел себе задачу: странственные описания по возможности переводить в социологическое повествование.

КИПАРИСЫ

Первые книги мои географичны. То, кажется, в меру, то слишком. Знания были то драматургически связаны, то расплзались. Если делить грубо: при том же мышлении, при той же манере получались книги преимущественно повествования и книги преимущественно описания. Книги случаев и книги мест. В книгах второго рода я часто поступался литературой ради географии, перегибал палку. И скоро каялся в том.

Лет двадцать назад вышла одна моя книжка — при литературных изъянах географическая сторона была в ней более или менее в порядке. Прислал письмо географ, член-корреспондент Академии педагогических наук, хороший человек Вадим Александрович Кондаков. Книгу хвалил.

Но я уже чуял, что она не удалась. И, потеряв от досады власть над собой, ответил в письме: «Бросьте! Довольно мне географии, хочу писать о кипарисах виллы д'Эсте».

С юности «кипарисы виллы д'Эсте» волновали меня. Так называются две небольшие пьесы в «Годах странствий» Листа. Слова эти волновали самым сочетанием, звучностью — как говорил Андрей Белый, слова могут кивать нам помимо своего смысла. И веяло от них чем-то далеким, итальянским. Поэзия географии сливалась со звуками рояля.

Лишь много позже узнал я, что эти печальные мелодии — трюндия. Погребальная песнь.

О кипарисах виллы д'Эсте так я и не написал ничего. Скажу здесь несколько слов.

Вот мы едем двое из Рима в Тиволи. Среди автомобилей затерт ослик, трусит с тележкой, в ней какой-то овощ.

Вступили в горы, покрытые лесом олив, — цвет дыма, когда сжигают сухие листья. Поплутали в старых кварталах. Каменные стены, кривые закоулки, слепящее солнце, внизу черный угол тени. Белье. Мул с бочонками по бокам, что-то там покупают, тащат бутылки. Изрытые морщинами, выжженные лица. Женщины голосят. Портал храма, зажатый тесными домами. Звон струи — и звон кувшина. Черный угол тени — вот тебе и Сицилия, можно не ездить.

Наконец — она, вилла д'Эсте, XVI век. На крутом склоне высокой горы, заросшей кустами, средиземноморской чухлостью. В доме скучно — гнутые ножки, расписанные потолки.

Но лестница сводит нас сквозь виллу вниз, в тень парка. Он пронизан, насыщен, переполнен, оглушен фонтанами.

Вдруг ледяной жгучий ливень. Кипарисы дрожат и шуршат — о, кипарисы виллы д'Эсте в два объёма, соизмеримые со склоном горы!

Все скрылись, визжа. Продрогшие, мы остались там одни. Вверх и вниз по каменным ступеням. Какая влага нас кропила — с неба, из фонтанов? Мокрая юбка облегла ее ноги, мокрые волосы липли к мокрым губам.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Вернулся сейчас к страничкам в начале этой книги, где написал о памирском путешествии, и вижу: к юношескому томлению добавлено там порядочно из круга знания. Сказал, что автомобильный перевал Акбайтал почти равен Монблану, — следовательно, читай: немногим менее пяти километров высоты. Памирские долины назвал корытами, образ верный, но не мой, а научный: те долины, выглаженные ледниками, что когда-то ползли и растаяли, в геоморфологии имену-

ются немецким словом «трог», что и означает «корыто». Не просто помянул, что перелезал через острые ледяные конусы, но добавил: как на ледниках тропических. А это отличает некоторые глетчеры Памира. Подсчитываю: в слова топографа Дорофеева — всего один абзац — включил шесть научных фактов. Экзальтация на горе над озером Кара-Куль не помешала мне в дневнике того времени отметить обнаруженную ошибку: на старой карте полуостров, а на самом деле остров. И озеро не просто в одном месте синее, в другом зеленое — синее на глубинах, зеленое на мелях. А в восхищение гигантским ледником Федченко даже вместил — не зря ли, впрочем, — физическую формулу

$$h = \frac{1}{2} gt^2.$$

Обогащает мои странички о памирском путешествии такая оснастка или нагоняет скуку? О том пусть судит читатель. Но писать иначе неинтересно.

Да я и не могу, не умею писать иначе, потому что, наверно, сам так вижу и так мыслю. И поступаю так не затем, чтобы научить читателя — зачем мне учить Памиру? — а в надежде обострить художественное восприятие.

Попробую популярно объяснить, чем это отличается от популяризации. Она — педагогичное разжевывание и сдабривание, для того требуется большое уменье. А у меня нет цели привлечь готовый научный факт и украсить его, чтобы втолкнуть в читателя. Этот факт мне уже заранее видится красивым — не я обогащаю колоритом, а он, верю, что-то эстетическое добавляет к речи.

Не надуманная блажь и не служебный прием, а свойство литератора. Каждый бредет своею тропкой — по тяготению и по возможностям.

Худо ли, дурно ли, но моя мечта — образы познавательные. «Познавательный» — слово не очень удачное, но другого не могу по-добрать.

Не имею права поднимать руку на Кропоткина как на географа и литератора, но все-таки не удержусь: вот пример образа не познавательного, а декоративного, пустого. Кропоткин назвал Амур, где путешествовал, нашей Миссисипи. Землевед, он отлично понимал смысл вещей пространственных и все же пошел на такое сравнение. Кроме длины — ничего общего. Направление, режим, местность, транспортная роль — все разное. Волгу еще туда-сюда, можно уподобить Миссисипи, но Амур — никак. Образ необоснован.

Может быть, вот что толкнуло: в то время американская Миссисипи была рекой Дальнего Запада, как русский Амур — рекой Дальнего Востока. Если Кропоткин имел в виду это, от упрека откажусь.

Но, само собой, нельзя требовать от художника всегда и всюду полной точности. Дело замысла и мастерства.

Говорила мне:

— Не будь пуристом. Пусть птица не долетает до середины Днепра. Иногда документальному веришь меньше, чем черту, который спрятал месяц в ладанку.

Гнался я за познавательным образом с самого начала, когда еще не было слова «информативность». Уже гораздо позже родилась у меня мысль: склонности эти, быть может, в чем-то соответствуют современности, эстетике нашего века? Присущи они и настоящим мастерам, включая романистов. Не знаю, так ли я понял Голдинга, но он

сказал интервьюеру: «Искусство, не заключающее в себе сообщения, бесполезно».

Можно писать и иначе, но на мой вкус так лучше. Мне это ближе, хотя цену и другое, иногда даже противоположное, для меня-читателя доступное, а для меня-автора недостижимое. Образ ведь не самоцель.

Думаю, что читатели — не все, разумеется, — изменились, они больше понимают и ценят суть дела, их мышление — может быть, незаметно для них — стало более содержательным. Даже в повседневности: ругая бюро прогнозов за частые ошибки, разве мы не выказываем тем самым веру в науку, в ее силу предсказывать?

Если знаешь, можно увидеть и то, чего не видно. Писал я о Босфоре, а плыл там весной, при благодатной безветренной погоде. Чтобы образ пролива был более точным, сказал: «Зимой в воронку Босфора дули холодные ветры: кроны ливанских кедров зачесаны с севера». Подумал, что в наклоненных кронах виден ветер прошлый.

Когда я был молодым, Самуил Яковлевич Маршак, сразу разглядевший влечения, наставлял меня:

— Пусть поезд идет не порожняком, а груженный. Евгений Онегин с набережной Невы слышал, как «дрожек отдаленный стук с Мильонной раздавался вдруг». Сказано неспроста. Все другие улицы в тех местах были покрыты гладким каменным клинкером или деревянным торцом, а Миллионную, теперь улица Халтурина, замостили булыжником. Дрожки потому и дребезжали.

Вот что значит познавательный образ.

А сколько их в «Путешествии Онегина». Совершенно необязательно истекать им из науки в узком смысле.

В стихотворении «Равенна» Блок говорит:

Далеко отступило море,
И розы оцепили вал...

Все знают эти строки, но мало кто в полную меру оценивает точность поэта. Равенна сейчас окружена сушей, морского горизонта отсюда не усмотришь: Адриатика примерно в шести километрах. А когда-то Равенна была гаванью римского флота. Блок применил познавательный образ. Точность, всеобщность — вот что облакает его настоящим изяществом.

Видел Равенну в 1966 году, как раз тогда отменили смертный приговор, вынесенный Данте почти семьсот лет назад.

Сегодняшняя Равенна заполнена юными девушками: какие-то женские школы. У ветхих стен монастыря, в тени башни, возле дома, где позже жил Байрон, — могила. Прочитал на мраморном надгробье: «Злу я не покорюсь». Что было горшим злом для Данте? Изгнание из Флоренции — и смерть Беатриче.

В стихотворении Блока «Антверпен» основа социальная: первые ощущения войны 1914 года. А какая ткань! И название реки, и имя знаменитого художника в музее. Все точно, предметно, увидено не где-нибудь, а здесь.

Не раз слышал я и от Константина Георгиевича Паустовского, что знание содействует поэзии. Им показано это на примере в предисловии к сочинениям Пришвина. (Пришвин — вот к кому приложимо: «И красив, и умен — два угодья в нем».)

Паустовский пишет:

«Я давно заметил в обширных заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в пышные куртины, а местами среди обыч-

ных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это можно увидеть с маленького самолета «У-2», который прилетает в луга опылять от комарья озера, мочажины и болотца...

И вот у Пришвина во «Временах года» я наконец нашел объяснение в изумительной по ясности и прелести строке, в крошечном отрывке под названием «Ғэки цветов»:

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов».

Я прочел это,— продолжает Паустовский,— и сразу понял, что богатые полосы цветов выросли именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков...

Одна строчка Пришвина объяснила мне то явление природы, что до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его ясней, я бы сказал, закономерной красотой».

Какое великолепное выражение у Паустовского: «закономерная красота»! Какое мудрое сопряжение разного! Какое возвышение над формальной логикой!

Красота знания из письма Тургенева к Аксакову — о соловьях:

«...Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колену,— а колена вот какие бывают:

Первое: Пулькание — эдак: пуль, пуль, пуль, пуль...

Второе: Клыкание — клы, клы, клы, как желна.

Третье: Дробь — выходит примерно как по земле разом дробь просыпать.

Четвертое: Раскат — трррррррр...

Пятое: Пленькание — почти понять можно: плень, плень, плень.

Шестое: Лешева дудка — эдак протяжно: го-го-го-го-го, а там коротко: ту!

Седьмое: Кукушкин перелет. Самое редкое колено; я только два раза в жизни его слыживал — и оба раза в Тимском уезде. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист.

Восьмое: Гусачок. Га-га-га-га... У малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит.

Девятое: Юлиная стукотня. Как юла — есть птица, на жаворонка похожая, — или как вот органчики бывают, — эдакой круглый свист: фюиюиюиюию...

Десятое: Почин — эдак тий-вить, нежно, малиновкой. Это настоящему не колено, а соловьи обыкновенно так начинают. У хорошего, нотного соловья оно еще вот как бывает: — начнет: тий-вить — а там: тук! — Это оттолчкой называется. Потом опять: тий-вить... тук! тук! Два раза оттолчка — и в пол-удара, эдак лучше; в третий раз тий-вить — да как рассыплет, сукин сын, вдруг дробью или раскатом — едва на ногах устоишь — обожжет!..

Сейчас слезы — и вот они. Выдешь, поплачешь, постоишь...»

Тургенев записал со слов крестьянина Афанасия Иванова, который в «Записках охотника» назван Ермолаем.

Еще примеры познавательных образов — беру из того угла знаний, который мне ближе:

Ломоносов: «Звездам числа нет, бездне дна».

Пушкин: «От финских хладных скал до пламенной Колхиды».

Герцен: «Смоленск — ключ России».

Из фольклора: «Москва белокаменная».

М. Ильин: «В пустыне тучи без дождя. Реки без устьев. Леса без тени».

Факт дан так вдохновенно и умело, что воспринимается как поэтический образ. Мы в одно время получаем эстетическую и познавательную ценности, которые тесно связаны в самом предмете и в акте восприятия и соображения. Знание излучает свет поэзии.

Но как легко шагнуть тут лишнего. Среди моих строк о плавании по Индийскому океану: «Май самый трудный месяц — нет еще летнего муссона, не сдут с океана слой перекалившейся воды. Каждую ночь экваториальные грозы. На небе, черном, будто крышка рояля, — вспышки без грома. Южный Крест, как на флаге Австралии». Господи, чего тут только нет — и причина жары, и характер гроз, и начертание австралийского флага.

Нужно было сказать о воинственной гибралтарской скале. Понимал, что нельзя уподобить ее, скажем, задранному крылу птицы или клыку носорога — была бы метафора зрительная, а не по существу. Написал: «Скала чернела на заре как горбушка дота». Сомневаюсь, хорошо ли это.

Помянул в книге «Американцы» о том, что видел и слышал в джунглях Панамы: видел цветы не только в листве, но и на стволах, слышал шумный стрекот не то цикад, не то лягушек. И избыток сообщений дошел у меня до глуховатой, комической ноты: «Где-то притаились ягуары, броненосцы, дикобразы, муравьеды». На джунгли не хватило иронии. Уж очень велика у джунглей притягательная сила.

Джунгли многих влекут. Дочь метнулась после геофака в экспедицию на полтора года в дебри Борнео. Теперь остров называется Калимантан. Мать знала опасности: тропическая малярия, ядовитые змеи. Знала, что в мучительной разлуке, при почте раз в месяц будет по ночам вскакивать с криком: «Марина, где ты?» Но ни слова в запрет. От любви.

За двадцать лет до того — записка:

«Свершилось вчера в 3 часа. Было труднее, чем с Вадькой. На мне льды. Походит на меня. Скулки, волосы большие и темные, морщит толстые губки, глаза синие. Настоящая девчонка. Лежу и реву». На аэродроме ни слезинки. Домой вернулась — ручьями.

А ее еще звали «негужилкиной деревней!» Я улыбаюсь, я смеюсь, о том, что мне плохо, не знает никто.

ЧЕМ ГРУЗИТЬ?

Надо, чтобы поезд шел груженный и вез что-то важное. Но многие привыкли к легкой живописности и их тяготят лишние нагрузки.

Приходит ко мне друг и говорит:

— Кончил вашу книгу «Японцы». О японском искусстве прочитал, а об экономике не стал.

— Плохо мое дело, — сказал я. А сам подумал: братец, ведь это у тебя принцип, а правилен ли он? Бесспорно, каждый вправе читать, что желает. И все-таки — о японском искусстве, нет сомнений, прекрасно, в книгах много написано, неизмеримо лучше, чем в «Японцах». Но быстрый рывок Японии — неужели не любопытно? Что это за страна, в конце концов? — третье место в мире без своей руды, без нефти, почти без угля. Что это за народ, который собрался строить танкер на миллион тонн? Какие тому причины? Не хочешь читать меня, посмотри ученую монографию или хотя бы статью, да ведь не станешь!

Обо всем писать трудно — и о веерах и о домнах. Но все же, думаю, о домнах потруднее. Тут сопротивление материала жесточайшее.

Не сумел я сказать о японской индустрии интересно, но песчинки удач в таком деле для меня дороже успешного любования искусством подбирать букеты.

Ладно, я согласен: тройку за экспорт-импорт вместо четверки за танец гейш.

В стихотворении Киплинга «Королева» сначала пещерный человек, потом житель свайных построек, потом солдат, купец и капитан сетуют: романтика жила раньше, до них. Дачник злится: приходится нестись за поездом, а бывало, ездил почтарь не спеша. «Романтика, прощай навек!..» Но все эти стенания поэт глушит двумя краткими строчками:

Романтика меж тем
Водила поезд, девять—семь.

Меняются понятия — должны меняться и образы. У писателя Немцова говорится: «...жук жужжал, как мотор». В прежние времена он, наверно, написал бы: «Мотор жужжал, как жук».

Вопрос, впрочем, тонкий. Возможны противоположные мнения. Новое вызывает и обратную реакцию. Дело известное. У антинаучного течения уже завелось научное имя: «antiscientism», от английского «science» — наука.

Нравится мне ирония в стихотворении Сельвинского:

Наука ныне полна романтики—
Планк, Лобачевский, Эйнштейн, Дирак...

А где-нибудь на просторах Атлантики
Живет у края эпохи дурак.

Атомный лайнер проходит, как облако,
Луч его стаю акул пережег.

А дурачок невзрачного облика
Тихо выходит на бережок.

Сидит он в чудесной тинистой тайне,
Счастьем лучится все существо.

Ах, поскорей бы умчался лайнер:
Русалка боится шума его.

И лайнер уходит, уходит, уходит,
Уж пена застыла среди коряг...

Вы, умные, знаете все о природе,
А вот русалку целует дурак.

Глава третья

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕОТКРЫТЫЕ ГОРЫ

Мне двадцать три года. Прогремел в душе Памир. Снова студенческие каникулы — летняя свобода.

И обострение тревоги. «Шехеразада». Куда же теперь? В Центральную Азию, ясно, но куда?

Совсем недавно я стремился в путешествия, чтобы писать о перестройке общества. И уже начал — «Карачаем», «Мурманском». Куда все это делось? Теперь рвусь в гибельные горы, чтобы размыкать тоску.

На Памире я лишь присутствовал при открытиях. Теперь мне захотелось открывать самому.

К весне нечто вычитал в немецкой книге «Физиография Тянь-Шаня» Готфрида Мерцбахера, географа и альпиниста.

Есть у нас еще один исполинский горный узел, лишь немного уступающий памирскому, — массив Хан-Тенгри на Тянь-Шане. Мерцбахер бывал там: «Пожалуй, самое труднодостижимое место на Земле». Меня будоражат слова средневекового буддийского монаха Сюань-Цзана, пересекшего Тянь-Шань: «Там трудно избежать смерти».

И я знаю, что в середине Тянь-Шаня, на самой высоте, — тоже неисследованная область, на карте зияющий пробел. Четыреста квадратных километров пустоты. В сплетении головоломных хребтов возле таинственного пика Хан-Тенгри, Повелителя духов.

Вот что я вычитал у Мерцбахера: в начале века он потратил много времени и сил, чтобы размотать тот клубок. Но к северному подножью пика Хан-Тенгри пробиться не смог: на леднике Иньльчек, который немногим короче, чем памирский Федченко, ему преградило путь озеро, стиснутое отвесными скалами.

И я подумал: ледники ведь хоть и медленно, но движутся. После Мерцбахера прошло почти тридцать лет. Наверно, вместе с глетчером вытекло и озеро. Значит, путь к Хан-Тенгри свободен.

Легко успокоил себя: не перестройка человеческих отношений, но все же и не досужая прогулка. Услуга науке. Последние крошки с пира великих географических открытий.

Едем трое — за свой счет, на свой страх: старший из нас — юрист Иван Мысовский и, конечно, Валентин Гусев. Туда, на самую границу, к мраморному пику, настолько крутому, что снег на нем едва держится. Высоченный пик, семитысячник, похожий на утюг, поставленный торчком. Когда вечером все окрестные горы тонут во мраке, лишь для трехгранной пирамиды солнце еще не зашло, одна она горит багровым светом.

Шла коллективизация, в пограничных горах Средней Азии разбушевались басмачи. У них британские одиннадцатизарядки и благословение бухарского эмира.

Один из очагов — по ту сторону границы, в Кашгаре, недалеко от Хан-Тенгри. В Кашгаре шпионских романов, где зачем-то английское консульство. Тополя, тубетейки, мечети. Я был там, на рубеже пустыни Такла-Макан, гораздо позже, когда англичане ушли. Поднялся на плоскую крышу брошенного консульства. Видны белые колоссы нашего Тянь-Шаня и Памира.

Горячим летом 1929 года вооруженные всадники то и дело нападали на пограничные посты, на красные юрты, на правления колхозов, просто на русских. Если могли, вырезали. Вешали женщин, снявших паранджу. Везде была, как пограничники говорят, «обстановка».

Мы в Москве это знали. В июле ехать — и в июле сильная банда Максума Фузаила вторгается где-то около Памира. За Пянджем собирают войско Ибрагим-бек и Джунаид-хан.

Нам говорят:

— Опомнитесь, вас посадят на кол.

Но мы уезжаем на Тянь-Шань — конечно, без оружия.

Четыре дня в ташкентском поезде взвинтили в нас чувство путешествия.

Чтобы достичь гор Тянь-Шаня, надо после равнин Казахстана перед Ташкентом свернуть налево, к востоку, к Семиречью. В Арыси ночная пересадка в поезд, идущий из Ташкента в сторону Алма-Аты, бывшего Верного.

Я обвешан экспедиционными грузами. В темноте поезд останавливается у платформы — один вагон прошел, другой не дошел. На ка-

кую подножку ступить? До левой и правой расстояние одинаковое. А, все равно. Протискиваюсь к правой. Спутники тут же. Лезу на багажную полку, засыпаю.

Утром под Тюлькубасом в правом окне снежный очерк гор, а внизу громадные мохнатые глаза смотрят на отточенные ледорубы.

Смуглость загара, чернота бровей. Наверно, не русская, а таранчинка. В Семиречье таранчами называли ветвь древнего народа — уйгуров. Таранчинки красивы.

Мысовский где-то затерялся в недрах вагона, и он, на наш взгляд, слишком стар: под тридцать. А мы трое — она, Валентин, я — то хочем над недозрелым арбузом, то сокрушаем Фрейда за нехватку социологии и Фриче за ее переизбыток. Студентка медфака САГУ едет из Ташкента на каникулы домой, в Алма-Ату.

Через час мне вынесен приговор:

— Вы амбивалентный. Противоречивые свойства. Действия не концентрированы. Идеи самообвинения. Вечно ищете дорогу. Неоступность боли путеводительной, правда? Где-то есть такой стих.

— А знаете, кто вы? Критически мыслящая зверушка, вот кто.

Турксиб еще только прокладывали. Пассажирка сошла на станции Луговая, чтобы плестись в Алма-Ату на автобусе через перевал Курдай и навсегда исчезнуть. «Она росла за дальними горами».

А мы доехали до города Фрунзе, недавнего Пишпека, и оттуда в грузовике до пристани Рыбачье на Иссык-Куле. Два раза в неделю плавал теплоход в Каракол, который сейчас называется Пржевальском. Но опоздали: теплоход ушел, и мы на постоялом дворе ждали трое суток.

Спать я лазил по стремянке на вершину стога, под небо в звездах. Первую ночь не мог уснуть. Почти не спал и вторую. И третью.

ГОРА МАГНИТНАЯ

Я раскачивался между силлогизмом и чувством, как маятник, даже по временам года. Зимой с Найдисом анализ жизни и практические меры, летом с Гусевым восхождения на вершины гор наперекор резонам.

А потом немного повзрослел. Вуз позади. Это совпало с воодушевлением первой пятилетки. Альпинизм был брошен. Нужно решать вопрос главный: как прокладывать путь к воплощению идей.

От меня ждали дела, прозы, будней. Надо было рыть, бурить, сколачивать — и учить людей.

И я занялся делом. Сам мало знал, но взялся учить.

Колесо жизни закрутилось так быстро, что я не видел спиц.

Зимой задолго до света уезжал на трамвае с пересадками на другой конец Москвы в институт, где работал, читать лекции и вести семинарские дискуссии. Надрываясь, тащил три курса — экономической географии, географии транспорта и курс мирового хозяйства. Опыта и запаса знаний никакого — пропадал в библиотеках до звонка. В семье недостаток: из своего вуза чуть не через день спешил то во второй, то в третий подработать. Каждую неделю уезжал в разные города с лекциями в Дома Красной Армии — две бессонных ночи в поезде, с вокзала прямо в институт. Как я успевал, кроме томов науки, читать еще «Поднятую целину» и Дос-Пассоса? Все мы тогда так жили — работали и доучивались сразу.

Но я находил время и для другого — для неуверенности и беспокойства. Что-то не то. В записной книжке вперемежку с конспектами:

«1 сент. 31. Первая лекция, ничего. Прочитал статью в газете:

«Вулканы на Камчатке». Почему цель — Земля! — то уходит, то всплывает?

8 сент. Пока сидел в столовой, полистал книгу об Иссык-Куле. У меня есть свое, любимое, а я треплюсь в городских дрызгах. Нехорошо. «Землю люби и неустанно целуй...»

10 октября. Полный короб работы.

10 ноября. Первый снег. Бежал на лекцию, заметил висячий балкончик, как в Армении. Вот оно, мое!

12 ноября. В библиотеке. Где-то долина Алазани...

4 декабря. Давка дел... Зима на Зеленом мысу...»

Но каникулы-то мне остались! В середине зимы за Полярный круг является корреспондент газеты «Экономическая жизнь» — это я.

Северное сияние по-прежнему пылает, но кое-где уже нужно гасить электрические лампы, чтобы им полюбоваться. На порогах Нивы возводят гидростанцию. Прыжок с подножки вагона прямо в сугроб. Инженер Чистяков только что поднял деррик, закрепил стальными тросами. Лед не сколешь ледорубом: нарастает под водой на лопастях турбин.

Кировск назывался тогда Хибиногорском. Он не каменный, а рубленый. В полярную ночь я на высеченных уступах горы Расвумчорр. По желобам бремсбергов грохочут глыбы апатита.

Кричу в газете: снег засыпает открытые карьеры — скорее перейти на подземные работы! Олеиновая кислота для флотации слишком дорога — заменить ее торфяной смолой! Вторая обогатительная фабрика строится без генерального проекта — подогнать конструкторов Механобра!

Вот дело. Вот путь к расцвету личности.

Но — стоп. Благоразумие мне шепчет: конечно, это не сумасшедший альпинизм, однако не так уж далеко ты ушел от него. Мотаться с корреспондентским билетом по сугробам... Надо заниматься делом солидным — наукой.

И я снова зубрю и перелагаю экономическую географию, географию транспорта, мировое хозяйство.

Вообще я страдаю слишком серьезным отношением к вещам.

Летом 1932 года мы жили в Верее, в чулане, на берегу Протвы. Зина была беременна. По утрам солнце било в щели, и кудахтали куры. Может быть, я знал, что то время не повторится. Но в Магнитогорске зажигали новую дотну. А в Свердловске пускали первые цехи «Уралмаша». Географ понимал, что это значит: карту страны перелицовывают. Бросил жену и на целый месяц уехал на Урал.

Как это возможно? Ведь никто меня не гнал.

От Верей до ближайшей станции двадцать километров, ямщицкие тройки кончились, автобусы еще не начались, я побрел пешком.

Зина осторожно проводила до леса.

Так всегда. Ни разу не остановился, и она меня не остановила ни разу.

Письма с Урала сохранились.

...Из Свердловска. Пыль, голенастые коричневые сосны, среди лагун растут небоскребы. Всюду бараки, стружки, просеки для электрических мачт. «Требуются плотники и землекопы». Говорят, Эльмашстроем принят заказ на турбины для Ангаростроя с указанием сроков, а на месте Эльмашстройка пустое место, пни.

...Из Магнитогорска. Прибыл на поезде № 56. Ошеломляющее

первое впечатление: степное утро, стучат колеса, вдали юрты — и внезапно из-за холма черная глыба домен, кауперов, труб, домов и над нею клубы дыма на полнеба. Так рисуют индустрию на облигациях.

Ходил весь день — от альпийских ботинок болят пятки. Сейчас сижу на койке в общежитии. Пахнет табаком и потом. Сильные прорабы режутся в карты.

В думкаре ездил на Атач, на рудник «580 горизонт». На заводе при мне шла плавка. Смотрел на чудища домны с тем же восторгом, как раньше на Хан-Тенгри. Пощупал домну — горячая. Через синее стеклышко сквозь глазок заглянул внутрь.

Десяток рабочих в героически-грязном час пробивали летку ломом. Ждут пушку Брозюса, но ее пока нет. Искры понеслись облаком, не искры, а звезды. Разрывались в воздухе. Ослепляющее сияние лавы, опаляющий жар и такой грохот, что оглох, слух только восстанавливается. Отмахивался от искр, как от мух. Все тело блестит мельчайшими пылинками металла.

Эмоций много, но они несложны — тем сильнее. Пусть даже всеобщие — так искреннее. Пусть даже пафос, стоит только заглянуть в домну!

А вот из письма в Магнитогорск:

«...«Чётто маттэ кудасай» — по-японски «немножко подожди». Я жду. Веря ведь не ссылка. До чего интересны газеты!»

Из книги «Американцы»

(О поездке в США в 1958 году)

...Не забыл наивного счета с Чикаго времен молодости. В первой пятилетке, когда работал доцентом в московском вузе, было мне чуть не до слез обидно, что существует на свете металлургический комбинат более крупный, чем тот, что строили у горы Магнитной. Горновые, ворочая тяжелым ломом, о том не думали, но я убивался, рисуя себе вереницу домен в Гэри близ Чикаго.

Вот он, виден: «Гэри стил уоркс». Между железнодорожным полотном и берегом озера, среди заводских корпусов и подъездных путей, у причалов, выгружающих руду из Месаби, — длинный ряд высоких металлических башен, как Лаокоон, обвитых трубами-змеями. Я насчитал двенадцать домен.

Черный дым, белый пар, сернистый запах, гладь Мичигана и на синем фоне — оранжевые домны... Но почему они оранжевые? Не все, но многие... Эх, да они покрылись ржавчиной! Это безработные домны.

Тогда металлургию США подкосил кризис — и давняя тяжба с Чикаго разрешилась в пользу юноши, который в Магнитогорске был полон надежд и восторгов.

В Чикаго мы были вместе с Зиной. На вокзале встретил профессор-географ Чонси Харрис. Высокий, худощавый и бодрый. Отложил все дела, показывал город, даже поднимал для обзора на небоскреб Хлебной биржи. Потом повез обедать к себе домой, в тишину и зелень университетского городка, в милую семью.

Через десять лет в письме Харриса я прочитал:

«My dear friend:

You both were a wonderful team».

Не знаю, как вернее team перевести. Были командой, бригадой или лучше, пожалуй, упряжкой.

«НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ»

Набрался я смелости и 8 ноября 1932 года послал Горькому в Сорренто письмо:

«Уважаемый Алексей Максимович!

Пишу Вам с согласия научных работников, объединяемых кафедрой экономической географии... В статье «Наши достижения» на пороге второй пятилетки» Вы, как редактор журнала, намечаете создание отдела, посвященного переменам на карте...»

А далее: вузовские специалисты обладают знаниями и могли бы многое рассказать. Студенческая аудитория — сто, двести человек, но им бы хотелось, чтобы аудиторией была вся страна...

В ответ зовут работать в редакции «Наших достижений». Стал заведовать новым отделом. Зачем я и за это ухватился? От занятий в вузе времени оставалось совсем мало, работал плохо, урывками, дело почти стояло.

Получаю от Горького тему, к которой стремился: как меняется страна и ее карта. И пишу в сутолоке, по воскресеньям, по ночам, на кухонном столе, среди сковородок и неврологических молоточков.

Раньше я печатал корреспонденции в газетах заведомо сухие, как протокол профсоюзного собрания, а тут один за другим писал очерки — о новых городах, о новой роли центра и окраин, о национальном размежевании Средней Азии, о проблемах Киргизии и Татарии...

Наверно, написать простые статьи мне было бы нетрудно. Но в этих журнальных очерках я со страшным усилием вымучивал фразу за фразой. Не писал, а сочинял — сочинял из фактов.

Надсаживался, умничал, на каждом шагу был готов перестараться. «Когда продукт труда стал товаром, Ромул провел по земле борозду, ставшую священной чертой отчуждения. Возник Вечный город... Мутная история человечества отстаивалась городами... Чем выше проценты, тем архитектура изящнее...» Так начинался очерк о новых городах. О простом хотел сказать непросто.

Что же у меня выходило? Как будто не статьи, но, собственно, и не очерки. И не эссе.

Так и не понял. Мне казалось, что это искусство.

Помнил слова Луначарского, прочитанные в 1930 году: «Одна из главных задач искусства — дать нашей стране представление о ней самой».

Вдруг вижу: из работ, рожденных бегущей жизнью, у меня складывается что-то вроде книги. Горький напечатал в «Альманхе Год XIX». Называлось «Почерк истории». Идея: новая история творит новую географию и запечатлевается штрихами на карте. В отдельном издании — «Лицо страны меняется».

Спешил, спешил. Писал о том, что знал, что видел — книги об СССР, о России, о Дальнем Востоке. Кончал одно, кидался к другому. От перенапряжения болело сердце, ломило голову. И начиналась еще не опознанная болезнь глаз.

В комнатке орал недавно родившийся сын.
Подрастал.

«Мама, с тобой дядя будьздоровается».

«Мои башмачки уже похудели».

«Папа, смотри, волчарка с дядей пошла».

«В автомобиле кружинка сломалась».

«Мама, какие у тебя длинноногие пальцы».

Мать все записывала в особую тетрадь. И вдруг среди педиатрических наблюдений, сантиметров роста и килограммов веса:

«2 апреля. Солнце, лужи, снег тает, пахнет весенней сыростью. Надо снимать дачу, нет денег, нет няньки, нет шубы, нет пальто, нет... Хочется музыки, нет времени... Но мы снимем дачу, купим пальтишко, мы поедem в Грузию — ура!!!»

НА ДАЛЬНОМ ВОСТОКЕ

В писаниях моих было много книжного, но я, кажется, не отрывался от жизни. При первой возможности мчался на новостройки: Запорожье — превращение Днепростроя в Днепрогэс и пуск завода ферросплавов; Горловка — первые врубовые машины в лавах шахты «Кочегарка»; Нижний Новгород — площадка автогиганта; Одесса — работа порта; Козлов — сад Мичурина...

Возвратились из поездки по Дальнему Востоку, столь ими любимому, Фадеев и Павленко, склонили меня броситься туда. И я уехал.

Пять месяцев странствовал — от Владивостока до Камчатки.

Много было приключений.

На Сахалине долго ждал самолета, чтобы вернуться на материк, но не дождался: погода нелетная. Была уже середина октября. Пришла с материка, из Николаевска-на-Амуре, за углем баржа «Русалка» со шкипером и тремя матросами — ее привел буксирный катер. Шкипер меня охотно принял. По мере сил и умения я участвовал в работе: выкачивал воду из трюма, принимал концы и помогал вращать ворот.

Возраст баржи приближался к полувеку. Казалось, она была готова распозтись по швам.

Брали уголь на Арковском руднике. Носовой трюм был уже полон. Стали грузить средний. Задний оставался пустым. Нос баржи перевесил и глубоко опустился, легкая корма поднялась.

Стемнело, когда налетела буря с сильным ливнем. Всполошились: шквал грозил бросить баржу на берег. Тотчас появился катер и по правилам сахалинского мореходства потащил баржу в море, спасая от удара о скалы.

Шкипер был сильно встревожен. Но делу помочь нельзя — он предпочел лечь спать. Думаю, хотел спрятаться от опасности.

Уснул и я. Ночью проснулся от качки и свирепого шума. Вспененные грохочущие волны пронеслись через окунутый в море нос и с размаху били в рубку. Спасательные круги снесло. Огонек катера впереди пропадал за высокими водяными валами. Баржа со скрипом и стоном валилась в глубокие пропасти. Нас задел тайфун.

Из штурвальной вышки спустился рулевой — отказался оставаться один. В штурвале, пока пеньковый канат буксира не лопнул, было все спасенье: без руля баржу сразу повернет вдоль волны, вода зальет трюмы и мы ключом уйдем на дно. Шкипер позвал меня с собой. Мы выбрались на палубу и, держась за что можно, поползли наверх, в стеклянную вышку. Она стонала и шаталась.

С колесом и двоим трудно управиться. Штурвал вращался, влача по бортам железной баржи скрежещущие цепи.

Отсюда было видно все бешеное кипение ночного ярко освещен-

ного моря. Казалось невысказанным и очень страшным: в такую бурю над морем светила полная луна.

Катер вел баржу всю ночь поперек Татарского пролива против ветра. Лопни ржавая цепь штурвала — мы бы погибли.

И она лопнула. Утром, когда буря стала стихать.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ УССУРИЙСКОЙ ТАЙГЕ

В пятидесяти километрах к востоку от города Уссурийска устроен таежный заповедник. Я вышел туда до рассвета и успел за день подняться от равнины, где сеют рис, до горных кедровников. Дорога по густой безлюдной тайге, от брода к броду. Я очень устал. Начинало смеркаться.

На поляне — на дне тайги — домики ученых. Дощатая комнатуха, трехлинейная керосиновая лампа, закопченный чайник. Но сейчас, поздней осенью, здесь нет ни души, кроме охотника-зоолога Мони Надецкого. К нему я и шел. Юноша в унтах, с винчестером и овчаркой. Испугался, когда я в сапогах и с рюкзаком вдруг возник в этих дебрях.

Моня по своей воле остался тут совсем один на всю зиму. Хочет изучить уссурийского крота «могера робуста Неринг», чтобы затем можно было включить в промысел. Ловит капканами и потрошит. Бурый зверек с желтой полоской вдоль брюшка, без ушей, с булавочными головками-глазками.

Мы с Моней живем в маленькой избушке. В самом чреве природы. Кругом замерший лес. Шорох шагов по сухим листьям слышен за версту. По ночам кричит сова.

Пол завален пахучими кедровыми шишками. Чтобы добыть орехи, надо шишку бросить в огонь: обуглившись, она раскроется; руки в смоле и саже. Кипяток завариваем березовой чагой. Лимон заменяют прутики шизандры.

Скоро ляжет снег — вдруг сразу на метр? Тогда трудно будет выбраться из тайги — не зимовать же мне здесь. Но не уйду. Пропускаю день за днем.

...Прошло двадцать лет. Как только «Ангара», на которой я приплыл из Европы, отдала якорь во Владивостоке на Эгершельде, тотчас заспешил в тайгу. Поехали на «газике» с Зинаидой Ивановой Гутниковой, которая разводила там на плантации женьшень.

Мне хотелось там встретить Моню, хотя это невероятно.

Когда люди сталкиваются вновь, принято говорить: «Мир тесен». Нет, мир необъятно просторен. Много людей встречал я на своей дороге, они были добры ко мне, и я хотел бы знать их судьбу. Но редко пути сходятся дважды. Не повторяется ничто.

В заповеднике цвел ирис Кэмпфера. Медом пахли липы. Я сразу ушел в лес, в чащобу, на перевал, — оттуда видны синие дали Сихотэ-Алиня.

Вернулся часа через четыре и спрашиваю:

— Тут работал Моня Надецкий. Давненько, правда. Не знаете, где он и что с ним?

— Надецкий? Что же вы раньше не сказали! Только что приезжал на машине человек, назвался Надецким. Когда-то, говорит, бывал здесь, сейчас замдиректора совхоза на равнине. Решил узнать, нельзя ли сюда, в тайгу, вывезти пасеку на лето. Пять минут как отъехал.

С выхода книги, где я об этом странном совпадении написал, прошло восемь лет. Надецкий не объявился. Значит, книга ему в руки не попала. А мы-то, авторы, не можем отделаться от мысли, что пишем для всех.

ЧТО СЛУЧАЙНОСТНО?

В книге «Дальний Восток» я пытался среди другого нарисовать пейзаж уссурийской тайги.

На что уж дивный лес — кажется, любые слова подойдут, только пиши. Но мне хотелось построить образ на прочной основе. Не только пожил в глубине тайги, но и прочитал потом с десятков ботанических книг.

«...Сухие долины покрылись хохлаткой и ветреницей. Где влажно, цветет лютик. Крутые склоны стали лиловыми от рододендрона. Клен осыпан желтым пухом. Зацвели и сильно пахнут черемуха и яблоня. Весь лес цветет. Тычинки лопаются, сыплется пыльца. Проходит май...»

И так дальше — о четырех временах года. Может быть, слабо написано, слишком перечислительно, но это пейзаж уссурийской тайги — и никакого другого леса.

Пейзаж дан не постоянный, а меняющийся, он длится в смене цветения и увядания. Меня соблазнило то место у Лессинга, где он трактует способ Гомера рассказать про щит Ахиллеса. В «Илиаде» речь идет не столько о самом щите, сколько о том, как Гефест ковал его и разрисовывал. Статичную координату пространства выручает динамичная координата времени. Но куда легче, конечно, понять Гомера и Лессинга, чем самому написать одно удачное слово.

Шесть небольших абзацев взяли у меня с чтением и писанием немалое время — неделю. Без строгого каркаса хватило бы, наверное, и дня.

Какими цветистыми словами пейзаж ни напиши, он, на мой глаз, пуст, когда неоправдан. Скажу — с запросом: стыдновато всюду сопровождать слово «небо» эпитетом «голубое». Ведь голубизна, если быть внимательным, меняется от места к месту — в Арктике, скажем, она с примесью зеленоватых тонов из-за отражения снега, над равнинами Средней Азии бледно-туманная от взвешенных частичек пыли.

Приходит талант — и все путает, все решает по-своему, подчиняет психологическому замыслу. И пусть. Но, в общем, мне интересен в книге пейзаж правильный. Не подробный, не дотошный, а сколь угодно краткий, но точный.

Взгляды на этот счет различны. Есть мнение, что как раз необоснованный, случайный пейзаж хорош и современен.

Читал я одну книгу о поэтике Чехова — подчеркнуто современную, построенную, конечно же, на теории систем, с уровнями, изоморфизмом, моделями, как полагается. У автора много наблюдений и своя концепция.

Говорится, в частности, что пейзаж у Тургенева научно обоснован, а у Чехова нет.

Действительно, пейзаж Тургенева очень правилен. Напомню хотя бы начало первого стихотворения в прозе «Деревня». Синоптическая сводка:

«Последний день июля месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито все небо; одно лишь облако на нем не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь...»

Как и у Блока в «Равенне», «Антверпене»: указано место, указано время. И выписана характерная для середины лета Центральной Рос-

сии антициклональная погода с теплом, без ветра, с чистым небом. К другому месту, к другому времени не подойдет. И притом никакой видимой «науки».

А пейзаж Чехова, сказано в той книге, в основном «случайностный». Он необязательно деталями работает на целое. И это-де шаг вперед в искусстве.

Мне бы хотелось оспорить категоричность суждения. Такой ли уж пейзаж Чехова «случайностный»?

Приводится пример. Часть его перепишу:

«На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоня отражения звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились...»

Нет точной основы? Превращусь в педанта и скажу: если желаете — это точная зарисовка конденсации водяных паров при вечернем понижении температуры.

Туман поднимался, а не «пал», как часто говорят, потому что он исходит снизу, а не сверху.

Клочья не стояли на месте, а бродили, потому что уж если туман не лежит сплошной неподвижной пеленой, а сбился в клочья, значит, был еле заметный ветерок, и в таком случае клочьям следовало в турбулентных потоках слегка передвигаться, и не только по горизонтали, а и по вертикали.

Туман заслонял отражения звезд в реке — до чего же тонко! Раз звезды, значит, небо безоблачно; значит, усилена ночная теплоотдача путем излучения; значит, как раз создались более подходящие условия для конденсации паров.

Цепляясь за ивы. Чехов не написал «за деревья», а именно за ивы, которым и надлежит расти по берегам рек.

Да что тут говорить! Зоркий, просвещенный глаз писателя.

Может показаться, что Чехов в одном отступил от типичного: клочья тумана обычно не бывают высокими и узкими. Но перечитайте рассказ «Страх», откуда взят отрывок, и вы поймете, почему у Чехова так. Клочья высокие и узкие понадобились, чтобы Дмитрию Петровичу Силину пришло на ум нужное автору сравнение. Прямо же сказано: «Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях». Но, хочется догадаться, Чехов чувствовал неточность и натяжку. И тут же неосознанно поправил себя, возвратился к правильному образу: уподобил клочья поповским рукавам, а поповские рукава всегда на Руси были выражением не узкого, а широкого.

Пейзаж с туманом точен, не случаен, нужен. И деталь так работает на целое!

Говорят, «случайностные» пейзажи можно назвать импрессионистическими. Живое, чуткое, текучее восприятие? Но как точен призрачный, смутный Руанский собор в серии Моне. Как схвачены мгновенные движения у Дега.

Да и у провозвестников европейского импрессионизма — у старых японских художников разве не точна основа? Надо взглянуть на субтропическую кудрявость ландшафтов Японии на юге Хонсю, на Кюсю — и Хокусай сразу перестанет казаться странным. То же самое с диковинными пейзажами на старинных китайских вазах. Я проехался по восточным предгорьям Куэнь-Луня и многое понял. Броские и вместе с тем объемные массы Кента — они с гор Северной Америки, ни с каких других. Не пощупав глазами густонаселенной Бельгии, полностью не воспримешь и перенаселенных картин Брейгеля.

Иногда лишь кажется, что необоснованно, нужно посмотреть на натуру. Энгельс писал в «Ландшафтах»: только увидев равнины на севере Германии, «по-настоящему понял» он сказки братьев Гримм.

Слишком уж часто наши суждения искривляет незнание. Я думал, Равель написал фортепианный концерт для левой руки ради изыска. Когда узнал, стало совестно: сочиненс для пианиста, который потерял на войне правую руку.

И не помышляю утверждать, разумеется, что во всей живописи авангарда — точная основа. В «Соборе» Поллока собора не увидишь. Но вот в лондонской галерее Тэйт стоял я перед казаком Ларионова. До чего уж своевольно — футуристический лубок. А ведь правильный, типичный казак. Мазок — и достигнута точность образа. Даже и тут не все «случайно».

В статье о книге писателя Василия Михайловича Пескова приведен в одобрение пейзаж тургеневских мест: «Васильки в полосе ржи, крики грачей на тополях в усадьбе и красные карасики...» Цитата, мне кажется, отобрана критиком неверно. Я усомнился, что Песков только так рисует лесостепной тургеневский край, который ему известен отлично, потому что он сам там вырос. Помянутое в том крае есть, но не оно специфично. Ржи с васильками много и в других местах. За тамошнюю черту я скорее признал бы поле гречихи, особенно в конце лета, когда ее стебли краснеют. Да и пруды с рыбешкой теперь встречаются часто. О тополях правильно — «в усадьбе», потому что тополя — деревья быстрорастущие и в том крае их охотно сажают в селах.

Не следовало обойти главное дерево тех мест — дуб с орешником (лещиной) в подлеске.

Вот они, дуб с орешником, у Тургенева: «Сквозь густые кусты орешника... спускаетесь вы на дно оврага... дубовый куст жадно раскинул над водой свои лапчатые сучья...» («Записки охотника». «Лес и степь»). Поразительное совпадение с Буниным — те же места и так же верно: «Стоят, красуются... вековые ветвистые дубы... По дну оврага... среди подседа орешников в булькает паводок...» («Сосед»). Раскроем БСЭ, слово «лесостепь»: в европейской части СССР «характерны массивы широколиственных, преимущественно дубовых, лесов... В подлеске обычна лещина».

Есть чему поучиться и нам, чтобы идти дальше — от поверхностного к понятному, от декоративного образа к познавательному.

Внимательно просмотрел очерки о черноземном крае в книге «Путешествие с молодым месяцем», о ней в той статье и говорилось. И успокоился. Конечно, у Пескова иначе и быть не могло. На странице 129 прочитал: «Дубы точь-в-точь как на картинке... Мы рубили орешник...»

Было бы смешно требовать от писателей всюду и всегда серьезного пейзажа. Он может быть и случайным. Не только у Чехова, а и у того же Тургенева сколько угодно пейзажа случайного, мимолетного. Но в целом, конечно, пейзаж у Тургенева более обоснован, чем у Чехова, и в этом автор книги прав.

Тургенев лучше знал природу, чем Чехов. Десять колен соловьиной песни! И у Тургенева была своя родная природа — лесостепная.

Хоть и пришедшая с далекого юга, но воспитанная русской классикой, Зина быстро вжилась в среднерусский пейзаж. Только в первое время облака на краю неба принимала за горы.

Умилялась русским у Гоголя. Ее веселил юмор Кустодиева. До-

стоевского перечитывала, но больше как специалист по крайностям в человеческой психике.

Вслушивалась в грустную задумчивость Калинникова, но вот Чайковский не затрагивал ее ничем, кроме трио «Памяти великого артиста». Были в Малом зале — последний раз на этом трио, где проносится вся жизнь до конца. Жизнь тихо угасла, все побежали. Она осталась молча сидеть — мы двое в пустом зале.

После тяжелых усилий покорения ландшафта меня порой охватывает разочарование, почти отчаяние: а кому нужно, кто оценит?

Часто ценили не то. В сборниках для диктантов помещены фразы разных писателей. Попасть туда — великая честь. Когда дочь была школьницей, я увидел в учебнике в оглавлении, в списке авторов себя. Какая радость! Отыскиваю фразу и читаю: «Москва — столица нашей Родины. Мих.».

Труд поиска деталей пропал. Из всего, что написал о Москве, отобрали самое что ни на есть бесспорное.

Я понимаю — пейзаж совсем не главное в литературе. Понимаю всех, кто с Буниным: «Нет, не пейзаж влечет меня...» Говорю тут о пейзаже потому, что много над ним работал.

Признаться, когда в дороге, насмотревшись, вечером пишешь дневник, думаешь не о «структуре ландшафта». Думаешь о своем.

«13 июля 1968

Вулкан Вильярика в Андах

...Успел засветло! Бегу к причалу — там нет деревьев, ничто не мешает видеть снежную наготу вулкана.

Озеро уже в тени. Берег в тени. А вулкан освещен солнцем.

Вот подножье его блекнет. Вулкан розовеет. Раскаленный металл. Когда-то перед нами так пламенел пик Хан-Тенгри.

Красные блики сгущаются на острой вершине, а склоны уже погружены в сумрак. Еще мгновение — отсвет зари стекает с острия куда-то кверху, в ничто. Вулкан погас.

Еще на минуту настанет новая фаза: весь конус от подножья до верха становится зеленовато-прозрачным, неземным. Немыслимая красота в этих Андах — даже съехал со строки, так сейчас разволновался.

Как в человеческой жизни: ждешь еще миг — и все кончилось. Просто белый конус. Что было неземным, духовным — исчезло. И не вернешь.

Разве что во сне, по ночам».

НА ГРАНИЦЕ

На Дальнем Востоке среди множества впечатлений были и тревожные: повеяло близкой войной.

Письмо из Владивостока домой

«21 ноября 1936 года.

...Стремглав на машине ворвались в город вместе с режиссером дивизионного театра. Только что была граница — ночные горы, зимний холод.

Маньчжурский ветер шелестит металлическим венком. Мне показали место, где лейтенант был убит.

Видел японскую пулю, извлеченную из раны месяц назад.

На заставе имени Косарева говорил с Емельянцевой, женой начальника заставы. За участие в бою получила орден.

Под охраной ручного пулемета ходили на границу, на место боя. Влезли на сопку, которая была в тот день занята нападшими. По чужую сторону видны блиндажи, деревни, дымок паровоза. На сопке подобрали целый мешок отстрелянных гильз японского станкового пулемета.

Слушал: «Он бежал прямо на меня со штыком», «Приходилось то и дело протирать глаза — кругом падали пули и брызгались грязью»...

Из-за Дальнего Востока бросил дом почти на полгода. Сорил месяцами, а потом не хватило одной-единственной минутки.

О НАС ДРУГИМ

Нужно дать представление о стране ей самой — звал Луначарский. Но не только ей самой. Страны должны же знать друг друга лучше, чем по газетам.

В далекий осенний день меня пригласили в Леонтьевский переулок в Литературное агентство «Международной книги». Разорвав пакет, я увидел толстый том в красном переплете, с кремовой суперобложкой.

Это была моя книга. И не перевод напечатанной в СССР, а специально написанная для заграницы.

Как-то сама собой выпала в жизни дополнительная должность — писать книги особо для зарубежного читателя. Их заказывали мне, а сами заключали договоры с иностранными издателями — сначала «Международная книга», потом книжный отдел Совинформбюро, потом, в наши дни, издательство АПН.

Первая такая книга — о ней и идет речь — вышла в 1935 году в Лондоне в уважаемом издательстве «Метьюн». Рукопись называлась «Новое лицо России», но там переменили на «Soviet Geography». Книга не была академична — начиналась с курьезного факта: у иностранного пилота-рекордсмена сорвался модный в те времена скоростной полет вокруг земного шара, потому что в планшете лежала карта трехлетней давности. Летчик запутался среди новых городов и догроз Кузбасса, еще не успевших лечь на картографический лист.

Когда раскрыл книгу, там неожиданно оказалось предисловие Халфорда Маккиндера. Я знал, кто такой Маккиндер — профессор Оксфордского университета на восьмом десятке, патриарх географии в западном мире, во многом геополитик. Сердце мое упало.

Стал тут же читать — и перестал волноваться: «Издательство «Метьюн» обратилось ко мне за кратким предисловием к книге, написанной для него русским географом... несомненно, это замечательная книга, вполне достойная внимания читательских масс... это яркое географическое описание, насыщенное политическим электричеством... оно сделано прирожденным и опытным географом... с пронизательностью и силой сжатой образности... у его коротких фраз законченное безоговорочное значение... оно дает представление о динамическом мышлении тех, кто во главе 160 миллионов рабочего населения претендует на переделку физической и человеческой географии шестой части земного шара...»

Чрезмерное великодушие — о слабостях, о пробелах, о недостатке эрудиции Маккиндер ничего не сказал.

Я радовался. Читатель, прости юношеское честолюбие: мне не было еще и тридцати.

Понял, что слова чтимого на Западе ученого открывают книге путь. И правда — вскоре в Англии посыпались статьи. Книгу переве-

ли во Франции и других странах. Сама фирма «Метьюн» вскоре выпустила второе издание. Интерес к СССР в мире был велик.

Но увидел я у Маккиндера и другое — недоверие: «Автор не вполне ясно отличает действительность от утопии».

В Оксфорд я попал недавно — слишком поздно, чтобы застать Маккиндера в живых. Уже не мог ни поблагодарить, ни поспорить. В зале Совета мне показали его кресло.

В 1939 году в Нью-Йорке вышла книга «Land of the Soviets». Она вызвала в газетах меньше сочувствия, и никто в предисловии не потрепал по плечу. Была хуже написана, поторопился. И уже стали понимать: новое лицо России — не утопия.

Во время войны, только закончив книжку о казахстанском тыле «Республика-арсенал», получаю телеграмму из Куйбышева — туда, как известно, выехала из Москвы часть правительства. Поручение быстро написать книгу для заграницы: «Борьба и труд русского народа».

Придумываю схему повествования о близком и далеком, но чем же кончить? Ведь дела на поле битвы плохи. Пока я ищу, фронт подходит к столице... И композиция и концовка найдены: разгром немцев под Москвой.

Военная книга вышла в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, в других городах. Там она называлась по-разному: «The Russian Story», «The Russian Glory», «La puissance russe»... За рубежом ее и хвалили и ругали. Один американский критик написал: «С графической четкостью и захватывающей стремительностью рисует Николай Михайлов на неполных двухстах страницах основные черты России и изображает ее яснее, чем большинство увесистых томов». А другой американец поглумился: «Каждый может посочувствовать автору, перед которым стояла деликатная задача нарисовать панораму русской истории и сохранить продовольственную карточку». Прочитал и такое: «Книга Михайлова — низший вид национального комплекса».

Позже мне еще приходилось не однажды писать для заграницы книги о Советском Союзе — каждый раз нечто литературно-географическое, знакомящее со страной. Их тоже одни критики перехваливали, другие били. Про книгу, изданную в ФРГ, один сказал в газете: «блестящая географическая эпопея». А другой посмеялся: «парад коммунистических соборов» — под соборами разумел всего лишь гидростанции Сибири.

Книжку, вышедшую во Вьетнаме, прислали мне с неразборчивой надписью на титульном листе чернилами, я все же прочитал: «Hochimin».

У М. Ильина было более двухсот изданий в близких и далеких зарубежных странах (у меня вдвое меньше). Как-то ему поручили беседу на домашнем агитпункте, слушателей двадцать человек. Он ответил:

— О, у меня есть опыт: я разговариваю с населением земного шара.

Последняя моя заграничная книга «La Unión Sovetica» вышла в 1973 году в Испании: два тома in folio, 940 страниц, 96 карт, 1534 фотографии. Справка достаточна, чтобы сложность дела стала понятной. Нелегко обойти цензуру и сказать, что намерен.

Получил письмо: «Мадрид, 10.9.73. Сеньор! Жаль, что Вы не верите в бога, тем не менее приношу Вам благодарность за книгу, которая заменила мне путешествие в Россию... Одна женщина». Как видим, предпочла себя не называть. Ответить испанке не мог.

Печать той страны для меня недоступна — не знаю, может, они там меня уже разругали.

На книги, которые учитывали уровень и литературный вкус иностранца, ушла бездна времени.

В честолюбии, охватившем меня при виде первой книги из Англии, я признался. Но скоро оно выветрилось, и я перестал бегать по знакомым и всем совать книги под нос. Смирился с тем, что о них у нас, что естественно, никто, кроме редакторов, не знает. А по-человечески хочется, чтобы о твоей работе знали не чужие, а свои.

За сорок лет была напечатана лишь одна рецензия на мою зарубежную книгу — профессора и члена-корреспондента Баранского, создателя и лидера советской экономической географии. Книга попала ему случайно, и он умел читать по-английски.

Николай Николаевич Баранский был самобытнейшим человеком. Огромного роста, с громовым голосом, с острой мыслью, с метким словом, жадный к жизни, но безразличный к быту, старый революционер, близкий к Ленину, с неумным, независимым и смелым характером — он собственноручно задушил провокатора, готового предать подпольщиков царской охранке...

Мне почти нечего вспомнить и рассказать о людях известных, для всех интересных — о таких, как Баранский, Фадеев, Ферсман, Маршак. Впрочем, не в мемуаристике задача. Отношения ограничивались кратчайшим делом, домами не знались — отчасти по моей замкнутости, а больше по гордости Зиной.

Предпочитала людей простых, обычных. В клиниках, где работала, ее особенно любили няньки. А со знатными ведь невольно меняешь тон.

Постепенно научилась быть ровной и не срываться на людях. Гневные вспышки, а потом открытый взор — «не права» — перетерпевал я один. Лишь мне было даровано видеть, как слетают тормоза.

Тени, заложенные давними зодчими в негладкий орнамент среднеазиатских мечетей, делают стену легкой, даже парящей.

Итальянские издатели Буккомино и Мартелли в 1967 году попросили меня приехать на неделю для докладов на пресс-конференциях. Уклониться не мог, хотя и знал, что буду ходить по горячим угольям: за год до того мы были в Италии с Зиной.

«...Рим. Черно-зеленые шары, срезанные сверху, — это лес пиний. Все живо, все помню. Тогда приехали наши партизаны времен войны, прием в посольстве. Вояка, усач, сейчас агроном в Казахстане — протягивает ей бокал с джусом и отпускает комплименты на итальянском — принял за римлянку.

...Милан. Белой вершины Монблана с крыши собора не увидели: постоянный смог. Незавершенная «Пьета Ронданини» нам понравилась больше, чем римская «Пьета», хотя форма в мраморе только угадывается. Сказала: «Наверно, детальная отделка в наши дни мешает»... Теперь меня везут в какой-то зал. У подъезда блицы фотографов и карабинеры — белый ремень косо затянут на груди. Сверкают колонны, сверкают люстры, приглашена вся пресса. Нервы, но не убежишь. Остается быстро встать, взять микрофон, задрать голову, будто на тебя бросается лев и сломить его можно лишь смелостью.

...Было светлое предвосхищение Флоренции. Холмы Тосканы, стога сена на оси шеста, как на вертеле. В селениях зеленые ставни на домах под жженой черепицей. Зеленые ставни. И со взгорья от «Давида», от ступеней Сан-Миньято — мосты над Арно, купол собора, небывалый город цвета корицы. Гляжу: трет уголок глаза.

...Неаполь. Конференция в здании посреди приморского парка как раз рядом с аквариумом. Как раз рядом. Тогда бежали сюда смотреть знаменитого осьминога — о нем она знала раньше, упоминала в книге «Сон и сновидения». Осьминог знаменит тем, что одна из его восьми ног бодрствует, шевелится, сторожит, когда он спит.

...Сказал среди прочего: Венецию когда-то строили на русских сваях — лиственница не гниет в воде, на ладьях гнали по морям вокруг Европы. Наивная дама, переводит художник Бенуа:

— Я графиня такая-то, член комитета по спасению Венеции. Может быть, и сейчас ваши деревья нас выручат?

Невероятно. Все невероятно. Вся жизнь невероятно. Октябрь, а в прошлом октябре мы сидели за стаканом горьковатого биттера тут, перед порталом святого Марка, перед золотой византийской парчой. Оркестрик играл вальсы Штрауса, на Пьяцце кто-то кружился, мне казалось это пошлым, потому что был спокоен.

В отель не пойду, будет слишком. Окно глядело на сырой канал, там плескалась волна у привязанной гондолы. Жалюзи, холод простынь. Она забыла закрыть кран, протекло во все этажи, был дикий итальянский скандал.

В ту тратторию зашел. Женщина без конца целует мужчину. Тогда у окна каждый раз сидел англичанин или немец, лет шестидесяти. Смотрел на нас и думал, наливал в рюмку.

Тронула мою руку:

— Погляди на этого человека. Я его запомнила. Почему он здесь? Наверно, остался один».

ОЗЕРО

...Экспедиция 1929 года покинула постоялый двор на пристани Рыбачье, я покинул бессонный стог. Переплыли на теплоходе Иссык-Куль — в город Каракол. Уменьшенная копия Верного и Пишпека, увеличенная копия семиреченских сел.

Начали с почтительного визита к глубокому старцу, бывшему генералу, Ярославу Ивановичу Королькову. Он был близок с Пржевальским. Комната увешана старинными термометрами, хронометрами, барометрами. В горшках зеленеют травки Центральной Азии. В нафталин уложен мундир друга, умершего сорок лет назад тут, в Караколе.

Купили на базаре лошадей на скопленные деньги. Проводником шел киргиз Рускельды.

Слышим:

— Вы не в своем уме. На Иныльчек? Но в долине Иныльчека банда Джантая.

Жестокий Джантай, вождь басмачей, владел тогда королевством в далеких щелях Тянь-Шаня — с вооруженной силой, со стадами, женами, даже с посевами мака на опий.

В пограничной комендатуре у Кириченко — карта во всю стену, скрытая занавеской на колечках. Отдернул — объяснил. Дает двух красноармейцев. Где-то он теперь? Говорят, стал полковником. Мы отказались — пожалели сухарей: денег совсем мало, все в обрез.

Неделю в седле — по ущельям, через горы и броды. На перевале Тюз, на тропе контрабандистов, вязнем в снегу. Гребень. Скорее бинокль! Внизу глубочайшая долина, как провал, — долина Иныльчека: вьется река, кое-где ели, слева морщинистый язык ледника, а сверху белые громады. Слава богу, как будто ни души. Тишина — только верещат кеклики, горные куропатки. Круто спускаемся.

Намазали знак на скале для науки — где кончается ледник. Разбили палатку. Разожгли костер.

Завтра — на лед. Как ночь перед атакой. Из темноты налетает грохот обвалов. Эхо в горах. Валентин сидит у огня на камушке, поет мечтательным тенором: «И сам Аргус не усмотрит за ней...» И я чувствую, что мне впервые жалко жизни.

Утром отсылаем Рускельды с лошадьми на два перехода назад, за перевал Тюз: тут хоть и растет трава, но он боялся Джантая.

— Если через двенадцать дней не вернемся, бери коней себе и уезжай. Все равно нам на дольше еды не хватит.

Он плохо знает по-русски и не обучен такту — говорит не «до свиданья», а «прощай, товарищ».

Навьючили на себя двухпудовые рюкзаки, взобрались на скользкий глетчер и двинулись, перелезая через ледяные холмы. Наклоняли голову, когда ветер срывал с осыпей камни. Шли. Видели кошачьи следы: это барс. Ночевали на уступах между скалами и ледяной стеной и на льду. Насыпали каменный тур и вложили консервную банку с запиской для будущих путешественников: такие-то, идем туда-то с такой-то целью. Так мореплаватели бросали закупоренные бутылки в океан.

Дотащились до озера — оно на месте! За тридцать лет не сократилось, не сдвинулось.

На пути к северному склону Хан-Тенгри лежит самое большое ледниковое озеро в стране. Зовут его теперь озером Мерцбахера. Оно постоянное. Иногда прорывается в долину, но снова накапливается.

Плавали льдины — белизна среди синевы. И даже айсберги с трехэтажный дом. Временами они с шумом и плеском переворачивались. Ледяной ветер сгонял их то влево, то вправо. Волны ударялись о скалы. Километрах в четырех за озером виднелся ледник Северный Иньльчек. Тянулся вдаль, к пику Хан-Тенгри.

Вот и все. Надежда вступить в неисследованную область разбита. «Белое пятно» дрожит в поле бинокля. Загадка не разгадана.

Холодная, жестокая внешняя преграда подсекла наш порыв. Не думал я, что озеро, которое могло быть прекрасным, станет символом сдачи, отступления, краха идеи, отказа от мечты.

Переплыть на льдине? Проползти над озером на авось по отвесным скалам? Духу на то не нашлось. Мы покорились. Пошли вспять.

Слезли с ледника. С болью взглянули на угли нашего кострища. на следы подков. Осмотрели долину — никого. Начали тяжелый подъем на перевал Тюз — километр по вертикали. Длился восьмой день жизни впроголодь.

Видим — вверх по склону к седлу перевала, испугавшись, убегает медведь. Скрылся. И вдруг бежит обратно. Совсем скверно. Там кто-то есть — и погрознее нас.

С перевала спускаются всадники. Минута страха. Бинокль — у них зеленые фуражки. Это отряд пограничников, охрана украинской экспедиции, которая появляется следом. Впереди глава — харьковский альпинист Михаил Тимофеевич Погребецкий, написавший книги о Тянь-Шане тех лет.

Погребецкий про Зину: «Дитя природы, ее чудо».

Солдаты весело палят по медведю. Тот бежит, и вокруг взвиваются дымки от падающих пуль.

Харьковцам досадно, что они здесь, в таинственных местах, не первые. С тревогой:

— Взошли на Хан-Тенгри?

— Посмотрим, как вы взойдете.

Поговорили. Отдали им ледорубы. Погребецкий послал молодца с лошадью втащить рюкзаки наверх. Мы полезли дальше к перевалу, харьковцы стали, откинувшись в седле, спускаться. Кричат на прощанье:

— Эй, будьте осторожны, нас ночью обстреляли!

Внизу, у ледника, где мы только что были, на лагерь украинской экспедиции напали, завывая боевую молитву, полсотни джигитов. Их вел курбаши Касым, друг Джантая. Атаку отбили. Через три дня снова. Пролилась кровь. Один басмач убит, Касым ранен.

Мы о том не знали — перевалили снежный гребень по следам медведя, заночевали под скалой, утром разделили на троих последнюю банку консервов, сгрызли последний сухарь.

Спотыкаясь, бредем по сыртам, выжженным солнцем. Видим в стороне табун голов в триста и юрты. Ишь, думаем, богатый колхоз прикочевал на джайлоо, басмачей не боится.

Дошли до места — нет ни Рускельды, ни верховых лошадей. Вот те на — что же нам делать? Под обрывом многоводная река Сарыджас, ее пешком вброд не перейти. За Сарыджасом до селений сотня километров. Да и все равно не добрести — есть нечего, валимся с ног.

Не миновать идти назад, к тем юртам. Киргизы, как всегда, напоят и накормят. Расскажут, куда делся Рускельды.

Идем. Вдруг скачет киргиз в дырявом армяке — спешил, застывает дорогу. Быстро-быстро говорит, машет руками и все твердит:

— Аманат! Аманат!

Что означает это знакомое арабское слово, вошедшее в языки среднеазиатских и кавказских народов? Кажется, встречается в «Путешествии в Арзрум». Знал, но вспомнить никак не могу. Наверно, от голода, от слабости. А киргиз убеждает, не пускает. По-видимому, друг, а не враг. Но выхода-то нет:

— Ничегошеньки, брат, не понимаем. Билбес. Чего ты пристал со своим аманатом, пусти.

Десяток юрт. Есть и из белой кошмы с красными разводами, с деревянными дверями в узорах — такие увидишь только в опере «Князь Игорь». Расписанные седла. Кованые стремена. Серебряная сбруя. Охотник с беркутом на руке, глаза птицы под колпачком, размах крыльев чуть не в сажень.

А вот и хозяйева — в зеленоватых бархатных жилетах, в мягких козлиных ичигах, с бритой головой.

Ага, мы поняли: стойбище баев — опора басмачества. Откочевывают со стадами в Синьцзян. Сейчас нам руки скрутят. С живых сдерут кожу. В костре сожгут. Их способы расправы известны.

Когда родилась идея Хан-Тенгри, меня томила жажда открытия. Когда по леднику подбирались к озеру, возбуждала близость удачи. Замерли перед озером — мучило разочарование. Попали в плен к басмачам — терзал страх. Но писал ли я о каких-нибудь подобных чувствах в книгах о стране? Нет, не писал.

А стог сена на берегу Иссык-Куля? Этот проблеск надежды? Ну, про такое молчал и подавно.

Почему же?

(Окончание следует)



О ЧЕ Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

РУСТАМ ВАЛЕЕВ

★

ДОЛЖНО ЖЕ БЫТЬ В ЖИЗНИ ЧТО-ТО ТАКОЕ...

1

Друзья как будто бы не понимают его скоропалительного решения, а ему не хочется долго объяснять. Он только говорит:

— Должно же быть в жизни что-то такое...

— Да, да,— кивают друзья.

На их лицах недоумение: зачем такие разговоры и почему Мансур Кадыров, компанейский парень, не пьет пива и портит им культурный отдых?

Они выходят из кафе, небрежно набросив на плечи шуршащие плащи. В Казани осень, тепло, дождливые нити играют в свете фонарей, тополя высоко несут вдоль блестящих тротуаров купы сумеречного тумана.

— Должно же быть в жизни что-то такое,— говорит Мансур Кадыров.

И вот он уже в Челнах. Он стоял перед дощатой, почерневшей от сырости будкой с вывеской «Энергорайон» осунувшийся от волнений и говорил себе, что согласится работать только по своей специальности, потому что он не бетонщик и не плотник, а вечный монтер. Может, он подспудно надеялся, что монтеров на стройке хватает и тогда он вернется в Казань, не мучаясь от укоров совести.

Едва ступив на порог, он ощутил тошноту от табачного дыма и от того, что с утра ничего не ел. Над самодельной электрической печкой сидели двое. Это были мастера.

Тот, что поближе, развернул трудовую книжку Мансура, а второй заглянул через плечо первому и сказал:

— Да ты, брат, не работал на высоковольтных линиях.

— Не подходишь ты нам,— сказал первый и помолчал.— Ну, напиши заявление.

— А чего писать,— сказал Мансур почти с горечью,— чего писать, если я не подхожу?

Мастера ничего ему не ответили.

Он повернулся будто бы для того, чтобы придержать распахнутую ветром дверь, и услышал за спиной:

— Да вон Стрельников идет.

Мансур увидел человека, легко шагающего в огромных резиновых сапогах через захлампленный пустырь.

Тот, кого называли Стрельниковым, остановился перед входом и спросил:

— Дюмин не звонил?

У него было округлое бледноватое лицо, широкий нос надежно удерживал толстые очки, одет был Стрельников в брезентовый плащ, клетчатую кепку; сапоги на его ногах казались вблизи еще огромнее. Что-то дрогнуло в душе у Ман-

сура. Во-первых, он ободрился, каким-то внутренним чутьем поверив, что Стрельников не откажет ему. Во-вторых, он понял, что заднего хода ему не будет.

— Квартуру долго придется ждать, — сказал Стрельников, возвращая ему трудовую книжку. — Зарплата восемьдесят рублей. Плюс двадцать процентов премиальных. — Он слегка усмехнулся: — Ночевать-то есть где? Ну, поедем со мной.

Мансур послушно пошел за Стрельниковым, думая, что если у того большая семья или грудной ребенок в доме, то ни за что не останется ночевать.

На краю пустыря стоял грузовик с крытым кузовом. Стрельников неловко перевалился через борт, крикнув: «Залезай!» Они ехали долго, в проеме брезентового покрытия мелькали самосвалы, автокраны, «вахтовки». Затем поплыла степь с желтыми холмами...

— Там у нас вагончик, — проговорил Стрельников, мельком глянув на чемоданчик Мансура. — Будет где пристроиться и обсушиться. Да!.. — как бы осенило его. — Там, кажется, найдутся для тебя сапоги.

Перед его глазами мелькали названия городов — Магнитогорск, Калинин, Ижевск, Ивано-Франковск и еще множество разных, известных и неизвестных. Они были выведены на спецовках строителей во всю спину. Незнакомые девчата (ребята сдержанней) бросались друг дружке в объятия только потому, что оказались землячками. А широко раскинутые Челны тоже были как собрание городов: вот деревянные, с резными ставнями, с палисадниками дома — это, пожалуй, некий райцентр; а вот глядящие на Каму девятиэтажные — ни дать ни взять Дербьышкы, новый район Казани; а за дымякою полей подобно миру снова поднимаются высокие дома — Новый город; а вот веселой крашеной грудой раскиданы поселки из передвижных домиков. И все это Челны...

Однажды Мансур прогуливался возле кинотеатра «Чулпан», и пестрый говор кружил ему голову и рождал приятное ощущение, будто он бродил по Казани. Это ощущение было столь правдоподобно, что он не удивился, заметив знакомого парня, с которым они когда-то учились в ремесленном. Чинно щел он, держа под локоток е е — то ли подругу, то ли жену.

— Приезжай в Мелекес, — позвал он Мансура. — В общежитии Жилстроа спросишь меня. А сейчас извини...

Они отправились в кино, а Мансур еще ходил возле кинотеатра. Он скучал по жене и дочке, и ему странным показалось то, что он взял да уехал из Казани. Его пылкость была искренна, когда он говорил приятелям: «Должно же быть в жизни что-то такое!» Но смена местожительства не принесла пока отрадных перемен, и всякая мелочь тамошнего, казанского, существования казалась привлекательной сама по себе. Хорошо, бывало, ошпариться прохладным душем после жаркого дня, выйти из дому и попить пива в киноске, отправиться на стадион и поглядеть игру «Рубина» с заезжими футболистами. Что еще? Да, он любил сабанту! Но не сельские, а именно те, в Казани, — услужливый городской транспорт вмг доставит на место празднества, а там знакомая братва. Он любил эту жизнь в большом городе. У родителей была трехкомнатная квартира. Правда, отец и матери с самого начала не приглянулась Фирдоус, мелкие нудные стычки раздражали его, но приходилось мириться — не уходить же из трехкомнатной квартиры и ютиться у какой-нибудь хозяйки. Они старались принаравливаться к условиям и деловито рассуждали, что не станут заводить второго ребенка. Кто в большом городе заводит много детей?

Работу дежурного электрика на фотожелатиновом заводе он считал неплохой, а сам завод был, по его мнению, не лучше и не хуже, чем другие заводы. Но когда он увольнялся, никто его не стал удерживать. Даже не спросили, почему увольняется. Выходит, в нем не очень нуждались, и это было обидно. Но потом одна очень простая мысль как будто бы успокоила Мансура: да ведь и он плакать не станет по такому заводу. Так себе заводец, «рога и копыта». Не стоит о нем жалеть. Да и должно же быть в жизни что-то такое...

На следующий день после смены он остановил попутную машину и поехал в Мелекес. С шофером был мальчонка лет четырех. Езда утомила его, однако в

нем неистребимо жил интерес к машине — он не хныкал, был серьезен по-взрослому.

— А где ваша мама? — спросил Мансур.

— Мама работает, — ответил шофер. — Ничего-о! — сказал он, обращаясь только к мальчонке.

Мансур в тот вечер не поехал на участок — ночевал в общежитии, в комнате своего казанского друга. А потом стал ездить сюда после каждой смены и ночевал тайно, пока комендант однажды грудью не выпер за порог. Зябко поеживаясь, он остановился на крыльце, оглядываясь на яркие окна общежития. И комендант, поняв, что идти ему некуда, участливо посоветовал: пусть за него похлопочет начальство.

Мансур отправился к Стрельникову. Тот стал припоминать:

— Там Кубышкин начальник? Не помнишь? Ну да, в первом Жилстрое. Кубышкин. Николай Михайлович. Поговорю.

Стрельников знал на стройке каждый уголок, и везде у него были знакомые. Давно уж он здесь работал, к тому же который год преподавал старшеклассникам электротехнику, а студентам энергостроительного техникума — основы электроники. Где бы ни появлялся Стрельников, везде находились мальчишки и девчонки, а также солидные мужи вроде Кубышкина, которые приветствовали его с почтительностью учеников.

Итак, через два дня Мансур вселился в общежитие. Он испытал чувство если не победы, то безусловной удачи, утвердившись на равных правах с жилстроевцами.

Жилстроевская «вахтовка» привозила его в Челны, там он пересаживался в свою «вахтовку», чтобы ехать на участок. Уже ноябрь был на исходе, по здешним местам — зима, но, как и прежде, сыпалась с неба изморось и дороги были непролазны. Их грузовик исходил из последних сил, елозя в жидкой глине. А в котловане, когда перемещали КТП (комплектные трансформаторные подстанции) вслед за передвинувшимися экскаваторами, нельзя было обойтись без трактора.

В первые дни Мансору думалось, что они делают какую-то временную, не главную работу. Но оказалось — закладывают участок электросетей в самом центре стройки. Пока здесь ютились вагончик, мастерская, временная подстанция и с десяток КТП, трудно было вообразить, что на этом месте со временем будет самая мощная подстанция, обслуживающая строительство литейного комплекса, завода двигателей и ряда заводов-спутников.

В декабре подморозило: Морозы оказались на руку строителям, но добавили хлопот электрикам: мерзлый грунт не брали экскаваторы и в дело вступали взрывники. «Сегодня в четыре (пять, шесть) взрыв неподалеку от вашего хозяйства», — предупреждали они. Электрики отключали напряжение и ждали. В назначенный час со стороны котлована раздавалось глухое громоханье. Там, значит, тяжело брызнули мерзлые комья земли — и тонкий звон расколотых изоляторов сиротливо канул в грубый шум грохота. Они поднимались и шли на линию. Иногда работали до темноты и оставались ночевать в вагончике.

В деле они вели себя так, как если бы годы работали рука об руку. Но досуг как будто смущал их, они так мало еще знали друг друга. Рассказывая что-то, каждый как бы посмеивался над своими приключениями. Так, мастер Володя Сафонов, лишь нынче закончивший институт в Саратове, рассказывал, как добирался до Челнов: почти сутки ехал поездом через Куйбышев, Уфу, Бугульму. Смешно — сейчас-то он знает, что достаточно двух часов самолетом.

Стрельников вспомнил, как приехал в Куйбышев после окончания сельской школы, ночевал в актовом зале института на раскладушке среди прочих абитуриентов. Экзамены сдал хорошо, без троек, но конкурсы в пятьдесят шестом году были жуткие — не прошел. А уж письмо написал домой, что сдал без троек и поступит наверняка. Решил не возвращаться в деревню, было стыдно перед сестрой. Она фронтовичка, войну закончила в Берлине — уж так она старалась, чтобы он окончил школу и поступил в институт! Поехал на строительство Куйбышевской гидростанции, а в следующем году поступил в филиал политехнического инсти-

туда, вечерами из Жигулевска ездил в Ставрополь-на-Волге, теперешний Тольятти. Филиал института размещался там.

А Валера Киселев, совсем еще парнишка, рассказывал, какой он был мотогонщик, в Иванове даже выступал за команду энергетического института, да потом автоинспектор отобрал права за явное лихачество.

Мансур слушал, и все ему было интересно. Кто знает, может быть, это были ростки его интереса к собственной судьбе, которая, пожалуй, должна была строиться не где-нибудь, а здесь.

2

В конце лета Стрельников, оставив участок на попечение Володи Сафонова, ушел организовывать новый — электромонтажный. Предстояло строить линии электропередач на поселки Новый, ЗЯБ (завод ячеистых бетонов); в ведении энергорайона была также ЛЭП, питающая электроэнергией строительство Нижнекамской ГЭС; множилось число подстанций на объектах — в общем, монтажных работ предвиделась уйма.

Именно в эти дни Мансур устранивал свои семейные дела. Приехала Фирдоус, ее надо было спешно прописывать на жительство, чтобы не упустить место продавца промтоварного магазина в Челнах. День он потратил на то, чтобы сломать неподатливого коменданта и вселить жену в общежитие, второй — чтобы прописать ее. Но выяснилось, что с мелекесской пропиской на работу Фирдоус не возьмут. И еще мытарился он, выписывая жену из Мелекеса и прописывая у одной хозяйки в старых Челнах.

Наконец, вздохнув облегченно, он вышел на работу.

— Тебя Стрельников искал, — сказали ребята.

«Может, насчет квартиры...» — подумал Мансур и поехал в контору энергорайона.

Стрельников звал его к себе на новый участок.

— Каждый, кто поработал на стройке хотя бы полгода, уже ветеран, — говорил Стрельников. — Во всяком случае, сам я за полгода перезнакомился со всеми службами и считался ветераном. Много молодежи приняли, народ все грамотный, но по нашему профилю не совсем подходит. Учить надо ребят. Ну? — сказал он нетерпеливо.

— У меня жена приехала, — сказал Мансур.

— Завезем передвижные домики и поставим прямо на участке. Ты же знаешь тот пустырь? Обнесем оградой, построим бытовку, склады. Места небось хватит. Ну? — опять сказал он.

— Ладно, — ответил Мансур и немного удивился тому, как откровенно повеселел Стрельников.

...Участок начинался буквально на голом месте. Обогреться и то негде. Обтерханый вагончик, куда однажды явился Мансур, не вмещал всех. Электропроводка, пилы, топоры и прочие инструменты и материалы некуда сложить. Каждое утро «вахтовка» увозила ребят в поле, часть людей оставалась на базе готовить опоры, а еще часть отдельной артелькой строила бытовку и склады. Пареньки обтесывали бревна, носили раствор и кирпичи и злились, что их романтический пыл находит выход в скучном и тяжком деле. Они оживлялись, когда на участке появлялся Дюмин, начальник энергорайона. Он был высок, строен, хотя и плотен фигурой. Очки делали его лицо интеллигентным и строгим. Однако слегка окающая, с простоватыми словцами речь смягчала его строгость. Ребята гордились тем, что их Николай Сергенч был летчиком-истребителем. Ему было восемнадцать лет, когда он поднялся в небо на учебном самолете и повстречался с немецким истребителем. Но вражеский летчик, видимо, пренебрег учебным самолетом или, может быть, слишком спешил. За войну Дюмин сменил пять самолетов, его ранило и калечило. Он и в пехоте повоевал, но и там не расставался со шлемофоном, как моряки не расстаются на суше с бескозыркой.

Дюмина знали в Нижнекамске и Заинске — там он строил электростанции.

А еще раньше работал на строительстве Волго-Балта, Волго-Дона, Кужбышевской ГЭС. Названия эти звучали как названия регалий.

Ребята строили склады, бытовку, готовились завезти на участок передвижные домики, бетонировать дорожки, провести водопровод.

— Построим баню,— говорил Дюмин, и его лицо становилось лукавым.— Иметь свою баню — понимаете? Ну, в крайнем случае душевую.

Когда он говорил так, строительство бани казалось интересным и необходимым делом...

Здесь могут быть свирепые морозы, но выдаются и теплые зимы; слякотная осень здесь как проклятье, но не каждая осень гнилая. А лето без пыльных бурь не бывает. Наскочит с полей ветер, понесет тягучий свист по улочкам старых Челнов, огромно взметнется перед каменными домами поселка энергетиков и, ослабев, распластается, заскользит понизу и потеряется. Но нередко возродится ураганом и бесчинствует немилосердно...

В четыре часа пополудни, когда полевики ехали в город, на дорогах вихрились мелкие смерчи. Выгрузившись на базе, не стали расходиться, расположились на бревнах посреди двора. Смерчи поигрывали возле их ног, не суля пока никакой беды, и ребята заскучали. Шофер «вахтовки» Володя Нещеретнов завел нудный разговор о том, что в Казахстане он возил районное начальство; там тоже природа не райская, но ураган не ураган, а в положенный час он уходил домой, по пути забирая двух малышей из садика, в то время как жена нянчилась с третьим. Ребята помалкивали, и жалобы его звучали совсем невольно: вот жена вынуждена была устроиться на завод лишь потому, что завод рядом и можно наведываться в вагончик поглядеть, как там малыш; а если бы его в садик устроить, то, конечно, жена не работала бы на заводе.

— А где бы она работала? — спросил кто-то из ребят.

— В медицине,— ответил Володя.— Или, может быть, в столовой, в кафе. Отпустили бы вы меня, ребята,— сказал он вдруг.

Бригадир Вася Филиппов махнул рукой, и первым ушел Володя, за ним вскоре разбрелись остальные. А через час над Челнами, над округой пронесся ураган, покрывая дома теменью и шумом, а следом хлынул ливень. Еще через полчаса Вася Филиппов собирал ребят по вагончикам и вслух сожалел, что рано разошлись: ребята, живущие в Новом городе, уже небось в общежитии, а тут лишь половина бригады. Вскоре «вахтовка» держала путь к берегу реки, где проходила линия на Нижнекамск. Следом должны были двинуться буровая установка, «телевышка», автокран и колесный трактор с прицепом.

Над Камой, над грузной насыпью вдоль берега висела шумящая вода. Они проехали совсем немного и увидели за насыпью лежащие вповалку опоры. Оборванные провода повисли словно застывшие струи мутного ливня. Попрыгав из кузова, ребята побежали вдоль насыпи согнувшись, будто соблюдали условия маскировки. Повержено было шесть опор, иные вывернуты целиком, на других слишком мало деревянные приставки — «пасынки».

Стрельников интересовался по рации, подошли ли автобур и трактор с лесоматериалом, и сообщал, что старый город, а также центральная котельная без света.

Ливень усиливался с каждой минутой, теперь он не просто гудел, а словно бы и тарыхтел; наконец в проране ливневой пелены показался трактор, выделяющий зигзаги по размытой дороге. Следом еще нерешительнее продвигался автобур... Рытье ям давалось подозрительно легко, но вскоре ямы осыпались, их заливало водой.

— Оставим до утра,— сказал Вася Филиппов.— А утром придется вызвать экскаватор.

Кое-кто взялся было за лопаты, но Вася их удержал и послал вязать опоры. Компрессор все шумел, и его шум становился как бы все матовее, вживаясь в шум ливня и растворяясь в нем. Так прошли, может, часы, а может, всего полчаса.

— Как тихо стало-о-о,— протянул вдруг Ильяс Хаматдинов, и ребята услышали, как становится отчетливей, отдельней гудение компрессора.

— Ливень стихает, братцы!..

Белая вертикальная завеса оказалась как бы сброшенной, и сквозь сетчатое мелькание струй проглянуло сумеречное небо над камской водой, а река матерински полно, с достоинством шла в своих берегах — будто именно она приняла на себя падение тяжелого потока, приняла, растворила в себе и понесла-покатила.

Мансур снял с себя совершенно мокрую ковбойку, бросил на траву возле насыпи. Глянул на обнаженные руки, и они удовлетворили его густою смуглотой, мускульной округлостью. Он обматывал проволокой опору и вплотную притертый к ней «пасынок», накручивал ломиком.

Вспыхнули фары автомобиля, и туманный полусвет вокруг загустел, стал темнотой. Вася Филиппов махал рукой, Нещеретнов потихоньку подвигал машину, направляя свет на работающих парней.

На рассвете дождь совсем прекратился. Пришел экскаватор и тут же начал рыть ямы. В половине седьмого явились ребята, живущие в Новом городе. Коля Хадыкин босяком, с подвернутыми штанинами подбежал к гряде лопат и, выхватив первую же, принялся выбрасывать из ямы землю...

— Осман, теперь дело за тобой! — крикнул Вася Филиппов. В веселом его голосе было что-то вызывающее.

Осман Куртасанов, водитель автокрана, молча направился к кабине. Вызывающие нотки в голосе бригадира как будто бы задели его, но он, казалось, решил промолчать.

— Далековато стоит кран,— пробормотал Нещеретнов.

— Вижу,— огрызнулся Вася Филиппов.

Да, кран стоял на насыпи. Осман правильно выбрал позицию, на прочном грунте. Но опоры лежали слишком далеко за насыпью.

— Их бы трактором подтащить,— сказал Нещеретнов.

— Нет трактора! Где ты видишь трактор? — взъярился Вася. — Может, «Беларусь» ты принял за трактор? Осман! — крикнул Вася и опять помахал рукой.

И точно в ответ ему стрела крана стала медленно, но неуклонно выдвигаться вперед. Всё — на полном вылете стрела. Значит, его подъемная сила сокращена теперь в три раза, но опору он, пожалуй, осилит. Ребята закрепили первую опору, подали знак: можно подымать.

«Рискует Осман»,— подумал Мансур, но он ни за что не сказал бы этого вслух.

Опора поднялась-таки, ее быстро вкопали, затрамбовали. Когда подняли третью опору, Мансур не удержался:

— Рискует Осман.

Вася кивнул ему, будто речь шла о чем-то таком, что они знали только двое. Осман был мастер, он действовал на острие возможного и невозможного с микроскопической точностью, которую ни глазом, ни рукой не ощутить. К одиннадцати часам, подняв все шесть опор, решили пообедать, а вернувшись, натянуть провода. Невдалеке, в котловине плотины, имелась столовая под дощатым навесом — отправились туда. Опять стал сыпаться дождь, и настырно шелестящие струи как бы пробудили ветер. Сидя под навесом и хлебая суп, они слышали разгул ветра и ливня и презрительно молчали. Они управились с обедом в полчаса, но за это время снесло четыре опоры, которые с таким трудом подняли и вкопали.

Все-таки природа на этот раз помилосердствовала: ветер и ливень были недолгие. И Вася Филиппов, пробормотав, что, мол, хорошо хоть опоры не сломало, а только выдернуло, крикнул с прежним выражением веселого вызова:

— Осман, теперь дело за тобой!

И снова они подымали и вкапывали опоры, а потом, не давая себе передышки, стали раскатывать барабан с кабелем. «Вышка», елозя колесами по грязи,

двинулась вдоль опор. Навесив на ролики провода и натянув их, ребята вздохнули свободно: теперь остается «подвязать» провода, это час работы — и можно будет сообщать на базу, что все в порядке.

Мансур, вскинув на руки когти, направился к опоре. Долгие часы он работал рука об руку с другими — накручивал проволоку, махал лопатой, натягивал провода, и все его напряжение, выносливость, ловкость не были отдельны, а как бы поглощались общим потоком работы. Теперь же он мог венчать свою работу личным, отдельным мастерством. Лучше всего это видно тем, кто внизу. Он «пляшет» на высоте: то откидываясь на ремне, то подтягиваясь почти вплотную к опоре, он вяжет-накручивает провод к подвесному изолятору и вот уже скользит вниз, в то время как другие все еще наверху. Вот только Виктор Глотов, пожалуй, да сам бригадир не уступают Мансуру...

В девять часов вечера Вася Филиппов сообщил на участок, что работа кончена. «Вахтовка» двинулась в сторону города. Сумеречный туман качался в улицах старых Челнов, окна домиков были еще слепы, и фонари на столбах тоже не горели. Но прежде чем падет темнота, старый город получит свет... Даже грубая тряска в кузове действовала убаюкивающе. Мансур закрывал глаза, но, открыв их, видел перед собой осунувшееся, задумчивое лицо Коли Хадькина. Он казался присмирившим, даже чуточку, может, напуганным. Нынешний день, пожалуй, стал для него днем испытания. Приехав на стройку, он сразу же попал на новый участок к Стрельникову. Крикливый и самоуверенный, не признающий никакой дисциплины, он вывел из себя даже терпеливого Стрельникова, и тот перевел его в бригаду Филиппова. «Если там не сработаетесь, то пеняй на себя», — так сказал ему Стрельников.

Глядя на Колю Хадькина, Мансур вспоминал ноябрьские дни на автозаводстрое, когда он дневал и ночевал там, и усмехался умудренно: уж он-то свое испытание прошел, теперь что бы ни было, все будет казаться не таким трудным, как те дни...

Когда Мансур подошел к своему вагончику, то увидел жену. Она мыла порог. Он скинул тяжелые сапоги, оглянувшись, стащил с себя рубашку и брюки и на цыпочках, в трусах прошел в свое обиталище, пахнувшее ему в лицо чистым домашним запахом.

— Я воды согрела, — услышал он слова жены, но не ответил.

Он лежал, уступая сну, с блаженной, глуповатой улыбкой на расслабленном лице.

Мельком он подумал о том, что хотел же и не сказал Коле Хадькину каких-то важных слов...

3

Хозяйство Володи Сафонова росло быстро. На участке, где они когда-то начинали и где стояла одна временная подстанция и десятка три КТП, вступила в строй самая мощная в Челнах подстанция, а количество КТП перевалило за две сотни. Мансур более месяца провел на новой подстанции, делая ревизию, в то время как там уже действовали наладчики оборудования. Володя Сафонов в редкие минуты досуга делился новостями, мешая производственные с личными. Оказывается, участок намереваются превратить в РЭС, район электросетей, и начальником хотят назначить Володю.

— Ничего, — сказал Мансур, — грамотешка у тебя есть, потянешь.

Володя засмеялся и рассказал, что получил комнату в десятом комплексе и у него родился сынишка. «Чудеса, — подумал Мансур. — Стройка едва началась, быт не налажен, а у ребят то свадьба, то пополнение в семье. За последние два месяца женился Ильяс Хаматдинов, родился ребенок у Гены Коломацкого, и вот теперь Володя стал отцом. Чудеса!..»

— Ты, может, помнишь Надю Шумейко? — спрашивал между тем Володя. — Она на ГЭС работала, на подстанции. А теперь у нас. Оперативные переключения, быстрота и точность! — Он рассмеялся. — Мы всех новичков направ-

ляем к ней на стажировку — ветеран. А ветерану двадцать лет. Наташа Трифонова в энергостроительный поступила, тоже девка с головой.

Еще раз привелось ему работать с парнями Володи Сафонова. На строительстве Нового города сгорел трансформатор, погасла распределительная подстанция. Пока действовала резервная линия, надо было срочно менять трансформатор. Сафонов созвал самых опытных ребят да еще попросил помощи у Стрельникова. Тот послал Мансура и Васю Филиппова. Володя не скрыл радости, опять встретившись с Мансуром. Когда поставили новый трансформатор, закончили монтаж и подключения, он снова заговорил о своих девчатах, о той же Наде Шумейко, а потом неожиданно предложил Мансуру перейти на РЭС.

— Брось ты,— сказал Мансур.— Брось ты! — резко повторил он.— Ну что я тебе, что? На фотожелатиновом заводе меня даже не спросили, почему я увольняюсь,— вот как нуждались!

Володю смутила его резкость, Мансур это заметил сразу. Но вместо того чтобы заглядывать неловкость, он продолжал:

— Брось, говорю! Пусть молодежь работает. «Быстрота и точность»! Они молодые, техникумы заканчивают. А я что, я вечный монтер.

Ему было приятно, что Володя хочет заполучить его к себе, да и сам он знал теперь цену своему умению. Но было ему отчего-то невесело. Он завидовал этим девчонкам и паренькам, а время, когда бы и сам он учился, казалось ему упущенным: где уж там, тридцать лет! Нет, он останется в своей бригаде.

Он останется, а многие ребята с пуском завода уйдут. Ильяс Хаматдинов по направлению дирекции КамАЗа учился в Казани; будет работать на монтаже электрооборудования. Гена Коломацкий тоже ждет не дожидается, когда пустят завод,— у него диплом техника. Коля Хадыкин сдал экзамены в энергостроительный техникум. Вася Филиппов тоже заговаривает об учебе. И Осман Куртасанов уходит из бригады. Неумная душа, он взялся отремонтировать старый автокран и поднял его на ноги. А Дюмин видит, что парень мастак и по фрезерному делу, и по токарному, и кровельщик, и электрик, говорит: принимай мастерские. Действительно, Осман мастер, но у него еще и диплом.

«На шофера, что ли, выучиться? — думал Мансур.— Но техникум все-таки лучше. Продавцы и те учатся...»

Его старательная Фирдоус поработала всего-то ничего, а ее уже послали учиться на курсы в Казань. Вернется в Челны заведовать отделом в магазине... «Скорей бы приехала»,— думал он, и ему становилось так неспокойно, как будто Фирдоус могла и не приехать. Он перелистывал альбом с фотографиями. Быстротечно проносилась перед его глазами череда прошлых лет: вот он мальчишечетвероклассник с пионерским галстуком на белой рубашке, он — с челкой на лбу, в гимнастерочке, с приятелями из ремесленного, а вот они вдвоем с Фирдоус, отважно застывшие перед объективом, а вот уже с дочкой... Однажды, захлопнув альбом, он принялся писать жене письмо: «Фирдоус! Я купил пианино и считаю, что сделал правильно, пусть Эльмира учится». Больше он не находил слов, главное, казалось, он высказал — поэтому исписал страницу приветами и поклонами и запечатал письмо.

На следующий день ребята помогли ему втаскивать пианино в вагончик и недоумевно спрашивали: чего это, дескать, ударило ему в голову?

— Так ведь в кредит! — отвечал он возбужденно.

Потом, остыв немного, объяснял, что дочка будет играть, ничего удивительного. Но ребята как будто не совсем понимали его поспешности: приехала бы жена, посоветовались, а там бы и купили...

Придя с работы, он первым делом заглядывал в почтовый ящик, потом шел в вагончик и, открыв пианино, мягко ударял по клавишам... «Скорей бы приехала»,— опять думал Мансур.

— А не съездить ли в Казань? — произносил он вслух и не находил в себе никакого побуждения ехать.

Жизнь в большом городе не была им отринута вовсе, шатания с приятелями в парке, яркая суматоха городских празднеств и сейчас казались соблазнительны-

ми. Но все это вроде относилось не к взрослой поре его жизни, а к той, когда он был парнишкой с челкой на лбу. Самым приятным в том давнем было смутное чувство ожидания, которое связывалось то с будущей работой на большом заводе, то с девочкой-десятиклассницей, о которой он тогда мечтал, то с поездками в другие страны. А потом чувство ожидания исчезло, и были только рассудочные соображения о том, как найти взаимопонимание с родителями и жить в трехкомнатной квартире, а в свободное от работы время не упускать радостей жизни большого города. Грустное настроение не часто посещало его тогда. А сейчас в собственной грусти он находил еще и давно забытое чувство ожидания. Он ждал, когда жена придет в их дом. Он ждал дочку; как только вернется, пусть мать сводит ее в музыкальную школу. Ждал, не заикнется ли еще раз Володя Сафонов о работе на подстанции...

Он вдруг вспомнил о давней своей страсти — рыбалке. Купил у одного, старика в Челнах лодку, заклепал, подлатал; теперь он просыпался раньше зари и бежал к реке. Когда рыбалка бывала удачной, сушил рыбу, нанизав ее на нитку, и нес на участок угощать ребят.

Вася Филиппов напросился с ним на рыбалку. Мансура это очень обрадовало. Он будил Васю на рассвете, и вместе они шли пустыми улочками к реке, отвязывали лодку и выгребали в протоку. Вася был не рыбак, он старательно забрасывал удочку и не сводил глаз с поплавка. Потом он начинал скучать, нервничать, и это передавалось Мансуре, и у него тоже не клеилось дело. Тогда они заводили разговоры о том, о сем, машинально забрасывая и выдергивая удочки.

— Скоро в отпуск, в деревню поеду, — говорил Вася.

— Тянет все-таки? — спрашивал Мансур.

— Там мать. Да иной раз интересно вспомнить, как бригадир утром стучит кнутовищем в раму: «Эй, Вася, езжай за дровами!» Запрягаешь лошадь, едешь за тридцать километров. Обрато рядом с возом идешь...

— Мать небось зовет?

— Ну нет! Мы ведь городские, москвичи. В сорок первом отец ушел на фронт, а мать с бабушкой эвакуировались в Мордовию. Когда бываю в Москве, то заворачиваю в свой район. Вот, думаю, где-то здесь мы жили. А сам родился в Пичпанде. И с отцом так и не виделись — ни он меня, ни я его... Нет, не зовет мать, хотя, конечно, скучает.

— А правду говорят, что поездил ты как дай бог каждому?

Вася смеялся:

— Как не дай бог!

— А меня в шестьдесят восьмом занесло вон аж куда — на станцию Пап, между Кокандом и Наманганом. Старшим кондуктором ездил. Но, честно говоря, я всегда хотел жить в Казани. Ты жену мою знаешь? Разве похожа она на бабу-ягу?..

И он, дивясь своей полной доверчивости, рассказывал о стычках с родителями, о славной своей жешушке, которую он не давал в обиду. Говорил, что Фирдоус заканчивает курсы в Казани, скоро вернется и они наверняка устроятся здесь прочно.

В седьмом часу утра они подгоняли лодку к берегу и, замкнув ее на замок, вприпуску бежали на участок, развевая дрему, разминая затекшие ноги. Вася, посмеиваясь над собою и хваля искусство Мансура, рассказывал парням о рыбалке. Он только умалчивал про те разговоры, которые они вели в надводной тишине. И Мансуре было приятно, что Вася хвалит его и что умалчивает о разговорах, как бы делая из них тайну. В эти минуты беспечного веселья, необычайной легкости, единения с ребятами вдруг словно выталкивалась грустная мыслишка: не вечна, не вечна бригада — ребята уйдут на завод, придут другие, тоже, может быть, мировые парни, но все уже будет по-другому...

В семь часов они выезжали. Перед их глазами пронеслись картины строящегося города: рабочие на строительных лесах, стрелы кранов в утренней голубой высоте, панелевозы на дорогах. Эти картины были неизменны в глазах Мансура все время, пока он жил в Челнах. Но именно они с быстротой

необыкновенной меняли город. Глядя на них, нельзя было не испытать восторга и ожидания. Ожидание сквозило в разговорах и молчании людей. Дома вдоль камского берега неуклонно подымались, как бы привставали, чтобы объять многоокоянным взглядом Каму и челнинский порт. В порту тоже шли работы: речники готовились принять будущей весной первое оборудование для завода.

Вот дома восьмого комплекса, уже заселенные. Окна их по вечерам ярки. Но днем пустоглазы, не цветут занавесками, у подъездов не видать мирно сидящих стариков и мамаш с детскими колясками. В этом тоже одна из примет города: город принаравливается, чтобы разместить множество своих граждан, и в домах восьмого комплекса по-общезитийному живут молодые рабочие автозавод-строая, жилстроевцы, шофера. Потом эти дома станут жилищем для семей.

Вот и окраинные дома остаются позади, и вокруг — высокие эстакады, несущие в даль полей тяжкие трубы, груды и горы то черного, то желтого грунта, котлованы. Но перед глазами Мансура все еще видения домов, обращенных окнами на Каму. Скоро бетонные дорожки развернутся перед подъездами, пространство между домами и рекой станет гладкой набережной. И дома приобретут милый и веселый вид семейного обиталища.

К этим домам у него особое отношение. Он то и дело ходил туда исправлять неполадки в сети, которые возникали из-за частых замыканий. А замыкания происходили из-за дождей. То есть сами по себе дожди, конечно, не делали аварии. Но обитатели домов промокшие возвращались с работы в холодные комнаты (пуск котельной задерживался) и включали самодельные электрические печки, сушили спцовки и ватники. И провода, конечно, перегорали, погружая огромный дом в темноту.

Исправив повреждение, Мансур заходил в какую-нибудь из квартир и внушал юнцам:

— Ну как вы не понимаете, что энергия рассчитана на утюги и телевизоры, а не на эти?.. — Он даже пнул однажды печку и ушиб ногу: такая она была громоздкая и тяжелая.

У него душа болела за покоробленные полы, стены в потеках. Да если бы Фирдоус оказалась в таком жилище, она бы на цыпочках ходила и обувь оставляла у порога. А после этих юнцов надо капитальный ремонт делать. Мансур и начальству своему говорил:

— Что же они делают, жилье калечат! (Так и говорил: калечат.) Надо отобрать у них печки.

А Дюмин отвечал:

— Как же они обогреются и обсушатся, если мы печки отберем? Надо усилить наружную сеть, заменить трансформаторы.

И они трудились: тянули линию в шесть киловольт и еще одну в четыре киловольта, устанавливали две трансформаторные подстанции. Автобур и кран увязали в грязи, от опоры к опоре их подтаскивали трактором. В пятом часу начало темнеть, но они продолжали работу и закончили ее только в десять.

— Ну, я поеду к Саше Мавлютову, — сказал Стрельников.

Мавлютов был контролер Энергосбыта и жил в поселке ЗЯБ. Мавлютов приехал, поглядел их работу и сказал:

— Можно включать.

Ребята из домов (они все порывались помочь электрикам, но их не пускали — не специалисты) восторженными воплями встретили эти слова.

Кажется, тогда Мансур уяснил для себя одну истину: здесь, на стройке, ни одной из сегодняшних забот не отдается предпочтение перед другими. Равнодушие к нынешним, пусть однодневным, проблемам может губительно повлиять на завтрашние дела.

Когда Мансур работал на фотожелатиновом заводе и задумывался о будущих днях, то они, будущие дни, представлялись ему очень далекими и неясными. А здесь он впервые, кажется, ощутил, как могут быть взаимосвязаны нынешний день и завтрашний. Здесь сроки были коротки, а перемены значительны. Люди не говорили о том, что будет через десять лет, говорили: в будущем году придет

оборудование, пустят литейный комплекс, через два года выпустим первый автомобиль, население города увеличится вдвое. Он с обостренной чуткостью прислушивался к разговорам ребят. Для них год казался очень вместительным: за лето можно подготовиться в техникум, за год пройти курс двух лет. Через год, а никак не позже, стройке понадобятся мозаичники и плиточники, а заводу — специалисты по оборудованию. Если хочешь работать по новой специальности, действуй — у тебя год впереди...

Заводу и городу нужны, нужны... Вот Фирдоус уехала учиться на курсы, вот его зовут на самую мощную подстанцию. Тревожно веселела, шла кругом голова.

Фирдоус приехала с курсов, поработала в новой должности и вскоре ушла в декретный отпуск.

Мансур думал о будущем дне, когда родится их малыш, и удивительным казалось то, что ему наперед известно, как поступят ребята. Соберутся в бытовке, и Вася Филиппов скажет: «Сегодня в Казани у нашего товарища родился сын. Его назвали Дамиром, как давно мечтал отец». Ребята в один голос скажут: «Дать телеграмму. А где Валера Реутский?..» Валера мастак покупать подарки, во всяком случае ребята так считают. Когда женился Ильяс Хаматдинов, он купил столовую посуду, так что не пришлось одалживаться по соседям, а Коломацким по случаю рождения малыша подарили столько одежды, что хватило бы на двойню...

В декабре Фирдоус уехала в Казань к родителям, а в январе и Мансур взял отпуск и поехал следом. Он очень волновался и хотел, чтобы родился мальчик. Мать и отец тоже волновались, но не говорили, как прежде: «Вот если бы она мальчика родила...»

Малышу было всего лишь одиннадцать дней, когда они засобирались в Челны. Это произвело переполох в обеих семьях, но они были непреклонны, жизнь диктовала, как поступить: Мансуру пора выходить на работу, дочке Эльмире тоже надо возвращаться, чтобы в дальнейшем не пропускать занятий в подготовительной группе музыкальной школы.

Прадед мальчика, пораженный тем, что малютку подымут в самолете на пятикилометровую высоту, говорил:

— Поездом, конечно, долго, зато не так высоко.

Они приехали в Челны, открыли свой домик, и Эльмира подбежала тотчас к пианино, а он донес сына до кровати и положил. И тут взгляд его упал на окно, и он увидел пеструю картину двора: детские санки на узкой между сугробами дорожке, развешанное белье, собачью конуру, желтый, как бы вскипающий в солнечном свете ворох стружек у штабеля бревен, мотки проволоки, автокран и еще одна, с крытым верхом, машина, которая только что стала у дверей бытовки. Из ее кузова выпрыгивают ребята. Среди темных ушанок нарядно маячит белая зачья шапка Васи Филиппова...

Потискивая в руках дочкин платок, смотрел он в окно, лукаво и ласково улыбаясь. Он обладал тайной, способной произвести веселую суматоху, стоило ему только выбежать к ребятам и прокричать о ней. Но он решил подождать до завтра.

Отвернувшись от окна, он оглядел свое жилище. Домик много дней пустовал, и сейчас каждое движение, жест, шепотом сказанное слово наполняли его жизнью, в нем парило чистое дыхание ребенка.

Вспоминал ли в эту минуту Мансур Кадыров свои давние расчетливые сообщения о том, что в большом городе не стоит заводить много детей?



ПУБЛИЦИСТИКА

И. БЛИЩЕНКО,
профессор

★

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

В условиях существования двух мировых систем — социализма и капитализма вопрос о правах и свободах человека стал одним из важнейших аспектов идеологической борьбы.

Будущее коммунистическое общество создается общим трудом свободных людей, которые пользуются широкими возможностями для проявления своих сил, энергии, способностей, желаний. Человек, воспитанный в условиях социализма, сознательно использует широкие права и свободы, которые ему предоставлены.

«Манифест Коммунистической партии» отметил характерную для социализма связь между свободой развития каждого гражданина и общества в целом: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоречиями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

Это теоретическое положение в странах социализма перенесено в сферу общественно-революционной практики. Достоверность научного предвидения основоположников марксизма доказывается логикой фактов, логикой развития социальной действительности.

«...по каким признакам судить нам о *реальных* «помыслах и чувствах» *реальных* личностей? — спрашивал В. И. Ленин. — Понятно, что такой признак может быть лишь один: *действия* этих личностей, — а так как речь идет только об общественных «помыслах и чувствах», то следует добавить еще: *общественные действия* личностей, т. е. *социальные факты*»¹.

История развития Советского государства достаточно определенно доказала, что «социальные факты» поддерживают социализм. Войны, нэп, индустриализация, коллективизация, восстановление хозяйства после Великой Отечественной войны, стремительный подъем экономики, образования и науки говорят о политической и идейной мощи социализма, о поддержке социализма всеми слоями населения Советского государства.

Социалистическая демократия обеспечивает трудящимся социально-политические права и свободу личности, открывает широкие возможности для участия трудящихся в управлении государственными, хозяйственными и общественными делами. Это обуславливает органическое единство целей, провозглашенных КПСС, и норм жизни, которыми руководствуется подавляющее большинство народа.

Однако свобода личности в любом государстве не может быть абсолютной. В странах социализма ограничения, налагаемые на нее, направлены против тех, кто пытается ущемлять права и интересы других людей, наносить ущерб их здоровью и чести, пытается нарушать общественный порядок и государственную безопасность.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 423—424.

Эти ограничения — в интересах подавляющего большинства граждан социалистических государств. Сегодня сторонники прогресса решительно выступают против всех и всяческих ограничений в борьбе с капитализмом, с пропагандой расизма. Они требуют ограничения свободы действий, ведущих к реставрации капитализма, расизма, фашизма и войны, ибо эта реставрация привела бы к попранию прав и свобод человека.

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала решающее влияние на превращение международного права из буржуазного, освящающего господство сильного над слабым, одной нации над другой, агрессию и войны, в право общедемократическое, выражающее интересы широких народных масс, утверждающее равенство, запрещающее агрессию.

Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции, совершенной трудящимися России для человека, во имя человека, оказал большое влияние на формирование в современном международном праве принципов и норм, которые обязывают правительства всех государств соблюдать основные права и свободы человека, содействовать его свободному развитию.

Конечно, и сегодня существуют довольно влиятельные силы реакции, грубо нарушающие общепризнанные принципы и нормы международного права: Израиль проводит политику геноцида против арабского населения на Ближнем Востоке, португальские колонизаторы ведут преступную войну против народов Анголы, Мозамбика и Гвинеи (Бисау), права и свободы человека попирают фашистский режим в Парагвае, хунта в Чили, правящая клика в Греции. Однако наличие обязательных для всех международных законов не только создает широкую базу для единства демократических сил в борьбе против империализма, за справедливость, гуманизм и законность, но и дает возможность этим силам более активно выступать против душителей свободы человека.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном докладе на XXIV съезде говорил: «Большое место в деятельности партии за отчетный период занимали дальнейшее развертывание всех форм идеологической работы, политическое воспитание масс и повышение культурного уровня народа. Великое дело — строительство коммунизма невозможно двигать вперед без всестороннего развития самого человека».

Интернациональная политика КПСС и Советского правительства не только ставит своей задачей обеспечение условий для всестороннего развития человека у нас в стране, но и содействует демократическому развитию международных отношений, оказывающих влияние на социальный прогресс и развитие личности в других странах.

Советский Союз и другие социалистические государства исходят из того, что наиболее эффективное осуществление основных прав и свобод человека возможно только в условиях мира и укрепления безопасности. Большое место в деятельности социалистических стран на международной арене занимают проблемы предотвращения агрессии, укрепления мира и безопасности народов.

Социалистические государства вносят свой вклад в деятельность ООН и других международных организаций по выработке и осуществлению универсальных конвенций о правах человека. Многие положения этих международных актов были сформулированы прямо под влиянием законодательной практики социалистических государств, создавших условия для свободного развития личности. Ряд международных актов закрепил права человека на труд, на отдых, на образование, на социальное обеспечение.

Осуществление таких, например, международно-правовых актов, как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, пакты о гражданских и политических, экономических и культурных правах человека 1966 года, создает благоприятный режим демократии, в условиях которой появляется возможность для каждого человека, для общественных организаций и партий действовать и бороться за утверждение условий, способствующих прогрессивному экономическому и социальному развитию общества.

В 1966 году Советский Союз одним из первых подписал пакты о гражданских и политических, социальных, экономических и культурных правах. В сентябре прошлого года СССР также одним из первых государств ратифицировал эти документы.

Выступая на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве, Л. И. Брежнев говорил: «Советские законы предоставляют нашим гражданам широкие политические свободы. В то же время они ограждают наш строй, интересы советского народа от чьих бы то ни было попыток злоупотребления этими свободами. И это полностью соответствует ратифицированным Советским Союзом международным пактам о правах человека, где сказано, что упомянутые в них права «не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других»...»

Принятые пакты — это программа и основа обеспечения прав человека во всех ратифицировавших эти документы странах. Но значение их для стран с различными общественными системами отнюдь не равноценно. В странах социализма положения, зафиксированные в пактах, давно уже стали нормой общественной жизни. Социалистическое общество, обеспечив широкие права и свободы человека, создав целую систему гарантий этих прав, постоянно заботится о предоставлении каждому гражданину максимальной возможности для развития личности, постоянно расширяет сферу применения прав человека. Для трудящихся стран капитала, где права и свободы личности постоянно ущемляются государственно-монополистической машиной, роль принятых международных документов особенно значительна.

Понимая это, социалистическая дипломатия выдержала суровый бой с идеологами империализма в период разработки в ООН международных пактов об экономических, социальных, культурных, гражданских и политических правах человека. Ни у кого не может вызвать сомнения, что, например, включение в оба пакта статьи о праве народов и наций на самоопределение и положение о том, что все народы могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами, явившиеся результатом инициативы СССР, Египта, Афганистана и других государств, будет способствовать созданию общей обстановки свободного осуществления прав каждого человека. Однако именно против этого положения выступили представители империалистических государств в 3-м комитете Генеральной Ассамблеи. Их аргументы сводились к тому, что право на самоопределение является коллективным правом, а пакты говорят об индивидуальных правах личности. Англия, Бельгия и Южно-Африканский Союз заявили даже, что они не присоединятся к пактам в случае включения в них статьи о праве на самоопределение. США угрожали прекратить экономическую помощь развивающимся странам. Против статьи о самоопределении голосовали США, Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Турция и другие.

Важное значение имеет статья о праве на труд, которая не только провозглашает это право, но и содержит указание, обязывающее государство проводить конкретные меры для полного его осуществления. При обсуждении статьи представители Англии и Италии внесли ряд поправок, требуя исключить это указание. И только решительное возражение советских и многих других делегатов заставило авторов поправок отказаться от них.

Важное значение имеет положение пактов, гарантирующее права профессиональных организаций. Это положение было принято большинством голосов, хотя представители Англии и Голландии и на сей раз пытались своими поправками ограничить право на свободное создание профсоюзных организаций.

Большим завоеванием сил прогресса является также принятие положения о необходимости осуществлять социальное страхование трудящихся, которое было сформулировано под влиянием советского предложения.

Западным державам не удалось исключить из пакта и другую важную статью, требующую от колониальных держав постепенного осуществления на территориях колоний принципа всеобщего обязательного и бесплатного начального образования.

Несмотря на возражения представителей империалистических государств, пакт об экономических, социальных и культурных правах зафиксировал положение о необходимости ввести всеобщее бесплатное, доступное для всех образование, о том, что образование должно способствовать борьбе с расовой ненавистью, содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между расовыми, этническими и религиозными группами.

По предложению СССР в пакт о гражданских и политических правах включено положение о том, что «никто не может быть произвольно лишен жизни». Против него выступали Англия и Голландия. Характерно, что делегация Голландии, представив перечень случаев, при которых лишение жизни человека допустимо, включило в него «меры по подавлению беспорядка или восстания». Очевидно, что за этим предложением стояли намерения империалистических кругов обеспечить себе свободу действий в усмирении трудящихся, выступающих за свои права и свободы.

Законодательства социалистических стран направлены на защиту мира, в частности советский закон о защите мира 1951 года запрещает пропаганду войны. Интернационалистские принципы равенства наций и рас, принципы уважения религиозных убеждений оказали влияние на формулирование статьи о запрещении пропаганды войны, любых выступлений, пропагандирующих расовую или религиозную ненависть, подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию.

Каждый человек имеет право придерживаться того или иного мнения по самым разным вопросам, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ — устно, письменно, или посредством печати, или иным способом по своему выбору. Провозглашая это, пакт о гражданских и политических правах вместе с тем подчеркивает, что пользование этим правом налагает особую ответственность. «Оно может быть... сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц, б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения». Очевидно, что это право может осуществляться в соответствии с внутренними законами государства, общепризнанными принципами и нормами международного права. Резолюция Генеральной Ассамблеи 59/1 от 14 декабря 1946 года провозгласила, что «свобода информации является основным правом человека и представляет собой критерий всех видов свободы, защите которых Объединенные Нации себя посвятили». То есть ООН рассматривает свободу информации в тесной связи с принципами и нормами поведения государств, зафиксированными в Уставе ООН и составляющими основу отношений между государствами. Это означает, что информация и ее распространение, особенно за пределы государственных границ, не должны допускать нарушения государственного суверенитета, государственной безопасности, принципа невмешательства во внутренние дела, клеветы, пропаганды агрессивной войны, фашистской идеологии и идеологии, основанной на расовой исключительности, не должны иметь безнравственный характер. Очевидно, что при этом исключаются диктат и давление со стороны частных газетных монополий. Естественно, каждое государство вправе принимать меры против злоупотребления свободой информации.

Как известно, в ООН обсуждается проект конвенции о свободе информации и Декларация о свободе информации. В этой связи следует отметить, что на XV сессии Генеральной Ассамблеи 3-м комитетом была принята статья 2 проекта конвенции, в которой, в частности, говорится, что информация должна быть направлена на сохранение дружественных взаимоотношений между нациями и на запрещение пропаганды войны, национальной, расовой или религиозной ненависти. Поэтому когда защитники таких станций, как «Свободная Европа», «Голос

Америки», «Голос Израиля», «Немецкая волна» или «Свобода», утверждают, что «право знать», право «свободно обмениваться информацией и идеями составляет жизненно важный элемент в нормальных отношениях между Востоком и Западом», они должны ясно себе отдавать отчет в том, что злоупотребление этим правом прямо противоречит указанным выше принципам.

Выступая на конгрессе миролюбивых сил в Москве, Л. И. Брежнев говорил: «Некоторые круги на Западе фактически хотят обойти эти принципы окольным путем, предлагая нечто вроде нового издания «холодной» или, если угодно, «психологической войны»... Одни из инициаторов этой кампании утверждают, что разрядка напряженности невозможна, если не произойдет изменений во внутренних порядках социалистических стран. Другие же вроде бы против нее не выступают, однако с поразительной откровенностью заявляют о своих намерениях использовать процесс разрядки для ослабления социалистического строя и, в конечном счете, для того, чтобы добиться его разрушения».

Факты говорят о том, что названные выше радиостанции полностью игнорируют принципы международных актов. Доказано, например, что радиостанция «Свободная Европа» прямо подстрекала венгерское население к мятежу в 1956 году. Радиостанции «Немецкая волна», «Голос Израиля», «Свобода» вмешиваются во внутренние дела ГДР или СССР, требуя изменения общественного строя, внутреннего законодательства, решения тех или иных внутренних вопросов по их рецептам.

Достаточно в качестве примера привести требование об изменении порядка выезда граждан за рубеж и въезда их из-за границы, что во всех странах является исключительной компетенцией государства, требование «либерализации» жизни в СССР, требование об «отказе» от социализма в ГДР, ложь сионистов о «преследовании» евреев в СССР, требование об «освобождении» (?) прибалтийских республик.

В докладе М. Эйзенхауэра, председателя комиссии, назначенной президентом Никсоном, в связи с расследованием вопроса о финансировании радиостанций «Свободная Европа» и «Свобода», который защищал эти радиостанции, прямо говорится, что в прошлом случались «отдельные отклонения от основных руководящих принципов политики», то есть признается, что эти радиостанции искажали объективные факты, вмешивались во внутренние дела других стран. При этом следует иметь в виду: несмотря на многочисленные заверения, радиостанции финансируются не за счет пожертвований общественности, а главным образом за счет ЦРУ или за счет таких же служб других стран. В качестве примера можно привести решение конгресса США осенью 1973 года о выделении радиостанциям «Свобода» и «Свободная Европа» более 50 миллионов долларов. Речь, таким образом, идет явно о действиях одного государства против другого методами и средствами, противоречащими нормам международного права. Скрыть факты подрывной деятельности подобных радиостанций, нарушающих элементарные нормы международного права, уже нет возможностей. Поэтому их сторонники тщатся найти новый выход для нарушения законов. Например, 28 июля 1973 года в газете «Вашингтон пост» Р. Кайзер выступает за реорганизацию радиостанций «Свободная Европа» и «Свобода» в условиях разрядки международной напряженности. Он предлагает официально закрыть эти радиостанции, а материалы (как можно догадаться, прежнего характера) передавать по другим западным станциям.

Иначе говоря, речь идет о том, что международное право будет по-прежнему нарушаться. Такое положение не может не вызвать энергичного протеста со стороны всех объективных людей. Л. И. Брежнев так охарактеризовал подобную практику: «Говорят о свободе и демократии, о правах человека, а на деле вся эта шумная кампания служит одному: прикрыть попытки вмешательства во внутренние дела социалистических государств, прикрыть империалистические цели своей политики. Толкуют о «либерализации», а имеют в виду ликвидацию реальных завоеваний социализма, подрыв социально-политических прав народов социалистических стран».

Советский Союз всегда выступал и выступает за сотрудничество в области культуры и обмена идеями, за расширение информации и контактов между людьми. Разумеется, если такое сотрудничество будет осуществляться при уважении суверенитета, законов и обычаев каждой страны и будет служить взаимному духовному обогащению народов, росту доверия между ними, утверждению идеи мира и добрососедства...

Личная неприкосновенность также провозглашена одним из прав человека. Никто не должен быть лишен свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. Пакты запрещают пытки и жестокости, бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение или наказание.

Как таковые эти положения пактов прямо направлены против практики диктаторских режимов Чили, Испании, Португалии, Гаити, Парагвая, Гватемалы, Греции, Индонезии, Бразилии, расистских режимов в ЮАР, Южной Родезии и в других странах, где патриоты подвергаются тюремному заключению без суда и следствия, пыткам и бесчеловечному обращению.

Пакты о правах и свободах человека непосредственно выражают гуманистическую основу современного международного права, они служат интересам всего прогрессивного человечества.

Особое значение международных законов об основных правах и свободах человека в условиях существования двух систем — социализма и капитализма заключается прежде всего в том, что, по существу, эти законы выражают интересы личности, ради которой ведется острая борьба сил прогресса против реакции и агрессии, за мир, против ядерной войны, за ликвидацию колониализма, за общество, в котором материальные и духовные потребности человека были бы максимально удовлетворены.

Для Советского государства провозглашенные в пактах права и свободы, по существу, уже пройденный этап. Все они зафиксированы нашим законодательством, где основной акцент делается на гарантии прав и свобод. Как мы показали выше, именно под влиянием этого законодательства включены в пакт многие статьи.

Советская Конституция обязывает Совет Министров СССР принимать необходимые меры по охране прав граждан (ст. 68, п. «в» Конституции СССР). Защиту от всяких посягательств на политические, трудовые, жилищные и другие личные и имущественные права и интересы граждан СССР, гарантированные в Конституциях СССР, союзных и автономных республик, осуществляют также суд и прокуратура.

Советский закон обязывает прокурора защищать права и законные интересы советских граждан. Прокурор опротестовывает противоречащие закону правовые акты учреждений, должностных лиц, нарушающих политические, имущественные, трудовые и другие права граждан.

Большую роль в осуществлении защиты прав советского человека играют общественные организации и объединения. Они участвуют в контроле за исполнением законов, а также в мероприятиях, обеспечивающих материальные, организационные и технические условия для беспрепятственной и полной реализации прав и свобод граждан.

Президиумом Верховного Совета СССР 12 апреля 1968 года был принят Указ о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан.

В этом документе подчеркивается, что все государственные и общественные органы должны обеспечивать необходимые условия для осуществления предоставленного и гарантированного гражданам СССР права обращаться со своими предложениями, заявлениями и жалобами в письменной и устной форме во все государственные органы и общественные организации. Указ предусматривает строгий порядок рассмотрения жалоб и принятия решений по ним в твердо установленные сроки (от семи дней до месяца), повышает личную ответственность лиц, на которых возложена обязанность рассмотрения жалоб граждан.

Должностные лица, проявляющие бюрократическое отношение к предложе-

ниям, заявлениям и жалобам, несут за это дисциплинарную ответственность. Если же этими действиями причинен существенный вред государственным и общественным интересам или правам и охраняемым законом интересам граждан, то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности.

В необходимых случаях предложения граждан и результаты их рассмотрения, решения, которые приняты по заявлениям и жалобам, имеющие общественное значение, обсуждаются на собраниях коллективов предприятий, учреждений, организаций и по месту жительства граждан.

Данный Указ Президиума Верховного Совета СССР — важная гарантия основных прав и свобод человека, свидетельство заботы КПСС и Советского правительства о беспрепятственном осуществлении всеми советскими гражданами их законных прав.

Положение об органах народного контроля в СССР, утвержденное постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 декабря 1968 года, направлено на то, чтобы сочетать контроль государства с общественным контролем трудящихся.

Органы народного контроля систематически проверяют соблюдение должностными лицами советских законов при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан, состояния этой работы во всех министерствах и ведомствах, на предприятиях, в учреждениях, иных кооперативных и общественных организациях. Они привлекают к строгой ответственности лиц, виновных в нарушении законов.

Наконец, следует еще подчеркнуть, что охране и защите прав и свобод советских граждан служит вся система организационно-правовых гарантий осуществления законности в СССР начиная от системы ограждения от преступных посягательств на советский общественный и государственный строй, кончая ответственностью за нарушение личных прав и свобод граждан.

В Отчетном докладе ЦК XXIV съезду КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Партийные организации, профсоюзы, комсомол обязаны делать все, чтобы обеспечить строжайшее соблюдение законов, улучшить правовое воспитание трудящихся. Уважение к праву, к закону должно стать личным убеждением каждого человека. Это тем более относится к деятельности должностных лиц. Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности, ущемление достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов, это — дело принципа».



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. МАРИНОВ,

генерал-майор запаса



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕТИ

О сиротели мы с братом Костей в годы гражданской войны: отец и мать умерли почти одновременно от скоротечной чахотки. Сперва мы жили у одних родственников, потом нас отвезли к другим, затем отдали в детский дом. Трудно обвинить родственников в черствости — каждый думал тогда, как прокормить семью на скудный паек, в Петрограде тех лет жилось очень трудно.

Так в январе 1924 года мы с братом очутились в большом доме на улице Чехова, кишевшем детворой. Мне было восемь лет, Косте — семь.

Таких, как мы, было много — миллионы детей, чьих родителей унес голод, скосила белогвардейская шашка или столь же беспощадный сыпняк. Бездомные, ожесточившиеся, изъеденные вшами и измученные голодом беспризорники колесили по разоренной стране, ночевали под вокзальными лавками, толкались по базарам в вечной погоне за добычей.

4 января 1919 года Владимир Ильич подписал декрет о создании Совета защиты детей, первым председателем которого стал Анатолий Васильевич Луначарский. Совнарком, как указывалось в декрете, считал «дело снабжения детей пищей, одеждой, помещением, топливом, медицинской помощью, а равно эвакуацию детей в хлебобродные губернии одной из важнейших государственных задач...».

В каждом декрете о детях звучит ленинская мысль: «Мы, взрослые, поголодаем, но последнюю щепотку муки, последний кусок сахара, последний кусочек масла мы отдадим детям».

По решению Советского правительства с августа 1918 года малолетним детям продовольственный паек увеличивался до размера «пайка взрослым». Невелик был этот паек. Порой он не превышал осьмушку хлеба. Но эта прибавка спасла жизнь миллионам малышей.

В декрете от 17 мая 1919 года говорилось:

«В целях улучшения детского питания и облегчения материального положения трудящихся, в первую очередь фабрично-заводских рабочих неземледельческих местностей, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Все предметы питания, выдаваемые местными продовольственными органами детям в возрасте до 14 лет включительно, впредь выдавать бесплатно за счет государства...

4. Право на бесплатное питание предоставить всем детям указанного выше возраста безотносительно к категории классового пайка их родителей...»

Это решение принимается в 1919 году, едва ли не самом трудном и суровом году гражданской войны. Революция этим декретом подчеркивала, что она распространяет свою заботу в равной мере на всех обездоленных детей — вне зависимости от их происхождения.

4 августа 1920 года в разгар боев с белополяками издан декрет за подписью Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. И. Калинина, который вменил в обязанность всем советским органам «дать почувствовать нашим

красным бойцам, что дружными усилиями пролетариата организуется забота об их детях. Для осуществления этой задачи... предлагается немедленно приступить к организации школ и детских домов не меньше чем по одному учреждению в каждом уезде... Открытие... должно состояться не позже 16 сентября настоящего года».

10 февраля 1921 года ВЦИК постановил: «Учредить при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Комиссию по улучшению жизни детей». Комиссия наделалась еще более широкими правами, чем действовавший до этого Совет защиты детей. Во главе комиссии партия ставит одного из самых лучших своих организаторов — Феликса Эдмундовича Дзержинского. Чтобы понять, какое грандиозное значение придавалось в те годы заботе о детях, достаточно вспомнить, что эту работу Ф. Э. Дзержинский получил в дополнение к посту председателя ВЧК.

Я вчитываюсь в поблекшие страницы газет и будто прослеживаю то, как пролетарская революция, окруженная ненавистью старого мира и вынужденная с оружием в руках отстаивать свои завоевания, сразу приняла практические меры для защиты детей — будущего страны.

6 сентября 1921 года Совет Народных Комиссаров обязал губернские исполнительные комитеты предоставить для детских учреждений «лучшие помещения в городах, населенных центрах и бывших помещичьих имениях».

Бездомных детей собирают в приемниках-распределителях, кормят, одевают, определяют в рабочие и крестьянские семьи, устраивают на работу, направляют в детские дома. Создаются все новые детские дома и детские колонии. Тысячи лучших своих работников партия и комсомол посылают туда в качестве учителей и воспитателей. Но объем работы остается по-прежнему огромным. В 1921 году еще около 4,5 миллиона беспризорных ребят скиталось по стране. И это на 136 миллионов населения Советской России.

Чтобы ликвидировать беспризорность, требовались громадные средства. II съезд Советов СССР 26 января 1924 года принял решение в дополнение к бюджетным средствам создать при ЦИК СССР «специальный фонд имени В. И. Ленина для организации помощи беспризорным детям, в особенности жертвам гражданской войны и голода...».

Такие же фонды были созданы в республиках и губерниях за счет сумм, ассигнуемых правительственными органами, а также добровольных сборов и доходов от спектаклей, концертов, лекций, лотерей. В этих же целях в 1924 году Советское правительство разрешило установить в ряде губерний специальные надбавки к налогам в пользу беспризорных детей.

В Ленинграде, например, была введена двухпроцентная надбавка к местному сбору «за позднюю торговлю»; в Москве — дополнительный налог с объявлений, помещаемых в печатных изданиях; в Крыму — «ввиду особо значительного сосредоточения беспризорных детей... и скудности средств... — десятипроцентная надбавка к местному налогу на увеселения».

Активно действовало общество «Друг детей», широкая массовая организация, насчитывавшая к октябрю 1926 года миллион членов. Общество помогало государственным органам в устройстве безнадзорных детей, собирало членские взносы и добровольные пожертвования.

В июне 1927 года страна утвердила трехлетний план борьбы с безнадзорностью. В его реализацию громадный вклад внес комсомол.

К середине тридцатых годов беспризорность была ликвидирована. Миллионы людей — целое поколение! — обязаны советской власти своей жизнью.

«Государственные дети» — так А. В. Луначарский назвал воспитанников детских домов. Я относился к их числу. Круглый сирота, я получил в детском доме путевку в жизнь. И мне захотелось рассказать нынешнему читателю о тех днях, о моих сверстниках, о наших воспитателях и педагогах. Не надеясь на память — слишком много времени прошло с той поры, — я заглянул в архивы, порылся в материалах, относящихся к нашему детскому дому (к сожалению, многие из документов погибли во время войны), и вновь предстали передо мной родные лица и дорогой город моего детства.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОГО «БУНТА»

I

Дом на улице Чехова был обычным детским домом тех лет. Мы с братом довольно быстро и безболезненно обвыкли в новой, совершенно незнакомой обстановке, притерлись к пестрой, подвижной, горластой толпе воспитанников. Я уже умел читать, и меня определили в первый класс. Жили мы, как все дети, одним днем, не задумываясь ни над прошедшим, ни над будущим. Нас не обижали, сносно кормили, выдали теплую одежду.

Беда поджидала меня на медосмотре, которому нас подвергли месяца два спустя. Брат прошел с младшими воспитанниками, я же попал в группу старших. Нас ввели в большую комнату. Здесь за столами, уставленными угрожающего вида стекляшками и трубками, сидели люди, одетые в белые халаты. Нам велели раздеться догола. Мы нерешительно переглядывались, стеснялись друг друга. Патлатый нечесаный мальчишка, сверкая белками глаз, шепотом сказал:

— Ша, братва! Не телешись. Нам хотят сделать уколы от бешенства.

Так вот почему нас сюда загнали! Мы сбились в кучку и решили не раздеваться. Появилась заведующая детдомом. Она вспыхнула:

— Вы с ума сошли, ребята! Да как можно? Без медосмотра мы вас просто не имеем права у себя держать. Врачи к ним пришли, стараются, а они? Ну, живо раздевайтесь!

— Сами раздевайтесь! — вызывающе буркнул патлатый. — Не дадимся — и весь сказ! Будете нас иголками ширять? Придумали буржуи разные. Мы здоровые.

— Ах, вы так!

Заведующая вызвала дворника, истопника и приказала им раздеть нас насильно.

Если бы она только знала, чем это кончится! Мы с визгом и воплями бросились бежать, увертываясь от преследователей и отбиваясь от них чем попало. К ужасу врачей, в ход пошли банки, мензурки с их столов. Помню, я схватил колбу с темной жидкостью и запустил ею в истопника. В колбе оказалась зеленка, и она несмываемым пятном залила его лицо и одежду. Мне удалось открыть дверь и вырваться наружу, но меня заметили как одного из самых злостных зачинщиков.

Через несколько дней вместе с патлатым парнем и еще несколькими ребятами меня повезли через весь город в какой-то дом, где выявляли дефективных детей. Много позднее я узнал, что это был институт педологии. Тут с нами совсем не церемонились: сразу же отняли всю одежду и взамен выдали длинные, до полу, рубахи и тапочки. Было холодно, и, пока человек в белом халате обмерял мои руки, ноги, я изрядно продрог. Потом он долго обмерял мою голову, что-то не по-русски диктовал другому, сидевшему за столом, тот старательно записывал. Я был зол, меня насильно привезли в этот холодный дом, разлучили с братом, с друзьями, второй день держат взаперти и к тому же все-таки заставили «растелешиться». Поэтому когда мне стали показывать картинки и попросили рассказать, что я думаю о них, я принялся упрямо твердить одно и то же: «Отвезите меня назад. Хочу к брату». В конце концов нас признали трудновоспитуемыми и отправили в детский дом для дефективных детей на Фонтанке.

Сейчас не все знают, что такое педология. Считалось, что это наука о ребенке, о его качественных возрастных особенностях, о его формировании и развитии в условиях классовой борьбы. На практике же педологи отходили от провозглашенных ими высоких принципов. В частности, многие из них на основе своих обследований легко зачисляли в «дефективные» здоровых ребят — попал в их число и я.

Долго ли продержат на Фонтанке? Увижусь ли с братом? Это мучило, и я тоскливо слонялся по длинным коридорам здания. После обеда ко мне подошли трое ребят. Старший, красивый блондин в кепке козырьком назад, затянувшись папироской, протянул ее своему толстогубому товарищу с болячками на подбородке и спросил меня:

— Новичок?

Я кивнул и хотел уйти. Блондин в кепке положил мне руку на плечо.

— По чем бегаешь?¹

¹ По чем бегаешь? — на жаргоне означает: каким родом воровства занимаешься?

Я молчал.

— Отвечай, гнида, когда спрашивают.

— По земле,— растерянно проговорил я.

Все трое расхохотались. Толстогубый с болячками на подбородке, жадно затянувшись два раза обслюнявленным окурком, передал его третьему товарищу и ловко надвинул мне шапку на самый нос.

— Да он, братва, совсем зеленый!

— Фраер!

— Мамина детка!

Меня со смехом стали толкать в бока, стукнули по затылку. Я упал. Когда поднялся, блондин в кепке козырьком назад приказал пареньку с болячками:

— Поручаю его тебе, Чесоточный. Сделай из него человека. Понял? Своего.

После этого он ушел, а Чесоточный тут же с важностью принялся за мое воспитание. Он ловко цвиркнул слюной на пол, подперся рукой в бок, строго спросил:

— Чего ты знаешь? Умеешь петь?

Я молчал, боясь опять ответить невольно.

— Язык проглотил? — повысил голос Чесоточный. — Отвечай, а то рожу растворожу, зубы на зубы помножу. Ну?

Видя, что у меня дрожит нижняя губа, а глаза повлажнели, Чесоточный смиловился.

— Ладно, сывка подзаборная. Сейчас я спою тебе красивую песню, а ты запомни. Чтоб завтра мне ее всю... как поп на клиросе. Ясно?

И он затянул хрипловатым голосом:

Петроградские трущобы.
Я на Крестовском родился,
И по трущобам долго шлялся,
И темным делом занялся.
Имел ключи, имел отмычки.
Имел я финское перо
И не боялся ни с кем стычки —
Убить, зарезать хоть кого...

Мимо прошел воспитатель, искоса глянул на моего наставника, но прервать его «урок» не решился.

Допев, Чесоточный еще раз надвинул мне шапку на нос и, весело ухмыляясь, ушел.

Опять я остался один. Вот теперь-то я, кажется, начал понимать, что такое знаменитая «дефективная Фонтанка» и чем она отличается от нормального детского дома на улице Чехова.

С утра до глубокой ночи здесь стоял неумолчный рев и гам, надрывались сотни мальчишеских глоток. В спальнях хлестко шлепали картами, расплачивались деньгами; курили открыто, щеголяли финскими ножами — на них в то время была «мода». Воспитатели, опасаясь великовозрастных детдомовцев, по коридорам и спальням ходили по двое. На улицу нас не выпускали, играть можно было только во дворе, обнесенном каменной стеной. На воротах висел огромный замок. Ночью, спустившись по водосточным трубам, десятки ребят уходили в город «на промысел» и таким же образом возвращались с наворованным.

В классах проводились уроки, однако учебными занятиями их вряд ли можно было называть. Преподавателей практически игнорировали, и многие из них с этим смирились. На задних партах, не слишком таясь, резались в очко. Господствовали здесь нравы бурсы, но только более жестокие. Особую ярость у заднекамеечной великовозрастной братвы вызывала старательность младших в выполнении домашних заданий. За это обильно раздавались затрещины, расправа здесь была быстрая и короткая. Избави бог пожаловаться — изуродуют.

Возможно, пробудь я в этом детдоме более длительное время, я бы акклиматизировался, привык, притерся, не все представлялось бы мне в столь мрачном свете. Но очень скоро я решил бежать. «Блатная романтика» не привлекала. Подождал, когда на улице стало тепло, пригрело весеннее солнце, и подался на волю.

II

Целый день я пробродил по городу, наслаждаясь ощущением свободы. Первую ночь провел где-то в парадном, а утром занялся поисками жилья. На заросшем пустыре обнаружил заброшенный шалаш. В нем и обосновался. Теперь надо было думать, где достать еду. Воровать и попрошайничать я не умел. Поэтому просто бродил по улицам, наивно надеясь найти оброненную булку или колбасу. Острый запах свежее-выпеченного хлеба привел меня к булочной. Оттуда выходили люди, унося с собой хлеб, сухки, а я все стоял у входа и даже не решался просить. Под вечер в дверях появилась здоровенная грудастая тетка и махнула мне рукой.

— Эй, шкет, иди-ка сюда!

Тетка сунула мне пакет с обрезками, посмотрела, как я с жадностью заглывал мягкий хлеб, и ушла.

Внезапно удар по уху отбросил меня от дверей, я чуть не подавился куском. Передо мной стояли два оборванца.

— Пропуск есть? — спросил рыжий, востроглазый, в рваном чиновничьем пиджаке до колен, босой.

— Кто тебе выдал тут разрешение стоять? — угрожающе прошепелявил второй. — А ну-ка!

Он вырвал у меня пакет, и беспризорники, гогоча, тут же стали поедать хлебные обрезки. Увидев, что я все еще стою, рыжий в рваном пиджаке гаркнул:

— Чего буркалы вылушил? А ну пятки на плечо — и чеши подале! Видал эту печатку? — Он показал мне грязный, заскорузлый кулак. — Вот приложу к твоему удостоверению личности — красная сопля потекет. Это наша хлеба.

Поживиться хоть кусочком не удалось и в других булочных: там вертелись или такие же беспризорники, или старые нищие, бабки в салопах. Они тоже не подпускали близко к двери.

Голод заставил меня на другой день вновь прийти к булочной, где работала грудастая тетка. Может, еще даст обрезков? Я опасливо косился по сторонам: не подстерегают ли меня вчерашние «знакомые»? На мое счастье, те двое беспризорников больше не появлялись. Лишь после я узнал, что уличные «гамены» — народ бродячий. Под вечер продавщица опять вынесла мне обрезки, и я наконец наелся. Так и стал жить...

Лето пролетело незаметно, подступили холода. Я изрядно обносился, волосы мои слиплись от грязи, ботинки развалились, и теперь я внешне ничем не отличался от беспризорников. Что дальше делать? Посоветоваться было не с кем, друзей не завел.

Развязка наступила неожиданно.

Возвращался я как-то на свой пустырь на Петроградской стороне. Ехал на трамвайной «колбасе», вдруг — свистки. Вижу, за трамваем бегут два парня. Кто-то дернул сигнальный шнур, раздался звонок, и кондуктор остановил вагон. Парни сняли меня с «колбасы», отвели в горно и сдали под расписку.

Я предстал перед комиссией. Большинство в ней были женщины, которые смотрели на меня с участием. Старшая, по виду учительница, сразу понравилась мне, и на ее вопросы я отвечал охотно и правдиво. Признался, что с Фонтанки сбежал, объяснил почему. Сказал, что на улице Чехова у меня остался младший брат. На вопрос, хочу ли учиться, ответил с жаром:

— Очень хочу.

Все улыбнулись. Спросили, знаю ли я, кто вождь мирового пролетариата.

— Ленин, только жалко, что он умер. Город теперь наш называется не по царскому имени Петербург, а Ленинград.

После краткого совещания председатель сказала, что комиссия решила вернуть меня к брату. Но «чеховский» детский дом теперь слит с другим и находится в Детском Селе. Мне дали направление, талон в помдетовскую столовку, деньги на билет, рассказали, как проехать. Кто-то из комиссии засомневался: не удеру ли? Я дал четкое слово. Все опять улыбнулись и поверили мне.

От Ленинграда до Детского Села двадцать два километра. Часа через два я уже разыскал улицу Жуковского — она находилась неподалеку от городского вокзала. У во-

рот меня остановил воспитанник с красной повязкой на рукаве, указал, куда идти. Еще издали я услышал звуки музыки. Поднялся по лестнице, приоткрыл дверь и застыл от удивления. В просторном зале чисто одетые мальчишки и девчонки размеренно двигались под музыку, разом поднимали и опускали руки, четко сходились, расходились. Все здесь для меня было необычно. Ощущение праздничности и вместе с тем теплоты, я бы сказал — какого-то домашнего уюта охватило меня. У рояля сидела женщина в белоснежной блузке, с красиво убранными волосами; время от времени она переставала играть и показывала ребятам, как они должны двигаться. Я глядел во все глаза и вдруг почувствовал, как к горлу подкатывается колючий ком, глаза защипало. «Вот ведь как бывает, живут же люди». Наконец рояль смолк. Меня обступили. Посыпались вопросы: кто, откуда? А я в ответ тихо, еле слышно:

— Что это вы делаете?

— У нас занятия по пластике.

Подошла руководительница.

— А, новичок? Ну идем.

Наталья Ивановна — так звали эту женщину — распорядилась, чтобы меня подстригли, велела помыться в душе, выдала чистую одежду.

Подшел час обеда. В столовой я наконец увидел своего братишку Костю и многих ребят, с которыми подружился еще на улице Чехова. Костя обрадовался моему появлению, но как-то не очень удивился — разлуки в детстве переносятся легко.

ЗДЕСЬ ЖИТЬ МОЖНО

I

Детский дом, в котором я теперь оказался, входил в состав 5-й Детскосельской единой трудовой школы-колонии имени А. И. Герцена. Сама школа-колония размещалась на Московской улице, а ее четыре детских дома — в других концах города.

В тенистом парке стояло два каменных двухэтажных здания: это были учебные классы нашего детдома, административные и хозяйственные помещения. Спальный корпус находился в нескольких сотнях метрах, и чтобы попасть в него, надо было перейти Октябрьский бульвар. В детдоме числились сто пятьдесят воспитанников: мальчики жили в одном корпусе, девочки — в другом. Обслуживающий персонал был немногочисленный — заведующая, четыре воспитателя, четыре педагога, завхоз, кастелянша, кухарка, уборщица и артельщик, ведавший заготовкой и выдачей на кухню продуктов.

На другой же день я пошел на уроки: младшие ребята, до четвертого класса, занимались при детдоме. В классах было холодно, ребятки ежились, на переменах согревались возней. Зимой иногда занятия переносились в спальный корпус — он отапливался лучше.

Больше всего мне нравилось то, что старшие доверяли, подчеркивали — вы здесь хозяева, все зависит от вас самих.

В детском доме было свое самоуправление — детский совет. В него входили 7—9 ребят, заведующая, ее заместитель и пионервожатый. Совет создавал учебно-бытовую, культурно-массовую, санитарно-бытовую комиссии и руководил их деятельностью, назначал дежурных по столовой, по уборке помещений. Меня почти сразу выбрали в «питательный комитет», который отвечал, пожалуй, за самый трудный по тем временам участок работы — продовольственный. В комитет входили на равных правах воспитанники и представители администрации. Мы контролировали поступление и использование продуктов, утверждали меню, следили за раздачей пищи, за тем, чтоб ребятам со слабым здоровьем давали рыбий жир.

Нормы отпуска продуктов постепенно увеличивались, но была другая беда — однообразие: то зладят пшено и мы десять — пятнадцать дней подряд едим пшеничную кашу на завтрак, суп с пшеном и кашу пшеничную на обед, а на ужин снова пшеничную кашу; то со склада поступит овсяная крупа — и тогда все готовят из овсянки.

Помню общее собрание воспитанников, на котором отчитывался наш питком. Недовольны питанием были почти все и громко заявляли об этом. И тогда выступил

представитель райкома комсомола товарищ Палепа, бывший воспитанник нашей школы-колонии, невысокий паренек в косоворотке и пиджаке, с густым пушком на щеках. Заговорил негромко и так спокойно, уверенно, что все умолкли, боясь пропустить хоть слово.

— Наша Пятая Детскосельская школа-колония,— начал он,— была создана в ноябре восемнадцатого года. При ней сперва открыли один детский дом для беспризорных, а потом уже три. Знаете, как были рады мы, сироты, что нашли кров, кусок хлеба? — Палепа, оправив кавказский ремешок, перехватывающий рубаху, продолжал: — Вот вы жалуетесь на питание, а в те годы наша дневная норма была всего триста граммов хлеба. И не такого хлеба, как сейчас, а наполовину из мякины. Кашу не варили, крупы — едва-едва хватало заправить суп. От голодухи случались обмороки. Дрова выдавались только на кухню, спальни почти не отапливались. Электростанция в городе не работала, освещались керосином: заправляли коптилки в коридорах. А одежда? Ребята так пообносились, что некоторые вынуждены были весь день проводить в постели. Почему так жилось? Империалистическая война, гражданская, разруха, неуражай — вот почему. Но мы в колонии духом не падали. Старшие ребята работали у окрестных крестьян — заработанную картошку в общий котел. Шли на лесозаготовки — и получали дрова. Не было обуви — научились плести лапти, сами латали одежду. Мало того: еще и субботники коммунистические устраивали. Марку свою воспитанники не роняли. Когда, например, члены второго конгресса Третьего Интернационала побывали в двадцатом году в нашей школе-колонии, то отметили бодрый, жизнерадостный вид детей...

Палепа оглядел притихший зал и после паузы вновь заговорил:

— Борьбу с голодом мы считали нашим вкладом в борьбу с мировой буржуазией. Надо было выстоять во что бы то ни стало. В тяжелейший для страны двадцать первый год на комсомольском собрании (у нас в ту пору было около тридцати комсомольцев) мы решили отчислить от своего скудного хлебного пайка долю голодающим детям Поволжья. Мы рассуждали так: рабочие из последнего фунта отдают нам, так неужели мы окажемся недостойными их? Последним поделимся с нашими сверстниками. Вот какие ребята были! А сейчас по сравнению с тем временем, можно сказать, вы и сыты, и одеты, и в тепле, книги у вас есть, учебники. Страна делает для вас все что может. Жизнь-то улучшается...

Палепа опять оправил ремешок на косоворотке и неожиданно сел, словно решив, что больше нечего добавить к речи. Тон собрания сразу изменился. А ночью в спальнях мы долго обсуждали слова своего старшего товарища по колонии.

II

Мы росли в трудную и прекрасную пору. По всей стране шла ломка старого, отжившего. И в этой кипучей жизни было и наше место. С самых ранних лет колонисты сознавали: мы — дети рабочего класса, мы за коммунизм во всем мире. Отсюда наша ненасытная тяга к политике, стремление знать, что происходит не только у нас в стране, но и в любом уголке земли. Это отражалось в школьных сочинениях, рисунках, стихотворениях и, как теперь говорят, в наглядной агитации, заполнявшей классы и пионерские комнаты. Мы хотели не только следить за борьбой мирового пролетариата, но и участвовать в ней.

В 1926 году мы с подъемом работали на субботниках на железнодорожной станции в пользу бастовавших рабочих Англии и очень гордились тем, что через пионерскую газету «Ленинские искры» отправили им заработанные деньги.

Среди нас не было, пожалуй, никого, кто бы не переживал за судьбу американских рабочих-революционеров Сакко и Ванцетти, почетных пионеров нашего отряда. Все детдомовцы вышли на демонстрацию протеста против их казни в августе 1927 года. Мы еще больше возненавидели мировой капитализм и с яростью жгли на городской площади чучела буржуев.

В красном уголке у нас висела огромная карта Китая с красными флажками, отмечавшими успехи революционных войск. Когда Чан Кай-ши предал дело революции, общее собрание детдомовцев заявило о своем решении: «Мы посылаем проклятие

палачам рабочих и крестьян Китая и приветствуем героев-коммунистов, продолжающих борьбу».

Весной 1928 года на пионерских сборах по всем детским домам нашей школы-колонии обсуждался вопрос о шефстве над детьми Шанхая. У нас выступал товарищ из Коммунистического интернационала молодежи, рассказывал о зверствах империалистов. Трое ребят решили бежать в Китай, чтобы там сражаться за дело революции. В их числе был и мой брат Костя. Ребята запаслись хлебом, картошкой и отправились в путь. Задержали их уже где-то за Ярославлем. Мы смотрели на них с восхищением: вот храбрцы! (Мечта Константина позднее осуществилась. Став взрослым, он воевал добровольцем с японскими захватчиками в Китае.)

Многие из нас, детдомовцев, мечтали стать комсомольцами. Несколько забегая вперед, скажу, что 1929 год стал для меня очень памятным. В том году меня приняли в комсомол. Членский билет в райкоме вручал старый большевик из местного депо. Мне навсегда врезались в память его напутственные слова:

— Растите, ребята, и радуйтесь жизни, но когда туго будет советской власти, будьте ей опорой. В кусты не прячьтесь!

Общественные дела я любил, ребята меня знали по пионерской работе и уже через год после вступления в комсомол избрали секретарем комсомольской организации школы-колонии. Да так и пошло... Учился в Ленинградском гидротехническом техникуме — был секретарем комсомольской организации, в Ленинградском юридическом институте — тоже. Потом меня избрали секретарем Ленинградского горкома комсомола, а в годы войны стал армейским комсомольским работником.

Однако вернусь к прерванному рассказу. Мы жили одной жизнью со своей страной, ее трудовыми делами, грандиозными планами. И, конечно, ее революционной героикой.

Обучение труду в нашей школе-колонии стояло на первом месте. Мы с удовольствием писали и развешивали на самых видных местах плакаты: «Кто не работает, тот не ест!» Воспринимали эти слова конкретно: не работать может только буржуй, а раз так, то и кормить его не надо. Все воспитанники — и старшие и младшие — сами убирали помещения, получали со склада продукты, помогали готовить пищу, мыли посуду, привозили дрова, пилили и кололи их, убирали улицу.

Нашей общей гордостью были школьные мастерские — столярная, сапожная, переплетная, швейная, — кабинет фотографии. Работать в них хотели многие воспитанники. Но из-за нехватки сырья производство часто приходилось останавливать. Ведь страна только налаживала хозяйство.

...Листаю протоколы наших пионерских собраний: «Без крепкой дисциплины нам прожить никак нельзя...», «Атаманам надо давать коллективный отпор...», «Девочки хотят танцевать. Но ведь танцы — буржуазный пережиток?..», «Пора прекращать драки с городскими ребятами. Они тоже пролетариат...», «Выше поднять подготовку к политбоям...», «Сделаем наши огороды и посевное поле образцовыми! Улучшим уход за коровами, свиньями...», «Каждый воспитанник должен вырастить хотя бы одного кролика...», «Рогатки в печку. Положить конец опасной стрельбе...», «Береги мебель. Сломал — почини сам...»

Сколько таких лозунгов за соблюдение норм общежития!

Несмотря на то, что жили мы, в общем-то, дружной семьей, состав воспитанников у нас был весьма пестрый. Многие раньше скитались на улице, научились не упускать, что плохо лежит, и думали: а почему бы и сейчас этим не заняться? Находились сильные, прыгучие ребята, которые старались побольше урвать себе и в городе и в самом детдоме. За ними тянулись и другие воспитанники. Короче говоря, влияние улицы проникало и в нашу школу-колонию. Например, совершенно законным считался огородный и садовый «промысел». Из года в год начиная с августа и до глубокой осени мы совершали набеги на окрестные сады, огороды, разживались яблоками, сливами, репой, брюквой, капустой. О том, что наносим людям вред, не задумывались. Удалось? Набили брюхо. Поймали? Намяли бока.

Однако жизнь заставила задуматься. Как-то вечером мы затеяли очередной «поход». Собралась орава человек в сорок. Сунулись в сад — собаки, в большой огороде — сторож с ружьем. Наконец где-то на отшибе набрали на грядки с морковью. Набрали

кто сколько мог и, довольные, направились домой. Но на полпути нас перехватили. Многие разбежались, а нас, пятерых неудачников, привели в сельсовет. Картина неприглядная: грязные с ног до головы, в руках узлы из рубаш, набитые морковью. Стоим молчим. Долго молчали и парни в городских костюмах, деревенские женщины в платках, толпившиеся в этот поздний час в сельсовете, рассматривали нас. «Сколько народу! — испугались мы. — С чего бы? Вот влипли!»

— Ваши, городские, — сказал худой бородатый крестьянин в буденовке, с костью в руке, обращаясь к парню в рабочей спецовке.

— Почему же только наши? — ответил тот. — Наверняка среди них и крестьянские ребята есть.

— Наши, крестьянские, не позволят, чтобы так вот обижать и разорять трудового человека.

— Ну что же. Давайте разберемся.

Выяснилось, что в село приехала комсомольская агитбригада с завода «Красный путиловец» — докладчик рассказал о текущем моменте, потом синемблужники показали живую газету. И вот когда народ расходился из клуба, привели нас с ворованной морковью. Тут мы с ужасом услышали, что огород, на котором мы только что «хозяйничали», принадлежит двум красноармейским вдовам. Весной сельсовет помог им обработать землю, выделил семена.

— Небось вы не сунулись на кулацкие участки — собаки и сторожа там! Покуражились на вдовьих слезах.

Парень с завода стал внушать нам:

— Пролетарии — люди справедливые и трудовых крестьян никогда не обижают, а вы всю эту классовую науку побоку... Ну не стервецы вы после этого?

Мы все ниже опускали головы.

Обычно в детдом из «походов» мы возвращались победителями, хвастались добычей, а тут вошли молча, пристыженные. В спальне было шумно, ребята смачно хрустели наворованной морковкой, всюду валялись огрызки, ботва. Нас встретили шуточками, смехом. Детдомовский атаман Степка Филин с издевкой сказал:

— Засыпались? Эх вы, тепы-растрепы! Так и надо. Знаете, как батько сына наказывал? Бил и приговаривал: «Воруй, да не попадайся». А вы распустили слюни, вас и схватили! Аники!

Филин был первый силач в детдоме, ребята боялись его. Был он рыжий, с бледно-голубыми глазами навывкате, узким ртом, большими тяжелыми кулаками, и его всегда окружали подлипалы. Во всем он был заводилой и только отставал в ученье: третий год сидел в пятом классе, вызывая улыбки даже у мелюзги. Возражать Филину никто никогда не решался. Но тут Коля Сорокин, тоже попавшийся, который считался одним из самых тихих воспитанников, негромко, но решительно сказал:

— Никогда я больше не полезу в чужие огороды.

— Крапивой насекли? — засмеялся Филин. — Да ты разве парень? Заяц трусливый.

— Ну, это ты брось, Филин! Колька прав, — заявил я. — Ни морковки чужой, ни картошки брать больше не буду. Слово даю.

И я рассказал, как нас водили в сельсовет и чей огород мы оказывается, обчистили. Шуточки над нами прекратились. Многие ребята, возможно, впервые задумались, на кого они делали налеты. Филин не мог оставить за мной последнее слово и насмешливо проговорил:

— Да ты, Косой, известный активист! Знаем. Подлизываешься к пионервожатой. Соз-на-тель-ный!

Он захохотал, и его смех подхватили подлипалы.

И вдруг нас неожиданно поддержал Алексей Аристократ.

— Ребята правильно говорят. У этих вдов-красноармейек детишки голодные. За что же отцы их сложили головы против белопогонников? Брать надо у кулаков, у нэлманов.

Этого Филин никак не ожидал. В детдоме Алексей Аристократ держался самостоятельно, ни перед кем головы не гнул, с ним все считались. По скучным рассказам Алексея мы знали, что отец у него был офицер и погиб на германском фронте еще

до революции. Мать вторично вышла замуж. Алексей не смог ужиться с отчимом и убежал из дому. За два года беспризорщины он обучился карманному воровству, «ширмы брал» ловко, артистически и никогда не попадался. Отчаянно смелый, хладнокровный. Аристократ, однако, никогда не пускал в ход кулаки, не ругался, вежливо уступал дорогу старшим и девочкам, не пил и не баловался папиросами. Однажды Филин было попробовал показать над ним свою власть, но Алексей, чуть побледнев, спокойно сказал: «Видишь вот этот графин с водой? Тронь только. Так тресну, что твоя тупая черепушка разлетится. Пускай потом судят». И Филин отступил.

Высокий и белокурый Алексей пользовался особым вниманием девочек. Ребята же ценили в нем талант рассказчика. У него была превосходная память. Он свободно пересказывал увиденные фильмы, дословно повторяя титры. Эти реплики немного кино он произносил неподражаемо, искусно перевоплощаясь в героев картины, и мы как бы заново просматривали фильмы. Эту игру-импровизацию мы могли слушать и смотреть часами.

Вслед за Аристократом нас поддержали и другие воспитанники. Где-то в душе у многих открылось новое чувство, которое потом все чаще оказывалось сильнее голода.

ВОЖАТЫЕ

I

Глубоко врезались мне в память наши вожатые. В детском доме был пионерский отряд, и, когда пришло время, вместе с другими ребятами и девочками приняли в пионеры меня. Новенький галстук мне повязала наша вожатая Роза.

— К борьбе за рабочее дело будь готов!

— Всегда готов! — ответил я с гордостью, радостно-взволнованный.

Пионервожатая Роза была веселая, совсем молодая девушка, черноглазая, с черными пышными волосами. Почему-то мне запомнилась ее красивая шея, уверенная осанка и нежная белая кожа. Решительная, подвижная, небольшого роста, в аккуратной юнгиштурмовке защитного цвета, туго перетянутой ремнем, она казалась нам ро-весницей, и мы нередко делились с ней нашими секретами.

Пионерская работа в детском доме — не только сборы, другие массовые мероприятия. Здесь живут сироты. Каждому из них нужны внимание, материнская забота, душевное тепло. Дети есть дети.

Роза могла не моргнув глазом вмешаться в драку и прекратить ее. И эта ее смелость всех покоряла. Она умела с увлечением рассказывать об истории Ленинграда, о том, какая жизнь нас ожидает впереди.

Был у нас мальчишка по кличке Клей, белобрысый, с припухшими веками, маленьким красным носом и бегаящими глазками. Уши у Клея были оттопыренные, словно созданные специально для того, чтобы подслушивать. Это и было его любимым занятием. Клей завел подлую привычку: обо всем увиденном и услышанном немедленно доносил начальству и при этом безбожно перевирал факты. Нередко это оборачивалось бедой для воспитанников, страдали невинные.

Как-то Клей донес заведующей о том, что несколько ребят будто бы стоворились бегать в день выдачи зарплаты воспитателям и собираются захватить деньги из кассы. Как говорится, береженого бог бережет — заведующая на всякий случай приказала отобрать одежду у всех, кого назвал Клей. Началось расследование. Оно ничего не дало, все убедились, что Клей нябедничал впустую. Соврал.

Терпение ребят лопнуло. Надумали устроить Клею «темную». Старшие ребята запротестовали:

— Зачем втихую? Осудить Клея надо в открытую, пускай видит, что против него все.

Решили «судить» и большинством голосов определить ему наказание.

В этот вечер, чтобы не вызвать у Клея подозрений, мы разделись и легли спать. Но глаз никто из нас не сомкнул. В полночь Клея стащили с кровати, поставили перед ребятами, привязали к спинке кровати.

— Зачем наклепал? — допрашивали Клея пострадавшие. — Знал ведь, что брешешь! Какой же ты товарищ, гнида?

По щекам Клея текли слезы, он хлюпал носом, молил о пощаде и клялся, что больше ни про кого и ничего доносить не станет.

— Сам не знаю, почему выдумываю. Вы меня не любите, и я.. вот чтобы насолить вам.

— У, гад! — кипятились ребята. — Да чего с ним колотыриться? Отволокшить так, чтобы на год язык отнялся.

Был у нас в детдоме долговязый парень Мишанька Гусек. Карманы его пиджака всегда были набиты хлебными пайками, сахаром: еду он ссужал под проценты и держал многих ребят в кабале. Если кто из старшеклассников не отдавал ему вовремя долг, Гусек бежал к Степке Филину, и тот кулаками умирал должника. Поэтому сундучок с пайками, стоявший под кроватью Мишаньки Гуська, всегда был в распоряжении атамана, и Филин мог наесться досыта.

— Давайте из парка прутьев принесем, разложим на кровати и выпорем, — предложил Гусек. — Да еще прутики в соленой воде вымочим. А? На сто годов запомнит.

— Лучше «на воздухах», как раньше в Петербурге бурсаков драли, — тотчас угожливо подхватил один из его должников.

— Нехорошо, ребята, — как всегда тихо сказал Коля Сорокин. — Всем скопом на одного. Несправедливо. Пристыдим его и покончим на этом. Поймет, человек он...

— Справедливец нашелся! — круто повернулся к нему Мишанька Гусек. — Может, тоже побежишь догрызешь завше? Гляди, как бы тебе темную не устроили. Выпороть Клея, и точка!

Я полностью был на стороне Коли Сорокина, но поднять голос тогда не хватило духу.

Ребята все еще придумывали кару для Клея, когда дверь спальни внезапно распахнулась и вошла Роза. Видимо, она дежурила по корпусу и, перед тем как вздремнуть на диване в «угловой», решила еще раз обойти комнаты.

— Это что такое? — удивленно спросила Роза. — Почему не спите? Не знаете порядка? Что у вас происходит? — Оглядевшись и увидев Клея, она потребовала: — А ну, развяжите его! Немедленно!

Мы покорно выполнили приказание. Кое-кто быстренько улегся и закрылся с головой, будто спит. Роза тут же сдернула с двух одеяла:

— Нечего притворяться!

Она потребовала объяснить, «что за спектакль здесь происходит», и, узнав все, начала нас отчитывать:

— Дикари вы, что ли? Все еще живете старыми, волчьими законами! Ну вот ты, Борис? Как мог допустить?

Борис Касаткин успел только натянуть штаны и стоял босой, лохматый, смущенно опустив голову. Это был добродушный красавец, парень богатырского сложения.

— Вы же знаете, я не детдомовский, — начал оправдываться он, переминаясь с ноги на ногу. — Я ведь проходящий, под городом живу. Уроки сегодня делал с ребятами, запозднился, они меня и оставили ночевать. Я даже не знал, что с Клеем счета будут сводить... Ну... посторонний я...

— Моя хата с краю? — насмешливо перебила его Роза. — Нет, дорогой, самосуд всегда самосуд, и всякий порядочный человек должен против него протестовать. «Посто-ро-онний!» Психология страуса. Ну, а ты, Саша? — обратилась она ко мне. — Ты-то... местный?

«Струсил», — хотелось мне сказать, но я только ниже опустил голову.

Один Коля Сорокин мог спокойно глядеть в глаза Розе, но словом не обмолвился, что был против расправы над Клеем.

— Клей — ябеда и легаш, — упрямо пробубнил Мишанька Гусек. — Учить таких полезно.

Роза резко повернулась к нему:

— Очень мало вы похожи на учителей. Вам важно отомстить, а не научить.

А ты, Михаил, прикусил бы язык. Говорят, пайки даешь под проценты? Обираешь голодных? Мы до тебя еще доберемся.

— Поклеп,— глухо буркнул Гусек и тут же улегся на постель, сделав вид, что хочет спать.

— С Клеем мы жить не хотим,— вдруг сказал Коля Сорокин.— Не хотим, и все. Вот кто всегда говорил, что думал!

— Это дело другое. Но вопрос решать будет городской отдел народного образования. О вашем мнении я завтра доложу заведующей. А сейчас спать и чтобы без глупостей. Ясно?

Все молчали.

— Даете слово?

— Даем,— выдал староста спальни.

И как будто прошла грозная туча: все почувствовали, что избежали чего-то грязного и ненужного. Вовремя нас схватили за руку. И Роза поняла: ее слова дошли, расправы не будет.

Вскоре Клея от нас забрали...

В детдоме по улице Жуковского ребята жили и учились, пока не заканчивали четвертый класс. После этого нас переводили в детдом на Московской улице, поблизости от главного здания школы-колонии. В 1928 году я тоже был переведен на Московскую. Авторитет Розы и здесь, у старших воспитанников, был высок.

II

Райком комсомола в помощь Розе прислал к нам пекаря Франца Пупина, в недавнем прошлом воспитанника детдома, хорошо знавшего нашу «житуху». Пупин был разбитной парень, выдумщик, заводила, сидеть на месте не любил. Он широко развинул наш мир — познакомил с городом, с предприятиями, с рабочей молодежью.

Франц организовал экскурсию в пекарню, где работал. Показал, как месят тесто, разделяют хлебы, крендели. В кондитерском цехе мы увидели котел, заполненный сливочным кремом. Нам подали ложки, ломти свежего, еще горячего хлеба:

— Угощайтесь.

Честное слово, я никогда больше не пробовал таких вкусных яств. Рабочие радушно потчевали нас:

— Потправляйтесь, ребята, отпускайте ремни до последней дырочки.

Потом мы узнали, что и крем и хлеб они купили на свои собранные в складчину деньги.

В Детском Селе стоял военный гарнизон. Тут был стрелковый полк, кавалерийская часть, артиллеристы. Пупин договорился с красноармейцами, и они взяли над нами шефство. Больше всего сдружились мы с пехотинцами, стали их частыми гостями. Приходили и они в детдом: на вечера, на революционные праздники, которые для многих из нас стали днем рождения.

Дело в том, что большинство детдомовских ребят были подобраны на улице. И, разумеется, редко у кого оказывались при себе документы. Медицинская комиссия определяла примерный возраст: родился в таком-то году. А как быть с днем рождения? Записывали 7 ноября или 1 мая. В этом была своя революционная символика. Вот и получалось: половина воспитанников праздновала свои дни рождения в годовщину Октября, другая половина — в Первой. Эти даты на всю жизнь фиксировались в документах ребят. Моим днем рождения стало 7 ноября.

Обычно именинники получали подарки: добавочную порцию киселя, пышку, цветной карандаш, книгу.

Общаясь с красноармейцами, детдомовцы заметно подтягивались, становились собраннее. Пупин предложил в день Красной Армии устроить отчет пионерии перед шефами. Военные к нашей затее отнеслись серьезно. Помню, один командир, принимая отчет, не ограничивался только парадной частью, а выстроил ребят и зычно скомандовал:

— Сми-и-ир-на! Па-ад-нять правую ногу!

Командир обходил строй и тем, у кого ботинки были не в порядке, коротко приказывал:

— Залатать. Почистить.

Затем нам давалось два часа на ремонт.

Так же придирчиво осматривал командир и нашу одежду. Должен сказать, что никто из ребят не обижался и все очень старательно выполняли приказы.

Конечно, и мы были частыми гостями в красноармейских казармах. Больше всего радовал сытный обед вместе с бойцами в огромной чистой столовой, разрешение пройти под оркестр вслед за красноармейским строем, посидеть или проехать на танчанке. До сих пор помню песню наших шефов:

Шестидесятый полк стрелковый,
Полк бойцов-богатырей...

Дружба с красноармейцами определила в дальнейшем судьбу многих из нас, даже судьбу нашего молодого наставника. В 1935 году Франц Иосифович Пупин окончил Вольское авиационно-техническое училище. Был участником Отечественной войны. Демобилизовался из армии в 1959 году в звании майора. А с авиацией так и не расстался — работает инженером в Киевском аэропорту.

Там я его и отыскал.

Отыскал я сорок лет спустя и Розу Ильиничну Зырянову — в том же городе Пушкине, так ныне называется Детское Село. Она окончила Педагогический институт имени Герцена, сперва работала учителем, потом директором школы, заведовала районным отделом народного образования. Сейчас на пенсии.

Подумать только, сколько воды утекло, если наша пионервожатая получает пенсию по старости!

III

Обязательно хочется рассказать еще об одном человеке, оказавшем на многих из нас большое влияние.

Однажды в спальне шла ожесточенная битва подушками и наступал тот этап ее, когда подушки сменяются более твердыми предметами. Стоял невообразимый гвалт. И вдруг, как удар парового молота, наши барабанные перепонки вдавил могучий бас:

— Пре-кратить! Даешь порядок!

В дверях, почти закрывая весь проем широченными плечами, стоял усач в галифе и гимнастерке, подпоясанный широким армейским ремнем, за который был заправлен правый рукав гимнастерки. Ребята, оторопев от неожиданности, усталились на него во все глаза. Усач звучно крикнул, и его большие уши оттопырились и стали торчком. Наступила тишина: усач цепко осмотрел нас, не торопясь провел левой рукой по лысине и непонятным образом вернул уши в обычное положение. Раздались вопли восторга, но их заглушил новый низкий рокочущий оклик усача:

— О-отставить!

И все замерли, словно воды в рот набрали.

Так мы познакомились с нашим новым завхозом Иваном Кузьмичом, вернее, просто Кузьмичом, как впоследствии его звали все. Влияния на мальчишек он оказал, пожалуй, больше, чем любой из педагогов. Кузьмич был наводчиком полевого орудия и прошел почти всю гражданскую войну. На Перекопе осколком белогвардейского снаряда ему оторвало руку. Но он, выходец из питерских мастеровых, самородок-умелец, и левой рукой умудрялся творить чудеса — ремонтировал мебель, чинил замки, примуса, мастерил разные поделки.

Нечего и говорить, что детдомовцы слушались Ивана Кузьмича с первого слова. Нам он сразу заявил:

— Я за справедливость. Карла Маркса я не читал — всего три класса походил в школу. Почему в Красную гвардию пошел? Чтобы рабоче-крестьянское население жлово во! — Он сжал левую руку в кулачище и поднял большой палец вверх. — Попы что? С живого и мертвого драчи. Фабриканты? Пили нашу трудовую кровь. Купцы? Спекулянты разные? Это уж их закон: не обманешь — не продашь. Вот я и взял винтовку, чтобы трудовой люд стал свободным.

Применял наш Кузьмич один «метод» воспитания, решительно запрещенный.

Бывало, узнает о том, что обворовали детдомовскую кладовку или огород, выявит вичовника, зажмет его между колен и своей увесистой ладонью внушает через мягкое место: воровство детдомовского добра — позор непростительный. Шлепает и приговаривает:

— Будь человеком! Будь человеком! Имей совесть. Не пакости!

В других случаях завхоз не применял силу.

Наш детдомовский огород держался исключительно на энтузиазме Кузьмича. Он находил в соседних деревнях лошадей для пахоты, учил ребят разбивать грядки, высаживать рассаду. В пору созревания овощей и ягод Иван Кузьмич брал на себя и обязанности сторожа — разбивал на огороде шалаш и жил в нем, «как на даче». Благодаря этому весь урожай оставался цел.

Когда воспитатели прорабатывали Кузьмича за рукоприкладство, он убежденно басил:

— Я завсегда... по справедливости. Я же только за воровство так учу уму-разуму... Ребята ведь не жалуются.

Это была чистая правда. Мы Кузьмича признавали своим и неизменно поддерживали его «педагогику», считая, что одной добротой с воровством не сладить.

Был у нас мальчишка Филипп, отличавшийся непомерной жадностью. Зная это, обжору Филиппа никогда не назначали дежурным по столовой или кухне, а маялся он на маловыгодных нарядах по уборке помещений. Однажды после обеда, когда в честь какого-то праздника нам раздавали по шоколадной конфете, Филипп изловчился, схватил пригоршню конфет и был таков... На вечернем построении к ужину Иван Кузьмич поставил Филиппа перед строем и произнес грозную обвинительную речь, сводившуюся к тому, что если бы подобное произошло в гражданскую войну и кто-нибудь украл чужой хлеб, то никакого снисхождения ему не было бы.

— Ты, извиняюсь, жрать хочешь, а твои товарищи нет? Ну, поскольку дело идет о конфетах, я сам тебе всыплю вот этой боевой рукой. Может, еще человеком станешь.

Мы все дружно одобрили такой приговор.

Между прочим, Кузьмич дважды производил «расправу» над детдомовскими ростовщиками. Добрался он и до Мишаньки Гуська — реквизирует оранжевый деревянный сундучок, в котором хранились пайки хлеба и сахара, и раздал эту еду ребятам. Кузьмич узнал имена некоторых «кабальных» и стал крошить им пайки хлеба прямо в суп, чтобы сами ели.

Даже грозный атаман Степка Филин не решался в дежурство Кузьмича открыто проявлять свою власть над ребятами.

— Этот калека чокнутый, — оправдывался он перед дружками, — раз меня поленом чуток не зашиб. Вызверился: «Чего сирот обижаешь?» Видали? Да я сам сирота. Говорят, Кузьмичу на фронте шашкой по башке долбанули, у него мозга и свихнулась.

Мой брат Костя благоговел перед Иваном Кузьмичом и буквально ни на шаг не отходил от него. Такое в детдомах случается. Почувствовал мальчишка что-то родное в человеке и прилип к нему всей душой. Завхоз научил моего братишку пилить, строгать, ремонтировать мебель, окна и двери, мастерить многие нужные вещи — у Кости оказались золотые руки. Старался брат характером походить на Ивана Кузьмича. Умел постоять за себя и за друга, вступая в схватки с более сильными ребятами. Не раз выручал и меня, хоть был на год моложе.

Запомнился нам всем Иван Кузьмич, а вот фамилии его так и не знаю. В то время она нас не интересовала: Кузьмич — да и ладно. Жив ли он сейчас? Сколько я ни рылся в архивах, не нашел его следов.

ЭТО БЫЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Наши учителя... На всю жизнь сохранил я в сердце чувство благодарности к этим людям, заменившим нам родных матерей и отцов. А мы подчас оказывались неблагодарными, черствыми и доставляли им столько неприятностей. Поглощенные своими забо-

тами, мы меньше всего думали об учителях, не интересовались их бедами. К тому же они никогда и ни на что не жаловались. А жили трудно...

Стояла суровая зима с крепкими морозами. Была объявлена инструкция районного отдела народного образования: при морозе 25 градусов занятий в школе не проводить. И вот как-то пришли мы на урок, а учителей нет. На другой день в школьной стенгазете появилась едкая заметка:

«Сверху установлено, что уроки отменяются при 25 градусах мороза. А у нас что получается? Вчера было 24 градуса, а педагоги не пришли. Просим вас — в следующий раз наденьте шубы и приходите в школу. Мы вас ждем».

Откуда было знать нам, что у педагогов не было шуб, не было и других теплых вещей. Все что можно они в голодные годы обменяли на хлеб.

...В классе шум, гам. Открывается дверь, входит невысокая женщина в темном костюме. Красивые волнистые волосы с сединой аккуратно зачесаны назад. Лицо строгое, движения неторопливые. Класс моментально стихает.

Это Надежда Сергеевна Сно, одна из старейших наших учительниц. В школе-колонии работала она с 1919 года. Преподавала математику. Уроки Надежды Сергеевны мы любили и ждали с нетерпением. На них решались особые задачи. С азартом класс подсчитывал, успеют ли моряки-черноморцы настигнуть белобандитов, прежде чем те скроются за кордоном? Выяснялся вопрос о том, хватит ли воды отряду Буденного, чтобы преодолеть пустыню. И конечно же, революционные моряки перехватывали белых и наша конница благополучно пересекала пески. Вместе с Надеждой Сергеевной мы дружно радовались и тому, что задачка решена, и тому, что все обошлось так здорово. Когда проходили проценты, занимались разоблачением махинаций кулаков и нэпманов.

Надежда Сергеевна любила своих учеников. Иногда после урока всех выпустит из класса, а кого-то оставит, ласково спросит:

— Ну что сегодня нос повесил, загрустил? Рассказывай, что случилось?

Тот мнется, молчит.

— Ребята обидели? Нет? — Она сердечно положит руку на плечо, заглянет в самые глаза. — Тоска напала? Родной дом вспомнил? Ну, ясно: весна. Потянуло куда-то, а куда — и сам не знаешь?

За окном класса синее, позолоченное солнцем небо, бегут по нему облака в дальние края.

— Жизнь, милый мой, сурова. Сейчас учеба тебе скучна, годы спустя, когда вырастешь, скажешь спасибо, что она раскрыла перед тобой мир, указала трудный и славный путь. Крепись. Станешь на ноги, возьмешь в руки хорошее ремесло и еще наездись по Руси. И в тайге побываешь и на море, да побываешь хозяином, а не беспризорником-побирушкой...

Мне уроки математики особенно нравились, я много занимался, задавал учительнице вопросы, и Надежда Сергеевна часто хвалила меня за старание, за любознательность. Я всей душой тянулся к ней, но выказывать свои чувства стеснялся. Учась впоследствии в техникуме и в вузе, я много раз давал себе слово встретиться с Надеждой Сергеевной, поблагодарить ее. Однако жизнь ломала эти хорошие намерения, откладывала их в долгий ящик. Впрочем, зачем валить на жизнь — сам виноват. Мы порой слишком долго собираемся обласкать дорогих нам людей, собираемся и откладываем. И почти всегда опаздываем — уходят они из жизни.

Все же одна встреча с любимой учительницей у меня состоялась.

В 1938 году я был выдвинут первым секретарем Василеостровского райкома комсомола Ленинграда. В ту пору мне пришлось разбирать много дел об исключении из комсомола. Однажды выхожу в коридор и вижу — сидит на скамейке Надежда Сергеевна. Я обрадованно схватил ее за руки.

— С просьбой пришла, Саша. — Надежда Сергеевна показала на бледного молодого человека. — Мой бывший ученик, как и ты. Попал в беду. В университете исключили из комсомола, обвиняют в несусветном — вел кружок политтрамоты на одном из предприятий и якобы агитировал за Керенского, печатал его портреты.

Долго мы тогда говорили с Надеждой Сергеевной, даже бюро райкома я попросил провести своего товарища по секретарству.

Проводив учительницу, я сразу побежал к первому секретарю Василеостровского райкома партии Алексею Андреевичу Шишмареву. Рассказал ему о студенте-«керенце», попросил совета. В те годы старый коммунист Шишмарев для меня, еще неопытного комсомольского работника, служил образцом, тоже был учителем. Алексей Андреевич отличался простотой, доступностью; надо по делу — заходи, всегда найдется время выслушать. Мнение свое он не навязывал, выспрашивал: что по этому вопросу думаешь сам? И осторожно подводил к верной мысли.

— Говоришь, нелепое обвинение? — спросил Шишмарев, когда я кончил объяснять. — Тогда отложи дела и разберись во всем сам.

Так я и поступил. Проверка показала, что студента оклеветали, возвели на него напраслину. На бюро райкома решение об исключении его из комсомола отменили. Вот единственное, что я сделал по просьбе Надежды Сергеевны, и то не для нее лично...

Литературу нам преподавала Нина Васильевна Кузнецова. Как мы слушали эту красивую интеллигентную женщину, всегда изящно, со вкусом одетую! Поражала ее сдержанность. Если кто не знал урока, грязно писал в тетрадях, Нина Васильевна никогда его не высмеивала, только посмотрит укоризненно и скажет: «Неужели тебе самому не стыдно?» Это действовало сильнее разноса, учительницу боялись огорчить. Редко повышала она голос, и все же дисциплина на ее уроках была отличная.

Невиданное дело: нас не радовал звонок об окончании урока — с таким интересом и удовольствием занимались мы с Ниной Васильевной. Многим она привила любовь к литературе, к родному языку. О себе я это могу точно сказать.

Смешно, но я любил слушать Нину Васильевну с закрытыми глазами. Читает она Пушкина — и ты видишь снежную вьюгу в степи, отважного витязя Руслана, вступившего в бой с коварным Черномором, многоязычное войско Пугачева. Мой сосед по парте толкал меня локтем в бок, а на перемене издевался: весь урок, дескать, проспал. Я клялся, что не дремал ни минуты, и до мельчайших подробностей пересказывал все, о чем шла речь на уроке.

— Вот дает Косой! Вот заливает! — восторгался сосед. — Дрыхнет, провалиться на месте. С закрытыми глазами сидит. А почему все знает — не пойму. Может, такой гипноз... или колдует?

В те времена была мода «ниспровергать столпы». В 1929 году и к нам из Ленинграда приехал докладчик, который стал рассказывать учащимся шестых и седьмых классов, что русская классическая литература не отвечала требованиям народа и не отражала его жизни. Вся она была «дворянско-помещичьей формации». Пушкин якобы писал лишь о похождениях пресыщенной верхушки дворянства, разных Онегиных и Гриневых; Лермонтов был аристократом и повествовал о народе снисходительно; Некрасов — сам из помещиков, крепостник; Лев Толстой — граф, утонченный аристократ, воспевал высший свет; Чехов — певец упадочничества. Мы должны критически относиться к наследию этих классиков. Пролетариату от их творчества пользы мало...

Вот тогда-то мы совсем с новой стороны узнали нашу тихую Нину Васильевну. Она буквально взлетела на трибуну и обрушила на докладчика град убедительнейших доводов.

— Как вы, русский человек, можете так отзываться о родной литературе? — заговорила она негромким, дрожащим от гнева голосом. — Наша «дворянская» литература, как вы изволили заявить, отличается необыкновенной правдивостью, любовью к человеку, поисками справедливости. Достаточно вспомнить «Записки охотника» Тургенева, «Бедных людей» Достоевского, «Поединок» Куприна. Ну, а Лев Толстой... мне как-то неловко об этом толковать. Неужели вам незнакома статья Ленина «Толстой, как зеркало русской революции»? Именно классики прививали нам любовь к родному краю, к своему народу, к нашей природе.

Докладчик, никак не ожидавший такого напора, пытался спорить, огрызаться, но в конце концов ушел посрамленный. Мы получили наглядный урок того, как надо бороться за свои убеждения, за правду, за истинную поэзию и красоту.

Я уже упоминал о Коле Сорокине. Это был не только правдивый мальчик, не

боящийся высказывать то, что он думал, но и удивительно способный. Был Коля рыжий, веснушчатый, некрасивый и очень застенчивый. В драки он не лез, если его задрали — старался уйти. Поэтому ребята, недолго раздумывая, отнесли его к числу трусоватых.

Начиная с пятого класса мы в школе стали изучать иностранный язык. Но предмет этот мало кому давался, большинство с трудом умело «жевать» текст, спотыкаясь на каждой фразе. А Коля — он был из семьи петербургских интеллигентов — свободно разговаривал по-французски, читал и сразу же переводил вслух. Перегонял он нас и по всем остальным предметам.

Успехи Коли в науках вызывали зависть у «камчадалов-двоечников», его всячески старались обидеть, называли выскочкой, зубрилой, задавакой.

Терпение Коли еще больше озлобляло «камчадалов». Как-то ночью ему вставили бумажки между пальцами ноги и подожгли. Парнишку пришлось положить в больницу. Коля знал своих обидчиков, однако не вылаал их. Такое поведение глубоко ценилось среди нашего брата, но туповатые, упрямые и мелочные завистники продолжали его травить.

Однажды произошел случай, опрокинувший все наши суждения о Коле.

Детдомовский ростовщик Мишанька Гусек обиделся на Нину Васильевну, которая пристыдила его перед всем классом за полное нежелание заниматься. После урока, когда учительница вышла и закрыла за собой дверь, Гусек зло сказал, глядя ей вслед:

— Ну, погоди, зануда, устрою я тебе фокус.

Коля Сорокин вспыхнул.

— Только посмей! — крикнул он.

— Тебя, что ли, испугаемся, зубрилу? Придумаем с ребятами такое, что твоя мадама всю свою важность потеряет.

В нашей школе-колонии были случаи, когда учительскую табуретку мазали клеем, вставляли в нее иголку. Правда, случаи эти были редки, но о них все знали.

— Ах ты осел! Тупица! Ну так получай же!

Коля вдруг преобразился. Он подскочил к Гуську, развернулся, двинул его в челюсть. Гусек свалился с ног. Он до того растерялся от неожиданного нападения, что, поднимаясь, стал заискивающе бормотать: «Да ты чего? Ты чего?» — но вновь получил в зубы. Ко всеобщему удивлению, Гусек пустился бежать, лишь издали обернулся и погрозил Коле кулаком:

— Ну обожди, гад! Все патлы тебе выдерем и рыло набок свернем!

— За дружками побежал, — догадался кто-то из ребят. — Гляди, еще Филина приведет.

— Станет Филин связываться!

Мишанька Гусек вернулся в сопровождении двух таких же недорослей, как и сам, но детдомовского атамана с ним не было. На ходу Гусек злобно содел маленьким красным носом и засучивал рукава рубашки.

— Не бойся, Николай, — неожиданно поддержал Сорокина Борис Касаткин. — Вдвоем мы запросто прогив них выстоим. А Степку Филина позовут — тоже спину не покажем.

В школе нашей Борис Касаткин считался одним из первых силачей. Все знали, что он увлекается французской борьбой, боксом. Добрый и благодушный Борис не лез в драки, а так как был «приходящим», то и с Филином не сталкивался. Сам же атаман к Борису никогда не цеплялся.

Бориса Касаткина поддержали другие ребята. Всем очень понравилось, что тихий Коля Сорокин заступился за Нину Васильевну.

Гуську и его «телохранителям» пришлось ретироваться.

С этого дня Колю Сорокина перестали травить, и у него в детдоме началась нормальная жизнь. Не осмелились «камчадалы» устроить пакость и учительнице литературы...

Пению нас учил Андрей Николаевич Архангельский. Холеное лицо его всегда было гладко выбрито, напомаженные волосы тщательно уложены. Обычно в школу

он приходил в черном строгом сюртуке с длинными фалдами, в крахмальной манишке с черным галстуком-бабочкой. В анкетах о себе писал: «Сын потомственного почетного гражданина и свободный художник по хоровому пению». Была у него одна слабость — как черт ладана, боялся политики. Это сказывалось на подборе песен, которые он с нами разучивал. Преобладала у него классика, а заикнемся мы о песнях революционных — «Смело, товарищи, в ногу...», «Вы жертвою пали..», «Мы кузнецы», — Андрей Николаевич ссылается на то, что у него нет под руками нот. Из-за этого комсомольцы частенько конфликтовали с ним.

Надо сказать, что поначалу мы вообще ископа поглядывали на Андрея Николаевича: он окончил синодальное училище. Некоторым из нас казалось, что песни, которые мы разучивали на его уроках, исполняются Андреем Николаевичем на церковный лад. В 1930 году этот вопрос даже всплыл на заседании комсомольского бюро. Один из выступающих, считавшийся у нас знатоком политики, заявил:

— Тут нам Андрей Николаевич все «голос ставит». Я так считаю, что ему самому надо «поставить голос»... а то он не с того голоса поет и нас заставляет. Прямо скажу: учитель музыки тянет назад, в проклятое прошлое. Все ему дэвай хоралы да разные оратории, всяких там буржуазных Бахов пропагандирует. У него, между прочим, и фамилия-то такая: Архангельский. От архангела. Мы должны объявить ему бойкот и поломать это дело.

Секретарем комитета комсомола был я. В музыке я разбирался слабо, но чувствовал, что рубить сплеча здесь нельзя. Вдруг Андрей Николаевич окажется так же прав, как оказалась права Нина Васильевна в споре о русской литературе? Я настоял на том, чтобы мы посоветовались со старшими товарищами.

В райкоме комсомола нашу делегацию выслушали внимательно и отрядили члена бюро проверить сигнал. Неделю спустя этот парень собрал детдомовских комсомольцев и объяснил, что претензии к Архангельскому совершенно необоснованны. Музыка, с которой он нас знакомит, совсем не церковная, ее авторов высоко ценят все специалисты.

Постепенно ребята, не имевшие слуха, не интересовавшиеся пением, отсеялись, остались те, кто хотел состоять в хоре. Мы убедились сами, что Андрей Николаевич музыке отдается всем сердцем, старается, чтобы и мы научились чувствовать и понимать ее. На уроках он был строг, придирался к каждой ноте. То и дело одергивал:

— Не кричать, а петь надо!

Архангельский не терпел блатных песен и старался отучить нас от привязанности к этому «жанру».

— Прекрасное люди понимают не сразу, — говорил он. — Всегда в глаза бросается то, что криливо раскрашено, лежит сверху. Не все могут оценить Мусоргского, Чайковского, Бородина, перлы народной музыки, а вот крикливые панельные песенки вроде «Мурки», «С одесского кичмана» вы, к сожалению, подхватываете. А ведь это мусор. Суррогат. Вот вырастете и поймете, что я был прав...

Оглядываясь на прошлое, я пытаюсь понять, в чем же был секрет влияния педагогов на нас, детдомовцев.

Казалось бы, два мира. Мы, детдомовцы, — дети пролетарского государства, а они — люди, представлявшие в нашем тогдашнем понимании мир прошлого, сметенный революцией.

Мы были обозлены лишениями, в нас укоренились многие пороки улицы. А они отогревали нас теплом своего сердца. Они верили в то, что каждый из нас станет человеком, и вопреки всем трудностям приобщали нас к знаниям.

ДЕЛО С ЧАЙНОЙ ЛОЖКОЙ

Воровство всегда воровство и добру не учит. Кишевшие на рынке уголовники заигрывали с детдомовцами, стремились приблизить к себе, вовлечь в свои шайки. Бывало, «лихой урка» закатывался вечером в детдом с вином и обильной закуской, угощал детвору, вкрадчиво говорил: идите к нам, ребята, голодать не дадим, всегда рады поделиться тем, что имеем. Неустойчивые сбегали из детдома к новым друж-

кам, захватив с собой наши пальто, одеяла и шапки. Многие воспитанники по их милости оставались раздетыми.

Таким неустойчивым оказался и детдомовский атаман Степка Филин.

В те годы в детдомах было много переростков. Заводы, фабрики только-только начинали восстанавливаться, в стране свирепствовала безработица, и таких ребят трудно было устроить на производство. Захватив власть над детдомовцами, девятнадцатилетний Филин развернулся «на всю губу». Ребята делали ему массаж, убрали постель, чистили ботинки. Правда, Степку ввиду малограмотности ни в какие комиссии не выбирали, и это сильно задевало его самолюбие. Все же как старший он иногда дежурил по кухне, по столовой, ездил с ручной тачкой получать хлеб и при этом всегда воровал пайки, буханки. Но этого казалось ему мало. Филин старался стащить что-нибудь в кладовой, уносил постельное белье и продавал на рынке. Никто из нас не смел ему ничего сказать из боязни быть избитым, «легавить» же заведующей, дежурному воспитателю было не в правилах детдомовцев.

Наконец Филин попался в краже целой бочки вяленой рыбы, которая была основным продуктом нашего питания в ту весну. И хоть он нагло отпирался, улики были налицо. Мы устроили общее собрание. Первым комитетчики поручили выступить мне.

— До каких пор мы будем терпеть разных атаманов? — говорил я. — Они... они позор для нашей школы-колонии. Как, например, мы могли терпеть Филина? Кто не знает об его издевательствах над слабыми? И как он учится? Третий год в пятом классе сидит. И наконец, воровство рыбы. Теперь мы все должны сидеть голодными. А ведь Филин не первый раз попадается. Мы должны покончить раз и навсегда с такими «главарями»!

Меня поддержали воспитанники. Конечно, дело было не в моем красноречии, а в том, что чаша терпения детдомовцев переполнилась, и они дружно восстали против ненавистного атамана. Степка Филин навсегда исчез с нашего горизонта, но уходя через друзей пригрозил мне:

— Передайте Косому, что он меня еще попомнит. Отплачу с гаком.

Когда мне передали эти слова, я лишь отмахнулся. Не думал, что Филин все-таки соберет над моей головой тучу.

За месяц до общего собрания, о котором шла речь, в нашем городе была обворована квартира крупного нэпмана Фионова. Мы об этой истории знали во всех подробностях потому, что сын Фионова Васька учился в нашей школе. Детдомовцы относились к Ваське как к «чуждому элементу», не раз поколачивали и заставляли делиться приносимым в ранце завтраком — бутербродами с колбасой и пирожками. Васька рассказал, что у них воры украли несколько костюмов, отрез бархата, столовое серебро.

— Но если они станут продавать на толчке ложки, — говорил Васька, — то засыплются: на них инициалы.

— И никаких-никаких следов не нашли? — восхищенно расспрашивали мы. — Ловко сработали!

Надо сказать, что нэпману у нас никто не посочувствовал: так ему и надо, буржую пузатому.

В эти дни Степку Филина раза два видели пьяным, он раскатывал по городу на извозчике.

Прошло еще два месяца после общего собрания, о краже у Фионова мы стали забывать. В разгаре было теплое и дождливое лето с белыми ночами, когда к нам в детдом неожиданно нагрянула милиция — «легавые», как мы их называли, подражая блатным. К нам эти «гости» наведывались и раньше, в те дни, когда в детдоме бывали кражи.

— Может, кладовку обворовали? — высказали мы предположение. — Или белье стянули у кастелянши?

Оказалось ни то и ни другое. Милиция сделала у нас в спальнях обыск. В тумбочках и под матрацами нашли пустой кошелек нэпмана, кожаный портсигар, старинные карманные часы и серебряную столовую ложку с выгравированными ини-

циалами «Ф. Ф.», что, как потом выяснилось, означало инициалы владельца — Федор Фионов.

В кабинет к заведующей школой вызвали Колю Сорокина и меня, так как именно у нас и были обнаружены ворованные вещи. Заведующая Мария Васильевна Легсдайн долго бурвила пристальным взглядом:

— Признавайтесь, где остальное.

— Что остальное? — переспросил Коля Сорокин.

— Предупреждаю, — ледяным тоном продолжала Легсдайн. — Чистосердечное признание смягчит вашу вину. Товарищам из уголовного розыска все известно, — кивнула она на двух мужчин в штатском, которые внимательно рассматривали меня и Колю Сорокина.

Неожиданно Коля рассмеялся. Он обвел всех веселыми блестящими глазами, смело шагнул к столу, взял часики, покрытые голубой эмалью, как бы про себя проговорил:

— А неплохо бы такие иметь.

С любопытством завел головку, поднес к уху, и его лицо выразило неподдельное разочарование, даже брезгливость:

— Да они же сломанные! Вон и секундной стрелки нет.

Он положил часики на стол и совершенно спокойно вернулся на свое место. Я, наоборот, все больше наливался бурачной краснотой и чувствовал, что у меня дрожит левая коленка. Мне самому было противно, но унять дрожь я не мог.

Один из сотрудников угрозыска быстро прикрыл рукой рот: мне показалось, что он улыбнулся.

— Ну, хватит душить нам головы, — вновь заговорила Легсдайн, и мы с Колей почувствовали неуверенность в ее все еще грозном голосе. — Знаете вы, чьи это вещи? Нэпмана Фионова. Вот инициалы: «Ф. Ф.».

— Я думал, нэпманы богаче, — сказал Коля Сорокин. — Чего же они поломанные часы держат? Уж если бы я тряхнул Фионова, то, во всяком случае, их не взял бы.

— Это поклеп, — заявил и я, краснея еще больше. — Когда была кража, Мария Васильевна? Чуть не три месяца назад. Неужели мы с Колей такие глупые, что стали бы держать эти вещи у себя? Да еще почти открыто, в тумбочке.

— Как же они у вас очутились?

— Подложили, — решительно сказал Коля.

Задав еще с десяток перекрестных вопросов, «следователи» нас отпустили — сказали, что дело не закончено и они соберут дополнительные факты.

Следствие запуталось уже на следующий день. Когда Ваське Фионову показали краденые вещи, он тут же признал серебряную ложку, а от остальных наотрез отказался: «Это не наши». Вскоре я и совсем оправдался «по чистой». Роза вспомнила, что весной в день кражи в квартире Фионовых я вместе с двумя членами редколлегии до четырех утра писал и разрисовывал нашу стенгазету, а вожатая в эту ночь как раз дежурила и была с нами.

Обвинение рухнуло, сразу всем стало ясно, что нас оклеветали. Но кто же все-таки это сделал? Кому понадобилось прятаться за наши спины? Или кто держал на Колю и меня зуб? Мы терялись в догадках. Неужели дело так и канет в небытие и не выяснится, чья это черная рука подбросила нам ворованное?

— Знаешь, Сашок, давай поспрошаем Аристократа, — предложил Борис Касаткин. — Он в блатном мире не чужой человек и, может, знает побольше нас.

Алексей Аристократ встретил нас многозначительной улыбкой. Разговор происходил в закуске двора возле уборной — в детдомовской курилке. Алексей отказался от папироски, предложенной Борисом, выслушал его не перебивая.

— Насколько я понимаю, джентльмены, вы обратились ко мне, чтобы я распутал известное нам всем загадочное дело? Но я не Шерлок Холмс и мы не в Скотланд-Ярде. Увы, я принадлежу совсем к другой категории людей и сам не в ладах с законом.

— Хватит, Лешка, трепаться, — благодушно перебил Борис Касаткин. — Выкладывай: знаешь что-нибудь?

— Вы хотите превратить меня в изменника своей корпорации?

— По глазам вижу: что-то знаешь.

Аристократ усмехнулся, осмотрелся. Его взгляд, быстрый, пронизывающий, брошенный искоса, был тревожен.

— Надеюсь, джентльмены, конспирация полная? Ведь я действительно как бы легавлю. Но уж очень противны мне эти гады. Вы правы.— Он сунул руку в карман, вынул сжатый кулак и показал нам.— Вот здесь ключ от этой истории.

Мы дружно уставились на его кулак.

Он разжал руку, показал нам пустую ладонь и засмеялся.

Ростом, пожалуй, Борис и Алексей не уступали друг другу, но черноволосый Касаткин был шире в плечах, поплотнее, а белокурый Аристократ стройнее, гибче.

— Того, кто подложил вам краденые вещи — а они действительно все краденые, только у разных людей,— так вот этого гада выдала фамильная ложка Васьки Фионова.

— Как? — вырвалось и у меня и у Бориса одновременно.

— Жадность погубила.

— Да кто же он?

— Ну, хватит тянуть, Лешка!

— Мишанька Гусек.— Еще раз оглядевшись по сторонам, Аристократ продолжал: — Вы помните, конечно, как Кузьмич реквизирует у Гуська сундучок с шамовкой? Гусек после этого стал искать себе «сейф» понадежней. Вижу — раз шастает на чердак, еще раз. Эге, думаю, что-то тут есть. И вот когда он обедал со своей сменой в столовой, я забрался на чердак и все там обшарил. Так и есть. В углу под старыми досками и разным хламом Гусек устроил тайник. Деньжонки у него там были прихорыврены, безделушки. Пайки хлеба, сахар держит в ящичке, чтобы крысы не полакомились. Ну, посмеялся я и ушел.

Аристократ презрительно сплюнул.

— И это все? — разочарованно спросил Борис.— А ложка?

— Подожди, не торопись. Когда началась вся эта липа, я подумал: а не играет ли здесь роли чердак? Слазил, глядь, а в заховырке у него уже лежит... что бы вы думали? Именно серебряная ложка с фионовскими вензелями. Видно, кто-то дал Гуську подбросить ребятам две ложки, ну, а он одну прикарманил, да на этом и засыпался. Ясно?

Борис радостно присвистнул:

— Здорово ты это провернул, Лешка! Голова! Так айда на чердак. Прихлопнем сейф!

Меня то дрожь пробирала, то пот. Так вот кто меня хотел утопить! Действительно гад. Ростовщик вшивый! Не будь я секретарем комсомольской организации, набил бы ему морду. А может, все-таки дать раза два?

— Идемте! — Мне поскорей хотелось увидеть все собственными глазами.

Аристократ не двинулся с места.

— Я, джентльмены, был более высокого мнения о ваших сыщицких способностях,— сказал он.— Вот идти-то на чердак нам как раз и нельзя.

— Почему?

— Да вы что-нибудь соображаете? — изумился Аристократ.— Ты же, Косой, обвинен как вор этих самых ложек. Скажут: специально подложил Гуську, чтобы запутать след. Нет, ребята. Поставьте кого следует в известность, устройте у тайника засаду и накройте Гуська с поличным. Я же умываю руки и выхожу из дела, меня не упоминайте — уговор дороже денег. Все понятно?

Да, у Аристократа голова работала хорошо.

Поймали Гуська на следующий день вечером. Он так растерялся, когда был неожиданно схвачен за руки, что только жмурил свои узкие желтые глазки перед навешенным в лицо фонарем и вжимал голову в плечи. Отпираться Гусек не стал, да это было и бесполезно.

— Откуда взял серебряные ложки? — сурово спросила заведующая Легсдайн.

Гусек по-прежнему ежился, желтые глазки его бегали по сторонам.

— Не хочешь отвечать?

— Да что с ним нянчиться! — брезгливо сказала Роза.— В уголовном розыске

заговорит. Кто бы мог подумать, что такой ничтожный малый способен ограбить квартиру?

— Это не я,— торопливо проговорил Гусек.— Не я, ей-богу. Клянусь. Я ни-ни. Я не грабительствовал.

— Кто же?

Гусек опять замолчал. Видно, у него были веские причины скрывать имя того, кто ему дал серебряные вещи. И лишь после того как ему еще раз напомнили об угрозыске, Гусек еле слышно выдавил из себя:

— Это меня Филин подучил. Он передал ложки... чтобы я подсунул.

Все стало ясно.

Судить Мишаньку Гуська не стали, но в уголовном розыске он все-таки побывал и протокол там составили. От нас Гуська забрали: говорили — его отправили в исправительную детскую колонию.

О Филине мы никаких сведений больше не имели. Он исчез из Детского Села.

История с Филином, с серебряными ложками получила широкую огласку. До многих детдомовцев тогда дошло, что нельзя терпеть воровства.

Райком комсомола прислал к нам на Московскую для разъяснительной работы молодого работника милиции, и тот много рассказывал ребятам о борьбе с преступностью. Не забыли нас и шефы — красноармейцы. К нам приходил командир. На общем собрании он выступил коротко, но убедительно:

— Мы эту сволочь — воров и бандитов — в гражданскую войну рубали так же, как беляков. Чего греха таить, и среди наших бойцов случались такие, которые по дурусти без спросу брали у крестьян продукты. Мы их не прощали, отдавали под суд. Как ни жалко, а бывало, ставили к стенке. Потому что вор — это наш классовый враг, он несет горе трудовому народу.

Собрание приняло решение, смысл которого можно было свести к словам: «Рубать воров, и точка!» В детдоме случаи воровства постепенно сошли на нет, меньше жалоб стало поступать и от горожан.

И только Алексей Аристократ никак не поддавался. На все наши требования — кончай воровать! — он хладнокровно отвечал:

— С удовольствием, джентльмены, если вы обеспечите справедливость на этой грешной земле, если я смогу ходить в кино каждый день. А также прошу запомнить, что меня лично не удовлетворяет детдомовская баланда.

Ни разъяснительная работа райкомовцев, шефов, ни устрашения милиции на него не действовали. Детдомовское добро Алексей никогда не трогал, но продолжал очищать карманы горожан. Он говорил, что законно экспроприрует у нэпманов и их жен часть нетрудовых доходов. То ли Аристократ был очень ловок, то ли очень осторожен, но ему на редкость везло и он никогда не попадался. А может быть, это объяснялось тем, что «облегчать ширмы» он ходил сравнительно редко. Вино Алексей не пил, папиросы не покупал, потому денег ему нужно было немного.

Честно говоря, мне Алексей нравился. Как сейчас понимаю, потому нравился, что видел в нем рыцарские, так сказать, робингудовские черты. Кое в чем я ему завидовал. Например, в умении рассказывать. Хоть и я слыл в детдоме неплохим рассказчиком, однако Алексей намного лучше «рассказывал в лицах». Да к тому же он был просто хорошим и добрым парнем, принимать против Алексея какие-то особые меры у нас не поднималась рука.

В том же 1929 году Аристократ внезапно исчез из детдома. Возможно, все-таки попал в тюрьму, но на допросе не захотел сообщить адрес. Увиделись мы с ним через десять лет. Работал я тогда секретарем Ленинградского городского комитета комсомола. Размещался горком в Смольном. И вот однажды в моем кабинете раздался телефонный звонок.

— Слушай, друг,— услышал я мужской голос,— тебе ничего не говорит кличка Аристократ?

— Алексей, это ты? — обрадовался я.— Приезжай скорее.

— Нет, в твое высокое учреждение я не покажусь. Давай назначим свидание в другом месте.

Мы встретились.

Хоть Алексей и сильно переменялся за эти десять лет, я узнал его сразу: те же белокурые волосы, та же быстрота, легкость движений. Только взгляд более суровый и тревожный. Одет вполне прилично, выбрит. Его длинные красивые пальцы слегка дрожали: волновался.

— Где ты сейчас, Леша? Что делаешь? — спросил я, крепко пожимая его руку.

— История длинная, — усмехнулся Аристократ. — Ну да дело не во мне. Я к тебе по другому поводу.

И он поделился своим горем: мать тяжело больна, а он ничем не может ей помочь, так как по-прежнему, мягко говоря, «занимается нетрудовой деятельностью». Впервые я увидел слезы в его глазах.

Вор? Но он же человек, мой бывший однокашник, когда-то помог мне в деле с ложками. Да и не за себя просит.

Вместе с Алексеем мы поехали в горздравотдел. Там быстро решили вопрос. Большой была сделана срочная операция, опасность миновала.

Я посоветовал Алексею переменить образ жизни, бросить свою «профессию», предложил устроить на завод, а там и в техникум. Похоже было, что он соглашался, хотя твердо ничего не обещал. Сказал лишь, что хочет поселиться с матерью. Мне не терпелось заняться его судьбой.

— Подожди, — ответил он, — скоро позвоню тебе.

Я предложил ему денег. Алексей отказался: парень был гордый. Прощаясь, я сунул ему свою книжечку на бесплатное посещение кинотеатра:

— Это в наш молодежный «Крам».

Он засмеялся, но пропуск взял.

— Ладно, когда увидимся, расскажу тебе, какие фильмы видел.

Однако телефонных звонков от Алексея больше не последовало.

Следующая наша встреча — последняя — произошла еще через пять лет, в январе 1944 года. Наши части наступали на Гатчину. По единственной лесной дороге шли танки, весь остальной транспорт стоял и ждал в лесочке. Где-то за облаками гудела немецкая «рама», далеко, с вражеских позиций, доносились редкие глухие орудийные выстрелы. Мы с подполковником Бучуриным, помощником начальника политуправления Ленинградского фронта по комсомольской работе, вышли из машины. И тут на обочине я внезапно столкнулся с Алексеем Аристократом. Солдатская шинель сидела на нем ладно, через шею висел автомат, шагал он легко, уверенно — сразу видно бывалого бойца. Что я отметил — это взгляд Алексея. Глаза его из-под ушанки смотрели прямо, открыто, не косили тревожно по сторонам, как в дни далекой юности. Так мог смотреть лишь человек, совесть которого была совершенно чиста. Мы обнялись. Алексей весело улыбался.

— Служу, как видишь. С самого начала войны.

— И награды есть?

— Спрашиваешь! — подмигнул он. — Чай, все-таки не зря получил детдомовскую закалку. А ты, гляжу, майор?

— Как видишь. Рассказал бы, Леша, как «дошел до жизни такой»?

— Непременно. Теперь уж конец войны виден, встретимся после победы, на одном ведь фронте...

И вдруг оглушительный взрыв.

Когда я очнулся, то увидел над собой встревоженное лицо Ивана Бучурина. Я с трудом повернул голову. Рядом со мной лежал Алексей. Оказывается, проходивший танк зацепил замаскированную мину и она взорвалась. Алексей погиб.

Смотрел я на мертвого друга, и было обидно до слез: нашел наконец парень верную дорогу в жизни — и вот тебе! Как это назвать?

Похоронили мы Алексея здесь же, у обочины дороги...

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ИСКУССТВУ

В нашей школе-колонии имела солидная библиотека — тысячи томов. Правда, большинство книг были старые и к нам перешли по наследству от коммерческого училища. Новой литературой библиотека пополнялась медленно — мало отпускалось

средств, чтобы ускорить дело, мы отчисляли на приобретение книг часть денег, заработанных в мастерских. Дарили нам книги и шефы.

Что мы читали? Все, что попадалось под руку. Увлекались сказками Пушкина, баснями Крылова, романами Жюль Верна. Зачитывались дешевенькими затрепанными выпусками в мягкой обложке, на которой изображался мрачный убийца в маске, его жертва с кинжалом в груди, залитая красной литографской кровью. Это были серийные книжечки про Ната Пинкертона и короля американских сыщиков Ника Картера. Но, конечно, мы больше всего любили книжки о героях гражданской войны.

Были два писателя, творчество которых оказалось нам особенно близким. Это Алексей Николаевич Толстой и Вячеслав Яковлевич Шишков. Оба они жили в Детском Селе, устраивали у себя на дому литературные вечера, на которых читали свои произведения. На этих вечерах бывали наши преподаватели и рассказывали нам о них.

Помнится, мы запоем прочитали роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», с жаром обсудили его. Персонажей книжки мы воспринимали как реальных людей, люто ненавидели миллионера Роллинга, не могли простить предательства инженеру Гарину, восхищались смелостью большевика Шельги. Радовала нас концовка романа — рабочие восстали и захватили гиперболоид.

С интересом прочли мы и «Гадюку». Жалели героиню Ольгу Вячеславовну, всюю костили изпманов.

Все мы «становились в очередь» на повесть Вячеслава Шишкова «Пейтус-озеро». Хотя, сказать по совести, она нас разочаровала. Действие происходит в 1919 году под Петроградом, и мы надеялись узнать из книги о боях против Юденича, о подвигах красных бойцов. Но писатель ничего про это не рассказал. Как же так?

А вот «Странники» нас увлекли. Детдомовцам были близки и понятны судьбы его героев — и Фильки, осиротевшего в одну неделю (его отец и мать умерли от тифа), и Амельки, потерявшего отца в схватке с контрреволюционной бандой. Писатель очень детально изобразил быт и нравы беспризорщины. Книга вызвала многочисленные разговоры.

Оба писателя были нашими соседями, мы часто их видели в городе, на прогулке — грузного, представительного Алексея Толстого в шляпе, с длинными, чуть не до плеч волосами, опирающегося на толстую палку, и высокого, статного Шишкова с зоркими, словно бы смеющимися глазами, с усами и бородкой клинышком. Писателей, конечно, знало все Детское Село, многие с ними здоровались на улице, и они всегда вежливо отвечали.

Вячеслав Яковлевич снимал квартиру на втором этаже неподалеку от нашего дома. Частенько мы видели, как он наблюдает из окон за проказами детдомовской дворовой. Педагоги урезонивали нас: не шумите так, мешааете писателю, ведь у него работа творческая, сложная, ему надо сосредоточиться. До окон писательской квартиры иногда долетал не только шум, но и неудачно пущенный мяч. Звенело стекло... Но Вячеслав Яковлевич в отличие от других соседей никогда на наших ребят не жаловался. Зато нам крепко доставалось за него от заведующей школой-колонией Марии Васильевны Легсдайн, женщины строгой, решительной и волевой. Мы все ее побаивались.

Мария Васильевна — коммунистка с 1919 года, была депутатом Петроградского Совета трех созывов, имела большой педагогический опыт. (После войны я встретилась с ее старшим сыном Михаилом Александровичем, и он мне рассказал о трагедии их семьи. Дочь Марии Васильевны Елизавета была расстреляна фашистами в Нальчике, младший сын Георгий, коммунист, погиб в боях под Лугой. Сам Михаил Александрович тоже ушел на фронт, под Вязьмой был ранен. Узнав об этом, тяжело больная Мария Васильевна, несмотря на чрезвычайные трудности с транспортом, тотчас же поехала к нему, но не добралась — умерла в пути.)

— Неужели нет у вас другого места для игр — все лезете под окно к Шишкову? — отчитывала нас заведующая. — Да вы знаете, как люди ценят писателя? Как берегут его время? Да какие люди — умнейшие в городе! Или вы хотите, чтобы вас считали дикарями? Пользуетесь тем, что Вячеслав Яковлевич деликатный человек, не жалуется...

Играть нам действительно было где. В нашем распоряжении находился парк с бывшими царскими дворцами, с прудами, в которых, правда, лебедей уже давно не было. Летом мы здесь проводили все свободное время. Мы еще не понимали истинной ценности великолепных фонтанов, редких по красоте скульптур, украшавших тенистые аллеи. Лишь значительно позже я узнал, что царские дворцы, Екатерининский и Александровский, строили лучшие архитекторы России — Растрелли, Кваренги, Фельген, Стасов. А тогда... Порой в беломраморную статую попадал камень, а на ее постаменте появлялись совсем неподходящие надписи.

Как-то летом мы затеяли в Екатерининском парке военную игру. «Белые», предводительствуемые Борисом Касаткиным, отступая от «красных», укрылись за величественным мраморным обелиском. В них полетели самодельные деревянные гранаты, нарезанные нами из жердей. С обеих сторон неслись громкие боевые крики.

В разгар сражения нас окликнули. Мы увидели Толстого и Шишкова. С «белым генералом» Борисом Касаткиным мы подбежали к ним. Оба писателя были явно рассержены. Мясистое лицо Толстого побагровело.

— Варвары! Гунны! — зычно восклицал он, тыча в нашем направлении толстой полированной палкой. Круто повернулся к Шишкову: — Слушай, что с ними делать? — Лучше всего отсечь головы. Но, может, попробуем просветить?

Он подошел к скамье и сел.

— А ну, командиры, зовите свое войско.

Приблизились ребята не без страха: не загуляет ли палка Толстого по нашим спинам? Он покручивал ею, все еще гневно на нас поглядывая, что-то бормотал. Шишков стал рассказывать, что обелиск, который мы с такой яростью бомбили своими «гранатами», называется Морейским, воздвигнут он в честь победы, одержанной русскими войсками в 1770 году на полуострове Морея.

— А вы его дубасите деревяшками, портите, — сердито вмешался в беседу Алексей Николаевич. — Разве можно так относиться к памятникам, символизирующим славу русского оружия? О гунны, родства не ведающие! Или вам не дорога наша история? Небось некоторые из вас сами мечтают поступить на флот? Хорошо хоть Чесменской колонне повезло — построили ее на середине пруда, вам туда не добраться... Вы же, наверно, знаете, что здесь в лицее учился Пушкин, — продолжал Толстой. — Вон там памятник ему работы Баха. Так вот Александр Сергеевич писал об этих местах:

Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой...

Борис Касаткин помнил это стихотворение, подхватил его и докончил. Алексей Николаевич приподнял брови, усмехнулся:

— А гунны-то не чужды цивилизации.

Его продолговатое породистое лицо смягчилось. Он заговорил, обращаясь к Шишкову:

— Со мной какой еще случай был. Броджу с месяц тому по парку, вижу у памятника молодому Пушкину скопление людей. Что, думаю, такое? Подошел. Парнишка вот такого же возраста, — кивнул он на Бориса, — жарит наизусть... «Песнь о вещем Олеге», потом — «Анчар», «Зимняя дорога». И представь, весьма недурно. Да! Толпа слушает. Кончил читать, двое мальцов с кепочками пошли по кругу — «на покупку книг». Кидали им хорошо. Я тоже на полтину расщедрился. — Толстой засмеялся и повернулся к нам: — Признавайтесь-ка! Ваш малец?

— Игорь! — невольно вырвалось у меня.

Наслушавшись экскурсоводов, некоторые из наших наиболее сметливых ребят сами начинали «обслуживать» приезжих. Занимались этим в основном семиклассники, которые уже по школьной программе «проходили» Пушкина, бывали в музеях Детского Села, и первое место среди них несомненно занимал Игорь. «Работал» он с двумя помощниками помоложе. Они зазывали слушателей, объявляя Игоря воспитанником «лицея-колонии города, где когда-то учился великий русский поэт». Игорь знал множество стихов и по просьбе публики читал, часто выходя за пределы своей стандарт-

ной программы. Парнишка искренне любил поэзию и был любимым учеником нашей Нины Васильевны, которая, впрочем, не догадывалась о его коммерческой деятельности. Да, я думаю, что декламаторские выступления для Игоря были чем-то большим, нежели просто средством для пополнения кармана. В детдоме Игоря прозвали Пушкин. Читал стихи Пушкина и нам — мне тоже тогда казалось, что необыкновенно хорошо. Перед сном в полутемной спальном комнате звонкие рифмы особенно западали в душу.

— Значит, ваш? — переспросил Алексей Николаевич. — Игорь, говорите? Похвально, похвально. Что же касается мзды, то гонорарий — это травка, которую и Пегас не гнушается. Не так ли, дорогой Вячеслав Яковлевич?

И оба писателя рассмеялись.

Разговор наш перекинулся на другие темы. Писатели расспрашивали, как мы живем, что читаем, кем хотим стать.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Наступило лето 1931 года. Я и некоторые мои сверстники успешно заканчивали седьмой класс. В те годы далеко не все детдомовцы добивались до таких высот. Многие уже после пятого или шестого класса уходили на заводы, в колхозы, в школы фабрично-заводского ученичества. Между прочим, ребята ставили работу на заводе куда выше, чем, например, учебу в техникуме.

Разумеется, основная причина такой тяги была в романтике героического труда. В годы первой пятилетки ребята с большой охотой шли на такие прославленные заводы близкого нам Ленинграда, как «Электросила», «Большевик», «Красный треугольник», «Судоверфь», «Знамя труда», а девочки — на фабрику имени Мюнценберга, «Красный ткач».

Мы, человек тридцать из ста пятидесяти однододков, все-таки закончили седьмой класс и собирались учиться в техникумах.

— Хорошо, — согласилась наша заведующая Мария Васильевна Легсдайн. — Только уж все надо делать как следует. Верно? Чтобы не было ошибок. Поэтому мы сперва выявим ваши скрытые способности и определим профиль, где каждому из вас продолжать учебу.

Сказать по совести, мы немножко удивились. Мы же все сказали заведующей, кто какой «профиль» техникума себе избрал. Чего же тут еще выявлять? Я, например, мечтал стать гидротехником, проектировать и строить гидростанции. Неужели наука шагнула так далеко, что лучше нас знает, чего мы хотим? Это было немного любопытно, и мы все согласились. Впрочем, спорить с властной заведующей было просто бесполезно: уж если она что задумала, то ничьих доводов не слушала и настаивала на своем.

Вскоре в школу приехала комиссия. Снова мы оказались в руках педологов. Раздали нам картинки, листки с задачами и вопросами. Через три дня нас собрали и объявили: у всех установлены особые способности к птицеводству, а поэтому всех без исключения зачислят в птицеводческий техникум.

Меня это решение ошеломило: мечтал выучиться на настоящего техника, стать «водяным богом», а тут — птицеводство! Тогда, разумеется, ни я, ни мои товарищи не знали, что комиссия заранее получила установку. Наша энергичнейшая Мария Васильевна в это время была назначена по совместительству директором птицеводческого техникума. Естественно, она хотела быстрее заполнить вакансии. Между прочим, опасения заведующей были напрасными. Многие ребята с удовольствием пошли учиться в птицеводческий техникум, так как детский дом и школа привили нам уважение к работе крестьянина, дали хорошие навыки в сельском труде. И большая заслуга в этом принадлежала Сергею Дмитриевичу Умникову — учителю основ сельского хозяйства. Он увлеченно вел преподавание, энергично руководил работой детдомовцев в поле и на ферме. Ко всему прочему, мы очень гордились, что наш молодой учитель в годы гражданской войны добровольцем воевал с белыми. (В 1971 году мне удалось найти Сергея Дмитриевича. Всю жизнь он посвятил любимому делу: преподавал в техникуме и инсти-

туте, защитил кандидатскую диссертацию. В Великую Отечественную войну снова надел солдатскую шинель и защищал родной Ленинград.)

Но я не собирался в птицеводы. Как быть, что делать? Прибегнуть к испытанному уже спасению — сбежать? Времена, однако, настали другие. Я был комсомольцем, значит, не мог никуда уйти, не снявшись с учета.

Ребята, тоже не пожелавшие стать птицеводами, пришли ко мне. Ломали, ломали голову и ничего лучшего не придумали, как потихоньку утащить из канцелярии уже приготовленные для нас справки об окончании семилетки и подать заявления в избранные техникумы. Так и поступили. Тайком сдали и вступительные экзамены.

Мария Васильевна Легсдайн ни о чем не догадывалась. Время шло. Но вот нас уже зачислили на учебу. Тогда мы пошли в райком комсомола и покаялись в грехах. Нас крепко поругали за то, что выкрали справки, но сняли с комсомольского учета.

И пошли мы в большую жизнь...

Семь лет детского дома навсегда сохранятся в моей памяти. Несмотря на все превратности судьбы, это было счастливое время. И обязаны мы этим Советской стране. Миллионы ее граждан заботились о нас, «государственных» детях. И поэтому слова «родина-мать» мы, бывшие детдомовцы, воспринимаем и в переносном и в прямом смысле.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. КОНДРАТОВИЧ



О ПРОЗЕ ТВАРДОВСКОГО

Не раз уже бывало в истории литературы, когда проза больших поэтов долгое время оставалась в тени их поэзии. Чего-либо ненормального в этом нельзя усмотреть: крупный поэт покоряет сердца людей прежде всего своими стихами и поэмами и потому закрепляется в их сознании преимущественно, а порой и исключительно как поэт. Да, собственно, и поэтическое творчество в таких случаях обычно оказывается неизмеримо выше и значительнее иного. Так что говорить о какой-либо несправедливости не приходится.

Пушкинскую прозу более чем прохладно встретили ее первые читатели. Сам Белинский увидел в «Повестях Белкина» всего лишь внешнюю занимательность — «фламандской школы пестрый сор». А спустя сорок лет после их появления Лев Толстой напишет: «Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал это последнее время, после вас — повести Белкина, в 7-й раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное действие».

Как видим, история знает и такое. Со временем, конечно, все встает на свои места. Но в том-то и дело, что со временем. А пока оно не подошло, и отличной прозе суждено иногда оставаться заслоненной поэтическими вершинами.

Да и проза некоторых живущих поэтов, успешно выступающих в прозаических жанрах, не пользуется особым вниманием критики, она как бы «сосуществует» на вторых ролях со стихами и поэмами в качестве некоего приложения к ним.

И может быть, всего удивительнее, что

до сих пор в глубокой тени находится проза Александра Трифоновича Твардовского.

Недавно вышла интересная и во многом полезная книга И. Трофимова «Писатели Смоленщины» («Московский рабочий», 1973). Есть в этой книге сравнительно большая статья о Твардовском с широкой цитацией из стихов и поэм. О прозе поэта в статье — ни слова, лишь в библиографии дважды упомянута его прозаическая книга «Родина и чужбина». К сожалению, это очень характерно по отношению к прозе Твардовского: о ней существует лишь несколько рецензий, кое-где мимоходные абзацы или коротенькие подглавки в монографиях. Среди нескольких десятков диссертаций, защищенных по творчеству Твардовского, нет ни одной о его прозе, и это, пожалуй, показательнее всего: даже диссертанты не проявили интереса к такой никем не исследованной теме.

Объяснение этому, конечно, нетрудно найти, и оно будет все тем же: у Твардовского есть вершинные вещи, такие, как «Страна Муравия», «Василий Теркин», «За далью — даль». Они у всех на виду и на слуху. Даже поэма «Дом у дороги», которая одна бы могла составить славу поэту, и та стоит обычно где-то на втором плане. Сам Твардовский с некоторым удивлением и недоумением не раз называл ее в разговорах падчерицей. Что тогда, казалось бы, говорить о его прозе!

Но говорить надо. Дело в том, что, помимо причин и оценок, объективно связанных с творчеством самого Твардовского, были вещи, которые объективными никак не назовешь. А они, во-первых, надолго

задержали продвижение прозы поэта к читателю и, во-вторых, определенным образом воздействовали и на отношение к ней. Я имею в виду ту «встречу», которую устроила наша критика «Родине и чужбине». Не успели появиться эти «Страницы записной книжки» в №№ 11—12 журнала «Знамя» за 1947 год, как тут же, 20 декабря, в «Литературной газете» была напечатана статья В. Ермилова «Фальшивая проза», а вслед за ней в «Комсомольской правде» рецензия под заголовком «„Малый мир“ А. Твардовского». Были и другие столь же недоброжелательные, сколь и несправедливые отклики. В результате отдельное издание «Родины и чужбины» вышло в свет через двенадцать лет — в 1959 году! Сам Твардовский говорил: «Проза моя долгое время пребывала в нетях».

Но эта проза такого отношения не заслуживает. Если в 1957 году, когда возникали слова огорчения и робкой надежды: «Следует с сожалением отметить, что критики, писавшие о недостатках очерков Твардовского, не сказали тех справедливых, теплых слов, которые заслужили лучшие из них» — и тогда за одно это можно было сказать спасибо, то теперь о некоторых рассказах Твардовского, таких, скажем, как «Печники» или «Костя», пишут — «прозаический шедевр», «один из лучших советских рассказов» и т. п. Смена оценок и отношения к прозе Твардовского произошла тихо и незаметно. Ничего другого, в общем-то, и не нужно желать. Остается лишь внимательно и без предубеждения посмотреть, какую ценность для нашей литературы эта проза представляет.

Твардовский писал прозу, в сущности говоря, всю свою жизнь. Практически всю, ибо, кроме прозаических вещей, которые (одни больше, другие меньше) известны советскому читателю, он еще в продолжение многих лет лелеял замысел, по всей видимости, большого романа под условным названием «Пан». Кое-что было написано: отдельные куски из этого произведения, задуманного на автобиографическом материале, он читал товарищам. «Пан» занимал Твардовского долго: пожалуй, счет тут должен идти не на года, а на десятилетия. Были и другие замыслы, связанные с прозой, о которых он, при всей своей скупости на такого рода признания, иногда говорил. Был вообще постоянный и непреходящий интерес к прозе.

Вспоминая о Твардовском, Адриан Макадонов, знавший Александра Трифоновича с 1928 года, когда оба они были юношами, пишет: «И если уж искать какие-то его литературные источники, то были ими не только и не столько стихи, сколько художественная и документальная проза — от Толстого и Чехова до газетных сельских корреспонденций и дневниковых записей — наблюдений самого Твардовского. Недаром же полушутя он говорил мне уже в нашем последнем разговоре в 1970 году: «Я в сущности — прозаик»...»

Конечно, в этой не только шуточной, но и серьезной самохарактеристике есть еще и тот смысл, что Твардовский в саму поэзию смело вводил прозу жизни, деревенский и фронтовой быт, разговорный язык. Потому прежде всего он и называл себя, поэта, прозаиком. Но помимо такого переносного смысла, без всякого сомнения, был и прямой: Твардовский и в самом деле постоянно тянулся к прозе и во многом преуспел в ней. Было бы пустым занятием сравнивать сейчас его поэмы и стихи с его прозой и, сравнивая, равнять их. Как бы высоко ни оценивать ту же «Родину и чужбину», для миллионов читателей Твардовский навсегда останется в первую очередь создателем бессмертного «Теркина» и других поэм, автором таких поистине равновеликих лучшим образцам русской поэзии шедевров, как «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери» или шестистрочного чуда «Я знаю, никакой моей вины...». Но зная это, отдадим должное и Твардовскому-прозаику. Его проза — тоже явление в нашей литературе.

Если внимательно присмотреться к творческой биографии Твардовского, то можно заметить, что в отдельные периоды Твардовский-прозаик опережал Твардовского-поэта. В прозе как бы готовилась почва для поэтических побед и порой определялось направление, по которому шла дальше поэзия.

Характерен в этом отношении ранний период творчества Твардовского, до «Страны Муравии». Первым опубликованным юношеским стихам сопутствуют первые заметки и очерки в смоленских газетах и журналах. Между поэмами «Путь к социализму» (1931) и «Вступление» (1933) была напечатана проза — «Дневник председателя колхоза» (1932). Исследователи обычно быстро минуя этот период, он для них всего лишь пора юношеских иска-

ний и поисков своего пути, не отмеченная какими-либо особыми успехами. Да оно вроде бы и верно: ранние поэмы Твардовского были изданы однажды и поэт никогда больше не возвращался к ним. Слабо так слабо. А поскольку сам Твардовский заявил как-то, что «счет своим писаниям» он ведет от «Страны Муравии», то все, что было до этой поэмы, считалось ученическим и незрелым, представляющим лишь специальный интерес. Даже такой читатель Твардовского, как А. Макаров, и тот писал в свое время о его ранних произведениях: «Эти ученические, незрелые вещи ныне представляют интерес только с точки зрения эволюции творчества поэта».

Но думается, что дело обстоит несколько иначе. «Дневник председателя колхоза» никак нельзя ставить на одну доску с ранними поэмами. Твардовский и сам отдавал предпочтение «Дневнику»: он включил его уже в первое собрание сочинений (1959—1960). Автору этих строк довелось работать с Твардовским в разные годы, в том числе и в те, когда готовились первое и второе собрания сочинений (1966—1971), и слышать от него иное, чем у критиков, суждение о «Дневнике» и вообще о ранней своей прозе.

— Перечитывал свои очерки в смоленской газете «Рабочий путь», — сказал он однажды, — и не без удовольствия обнаружил, что некоторые из них можно поместить в собрание. Странное было у меня впечатление: будто неожиданно открыл для себя молодого, знающего цену слову и деталям очеркиста. И даже по содержанию, оказывается, есть там предвосхищение того, о чем заговорили много лет спустя, уже после войны, значит, были ухвачены типичные и многолетние трудности и противоречия.

В другой раз он с веселым недоумением отозвался о «Дневнике председателя колхоза»:

— Читал свой «Дневник председателя» и, знаете, на отдельных страницах даже дивился и зоркости, и приметливости, и свободе, легкости в изображении частных, деталей, лиц и кое-чего другого...

Это были удивительные признания, и прежде всего потому, что Твардовский почти никогда не давал оценок своим произведениям, разве лишь в тех случаях, когда стоило, по его мнению, сказать о каких-то недоделках и упущениях. Больше того, он

вообще не любил говорить о своих вещах и обычно уклонялся от таких разговоров, а тут говорил сам, не понуждаемый вопросами. Сказалась, видимо, дальность лет, позволившая свободно, без стеснения судить о себе уже как бы со стороны, как бы уже не о себе, а о другом авторе. Правда, и здесь он оговаривался:

— Конечно, там много несовершенного — и лобовая тенденциозность, хотя и она от чистого сердца, и некая обязательность смыкания концов в духе указаний того времени, и наивная композиция, и явная неспособность справиться с наблюдениями, материалом, отчего эти наблюдения, частности иногда существуют порознь. Сами по себе они интересны, и может быть, очень интересны, но не объединяются в целое произведение и рассыпаются, вытекают как скользкое льняное семя из горсти. Очевидная неопытность!

Но эта оговорка свидетельствует лишь об объективности суждения о себе и никак не снимает в целом положительной оценки прозы. Примечательно, что, рассматривая свою «Смоленщину-довоенщину», как он обычно называл свое довоенное творчество, Твардовский судил стихи и поэмы гораздо строже, подолгу колебался, включать то или иное стихотворение в собрание или нет, и в результате включил очень немногое.

— Когда-нибудь, может быть после моей смерти, — говорил он, — и можно будет дать в качестве приложения к первому тому мои юношеские произведения, начиная с первого напечатанного стихотворения «Новая изба» и до поэм «Путь к социализму» и «Вступление». Ну, а мне самому этого делать не стоит.

Что касается «Дневника председателя колхоза» и нескольких довоенных очерков, то, судя по всему, они были включены без особых колебаний.

При чтении «Дневника» нельзя не обратить внимания на две его особенности: «населенность», многогеройность и доверительность, искренность, лирический тон повествования. Эти особенности как бы вытекают из самого жанра дневника и характера, должности главного героя. Председатель недавно организованного лысковского колхоза приехал в деревню по партийной мобилизации, и, естественно, все ему в Лыскове внове, и прежде всего колхозники, с которыми он знакомится,

узнает их, да и они узнают его. Поэтому с первых страниц появляются люди самых разных характеров и возрастов, привычек и склонностей. Здесь и хитроватый, себе на уме, все еще присматривающийся, получится ли толк из колхоза, Андрей Кузьмич; и забитый батрацкой нуждой Гришечка, который так и не нашёл к тридцати годам полного взрослого имени; и брат Андрея Кузьмича Тарас Кузьмич, истовый деревенский труженик, удивляющий председателя своим привычным упорным трудолюбием: надо было напоить скот, так вручную вытащил и перетаскал сто сорок ведер; подозрительно скользкий, весь на недомолках и намеках счетовод Ерофеев, в нем не сразу угадывается притаившийся, сменивший личину противник, пожалуй, единственный... Потом в «Дневник» войдут женщины, и каждая тоже будет «на свое лицо»: бабка Фрося, взявшаяся починить пятнадцать мешков своими нитками («И ни одна женщина после этого не взяла на себя меньше, и крику насчет ниток не было»); беднячка Марфа Кравченкова, научившаяся «понимать время» по часам только в организованном на период сельскохозяйственных работ детском садике; Саша Цыганова, по инициативе которой на каждый хомут завели ярлык с номером и тем ликвидировали обезличку («Тогда это было таким достижением, что о нем писали в газетах»).

Людей много, знакомства происходят на ходу, в деле, с утра до ночи председатель на людях, видит их, присматривается к ним, оценивает их возможности, узнает их настроения — и все это заносится в «Дневник», и оттого «Дневник» становится многоголосым, людным, как поле в дни жаркой дружной страды. Не всех мы различаем в этом многолюдье, иные лица, мелькнув, исчезают, не закрепившись в нашей памяти, но есть и голоса, явственно отличимые, характеры, точно и резко очерченные, заставляющие вспомнить вереницу поэтических образов, появившихся потом в сборниках «Дорога», «Сельская хроника» и «Загорье». Конечно, этим прозаическим и во многом эскизным персонажам «Дневника» еще далеко до яркой выразительности «Ивушка» и «Филипка», цикла «Про деда Данилу» и ряда других стихотворных «новелл», как определила наша критика эти стихи (лучше бы сказать «рассказов» или «баллад»: Твардовский не любил слово «новелла», считая этот термин неоргани-

чным, чужеродным для русской литературы). Но народные характеры уже там намечаются, проглядываются.

Можно увидеть связь между героем, автором дневника, и председателем колхоза Фроловым в «Стране Муравии». Разумеется, эта связь не прямая и было бы неверно выводить один образ из другого. Да и внешне, чисто биографически между ними нет никакого сходства: Фролов — коренной крестьянин, такой же мужик, как и Моргунок, только прошедший трудную школу классовой борьбы («Шесть ран принес с гражданской я, шесть дырок, друг родной. Когда б силенка не моя, — хватило бы одной»). Председатель из «Дневника» — человек городской, из разряда Давыдовых, присланный для помощи деревне. Но одно и то же предназначение роднит их: и тот и другой — люди высокой, беззаветной верности долгу, и если один говорит о себе: «По всем законам — инвалид, не плут бы мне — костыль...» — но забывает о костыле, когда начались острые события в деревне, то и другой может спокойно и веско сказать: «Мало ли чего нельзя «по-настоящему». Мне вот «по-настоящему» нельзя жить нигде, как только в Крыму...» Сказать и тут же постесняться этих слов: да разве о себе речь, когда у председателя одна забота — о людях.

Примечательно, что это единственный случай, когда автор дневника говорит о себе. В остальном — только о других людях, только о делах. И между тем это самый настоящий дневник, совсем не ради формы снабженный точными датами: 3 марта 1931 года начата первая тетрадь, 8 июня того же года сделана последняя запись во второй тетради. Между начальной и последней датами — три с небольшим месяца, за которые и в психологии лысковцев и в жизни самого председателя многое изменилось. Первые дневниковые записи кончаются лаконичными заметками: «Д л я п а м я т и: нагоняй конюху» или «Д л я п а м я т и: бабке — платок». Это чтобы не забыть ни конюха, ни бабку, ни что следует сделать в связи с замечанным. Но скоро и конюх и бабка обретут для председателя имена, станут Жуковским и бабушкой Фросей. И председатель станет для них своим, с ним можно и посоветоваться и поговорить обо всем как со старым деревенским соседом и толковым хозяином. В конце дневника уже вполне естественно зазвучат дружеско-любно-лирические записи: «Мы шли из

бани по садовой стежке, гуськом. Я шел впереди. Мы не говорили, но все улыбались, думая о боге, о новом скотном дворе, о дожде, который можно пустить когда потребуется, — вообще о будущем. И, оглянувшись, я увидел, что идущий далеко позади Мирон тоже улыбается, чтобы не отстать от компании...

Когда молчание становится взаимно понятным, не требующим лишних слов, значит, уже наступило то лихое единодушие и единомыслие, какому можно только позавидовать. Пожалуй, в «Дневнике» этот итог достигается слишком быстро, и тут как раз самое время вспомнить слова Твардовского об «обязательности смыкания концов», или, как он еще говорил, «скруглении того, что в жизни не так просто и скоро скругляется». Но этот очевидный недостаток «Дневника» отчасти компенсируется точностью многочисленных деталей, реалистичностью словно списанных с натуры сцен, меткостью гибкой и выразительной народной речи. «Зерно шевелится в дырках завязанных мешков», — заносит в дневник председатель, и уже можно по одной этой детали увидеть неблагополучие в хозяйстве: дырявые мешки, а в них придется возить зерно на поле под будущий урожай, неизбежны потери, надо что-то делать... Так завязывается один из сюжетных узловков, который свяжет потом эту сцену у амбара с производственным совещанием, на котором бабка Фрося возьмется починить мешки своими нитками. «Как же это так? Будешь работать день, а написано будет полдня», — спрашивает на этом совещании колхозники, «отнесенные к легкой группе», то есть назначенные на нетрудную работу. И мы сразу чувствуем атмосферу времени: самая заря коллективизации, колхозники еще никак не могут понять, что такое полтрудодня («Люди, всю жизнь умевшие считать «до ста», теперь должны разбираться в дробях», — заметит председатель, кстати говоря, сам просящий учителя научить его считать на счетах). А когда мы читаем в дневнике: «Овес пророс и выпил всю воду на блюдечке», то мы видим, что председателю, городскому человеку, совсем не чужд и крестьянский, поэтический в своей точности язык.

Но это уже, конечно, сам Твардовский. Удивителен такт, чувство меры, с которым он уже тогда использует народную речь, нигде не соблазняясь ни модной в те годы, особенно у крестьянских писателей, стили-

зацией, ни еще более расхожими местными словечками, диалектизмами, обильно оснащавшими деревенскую прозу. Ни одно из литературных поветрий не коснулось молодого Твардовского. О его самостоятельности и независимости от каких-либо влияний уже писалось не раз, но главным образом о независимости поэтической. В прозе она еще очевиднее. В пору увлечений то короткой рубленой телеграфной строкой, то, напротив, тягучей вязью словесных орнаментов и стилизованных украшательств проза Твардовского остается верной ясности, точности, дельности. Но эта проза отнюдь не аскетична и не суха: в ней отчетливо звучит чистая и выятная лирическая интонация.

«На склоне — огороды со сбегующими к самой воде бороздами, гумно, обыкновенное деревенское, только будто поменьше, чем в деревнях на берегу. Около маленькой баньки незарастающая кучка углей, изгородь, осевшая в одном месте, где перелаз, темная полоска конопля, выросшей под крышу двора — низенького и тоже будто поменьше обычных. Улица: с одной стороны три двора, с другой — два. Крылечки, передклетки амбаров, завалинки — все как в любой деревне, но улица вся замуравела: население так мало численно, что не в силах вытоптать траву на своей улице» («В озерном крае»).

Эту спокойно-раздумчивую интонацию мы потом услышим в «Родине и чужбине», она определит тональность многих зарисовок и рассказов главной прозаической книги Твардовского. Но она уже слышна и в его первых рассказах и очерках — «Заявление», «В озерном крае», «Пусть Игнат Белый скажет», которые вошли в собрание, и, конечно же, в «Дневнике председателя колхоза»: «Я выехал из поселка, когда солнце было на последней четверти пути к закату. В сумерки, подвезжая к Лыскову, я едва удерживал Магомета в ногах: он рвался к лошадям, уже ходившим в ночном. На повороте к околице стояла, опираясь на палку, фигура, похожая в темноте на копну сена». Не напоминает ли это письмо другое, о котором сам Твардовский сказал: «Характером своего письма — неторопливого, без топтания на месте, обстоятельного, без мелочных излишеств детализации, певучего, без нарочитой ритмической «озвученности» — более всего он обязан классической русской традиции — С. Т. Аксакову с его «Семейной хроникой»,

И. С. Тургеневу с «Записками охотника» в первую очередь, отчасти И. А. Бунину?»

Это сказано Твардовским о прозе Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, к которому он с первых дней знакомства относился с неизменным уважением и любовью как к человеку и писателю. Но эти же слова можно во многом отнести и к самому Твардовскому-прозаику с той весьма существенной оговоркой, что Твардовского никак не коснулись ни охота, ни ловля и ужение, столь близкие и милые сердцу Ивана Сергеевича. И в этом смысле он вполне далек от Аксакова и гораздо ближе к Бунину. «Бунин,— вспоминает Адриан Македонов о Твардовском,— несомненно, был в числе его главных поэтических учителей (или предшественников). Помню, как мы совместно восхищались бунинским «Одиночеством», как открывали для себя его искусство психологической и вместе с тем предметной и «поведенческой» детали... Такие детали и весь строй, ход этой лирико-психологической новеллы во многих отношениях непосредственно подготовляли поэтику лирико-психологических «рассказов в стихах» Твардовского, в той, однако, небольшой мере, в какой кто-либо мог на него непосредственно влиять».

Здесь все представляется верным — с тем лишь дополнением, что поэтика «лирико-психологических» «рассказов в стихах» была уже заложена в ранней прозе Твардовского, в гораздо большей степени наследовавшей традиции русской классики, чем его поэтическое творчество тех лет. В ранней поэзии его больше поисков, чем находок, разлада, чем лада, она вяла и немusыкальна, ритмически не подтянута, такие стихи, по собственному выражению Твардовского, «езда со спущенными вожжами». А в прозе уже можно увидеть «энергию выражения, особую эмоциональную наполненность», почувствовать определенный ритм, строгую и вместе с тем лирическую интонацию, то есть как раз те, по словам Твардовского, «основные природные начала» стиха и — шире — поэзии, которых его поэзия тогда как раз и недоставало.

Эта проза повествует о том, что «автор знает, видел собственными глазами и о чем умеет рассказать достоверно, ладно и памятно». Вновь мы цитируем слова Твардовского о Соколове-Микитове и опять переадресовываем их самому Твардовскому. Особо хочется отметить психологизм его прозы, предвещающий психологизм

«Страны Муравии» и предвоенных стихов. Причем Твардовского интересует не просто психология ради психологии, а те изменения в душах людей, которые происходят в результате смены общественного уклада, ломки в жизни и сознании крестьянства. Эти изменения типичны и вместе с тем многообразны и индивидуальны. Вот один человеческий характер: «Мирон дернул вожжой. Так же бережно он занес плуг и, не захватив от края ни вершка дерна, сразу взял мякоть. Мы с Дворецким ждали, что вот-вот он остановит лошадь и вернется покурить, но он так и не остановился. Даже не оглянулся». И вот другой: «Производя обмер, мы постепенно приблизились к пахарям. Глядя на пахоту, я долго не знал, что сказать по поводу того, что пахота уж больно неровная. Здесь мальчик уже не мог бы идти, как по ступенькам: одна ступенька целиком скрывалась под другой, более широкой, третья лежала поперек первых и т. д.

— Пашут...— сказал, глядя на это, Тарас Дворецкий, вложив в одно слово такой смысл: пашут скверно, неаккуратно, неровно, недобросовестно».

Но автору «Дневника» мало знать, что один пашет хорошо, а другие скверно. Его волнует, почему это так, и ответы, которые он получает, выглядят совсем не однозначно. «Этого старика голыми руками не бери,— говорит о добром пахаре Дворецкий.— Он на своем хозяйстве был — почетом пользовался и здесь не хочет на задний план». Но и плохие пахари сами по себе не просто плохи: «Нет,— отвечает Голубь,— там пахали мы, у кого кони «чужие»...»

Вот, оказывается, в чем причина: пахали не на своих лошадях и уже от одного этого все пошло через пень-колоду. А на своих, может, тоже показали бы класс работы...

Все не просто, все сложно, и, показывая психологию людей, молодой Твардовский не сглаживает трудностей и недостатков, но тут же с особым вниманием отмечает и новое в людях. В них он вглядывается с особой пристальностью. Это видно не только по «Дневнику», но и по многочисленным очеркам и рассказам, появившимся в смоленских газетах и журналах в 1933—1934 годах. Показательно, что в название самих очерков вынесены в ряде случаев имена и фамилии героев: «Николай Виноградов», «Прасковья Николаева», «Дмитрий Пименов» или — «Большой год

Матрены Сергеевой», «Рассказ Дмитрия Правосолова»¹. И в 1935 году, отрываясь от работы над «Страной Муравией», Твардовский продолжает ездить по области, посещает, в частности, вместе с Исаковским его родную деревню Готовка, показывает ему затем «свой» колхоз в селе Рибшево, где он уже бывал и подолгу живал не раз. Наблюдения над жизнью современной деревни выстроились у него в четкий план сборника прозы: кое-что было написано и напечатано и даже вошло потом в собрание сочинений (очерки «Софья Лобасова», «Анастасия Ермакова», рассказ «Пиджак»). И снова в большинстве названий — имена и фамилии героев. Ясно, что это не от отсутствия изобретательности — как раз в то время по части заголовков журналистской лихости хватало с избытком. В самих названиях заключалась сознательная позиция Твардовского: люди, прежде всего люди. И было заметно, что особенно дороги ему люди, работающие на совесть. Он знает цену мастерству и высоко ценит его, поскольку с мастерством связано — и самым крепким образом — достоинство человека. (Много позднее это станет темой рассказа «Печники».) И сам он пишет о работе, наслаждаясь мастерством и заражая этим чувством читателей. Вот один из примеров: «Ей дали чью-то трепашку, и она с минуту растерянно, грустно и насмешливо рассматривала ее, поваживала в руке, вертела. С ее точки зрения это было полено, полено, которое «не подходило к руке», которое могло только «натрудить» руку...»

После сказанного нам уже небезразлично, каким же образом Софья Лобасова покажет с такой неудачной трепашкой свое умение на районном слете, где ей никак нельзя ударить в грязь лицом. И когда она с «полоном» демонстрирует завидное мастерство, обставляя и молодых и по виду более сноровистых, мы не можем не залюбоваться ею и нам уже тоже интересно узнать, в чем же ее секрет, хотя мы, читатели, в отличие от ее соперниц знаем этот ответ, автор дал нам его всей картиной соревнования. «В ловости,— скромно и просто отвечала она, сообщая этому слову пропуском твердого звука

¹ Эти и другие названные здесь очерки, напечатанные в смоленских газетах и журналах 30-х годов, никогда не переиздавались. Надо надеяться, что они появятся в более полном прозаическом сборнике Твардовского, и тогда читатель сможет убедиться, что и в них немало достойного внимания.

особенную мягкую выразительность: — В ловости...»

От этого очерка прямая линия к таким стихам, как «Мать и дочь», «Рассказ Матрены», «Про теленка», «Ивушка», воспевающим скромную на вид, не любящую выказывать себя, но долговечную нравственную красоту трудового человека — верный и надежный залог прочной памяти по себе, продолжения нескончаемой жизни.

Люди Иву поминают,
Люди часто повторяют:
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.
А морозными утрами
Над веселыми дворами
Дым за дымом тянет ввысь.
Снег блестит все злей и ярче,
Печки топятся пожарче,
И идет, как надо, жизнь.

Оттуда же, из ранней прозы, тянутся связующие нити к «Теркину» и к поэме «За далью — даль» с их пафосом терпеливого, ухватистого солдатского труда и жаркой строительной работы. И к «Родине и чужбине», к таким послевоенным рассказам, как «Печники», или к таким очеркам, как «Заметки с Ангары». Разумеется, эти связи не ограничиваются темой труда, спорной работы, радостной власти умения, мастерства. Творчество Твардовского — творчество большого художника, оно полифонично и вместе с тем очень цельно, и эта неразделимая полифоничность уже присутствует в его ранней прозе. В ней, порой в зародышевой форме, заключено все то, что прорастет потом и вознесется могучими стволами поэм и живым, трепетным подлеском лирики.

И конечно, поднимется, вырастет и в его прозе. Если ранняя проза Твардовского, пожалуй в большей степени, чем его первые поэмы, таила обещание будущей встречи с незаурядным художником, то в «Родине и чужбине» мы уже видим этого художника. Правда, значительно раньше мы узнали его как большого поэта. Но, как известно, диалектика роста и возмужания таланта часто совсем не прямолинейна.

«Родина и чужбина» имеет подзаголовок «Страницы записной книжки». До появления ее в 1947 году в журнале «Знамя» Твардовский опубликовал стихотворный цикл с заголовком «Стихи из записной книжки» («Знамя», 1946, № 1). Не следует обманываться относительно слов «записная книжка» и думать, что Твардовский про-

сто взял из этой книжки и перепечатал и стихи и прозу, хотя, как я скажу чуть позже, сам Твардовский давал повод так думать. Дело в том, что его «записные книжки» носили характер «рабочих тетрадей», в разговоре он именно так их и называл. В «рабочих тетрадях» незаконченное стихотворение или набросок рассказа могли лежать годами и могли переходить из одной тетради в другую, видоизменяясь, и совершенствуясь, и появляясь потом без всякой ссылки на «записную книжку». И однако упоминание «записной книжки» тоже имеет свой смысл и вынесено Твардовским в заголовок и подзаголовок не случайно. Тем самым Твардовский дает читателю понять, что записи и стихи были им сделаны попутно с другой работой и до времени для себя. Они — во многом личные записи, и потому он их не сразу вынес на читательский суд.

Я не то еще сказал бы —
Про себя поберегу.

Эти слова Теркина повторяются уже от автора в заключительной главе «Книги про бойца», когда автор расстается со своим героем и с читателем. Весьма соблазнительно отнести их к появившимся вскоре после войны стихам и прозе, взятым из «записной книжки». Но тут была бы натяжка: говоря эти слова, поэт, конечно, не имел в виду написанное, занесенное в рабочие тетради. С грустью прощаясь со своим героем, автор шуточно «грозился» написать что-либо не хуже того, что он уже сделал, и тем самым как бы успокоить и читателей, тоже расставшихся с Теркиным на неизвестный срок. Не более того. А то, что уже лежало в «записных книжках», то так или иначе было «сказано», хотя в ряде случаев требовало серьезной доработки.

И если стихи появились вскоре после войны, то проза отняла еще немало времени для работы. Даже в напечатанном журнальном варианте «Родины и чужбины» ко многим главам не найдены названия и они обозначены римскими цифрами, в прозу вставлены стихи (причем самый первый набросок стихотворения «В тот день, когда окончилась война...», впоследствии решительно переработанный). В конце публикации — очерк «В родных местах», написанный уже после войны со специальной целью рассказать, как родная Смоленщина начинает подниматься из руин.

Готовя в 1959 году отдельное издание «Родины и чужбины», Твардовский исключил из него стихотворение, дал всем записям заголовки, очерк «В родных местах» и ряд других произведений вывел за границы этого цикла. Но что важнее — добавил к уже известным записям 11 новых: «Бал», «Год спустя», «Солдатская память», «Первый день в Минске», «Сердце народа», «Об «алкоголе», «Грюнвальдское преступление», «Из песен о немецкой неволе», «Кенигсберг», «Салют», «Утро праздника». Потом в собрании сочинений к ним прибавился еще «Комбат Красников».

Можно понять, и без особого труда, почему некоторых записей не было в журнальном варианте и по какой причине они появились позднее: тут легко просматривается и своя логика и свои резоны. Усилены, например, записи, касающиеся последнего, победного этапа войны, включено то, что в 1947 году вряд ли могло появиться, скажем «Комбат Красников» или «Об «алкоголе», а если бы и появилось, то составило бы дополнительный материал для проработочной критики. Но сейчас нам важнее подчеркнуть другое: и эти новые записи существовали, пусть в незавершенном виде, уже во время войны, на это указывают заголовки, например «Первый день в Минске» или «Утро праздника».

Твардовский начал вести свои военные записи в 1941 году, но записанное в первый год войны, к сожалению, потерялось и восстанавливать кое-что пришлось потом по памяти («Из утраченных записей»). Не нужно думать, что такого рода записи у Твардовского — лишь особенность того времени. В отдельные периоды своей жизни Твардовский вел записи с неуклонной последовательностью, например, зимой 1939/40 года, во время финской кампании, когда он в должности спецкорреспондента военной газеты «На страже Родины» находился на Карельском перешейке, да и после окончания этой кампании. От этой поры остались не только стихи, но и большое количество рассказов и очерков. И, может быть, самое главное — личные записи. Именно им мы обязаны появлением заметок «С Карельского перешейка (Из фронтовой тетради)», которые спустя почти тридцать лет были напечатаны в «Новом мире» и вошли в пятый том собрания сочинений. Нетрудно увидеть, что эти заметки еще мало похожи на записи «Родины и чужбины»: разнообразнейшие по материа-

лу, они все же не стали фактом художественной литературы. Вместе с тем это интереснейший документ времени.

В «Родине и чужбине» мы имеем дело с прозой, которая, конечно же, не могла явиться сразу, в результате беглых записей на ходу. набросок, зарисовка, заметка чаще всего становились импульсом, толчком, первоосновой того, что только в процессе работы обретало законченность. Хотя в «Родине и чужбине» есть и записи, которые так и остались записями, не потребовав от автора дополнительных усилий, например: «Снайперы. Русаков, мальчишка из под Москвы, успевший за войну побывать под немцами, подрасти до призывного возраста, призваться, обучиться и уже наслужиться — два ордена и медаль». Или, скажем, такая сугубо личная помета, как бы для себя, чтобы не забыть: «Надо бы сделать записи о природе-погоде, об умерших в сороковом году садах как черном предзнаменовании войны, у которой столько уже периодов, этапов, полос, слоев, начиная с финской зимы... Но трудно, невозможно чем-либо заняться посторонним тому, что нужно делать неотложно и что еще никак не начало удаваться». Видно, что именно из этой заметки-памятки потом возникнет известное стихотворение: «Перед войной, как будто в знак беды, чтоб легче не была, явившись в новости, морозами неслыханной суровости пожгло и уничтожило сады...» Стихотворение это написано было вскоре после войны, в 1945 году. Именно такого рода близкие по беглости своей карандашным корреспондентским заметкам «С Карельского перешейка» записи военной поры, из которых порой возникало нечто большее, чем запись, а иногда и ничего не получалось и не продолжалось, могут навести читателя на мысль, что перед ним и в самом деле страницы записной книжки. К такого рода пометкам примыкают и более развернутые, лирические, но, по-видимому, также написанные сразу, как моментально набросанная картинка: «Уголок деревенского огорода с молодой вербочкой у изгороди, с опрятными грядками, густо заросшими ботвой бурачков и моркови, с желтыми осенними цветками на затравеневших клумбах под окошком избы. Я никогда не испытывал такой тоскливой боли при виде разорения и уродства, как при виде этой сохранности, этого милого уголка. Потому что это такая редкость, такая случайность

среди повсеместного разорения и уродства».

Но подавляющее большинство всех сорока девяти помещенных в «Родине и чужбине» произведений — рассказы и очерки, законченные в такой же мере, в какой, скажем, закончены рассказы и зарисовки, составляющие «Записки охотника» Тургенева. Твардовский вынул из цикла «Родина и чужбина» рассказ «Костя», полагаю, видимо, что он не подходит под обозначение «Страницы записной книжки». Однако и «Надя Кутаева», и «Дедюнов», и «Тетя Зоя», и многие другие — тоже вполне самостоятельные рассказы.

Рассказы? А почему бы и нет? Давно замечено, что русская форма рассказа чрезвычайно вместительна и свободно включает в себя и то, что можно было бы назвать повестью, и то, что, в сущности, не отличается от стихотворения в прозе. Примеров тому множество. Чем не повести, например, чеховские рассказы «Дама с собачкой», или «Крыжовник», или «Дом с мезонином», чем не стихотворения «Огоньки» Короленко, «Перевал» Бунина? Диапазон рассказа, каким он сложился в русской классической литературе, необычайно широк, это на редкость гибкая и подвижная форма, включающая в себя, пожалуй, элементы всех прозаических, и не только прозаических, жанров, форма, отрицающая какое-либо насилие над собой и признающая до конца только одно правило: верность натуре, жизни. Это ни в коем случае не означает, что русская форма рассказа отрицает вообще форму, а свидетельствует лишь о ее гибкости и известной универсальности. Что касается строгости и внутренней дисциплины, не терпящей никакой разболтанности, во всех случаях предпочитающей лаконизм многословности, подтянутость — беллетристической рыхлости и аморфности, то в этом отношении русский рассказ заслужил не меньшее признание, чем русский роман. Именно на эту особенность чеховских рассказов указывал Томас Манн: «...какую внутреннюю емкость, в силу гениальности, могут иметь краткость и лаконичность, с какой сжатостью, достойной, быть может, наибольшего восхищения, такая маленькая вещь охватывает всю полноту жизни, достигая эпического величия, и способна даже превзойти по силе художественного воздействия великое гигантское творение, которое порой неизбежно вы-

дышается, вызывая у нас почтительную скуку».

Но не слишком ли высоко мы сразу же взяли, вызывая тени великих в разговоре о внешне скромной и в самом деле не так уж известной широкому читателю прозе Твардовского? Между прочим, вот что сам он писал о ней в одном из своих писем читателю, бывшему фронтовику: «Конечно, «Родина и чужбина» — это не более как «Страницы записной книжки» вперемежку с некоторыми статейками и очеркишками, которые я печатал в своей фронтовой газете. Спрос с нее не может быть особо строгим...» Может, так оно и есть, какое же у нас право не верить самому автору и городить в таком случае огород?

Легче легкого было бы оговориться, заметив, что автор, мол, здесь слишком скромничает, самоуничижается и т. п. Нет, Твардовский был не из тех людей, которые хоть в какой-либо мере позволяют себе кокетничать: ему это было абсолютно противопоказано, он мог ошибаться в оценках (кто не ошибается), но всегда и во всем был предельно искренен, говорил и писал то, что действительно думал и во что верил.

Так в чем же тогда дело, как же тогда быть с его прозой, о которой мы завели речь? Чтобы ответить на этот совсем не простой вопрос, посмотрим сначала, в каком контексте у Твардовского оказалась его самооценка «Родины и чужбины», процитируем шире это недавно опубликованное письмо, замечательное во всех отношениях и дающее очень много для понимания Твардовского — человека и писателя. Думаю, что это не только не уведет нас в сторону, но как раз, напротив, даст ключ к пониманию прозы, и не только прозы, но и поэзии Твардовского.

«Прочел Ваше хорошее, задумчивое и отчасти грустное письмо,— пишет Александр Трифонович своему корреспонденту.— Пожалуй, оно и не могло не быть несколько грустным,— память фронтовых лет отпечатлелась в Вашей душе, как, впрочем, и у всех, кто обладает этим странным и довольно обременительным аппаратом — душой,— отпечатлелась особым, непреходящим образом. Сколько я знал людей из нашей литературной или журналистской братии, для которых война была страшна тем, что там можно вдруг быть убитым или тяжело раненным. А потом — как с гуся вода. Для них война прошла тотчас по е

окончании. Они ее «отражали», когда это требовалось по службе, а потом стали «отражать» послевоенную жизнь, как ее полагалось отражать по уставу мирных лет. Но — бог с ними, представителями этого животного племени,— это я отвлекся, тронутый Вашим письмом.

Мне очень дорого, что Вы — мой, так сказать, однокашник по фронту, прошедший тем же путем, только с неизмеримо большей «выкладкой» (это я говорю совершенно искренне, ибо терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну в этом качестве, говорят «я воевал» и т. п.), мне очень приятно, что при чтении книги «Родина и чужбина» у Вас не явилось противительного чувства: не то, не так, не о том. Конечно, «Родина и чужбина» — это не более как «Страницы записной книжки» вперемежку с некоторыми статейками и очеркишками, которые я печатал в своей фронтовой газете. Спрос с нее не может быть особо строгим, но все же спрос искренности и правдивости — один для всего, что выходит из печати. Я рад, что Вы, человек, имевший наибольшее право предъявить моей книге такой спрос, нашли, по-видимому, что книга выдерживает такую проверку».

Всю войну Твардовского мучило чувство недостаточности, несоизмеримости своей журналистско-литературной, «отражательной» работы с тем повседневным, тяжким и кровавым солдатским трудом, который исполняли воюющие люди. В срок втором году он всерьез думал уйти из редакции на передовую, мешало лишь большее звание — старший батальонный комиссар, с таким званием в роту или батальон не пошлют, будут искать должность повыше и поответственнее, а военных знаний и опыта для такой должности у него не было: только это и смущало, а иначе, может быть, и ушел... Именно это в высшей степени совестливое чувство и подсказало ему и суровые, слишком суровые слова о пишущей братии, в которую он не мог не включить и самого себя, а включив, уже никак не мог говорить что-либо похвальное о том, что сам сделал на войне человеку, воевавшему по-настоящему. И написал — «не более как» «статейки», «очеркишки»... Он ведь и о своей «Книге про бойца» писал:

И сказать, помыслив здраво:
Что ей будущая слава!

И в конце своего жизненного пути, еще не думая, правда, что конец близок, сказал о всей своей жизни всего лишь так:

Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметил галочкой.

Но мы-то хорошо знаем, что не проходной галочкой отметил он в этом мире, а оставил неизгладимый след в истории русской и мировой литературы, а следовательно, и в духовной истории всего нашего народа...

Вот почему, несмотря на замечание самого Твардовского, мы имеем полное право говорить о его прозе, не испытывая какой-либо неловкости, возникающей при всякого рода натяжках и допущениях, — она в них нисколько не нуждается. Да и было бы недопустимо перед самой памятью о Твардовском что-либо преувеличивать, уж в этом-то никакой необходимости нет.

Так же, как в поэзии, Твардовский шел в прозе от великих традиций русской классики. Лишь по внешности своей его рассказы напоминают непритязательные записки или пометы в записной книжке, с которых действительно спрос невелик. На самом деле это глубоко продуманные и прочувствованные, исполненные внутреннего изящества и редкостной емкости картины народной жизни, портреты встреченных на войне людей, раздумья самого писателя о времени трудных испытаний и нелегких побед. То, что рассказы как бы взяты из записной книжки, придает им особый личный оттенок, делает их еще эмоциональнее, достовернее, поскольку мы с первой строки убеждаемся, что все описанное автором слышано и видно им самим, а не придумано ради вящей занимательности. Серьезный тон, взятый Твардовским в этих рассказах, тон, каким размышляют наедине с собой, усиливает достоверность, и мы уже относимся к тете Зое или Дедюнову не как к литературным персонажам. Это реальные люди в той самой высокой мере, в какой реальные люди в настоящей литературе: они не просто зримо представлены читателю, но еще и объяснены человеком, которому есть что сказать о людях и времени. И потому им особая цена.

Между прочим, ценность личного свидетельства Твардовский неоднократно подчеркивал. «Если эти заметки имеют какую-

либо ценность,— писал он в предисловии к записям «С Карельского перешейка»,— то лишь как занесенные в тетрадь для себя тогда, по свежей памяти». С самим собой не будешь лукавить, как бы говорит этим Твардовский, и если записано для себя, так это уж чистая правда. О том же он говорит в самом начале «Родины и чужбины»: «Война в том периоде, когда уже столько раз каждым вспомнят и при случае рассказано до подробностей ее первый день — как и где он застал каждого. Он — как заглавие всему тому, что началось с него и длится уже вторую половину года. И все, что связано с этим днем,— скажем, предшествующий ему день, последний день мирной жизни,— приобретает теперь все большую ценность личного воспоминания и как будто все большую знаменательность».

Возникает вопрос: в какой мере могут быть правдивы личные, так или иначе субъективные впечатления и наблюдения, могут ли они являться свидетельством истории? В одной из своих статей Твардовский отвечает на этот вопрос так: «В многообразном запечатлении этого опыта (опыта революции.— А. К.) особая роль принадлежит подлинным личным свидетельствам, человеческим документам — мемуарам, дневникам, письмам современников революционных событий. При относительной фактической точности таких материалов их ценность определяется степенью субъективной правдивости и искренности свидетельства».

Лишь на первый взгляд эта формулировка может показаться малообязательной и расплывчатой (мало ли как может увидеть человек то или иное событие, факт). На самом деле она предъявляет строгие и довольно жесткие требования к пишущему: пиши как видел, а не так, как подсказывают тебе иные критики или как ты хотел бы написать, не впадай ни в предвзятость, ни в литературщину. Конечно, многое здесь зависит от личности пишущего: субъективность может легко перейти в субъективизм, неверно взятый угол зрения исказит картину, но это в том случае, когда автор дурно-тенденциозен и не печется о правде. Субъективное скорее всего совпадает с объективным, когда автор смотрит на вещи не предвзято и не требует от действительности ничего, кроме того, что она ему дает. И тут, конечно, решающую роль играет степень понимания автором действительности, реалистичность его взгляда на жизнь,

Твардовский предстает в «Родине и чужбине» тонким и зорким наблюдателем жизни, поле зрения его широко, ни одной жизненной деталью, ни одним проявлением человеческого характера на войне он не хочет пренебречь, если эта деталь не случайна и мелочна, а говорит о чем-то существенном. И он умеет находить это существенное и важное действительно в таких деталях, мимо которых иной человек прошел бы стороной, не придав им значения.

Сколько раз описывался в нашей литературе первый день войны! Но вот о нем пишет Твардовский в открывающей «Роди́ну и чужбину» записи, которая так и называется — «Память первого дня», и то, о чем он рассказывает в ней, мы не читали нигде. Поводом для воспоминания стал фотоснимок в «Известиях», под которым была подпись «Деревня Грязи, Звенигородского района, после освобождения от немцев». «Это та самая деревня,— пишет Твардовский,— откуда я 22 июня ушел на станцию и в переполненном поезде Звенигородской ветки поехал в Москву—являться по начальству».

Впечатление удара, разом и внезапно обрушившегося не на одного человека, а на всех людей, достигается самыми простыми средствами: автор немногословен и ему достаточно одного абзаца, чтобы нарисовать целую картину всеобщего народного бедствия, к которой уже почти нечего добавлять, все и так ясно. «Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег, а мужики и женщины сидели на груде прошлогодней соломы и молчали. И когда я увидел, как они сидели и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скупно и строго, как будто тут был покойник. Властью суровой, тяжелой думы о неоправимой и ясной с самого начала беде, касающейся всех и каждого,— этой властью они были повержены в немоту или какой-то смутный и трудный полусон. И даже не оживились, видя человека, который ничего еще толком не знает, не нашлось желающих горячиться с изложением «новости»...»

Поразителен этот контраст между буд-

ничной картиной (скотный двор, где накапывали навоз, груда прошлогодней соломы) и потрясением, внезапно сковавшим людей («...как будто тут был покойник»). Потрясен и автор, направившийся к людям, хотя о его душевном состоянии тоже только одна замедленно-спокойная, но полная напряжения фраза: «Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно». Тишина. Молчание. Причем люди не просто молчат — они «повержены в немоту или какой-то смутный и трудный полусон». Какой неожиданный оборот «повержены в немоту», но как точно передает он то оглушенное состояние, когда человеку не до речей и разговоров, он весь во власти одной мысли, одной тяжелой думы: что же будет дальше? Но на этот вопрос нет ответа, и разве добудешь его в разговоре?

Ясная проза эта все время, однако, таит в себе эффект неожиданности. Казалось бы, автор ни на что не претендует: он описывает тот памятный день, каким он у него был, со всеми чувствами и переживаниями и, по видимости, больше ничего и не требует от себя как автора. Искусство ли это? Конечно. Потому что за внешней непритязательностью скрыт строжайший отбор деталей, фактов. Не подгонка их под какой-то расхожий шаблон, а следование за жизнью. Взгляд на жизнь как бы с высоты, но и без утери ее конкретности. Умение видеть все поле и замечать каждый колосок на нем. Тогда-то и возникает то естественное течение сюжета, которое за каждым своим поворотом таит неожиданность.

Только что мы услышали от автора, как он узнал о войне и что было с ним и с людьми, которых он застал, потрясенных тяжелой и неотвратимой вестью. Можно было бы подумать, что теперь рассказ будет идти только о войне и ни о чем другом уже не может быть речи. В многочисленных описаниях этого первого рубежного дня так и бывало, война уже занимала все мысли людей и руководила их поступками. Твардовский же словно забывает о войне, отключается от нее, и тон его рассказа становится чуть ли не идиллическим: «Я только что устроился там, с надеждой на доброе, работающее лето, только что разложился на столике со своими бумагами и тетрадками. Место мне очень нравилось: тихое, деревенское, немного даже печальное; жизнь когда-то была там гуще и

многолюднее — проходил тракт». И дальше он неторопливо, с видимым удовольствием рассказывает о том, какое это было хорошее место, не пропуская ни одной приятной детали: «Прямо перед моим окном была старая щеповая крыша погреба. В уровень с ее гребнем, подалее, приходился нижний край такой же щеповой крыши соседнего домика. Слева, не видный из окна, протягивал по утрам свои длинные тени уцелевший, к одному краю запущенный парк бывшего когда-то здесь барского дома. Направо, над зеленью лужайки в огороде — небольшая редковатая полевая елочка, какая могла быть и в моем Загорье, на Смоленщине. И, помню, эта елочка как-то сразу расположила и, так сказать, природнила меня к новому месту». Дальше все в том же порядке будет идти речь о том, что понравилось в этой подмосковной деревушке, — о ручье, где брали воду, о том, что было на том берегу овражка, о других мелочах и подробностях вплоть до записи в тетрадке, сделанной за день до беды. И эта запись, полностью приведенная в рассказе, никакого отношения к войне, конечно, не имеет — о старичке, встреченном по дороге на почту. Сидел старичок, расстелив на травке хлеб, яйцо, лужковички и откупоренную, но еще не начатую четвертинку, и когда автор с ним поздоровался, старичок предложил присесть и сказал приветливо: «Садись — поднесу», и было это «поднесу» исполнено приветливости и достоинства. Автор вежливо отказался. «Ну что же, — сказал старичок, — смотри...», великодушно позволяя еще и передумать». «А мне так жаль теперь, — заключает рассказ автор, — спустя столько времен, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от много-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».

Последняя фраза мгновенно уводит нас из первого дня войны в саму войну, когда уже писался рассказ и когда каждое воспоминание о мирных днях вызывало щемящую и сладкую боль. Но этот неожиданный переход естествен, потому что с самого начала мы понимаем, что это рассказ-воспоминание без какой-либо наперед заданной композиции и нет в нем никакого намерения, кроме одного — воскресить в памяти тот день, что ему непосредственно предшествовало и что было, когда тяжкая весть словно обрубила всякую работу и повергла людей в немоту. Ход рассказа

целиком подчиняется воле рассказчика, а рассказчик не некое условное лицо, но сам автор. Он говорит то, что запало не кому-нибудь, а ему в душу, и запало настолько, что появилась необходимость занести свои мысли и впечатления на бумагу, а потом и предложить их читателям.

Это очень существенный момент для понимания и оценки «Родины и чужбины».

При появлении этих записок в журнале, повторяю, о них было сказано много несправедливого. Пожалуй, все же стоит вспомнить что именно. Один критик писал: «Произведение это — плод политической ограниченности и отсталости, оно выражает тенденции, чуждые советской литературе...» Другой добавлял, что автор не понимает сущности советского героизма и вообще советского человека. Третий обвинял Твардовского в «мелочности» наблюдений и даже в «декадентско-христианском восприятии своей Родины». Сейчас нет нужды опровергать все эти обвинения, отвалившиеся сами собой, но одно хотелось бы отметить: они высказывались как бы в полном отвлечении от автора, от того, что он делал во время войны. Слово не он создал памятник советскому солдату — «Василия Теркина», не он был автором многих патриотических стихотворений, не он перемежал записи «Родины и чужбины» набросками поэмы «Дом у дороги».

Некоторое время спустя, когда отпыхали критические битвы конца 40-х годов, уже другие критики попытались смягчить умопомрачительные оценки прозы Твардовского. Но и тогда обвинения оставались еще достаточно крепкими, например: «А. Твардовский зачастую любовно относится к фактам малозначительным, отдавая им больше внимания, чем другим, несравненно более важным». Спрашивается: а с какой стати это делал Твардовский, да еще на страницах своей записной книжки? Может быть, это особенность его мировосприятия — любовно относиться к фактам малозначительным и нанизывать их? Тогда остается опять не очень понятным, как с таким мировосприятием создаются поистине народные книги, тот же «Теркин»? Или в поэмах и стихах писатель один, а в прозе, как бы уже для себя, другой? Что-то и при таком допущении неладно получается.

Между тем даже автор самой агрессивной статьи Л. Субоцкий вроде бы не ошиб-

ся в своих исходных данных. «Да кроме того,— писал он,— на одной из «страниц» раскрыт смысл таких «дневниковых» записей: «Говоря как будто про себя, говорить очень не «про себя», а про самое главное...» «...«Родина и чужбина»—это записки о передуманном и перечувствованном писателем за время войны—от первого ее дня до победы. Это как бы «дневник ума и сердца» автора, в котором, казалось бы, должно найти отражение мироощущение нашего современника, участника великих исторических событий».

Если это записки о передуманном и перечувствованном, «дневник ума и сердца», то что же ему помешало стать таким? «Узость мысли» и «ограниченность видения мира», о которых пишет дальше критик? Но снова встает вопрос: как же с такими качествами могли создаваться и литературные шедевры? Параллельно «узости мысли» и «ограниченности видения мира»? Таким вопросом критик, разумеется, и не задается, один этот вопрос делает сомнительными все дальнейшие обвинения.

В очень важной для всей эстетики Твардовского цитате критик сделал одно усекование. «Дело только в том, чтоб, говоря как будто про себя, говорить очень не «про себя», а про самое главное. Х у д о , к о г д а н а о б о р о т». (Разрядка моя.— А. К.) Вот это «худо, когда наоборот» критик и снял, оно совсем не к месту торчало, мешая перейти к немедленной проработке. А слова эти имеют принципиальное значение. Не тот ли самый принцип «говоря как будто про себя, говорить очень не «про себя», а про самое главное» лежит в основе многих страниц поэмы «За далью — даль» и чуть ли не всей лирики Твардовского, которая с годами забирала в его творчестве все большие и большие права. Именно потому, что она говорила о главном. «Худо, когда наоборот» — это Твардовский знал, пожалуй, как никто в нашей поэзии.

Твардовский излагает важную для себя мысль не просто так, не случайно, а в связи с возникшим у него замыслом написать прозаическое произведение с условным названием «Поездка в Загорье». «...«Поездка в Загорье»,— записывает он,— повесть не повесть, дневник не дневник, а нечто такое, в чем явятся три-четыре слоя разнообразных впечатлений — от детства до вступления на родные пепелища с войсками в 1943 году и до нынешней весны, когда я, может быть, совершу эту поездку на несколько дней. Речь будет идти как бы о последнем,

но вместе и прошлогоднем посещении, и о приезде в 1940 году, и о приезде первом, в 1930 или 1939 году, и о житье тамошнем в детстве и ранней юности. Предчувствуется большая емкость такого рода прозы». (Разрядка моя.— А. К.)

Внимательный читатель заметит, что какую-то часть этого своего замысла автор реализовал уже в «Родине и чужбине». Это запись «На родных пепелищах», где говорится о посещении Загорья сразу же после его освобождения, путевые зарисовки «С дороги», «Лявониха», «В краю опустевших лесов», «Год спустя», «Мировой дед», сделанные как раз во время той, задуманной еще загодя поездки на Смоленщину, состоявшейся, правда, не весной, а поздней осенью 1944 года. В этих записях скрещиваются самые разные временные планы и слои впечатлений, являя собой единый прозаический сплав. Это действительно повесть не повесть, дневник не дневник. Но между прочим, то же самое можно было бы сказать и о всей книге «Родина и чужбина». Она не поддается какому-либо четкому жанровому обозначению, напоминая то писательский дневник, то сборник очерков и зарисовок, то оборачиваясь вдруг лирической исповедью («На исходе лета»), то становясь публицистикой («Сердце народа», «Салют»). Книга разнохарактерна, многожанрова, точнее — безразлична к жанрам. Когда Твардовскому достаточно короткой записи, то он и ограничивается ею, несколько не задумываясь, что эта запись могла бы лечь в основу очерка или рассказа. Требуется выход собственным размышлениям, и он размышляет, и тогда появляется запись «О русской березе», которую иначе и не определишь как размышление, но такого жанра литература не знает. Кажется, что автор не ограничивает и не стесняет себя ничем, никакими литературными правилами и условностями, но это только кажется. Книга необычайно строга и, при всей своей внешней пестроты, цельна, продуманна во всех своих деталях.

Цельность придает ей прежде всего личность самого автора, присутствующего в каждой записи. Читатель это чувствует с первой же страницы и до последней. С ним все время говорит Твардовский. Нигде и никуда он не уходит в сторону, не заслоняется придуманным сюжетом и не прячется в так называемое лирическое «я».

Твардовский предельно откровенен, и иногда кажется, что перед нами действи-

тельно лирический дневник, дневник-исповедь, разрешающий себе полную доверительность. Чего стоит, например, такая запись, вызвавшая в свое время у критики особое негодование: «Почему так устала душа и не хочется писать? Надоела война? Вернее всего, по той причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем, что хекал за каждым ударом того, первым устал, говорят, и отказался, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны: издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются, когда человек воюет. Для него каждый новый этап, каждый данный рубеж либо пункт, за который он должен практически биться, нов и не может не занимать всех его психофизических сил с остротой первоначальной свежести. А для нас, хекающих, все это уже похоже-похоже, мы уже по тысячам таких поводов хекали.

Это все, может быть, неправильно, но очень подходит к настроению, которое дает себя знать, чуть ты огорчишься чем-нибудь внешним, чуть выйдешь из состояния душевной приподнятости, при которой только и можно что-нибудь делать. А делать надо, нельзя не делать, когда такие великолепные дела: вчера было пять салютов!» («На исходе лета»).

Как это совестливое и мужественное мышление переключается с уже цитированным нами письмом фронтовику-читателю всей «Родины и чужбины»: то же самое не просто уважение, а преклонение перед солдатским трудом, в сравнении с которым работа пером представляется ничтожной, «хеканьем». Очень характерное для понимания всей личности Твардовского признание, сделанное, кстати говоря, уже в то время, когда «Теркин» был у всех на устах и, казалось бы, мог принести его создателю удовлетворение сделанным. Нет, не приносил. И в этом признании весь Твардовский, постоянно и мучительно ощущавший неполноту своего долга перед людьми, перед народом, от этого признания военных лет перекидывается мостик к стихотворению, написанному много времени спустя, в середине 50-х годов: «Ни ночи нету мне, ни дня, ни отдыха, ни срока: моя задолженность меня преследует жестоко. У столько душ людских в долгу, живу, бедой объятый: а вдруг сквитаться не смогу за все, что было взято!» В такой исключительной требовательности и взыскательности к себе таится

залог будущих успехов, хотя писатель может и не сознавать этого. Но критики-то, увидевшие в признании Твардовского только упадочные настроения, могли бы понять, что совсем не в этих настроениях дело, да и нет их там, а есть высочайшая строгость к себе. И могли бы заметить, что автор перед читателями душу свою обнажает, делится с ним самыми сокровенными мыслями. Но где там!..

Между тем такая предельно откровенная доверительность и настраивает читателя на определенный серьезный лад. В таких случаях многое зависит и от тона разговора. Ведь и доверительный разговор может быть необязательным и несерьезным. Но мы уже видели в «Памяти первого дня», какой тон избрал Твардовский и о чем он говорит там с читателем. О себе? Да, и о себе, но так, что мы чувствуем: автор меньше всего занят собой. О других? Да, конечно, но не для того, чтобы только живописать их, демонстрируя, скажем, опять же возможности своего пера.

«Родина и чужбина» — книга напряженной мысли. Нет, это не периферия масштабной и значительной поэзии Твардовского, не то, что осталось после поэм и стихов и что «дополняет» и «Василия Теркина» и «Дом у дороги», «Фронтовую хронику», как благосклонно выразился один исследователь. И тем более это не ущербная, искаженная картина действительности, нечто противостоящее собственному же творчеству, как это пытались изобразить в свое время некоторые критики. Это книга раздумий большого художника о войне, о человеке на ней, о природе патриотизма, о народе и его свойствах и качествах, с особой силой проявляющихся в годы бедствий и испытаний, о судьбах родной страны, то есть о всем том, что так или иначе занимало мысли миллионов людей и не могло обойти поэта. Больше того, стало средоточием его постоянных размышлений, содержанием его духовной жизни. И в этом смысле «Родина и чужбина» абсолютно неотделима и от «Теркина» и от других поэм и стихов Твардовского. Они — лишь разные формы выражения одного взгляда на жизнь, на людей, на историю. И в той же мере, как поэмы и стихи оваяны и вдохновлены великим подвигом народа, подвигом этим рождена и проза поэта.

Может быть, она только аналитичнее, пристальнее к психологии, внимательнее к оттенкам внутренней жизни людей, как и подобает быть прозе.

«Дедюнов Федор Нестерович — боец комендантского взвода, лет тридцати пяти, крупный, широкой кости, хитрый курский мужик». Что хитрый, ловкий в жизни, умеющий найти теплое местечко даже на фронте, это верно. Трудно Дедюнову понять повара, который заприсился варит на передовую: «Уже, кажется, примостился человек — и в тепле, и сыт, и миша редко когда заблудшая разорвется. Нет! Недоволен. То ему нехорошо, другое неладно...» Понять трудно, а между тем чем-то задел его этот повар, что-то сдвинулось в сознании Дедюнова. И вот что он теперь говорит: «Ухожу с этой должности. Воевать так воевать, правда? Скушно. Сюда, к печке, старика какого-нибудь. Пойду в моторазведку. Попросился уже». Что же произошло с Дедюновым? «Практичен и в честолюбии смотрит вперед», — поясняет автор. «Из нашей деревни один тут есть, — объясняет сам Дедюнов. — Он уже ордер получил, — говорит, зачем-то искажая слово «орден». — А я приеду домой — что я, хуже его? Нет». А узнав, что командование дает за поимку языка медаль и десять суток отпуска, Дедюнов еще более разохотился: «Стоит взяться». И уже вслух рассуждает, как он будет брать этого языка. А вскоре выясняется, что он уже, оказывается, воевал, и неплохо, «одну нашу танку спас». В это можно было бы и не поверить, если бы не рассказ самого Дедюнова, в котором он весь со всей практичностью и деловой хитростью: «Я сам одну нашу танку спас. К ней никто не мог подобраться. А я, не будь дурак, запряг лошадь, бочку с бензином — на сани, три ящика с патронами да ночью к ней и подъехал. В целик по снегу подъехал, и скрипу не слышно было. Еще танкист открывать мне не хотел. Сгрезилось ему, что это немцы стучат... Ничего нет страшного, если с умом делать».

«Ничего нет страшного, если с умом делать» — такие слова мог бы сказать герой любого газетного очерка военной поры. Но их говорит Дедюнов, тот, что своего не упустит и без выгоды не проживет. Как видно, и Дедюнов почувствовал, что «своего не упустить» значит прежде всего отличиться в бою, хорошо воевать, орден получить — свидетельство того, что на войне дело делал не хуже, а может, и лучше других. Таково общее настроение, от которого не хочет отстать и Дедюнов: у него тоже есть своя гордость, он не хочет быть плоше других. И оказывается, это настроение выше и победительнее страха це-

ред опасностью. Какова же тогда сила общего духа людей, боевого подъема, если он легко прихватил и повел на передовую и такого человека, как Дедюнов, который, «кажется, всем своим хитрым и недобрым существом начеку — на страже своего теплового места!» Твардовский не говорит ничего об атмосфере массового героизма, но мы ее остро чувствуем в рассказе. Портрет Дедюнова становится выражением важной и серьезной мысли о всеилии патриотического чувства, которое способно захватить и человека, далекого от сознательной жизни.

Та же мысль, но, пожалуй, еще нагляднее выражена в рассказе «Гость и хозяин». Пришел из окружения работник армейской прокуратуры. Среди многих его тяжелых впечатлений есть и светлые воспоминания. Одно из них — встреча со стариком, который сразу с неким торжеством объявил укрывшемуся у него окруженцу, что он кулак. «А может, сомневаешься: куда это я, мол, попал, к кому в гости? Так не сомневайся, Советская власть, я тебе прямо объявляю: к кулаку, настоящему раскулаченному кулаку. Вот, брат». Прокурора это насторожило, если не перепугало, и на вопросы старика он уже отвечал, сбивая его со следа: «Прокурор ответил ему как-то так, что и не понять было, кто он, собственно, такой, а идет будто бы в родные места, и назвал район неподалеку». И это неожиданно расстроило старика, ему хотелось видеть в нечаянном постояльце совсем не кого-нибудь, а именно окруженца, хорошо бы какого-нибудь начальника, советскую власть. Для чего? Да для того, чтобы поговорить по душам, «покрасоваться вовсю своей незаурядностью, справить некое свое торжество, и притом проявить благородство. «Вот ты представитель той власти, которой здесь нет и с которой у меня свои давние счеты. Ты под моей кровлей, твоя судьба в моих руках. Я тебе напомню кое-что, погляжу на тебя, как ты будешь слушать, заставлю понять мою душу и сверх всего удивлю. И тогда ты увидишь, что я за человек и какая мне может быть цена».

И то, что все-таки говорит старик прокурору, может любого удивить.

«Слушай, темный ты человек, — говорил старик прокурору, — можешь ты понять, что мне, кулаку, дорога Советская власть? Просто самая милая для меня власть. Не можешь? Ну, так вникай». И не скрывая своих обид («Лишила меня Советская власть в те годы движимого-недвижимого? Не отрицай, лишила Два года в ссылке я нахо-

дился? Два года, как один день»), старик произносит целую речь в защиту и прославление советской власти: «Слушай. Она была своя, русская, строгая власть. Она надо мной была поставлена народом, а не германом. Она меня над миром потрясла, как говорится, а в мир не бросила. Она надо — так обидит, а надо — так приласкает». И все больше и больше оживляясь, точно он вел с кем-то яростный спор, старик стал выкладывать все свои за советскую власть, и этих за было не так уж мало, обиды они перевешивали. Все сыновья его вышли при советской власти в люди. «Где они теперь? Трое на фронте, а старший на прежней должности. Как и что, не знаю, но знаю, что все находятся в рядах, Родину защищают... А герман мне пишет памятку: «Собственность». И первое дело — он не знает, что прежнего внушения слово это для меня не имеет».

Речь старика так горяча и убедительна, что прокурор решается признаться, кто он, и в упор предлагает ему: «Проведешь до линии фронта?» Старик хлопнул себя ладонями по коленям и залился смехом, раскачиваясь на лавке. Откашляваясь и заслоняясь левой рукой, он смотрел на гостя с восхищением и ласковостью и снова погрозил ему пальцем:

«А ты думаешь, я так тебе совсем и поверил, что ты тюха-матюха? Нет, брат, извини. У меня на вас, таких, глаз наметан... Я, брат, не забывай, кулак... А провожать мне вас на тот берег не впервой. У меня перевалочный пункт для вашего брата. Кулак! Вне подозрений».

Приходится подробно пересказывать оба эти рассказа — «Дедюнов» и «Гость и хозяин». Дело в том, что именно они и вызвали гнев критиков. Странно? Еще как странно. Достаточно всего лишь без предубеждения прочесть хотя бы этот последний рассказ, чтобы увидеть очевиднейшую его идею — удивительна сила патриотического чувства. Даже у таких людей, как бывший раскулаченный, оно не пригасло. И чувство это не просто привитое или воспитанное, а питаемое всей нашей жизнью, сутью ее и смыслом.

Патриотизм, говорит своими рассказами Твардовский, не есть нечто единое и уж тем более абстрактно-декларативное. Патриотизм многообразен. Это коренное народное чувство, без которого нет народа. Но любое чувство, в том числе и высокое гражданское, в силу того, что оно индивидуаль-

но, имеет великое множество проявлений и у каждого свое, наособицу. Патриотизм Дедюнова не похож на патриотизм старика, а чувства старика, наверное, отличаются от чувств прокурора, но это не мешает им с разной степенью понимания и сознательности любить свою родину. И доказывать эту любовь делом, жизнью своей.

В связи со всем этим странно, что никто до сих пор не обратил внимания на название самой книги — «Родина и чужбина». Надо сказать, что и в своем творчестве и в редакторской практике Твардовский придавал заголовкам очень большое, иногда чрезмерное значение: заставлял и писателей и редакторов подолгу мучиться над вариантами названий и, кстати, сам много думал о них и, если так можно выразиться, стал автором названий ряда известных произведений советской литературы, появившихся в «Новом мире». Крупные вещи самого Твардовского названы им достаточно скромно («Василий Теркин», «Дом у дороги») или иносказательно и одновременно поэтично («Страна Муравия», «За далью — даль»). «Родина и чужбина» — название, ко многому обязывающее, столь оно широко, чуть ли не всеобъемлюще: это крыша, под которой надо многое поместить, чтобы уберечься даже не от предвзятости, а обычного читательского упрека. Очевидно, понимая это, Твардовский дал несколько ограничивающий и в какой-то мере локализирующий название подзаголовок «Страницы записной книжки», но само-то название все-таки оставил!

И если вдуматься, имел на это полное основание.

Один из немногих критиков, высоко оценивших «Родина и чужбину», Андрей Турков, пишет: «Проза Твардовского, как и его поэзия, дышит пытливым интересом к своему времени, к родному народу, к людям, с которыми сталкивается автор в других странах. След напряженных размышлений писателя о жизни лежит на всем, что выходит из-под его осмотрительного пера, не терпящего лишних и пустых слов». К этому надо бы добавить, что в «Родине и чужбине» перед нами проходит множество самых разных людей, повернутых к читателю чаще всего одной стороной своего духовного бытия — отношением к родине, понимаемой ими широко — от родимого дома и очага, того бесценно дорогого клочка земли, о котором каждый из них не задумываясь мог бы сказать словами самого Твардовского, что

ему нетрудно, «закрыв глаза», представить этот клочок «весь до пятнышка» и до той «Большой родины», Отечества, Отчизны, о которой тоже вместе с Твардовским все его герои могли бы сказать с детства запавшими в душу словами поэта: «О, родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?»

Родина — сквозная и главная тема всей книги Твардовского. И ведь чужбина в ней не просто заграница, не просто чужие земли, а то, что во всем противоположно родине, и потому чужбина в книге — это постоянная тоска по родине, что не дает сердцу ни на мгновение забыть и успокоиться, томит, точит душу одним желанием, которое ничем не заглушить: скорее бы с чужбины, в любой разор и на самое холодное пепелище, но только бы с чужбины!..

Одни из самых пронзительных страниц книги Твардовского это как раз страницы о такой чужбине. И сейчас, по прошествии стольких лет, читать их до сердечной ломоты трудно.

«Давно уже мать и дочь оторвались от своих однопороденцев — немцы распределяли людей кого куда, разъединя даже семьи,— и давно вокруг, в великом скоплении несчастного, невольного люда, вперемежку с русской речью слышалась и польская, и белорусская, и литовская, и иная речь.

Настасья Яковлевна не знала этих языков, не знала толком, что за страны такие, откуда все эти люди, но видела, что все люди страдающие и со всеми он творит что-то невыносимое, понапрасну жестокое, нечеловеческое. И ей всех было жалко».

И дальше Твардовский будет рассказывать, почему этой простой русской крестьянке, матери всех детей и сестре всех людей, было так жалко их, страдавших в лютой неволе, будет говорить с присущей ему сдержанностью и глубоко спрятанной болью, пока эта боль не прорвется все же наружу, да так, что и сейчас полыхнет по сердцу:

«Но все это можно было переносить. Труднее и больнее было терпеть другое. Запахнет подкошенным и подсыхающим клевером в чужом поле, на далекой, чужой земле,— и сердце, ко многому привыкшее, сожмется в такой горькой муке, что рассказать об этом можно только слезами.

Пройдет дождик, взбухнет пыль на дороге, встанет радуга или просто пропоет петух на заре — хотя петухи и поют здесь не

так голосисто, да мало ли еще такого, что само входит в душу и говорит об одном, без чего человеку нет жизни и чего нет на свете дороже: о Родине, о свободе».

Есть привычное и достаточно избитое словосочетание «проза поэта», чаще всего под ним подразумевается нечто красиво и изысканно сказанное, во всяком случае предполагается некая особенность прозы, какой у обычных прозаиков не бывает. Но серьезная проза, которой, попросту говоря, никакого дела нет до того, как ее определят, озабочена другим — неустанной думой о жизни и судьбе людей. И уж если подыскивать какое-либо слово для таких рассказов о чужбине, как «Настасья Яковлевна» или «Домой», или о совсем ранней записи, относящейся еще к 1943 году, «Несчастливая колонна», — о девушках, оставивших надписи на стенах Спас-Деменского лагеря, то, пожалуй, нет точнее слова обо всем этом, чем «голошенье». Так и был назван один из первых набросков «Дома у дороги», напечатанный тоже в сорок третьем году во фронтовой газете «Красноармейская правда» вскоре после того, как там же увидел свет очерк «Несчастливая колонна». Начинается набросок стихами, которые потом не вошли в окончательный текст поэмы (кстати, обычная для Твардовского история — за бортом его поэм осталась уйма вариантов, набросков, целых глав и кусков). А эти стихи могли бы стать эпиграфом к той же «Настасье Яковлевне»:

Из века в век, из рода в род,
Из дальней старины,
В крови у женщины живет
Чутье беды — войны.

Так от тематического, «чужбинного» цикла рассказов и очерков протягиваются прямые нити к поэме «Дом у дороги». Многого можно было бы сказать и о внутренней, а иногда и близкой к совпадению связи «Родины и чужбины» с «Василием Теркиным». Глубинная связь и единство всего, что делал Твардовский на войне, — особый предмет разговора, вероятно, специальная и благодарная тема исследования, которая, без сомнения, даст возможность лучше понять не только творчество Твардовского, но и его личность, что для его будущих биографов, конечно же, составит немалый интерес. В этой же статье, как мне думается, особенно важно подчеркнуть суть «Родины и чужбины», отчетливо и прямо заявленную автором в самом названии книги и много-

образно выразившуюся на ее страницах,— ее истинно народный патриотизм.

Твардовский — психолог, и его интересуют не столько подвиги, сколько характеры людей на войне. Да и подвиги его герои совершают так, словно совершают обычное дело, тот же труд, только более опасный. Это особенно дорого Твардовскому: он внимателен ко всему устойчивому, не нарушенному войной в человеке, к тому, что осталось в человеке от мирной жизни и, несомненно, вернется к нему после войны, короче говоря, к человеческому в человеке на войне. «Нет мест, специально предназначенных, предуготовленных природой для войны,— пишет он.— Докуда война ни дойдет, везде беззащитно искорежит землю, нагородит свои тоскливые, страшные, хитроумные и чаще всего бесполезные для нее самой сооружения, везде оставит свои следы на долгие годы». То же самое он мог бы сказать и о человеке, с той лишь существенной разницей, что человек не беззащитная природа, он может и умеет противостоять нравственному разрушению, которое несет с собой война. Умеет потому, что есть в нем прочные человеческие начала. Война, какой бы долгой и страшной она ни была; пройдет, минет, человеческое, неискоренное в душах людей останется. Это Твардовский почувствовал еще в первые месяцы войны. «Люди прошли с боями, со всеми муками отступления чуть не тысячу верст, воевали уже не один месяц, оставили позади большую часть Украины. И расположившись теперь на одну из ночевков в уже холодающей к ночи степи, полной запахов поздней печальной страды — запахов картофельника, свежей яровой соломы,— запели. Запели простую русскую песню, из тех, что подтянуть может всякий. И в той песне не было даже ни слова про войну. Ни слова в песне не было о войне, зато были слова о жизни, любви, родной русской природе, давних деревенских радостях и печалях. И странно: показалось, что ничего этого нет — ни немцев, ни великого горя,— а есть и будет жизнь, любовь, родина и песня, в которой только и место горю, но горю уже пережитому, отошедшему, давнему. Все пройдет. Все еще будет. Мать обнимет сына. Воин подхватит на руки подростшего без него ребенка...» («Из утраченных записей»).

На войне Твардовскому дорого все, что напоминает мирную жизнь. Он приметлив на этот счет. С удовольствием он заметит, что комбат «любит показывать оборону сво-

его участка, как иной добрый председатель колхоза спешит, бывало, повести тебя на скотный двор, на ток, туда, сюда...» («Комбат Красников»). При виде солдат, собирающихся плясать, он рад забыть, что они солдаты: «Глаза у всех оживились, губы подвинулись в улыбку, и сразу стало видно, что это таки ребята, молодые, хорошие ребята, которые от души рады этим минутам отдыха и забавы» («Бал»). Он совсем «помирному» готов пожалеть дрова, которые «жгут, совершенно не думая о том, сколько их уходит» («В долгой обороне»). И уж конечно, ему близки люди, не потерявшие в военное время своих мирных привычек. Как только не корили критики тетю Зою, а вместе с ней и автора, называли ее продувной мещанкой и ловкой оборотистой бабенкой и удивлялись, почему «для «тети Зои» найдется у автора самые ласковые интонации». А между прочим, и на таких, как, скажем, тетя Зоя, многое держалось во время войны: она сумела сохранить корову, ради нее покидала щель во время бомбежки, боялась, тряслась, плакала и отчаивалась увидеть свою кормилицу целой и все-таки вылезала подоить поскорей, покормить или напоить ее. «Добрая баба подмосковной провинции», она неунывна и в самые тяжкие времена. Какой была она до войны, такой и осталась, с ней война ничего не смогла поделать, и разве это плохо? Тетя Зоя для автора тоже народный характер, по-своему не поддающийся ударам судьбы.

Твардовский высоко ценит простые и неискоренимые свойства человеческой души — расположенность к людям, готовность прийти им на помощь, непоказную, органически присущую человеку самоотверженность. Он умеет находить в них негромкую, но истинную поэзию. Таковы поэтические рассказы «Надя Кутаева» и «Костя», рассказы о девушках, об их беззаветной, не знающей к себе никакого снисхождения, трудной работе на войне. «Она уже так надорвалась, изнурилась, что просто глядеть больно,— худышка, бледненькая, с наивно и как будто печально вздернутым носиком. И говорит о себе, осторожно покашливая, с грустью и жалостью не к себе, а к тому, что так ненадолго ее хватило:

— Перевязать я еще, конечно, перевяжу, но вынести уже не вынесу. Знаю, не вынесу».

Это Надя Кутаева, которая совсем не девичьи «ничего сама не боится и другим бояться не позволяет». Осталась ли она

жива, автор не знает, но уверен: она отдала раненым все что могла. Так же, как медсестра Костя, которую прозвали мужским именем — столько в ней храбрости. И вместе с тем в ней столько не погубленной войной молодости, юной непосредственности и обаяния. «Да если бы польза самому поперек рельсов броситься — с радостью!» — говорит она, но тут же достает платочек: вспомнила погибших хлопцев и, «заслонясь рукой, вытерла глаза, стараясь заслониться и этим жестом, и своей беззащитной улыбкой из-под руки».

«Костя» — один из лучших рассказов Твардовского, вошедший в хрестоматию, антологию, сборники. И между прочим, на его примере можно убедиться, какого большого труда он стоил автору. В рассказе нет имени девушки — Костя и Костя. «Костя? — говорит героиня рассказа. — А это мое партизанское прозвище. Смешное? А я привыкла. Я под этим именем и в сводке Информбюро выступала». И это не придуманная, а реально существовавшая, а может быть, и сейчас живущая женщина. 16 июля 1944 года в «Красноармейской правде» появилась публикация Твардовского «Из фронтовых записей», которая начиналась точно так, как и рассказ «Костя»: «Рожь едва начинала наливать, когда мы вступили в Витебск, и у нее было еще неполное зерно, а фронт гремел западнее Вильнюса, в глубине Белоруссии и на Литовских землях». И дальше шла, в сущности, корреспонденция о девятнадцатилетней медсестре Нине Зубковой, участнице знаменитой в те времена и в тех местах партизанской обороны на острове озера Палок. Уже здесь чувствовалась интонация и смысл будущего рассказа. Но многое ли можно было сказать в небольшой газетной корреспонденции? Она и ощущается как зерно, из которого постепенно вырос рассказ, от корреспонденции в нем остались всего три-четыре фразы, да и то наново переписанные. Под «Костей» дата — 1944—1946. Три года, отданные, разумеется, не одному этому рассказу, но в том числе и ему.

Вообще говоря, вся «Родина и чужбина» не придумана, за каждым эпизодом, каждым описанным в ней персонажем — реальная история и реальное, действительное лицо, чаще всего под своей фамилией. Поэтому Твардовский смог, например, дописать свой очерк о комбате Красникове, получив от него письмо в 1960 году, спустя восемнадцать лет после первой встречи с ним, и рассказав по письму о его дальней-

шей судьбе. Точно так же он узнал новости из письма, пришедшего к нему тоже много времени спустя из Албании от мальчика, ставшего за эти годы взрослым человеком, но навсегда запомнившего советского писателя. Трогательное письмо албанца теперь заключает очерк.

Эта документальная достоверность усиливает у читателя заинтересованность к каждому из выведенных Твардовским лиц. Мы знаем, что вот такими, какими он их описал, они были, жили, воевали, и многими из них мы вправе гордиться как своими соотечественниками.

Твардовский любит людей, способными невозможное делать просто, не жалуясь, и, уж конечно, ничем не похвываясь, делать так, словно иначе они и не могут жить: надо — значит, ничего особенного в этом нет. Надо было строиться после войны на пепелище — и Михаил Худолеев, инвалид, без ноги, начинает строиться.

«Я читаю, — пишет Твардовский, — эту историю возведения дома от первого до последнего венца и до гребня крыши человеком, не имевшим ни опыта в этом деле, ни порядочного инструмента, ни, наконец, достаточной физической силы. Ни одно бревно не легло само на место — его нужно было окорить, окантовать, поднять, перекачать, впустить в чашки углов и вновь вывернуть, выбрать в нем паз так, чтобы оно плотно пришлось по нижнему, горбылем легло в выемку, кривизной было пригнано по кривизне — словом, нужно как бы надеть это бревно на бревно, пригнать до неподвижности». И все это делать впервые в своей жизни и без всякой помощи, единственный помощник — жена Фруза с больной рукой. «Другой раз тащим с ней бревно: она правой рукой не может взяться, а я на левую ногу опереться избегаю, а тяжесть — двум здоровым мужчинам впору».

С чутким вниманием к каждой детали нелегкого труда Твардовский рассказывает о постройке избы, которая все еще и вида-то особого не имеет, да и вряд ли будет иметь, и мы несколько не удивляемся, когда он вдруг переходит на торжественный тон: «Мне все более естественным казалось определить возведение этого незатейливого избытого сруба как некий подвиг. Подвиг простого труженика, хлебороба и семьянина, пролившего кровь на войне, за родную землю и теперь на ней, разоренной и приунывшей за годы его отсутствия, начинаю-

щего заводить жизнь сначала, с жилья для своей семьи».

С горьким недоумением возвращаешься и после чтения этого очерка к нашей критике. Как можно было счесть эту историю постройки избы в одиночку фактом мало-значительным, на котором писателю не следовало бы задерживать свое внимание? И вновь остается только пожать плечами.

Просто и легко, конечно, говорить это сейчас, когда и в самом деле все встало на свои места. Значительно труднее было в то время самому автору. Реакция критики была для него, пожалуй, неожиданной. Ведь «Родина и чужбина» была не просто прозой, но прозой во многом личностной, что определило и ее ярко выраженную лирическую тональность. Обращенная к действительности и постоянно озабоченная всем, что составляло в те годы народную жизнь, эта проза полна сокровенных раздумий Твардовского, мыслей, ему дорогих и выстраданных, проверенных опытом. И люди, которых встречал он и о которых свои впечатления занес на страницы записной книжки, были ему в большинстве случаев близки по духу и характеру своему. Эту прозу можно было бы назвать исповедальной, если бы автор, говоря как будто про себя, не был бы заинтересован другими людьми куда больше и чаще, чем собой. Их судьбы, судьбы всего народа — вот что постоянно волновало Твардовского, вот где главный эмоциональный нерв всей его книги. И потому Твардовский предельно откровенен: в раздумьях о судьбах народа никакой литературной игры и заданности не может быть. Вся «Родина и чужбина» написана как бы на духу — предельно обнаженная и в этом смысле незащищенная проза. Но именно о ней и было сказано, что это никуда не годная проза, «плод политической ограниченности и отсталости».

Надо отдать должное Твардовскому. Проработочная критика ни на йоту не поколебала его. В появившемся в 1959 году издании «Родины и чужбины» он не снял ни один из раскритикованных рассказов и не изменил в них ни строчки. В том же виде они потом перепечатывались и в его собраниях сочинений. У нас принято хвалить писателей, когда они в ответ на критику возвращаются к своим произведениям и вносят в них изменения. Что ж, было немало случаев, когда это шло на пользу. Но есть необходимость с уважением отнестись и к

тем, кто отвернулся от ошибочной, грубо-проработочной критики и остался при своем мнении. Твардовский из их числа.

Это, конечно, не значит, что критика «Родины и чужбины» прошла для него даром. Если бы это было так... Внимательный читатель Твардовского без труда заметит, что годы, следовавшие за критическим шквалом, не из самых плодотворных у него. Может быть, самые неплодотворные. И хотя в 1948—1951 годах появляются такие прекрасные стихотворения поэта, как «В тот день, когда окончилась война», «Памяти Ленина», «Свет всему свету» и некоторые другие, видно все же, что, во-первых, кое-что было начато ранее и, во-вторых, Твардовский пишет значительно меньше, чем раньше, словно он остановился и задумался, что же делать и как жить дальше. Не оставляет он и прозу, но и тут работа идет вполнакала: появляются всего два путевых очерка — «В деревне Братай» и «На хуторе в Туре-фиорде».

На этих очерках следует коротко остановиться, хотя они, пожалуй, не занимают приметного места в творчестве Твардовского. Интересны они прежде всего тем, о чем Пушкин в свое время сказал: «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины». С какой отрадой, удовольствием, восхищением замечает Твардовский все знакомое и близкое ему в далеких и неизвестных странах — и албанский вечер, который «своей прохладой, запахом свежей пыли прямо-таки напоминал наши деревенские вечера», и угретые солнцем норвежские «местинки» — «самое что ни на есть среднерусское, подмосковное, только вчера оставленное на родине», и такие будто ему самому принадлежащие слова, которые он услышал от народного албанского певца: «Ты пиши правду, ничего не придумывай от себя для украшения правды». Но радуясь близкому и душевно родственному, он с серьезностью относится и ко всему, что ему внове и удивительно, что дорого другому народу и, значит, достойно и внимания и уважения гостя этого народа. Это очень характерная черта Твардовского: во время каждой поездки за границу он остро переживал незнание чужого языка, не позволявшее, как хотелось бы ему, узнать другой народ («Поездка в другую страну без знания языка, — сетовал он. — это все равно что чтение книги с неразрезанными страницами»).

Зарубежные очерки не могли принести Твардовскому творческого удовлетворения хотя бы в силу того, что, как я только что

заметил, это было все-таки с неизбежностью беглое знакомство с далеким материалом.

Кризисные годы в творчестве Твардовского нашли отзвук в стихах «Самому себе», «Перед дорогой» и других.

Или гадаю, вступив на развилку:
Где меня ждет озаренье и свет
Радости той, что, быть может, я в силах
Вам принести, а быть может, и нет?..

Стихотворение «Перед дорогой» кончается, между прочим, многозначительно:

Все я приму поученья, внушенья,
Все наставленья в дорогу возьму.
Только за мной останется решенье,
Что не принять за меня никому.

Я его принял с волнением безвестным
И на себя, что ни будет, беру.
Дайте расчистить рабочее место
С толком, с любовью и — сразу к перу.

Но за работой, упорной, бессрочной,
Я моей главной нужды не таю:
Будьте со мною, хотя бы заочно,
Верьте со мною в удачу мою.

«Перед дорогой» было написано летом 1951 года. Тогда же, 21 июня, в «Литературной газете» появился первый отрывок из поэмы «За далью — даль». Поэт вновь выходил на широкий простор большого замысла. И как характерно для него трезвое понимание, что никто не примет за него решенье, что и как ему делать, и эта надежда, что читатели будут с ним хотя бы заочно.

Начинался новый творческий подъем, тоже не легкий и не простой: поэма «За далью — даль» давалась порой с большим трудом, недаром на нее ушло чуть ли не десять лет. Этап, безусловно, подготовленный всей его предыдущей работой, в том числе и над прозой. Между «Родиной и чужбиной» и поэмой «За далью — даль» тоже прослеживается прямая связь.

«Я продолжаю свои записи по-прежнему,— писала Ольга Берггольц в «Дневных звездах»,— не связывая себя более тесной формой, чем открытый дневник, в котором смещается прошлое, настоящее и будущее, память жизни и предвосхищение ее, герои погибшие и живые». Но ведь это как раз та самая форма, которая уже была с успехом опробована Твардовским в «Родине и чужбине», и когда сравнивают и сближают «Дневные звезды» и поэму «За далью — даль», то возникает законный вопрос: почему бы не сравнить прозу Берггольц с про-

зой Твардовского, а после этого не сблизить и прозу самого Твардовского с его же поэмой? Лирическая, не стесненная условностями и формальными правилами, ни даже рамками самого необязательного сюжета, проза Твардовского, конечно же, предвосхищала лирическую прозу 50-х и 60-х годов. И вместе с тем она вела самого Твардовского к сути и к форме его поэмы. «Предчувствуется большая емкость такого рода прозы»,— писал Твардовский о своем замысле повести не повести, дневника не дневника, в котором явилось бы несколько слоев разнообразных впечатлений. Эта свободная, вольно перемежающаяся многослойность уже была в «Родине и чужбине», но еще больше и заметнее заявила о себе в поэме «За далью — даль». Там она стала принципом композиции, организации всего поэтического материала.

Многократно цитировалось:

Есть два разряда путешествий:
Один — пускаться с места в даль;
Другой — сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

На этот раз резон особый
Их сочетать позволит мне.
И тот и тот — мне кстати оба,
И путь мой выгоден вдвойне.

Но эти два разряда путешествий Твардовский уже с успехом совершил в отдельных зарисовках «Родины и чужбины», в очерке «В родных местах», где воспоминания о Загорье, Смоленске тесно переплетались с современным материалом.

Все писавшие о поэме «За далью — даль» отмечали необычайно усилившееся в ней (по сравнению с предыдущими поэмами Твардовского) лирическое начало. Александр Макаров, говоря об этой поэме, справедливо заметил: «Но с его манерой мышления, склонностью к раздумьям, к искреннему разговору с читателем мы несколько уже знакомы. Не только по лирическим отступлениям в «Теркине» и стихам. В своем новом качестве лирика поэт впервые наиболее полно явил себя в книге прозы «Родина и чужбина» — в страницах из записной книжки военных лет. Написанная кристально-прозрачной и такой поэтически одухотворенной прозой, она в какой-то мере предвещала тот лирико-аналитический характер отображения жизни через сердце автора, какой станет определяющим и для Твардовского-поэта 50-х годов».

Можно не согласиться с отдельными утверждениями критика; мне думается, на-

пример, что в качестве лирика Твардовский достаточно полно проявил себя и в довоенной «Сельской хронике», но в целом Макаров верно углядел близость прозы «Родины и чужбины» с поэмой «За далью — даль». Об этом тоже можно было бы специально и обстоятельно поговорить. Монологическая форма поэмы-исповеди, в центре которой один герой — сам поэт, не условный лирический герой, а именно поэт Александр Трифонович Твардовский со своими мыслями, поездками, наблюдениями, размышлениями, наконец, со своей биографией (Твардовский не выносил самого этого понятия в личной лирике — лирический герой, считая его абсолютно несвойственным русской классической поэзии, привнесенным декадентством. «По лирике Пушкина, Шевченко или Некрасова, — говорил он, — можно с полной достоверностью изучить их личную жизнь, в ней нет чего-либо такого, что другие придумывали ради так называемой «поэзии»...»), — эта форма монолога-исповеди, конечно, уже присутствует в записях «Родины и чужбины». И сама широта интересов Твардовского ко всему, что происходит на свете, тоже уже есть там.

Я сердце по свету рассеять
Готов. Везде хочу спеть.
Нужны мне разом
Юг и север,
Восток и запад,
Лес и степь;

Моря и каменные горы,
И вольный плес равнинных рек,
И мой родной далекий город,
И тот, где не был я вовек;

И те края, куда я еду,
И те места, куда — нет-нет —
По зарастающему следу
Уводит память давних лет...

Как это перекликается со словами из «Родины и чужбины»: «Только теперь, кажется, научился любить природу, не только загорьевскую, смоленскую, не только даже русскую, а всю, какая есть на божьем свете. Любить, не боясь в чем-то утратиться, не изменяя ничему и не томясь изменой, — свободно». И как вся эта книга прозы проникнута тем же самым трепетным вниманием ко всему сущему, бесповоротной готовностью рассеять себя, свое сердце всем землям и всем близким людям. А таких людей у него было много — народ.

Эти особенности мышления определяли содержание, а содержание — форму, и в «Родине и чужбине» и в поэме «За далью — даль» свободную, раскованную, не огляды-

вающуюся ни на какие каноны, примеры, правила и образцы: и образцы в литературе — не закон.

Вообще выгоды свободной композиции Твардовским впервые были почувствованы именно в работе над «Родиной и чужбиной». «Чего-чего не вспомнить, не скрестить и не увязать при таком плане!» — эти слова относились к лирической, не зависимой от сюжетных заданностей прозе. Любопытно, что в годы работы над поэмой «За далью — даль» Твардовский тоже думал написать нечто вроде «Записок председателя колхоза», куда собирался «втоптать», как он говорил, самый разный материал начиная от впечатлений 30-х годов. «Грешно, — замечал он, — не использовать все выгоды такой литературной формы, предоставляющей удивительную свободу и простор для размышлений о времени».

Однако Твардовский, разумеется, меньше всего считал, что такая внутренняя свобода освобождает писателя от необходимости организовывать материал. «Проза, — сказал он однажды, — в известной мере требует от писателя большей дисциплины и строгости, чем поэзия, потому что в прозе нет таких внешних ограничителей, как ритм, рифма, строфа, и растечься в ней легко. В прозе особенно необходимы чувство меры и соразмерности, благородная сдержанность, собранность, понимание необходимости эпизода, абзаца, слова. Проза должна быть экономной». Эту мысль он варьировал и повторял не раз, привлекая для доказательства всякого рода соображения. «Усвоив бог весть кем преподанный принцип, согласно которому художник, мол, «не рассказывает, а только показывает», — говорил он, — наши писатели, особенно это касается молодых, решительно избегают пользоваться таким мощным средством изображения, как авторская речь, и тем самым утрачивают мастерство собственно повествователя, рассказчика. И это опять же ведет к разжижению, к длиннотам, к вспомогательным диалогам, назначению которых единственно в том, чтобы ввести читателя в простейшие обстоятельства дела». В другой раз, услышав как-то слова одного из сотрудников журнала о том, что много пишут те, кому нечего сказать, Твардовский горячо подхватил эту лишь по внешности парадоксальную, а на самом деле точную мысль. «Это очень верно, — говорил он. — Если писатель решает для себя важную задачу, он неуклонно продвигается вперед, а если вся эта задача состоит только в том, чтобы напи-

сать роман, то добра не жди, появится не меньше чем эпопея. На меньшее такой романист и не согласен. А между тем он и хорошего рассказа не в силах создать». «Объем вещей,— замечал он при этом,— часто объясняется тем, что автор не может распорядиться материалом, не в силах свети концы с концами». И в своем «Слове о Пушкине» специально оговорил это: «Ссылаться на «Войну и мир» в этом случае могут лишь забывающие о том, что «Война и мир» — одно из самых сжатых произведений мировой литературы».

В том же «Слове» Твардовский сказал, что проза Пушкина «своим лаконизмом и емкостью восхищала всех старших богатырей позднейшей, высочайшим образом развитой русской прозы». Лаконизм и емкость он высоко ценит и в прозе Бунина. «Бунину нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисциплину строки — ни одной полой или провисающей — каждая, как струна,— за труд, не оставляющий следов труда на его страницах».

И в этом смысле проза самого Твардовского тоже являет нам пример мастерства.

Рассказы, зарисовки, записи, составляющие «Родину и чужбину», — это тщательно отгнанные и отшлифованные произведения, где тоже не найдешь ни одной полой или провисающей строки и где труд писателя также не оставил следов. Иногда и впрямь кажется, что эта естественная, лишенная каких-либо признаков усилия, тем более натуги, проза возникла и вылилась из-под пера тотчас же, что это и в самом деле беглые, сделанные под напором фронтовых впечатлений записи. Но тут же видишь, что, при всей своей фрагментарности, каждая из записей — серьезно продуманное и законченное целое, в котором нет ничего случайного и лишнего, все, пользуясь словами Твардовского же, «служит основой музыки, настроению и мысли рассказа».

Тот же А. Турков писал: «Свойственная Твардовскому обостренность восприятия жизни в мозаичности ее разнообразных проявлений придает этой фрагментарной книге уникальную, почти летописную ценность». Стоит лишь добавить, что объединяет книгу присутствующий на каждой странице автор, рассказчик, со свойственной ему обостренностью восприятия, реалистическим, постоянно взыскующим правды и истины, справедливости, широко народным взглядом на события времен войны. Он ведет свой рассказ «о времени и о себе», и книга эта

уникальна еще и потому, что в ней — история жизни большого русского писателя, поэта в годы тяжелейших народных испытаний.

Следует хотя бы коротко сказать, что «Родина и чужбина» тесно смыкается и с позднейшей лирикой Твардовского. Как я уже заметил, несколько раньше «Родины и чужбины» в «Знамени» появился цикл Твардовского «Стихи из записной книжки». Под этим циклом дата — 1941—1945. Та же дата стоит и под книгой прозы.

В отличие от прозы «Стихи из записной книжки» были встречены вполне сочувственно. «По силе чувств, по тому впечатлению, которое производят лирические «Стихи из записной книжки», — писал А. Макаров, — они превосходят многое из опубликованного Твардовским в те же годы. Облик войны предстает в них более сложным и суровым, мы бы сказали, более реалистическим, а сам поэт раскрывает перед читателем новые стороны своей гуманной души». То же самое без каких-либо поправок можно было бы сказать и о «Родине и чужбине».

Первый цикл «Стихов из записной книжки» представляется просто вычлененным из прозы — настолько органична их близость, похожесть, тональность и настроение. Здесь есть даже буквальная переключка. Один из самых лиричных рассказов «Родины и чужбины» — рассказ «О ласточке». Дымок человеческого жилья приманил ласточку, потерявшую гнездо в сжатой деревне, в траншее, и она высмотрела себе местечко под обжитой крышей солдатского дома. Ее появление в траншее стало событием для солдат, и один из них написал об этом безыскусные, совсем неумелые, но полные щемящего чувства стихи, первые и, пожалуй, последние стихи в своей жизни. Твардовский приводит в рассказе это коротенькое стихотворение. Но, видимо, оно так поразило его, что он счел нужным переделать его и поместить в своей лирической подборке. Любопытно сравнить оба стихотворения — редкий случай, когда предоставляется возможность увидеть, что получается из неумелого, но искреннего стихотворения под пером поэта-мастера. К тому же этот пример — самый наглядный, если говорить о тесной связи прозы военных лет с нарождавшейся в то время новой лирикой Твардовского.

Вновь проза Твардовского в какой-то мере забегала вперед, в ней он разведывал и нащупывал для себя новые пути и воз-

возможности. В послевоенные годы Твардовский вообще много и настойчиво ищет, все время уходит от самого себя, уже известного читателям, стремится не повторяться, а каждый раз решать новую для себя задачу. Его слова о Бунине: «...художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, всякий раз решающий для самого себя некую задачу, а не приходящий к читателю с готовыми и облегченными построениями подобию жизни» — с полным правом можно отнести и к нему самому. По его убеждению, именно постоянная неудовлетворенность, доходящая до отвращения к каким-либо литературным построениям, неутомимые поиски и могут только укрепить художника в сознании неисчерпаемости искусства и безбрежности его возможностей. В одном из последних стихотворений Твардовский сказал об этом с покоряющей силой:

Нет ничего, что раз и навсегда
 На свете было б выражено словом.
 Все, как в любви, для нас предстанет
 новым,
 Когда настанет наша черед.

Не новость, что сменяет зиму лето,
 Весна и осень в свой приходят срок.
 Но пусть все это лето-перепето,
 Да нам-то что! Нам как бы невдомек.

Все в этом мире — только быть на
 страже —
 Полным-полно своей, не привозной,
 Ничьей и невостребованной даже,
 Заждавшейся поэта новизной.

Эти стихи как бы итог — и какой оптимистический! — многолетних раздумий Твардовского о судьбах и путях искусства, о собственном творчестве. С годами эти раздумья овладевали Твардовским все с большей и большей властью. Можно твердо сказать, что чем выше становилось его мастерство и богаче опыт, тем напряженнее он думал о литературе и писал все труднее и медленнее. И все сдержаннее и строже. Об этом он тоже сказал в стихотворении, опубликованном уже после его смерти:

Всему свой ряд и лад и срок:
 В один присест, бывало,
 Катал я в рифму по сто строк,
 И все казалось мало,

Был неогляден день с утра,
 А нынче дело к ночи.
 Болтливость — старости сестра, —
 Короче.
 Покороче.

Мы уже видели, что это «короче» во многом определяет страницы записной книжки — прозы и стихотворений.

Осмысление Твардовским своего творческого опыта шло параллельно работе над произведениями, да и в самих произведениях Твардовский все чаще касается различных эстетических проблем. До войны он никогда не обращался к ним. А после войны появилось не менее десятка стихотворений, целиком посвященных литературе («Не много надобно труда...», «Мои критикам», «Вся суть в одном-единственном завете», «Собратьям по перу», «Слово о словах» и другие). Целая глава в поэме «За далью — даль» так и называется «Литературный разговор», и разговор этот идет не только в этой главе. Большой нелюбитель просто «стихов о стихах», Твардовский ведет литературный разговор широко, не замыкаясь в кругу сугубо эстетических и тем более внутрилитературных забот, в конце концов волнующих немногих. Говоря о литературе, он всегда захватывает не одну литературу, а выходит за ее пределы, ставя и решая серьезные общественные вопросы. Скажем, само по себе мастерство для него не только профессиональная, а и общественная проблема, составная часть более широкой проблемы ответственности художника перед обществом, читателями. Ответственность же художника ничем принципиально не отличается от ответственности любого человека перед народом, пожалуй, она лишь выше и с художника спрос больший.

Широта и глубина взгляда Твардовского на проблемы, которые нередко сводятся к узкопрофессиональным, внутрицеховым, отчетливо видна в рассказе «Печники». Твардовский работал над ним долго, откладывал и возвращался к нему в течение пяти лет начиная с 1953 до февраля 1958 года, когда рассказ появился в «Огоньке». В разговорах о «Печниках» Твардовский определял его как рассказ о таланте и неталанте, но всякий раз добавлял, что, конечно, не только об этом. «Проще простого, — сказал он однажды, — унижить и высмеять неталант. Это любят делать как раз неталантливые люди, воображающие себя талантом. Куда продуктивнее задуматься над соотношением призвания и места человека в жизни. Это уже дело вполне социальное».

Печников в рассказе двое — Егор Яковлевич, известный на всю округу мастер, уже старик, на пенсии и на отдыхе, и воен-

ный комиссар, майор, так сказать, печник-любитель. Майор этот вообще охотник до многих дел и искусств. «...я за что взялся, должен постигнуть, говорит он: Я не отстудлюсь, покамест не постигну. Вроде этой печки, знаете». Вдруг мы узнаем, что он и стихи пописывает, и не очень удивляемся этому открытию: майор — человек живой, с активным интересом ко всему на свете. И человек милый, во всех отношениях приятный, готовый каждому помочь, и вполне бескорыстно. Он и за печку взялся, потому что некому было класть ее: угрюмый и несговорчивый мастер Егор Яковлевич, как его ни умоляли, категорически отказался. И стихи он пишет не только для своей души, но полагает, что, должно быть, они тоже нужны людям: «...попытки к авторству развились у него уже очень сильно».

И вот такой не просто хороший, но благородный человек начинает в наших глазах проигрывать. И кому — сварливому, нелюдимому, высокомерному старику. «Я бы мог утверждать, — говорит о нем рассказчик, — что с такой крайней недоступностью и ленивым высокомерием со мной не мог бы говорить не только заведующий районным или областным отделом народного образования, но и любой высокопоставленный начальник с секретарями, телефонами и записью на прием». Вот даже как! Но наступает минута, когда этот старик берется за дело — и мы сразу начинаем понимать: да этому старику немалая цена. Мастер.

На всем, что делает Егор Яковлевич, лежит печать высокого мастерства, к которому нельзя не проникнуться самым искренним уважением и уже не перенести это почтительное уважение и на самого его. Трудно противиться словам мастера, когда он говорит: «Талант должен быть один. А на что нет таланта, за то не берись. Не порти. Вот что я всегда говорю, и ты это положи себе на память».

Слова «талант должен быть один» надо понимать, конечно, не буквально. Егор Яковлевич внушает ту свою задушевную мысль, что человек должен иметь призвание на земле, чтобы не прожить жизнь попусту. А так ведь можно своего дела не сделать и чужое испортить. К тому моменту, когда старый печник говорит эти слова, и в рассказчике и в читателе происходит то чудо переосмысления человека, смена отношения к нему, какое нередко бывает в жизни, а в литературе достигается лишь в тех случаях, когда перед нами живой, постепенно докоряющий читателя своей значительно-

стью характер. Неприветливый, весь какой-то колючий, «нравный» старик становится нам ближе и дороже, чем свойский, разговорчивый и простецкий майор. Слова старика подкреплены делом, за всем же, о чем с непрменной живостью говорит майор, нет ничего, кроме дилетантства. За словами старика — твердое, золотое обещание, а то, что говорит майор, немногого стоит.

Переноса эту мысль в литературу, Твардовский с убежденностью скажет: «Нет, слово — это тоже дело, как Ленин часто повторял». Слово не должно быть пустым, зряшным, дежурно-краснобайским, все это «слова — труха», «слова — утиль», им соответствует такая же пустота мысли, бедность содержания, «пустоутробие», как с резкостью говорил иногда Твардовский. Высокая требовательность писателя к себе была у Твардовского неотделима от ответственности перед народом. Он полагал, что без такой требовательности и ответственности вообще не может быть серьезного писателя. Писатель должен быть мастером. Иначе он не писатель.

Нужно, чтобы и каждый человек был мастером в своем деле, говорит Твардовский своим рассказом. Мастерство — мера личности, по нему ведется отсчет ее ценности и значительности, и эта шкала ценностей — единственная, которой можно доверять при оценке сделанного человеком на земле. Ибо мастерство, ко всему прочему, еще и самая надежная гарантия прочности и долготы трудов человеческих. Мастерство нетленно. Это тоже одна из сокровенных мыслей Твардовского, и она также нашла отражение в последнем его опубликованном рассказе.

Высокая требовательность к мастерству, которое Твардовский никогда не сводил к сумме профессиональных навыков, при всем понимании необходимости профессионализма и в литературе, как в любом другом деле, а к мастерству как к неустанным и напряженнейшему поиску совершенного выражения жизненного содержания, к мастерству, равному только открытию, — эта высочайшая мера высказательности все с большей и большей неуклонностью представлялась Твардовским в последние годы его жизни, и на этот счет можно было бы привести десятки письменных и устных его высказываний. «По опыту своему и множеству других я знаю, как не вдруг обретается новая, более глубокая борозда», — скажет он в одном случае. «Не спешите писать, спешите читать и думать», — предо-

стережет он в другом. «Мерить необходимо мерилом вершины», — заявит в третьем. А что такое вершины? Это даже и не Лев Толстой и не Пушкин, потому что, как уже многократно цитировалось, сам Лев Толстой не скажет о том, «что знаю лучше всех на свете» и что «сказать хочу. И так, как я хочу». Вершина — то, чем каждый должен овладеть, идя никем не хоженым и самым трудным путем, и каждый раз — другим!

Такую требовательность Твардовский предъявлял вонне к самым разным авторам сознательно и убежденно, не делая скидок никому — ни начинающим, ни увенчанным славой, самым что ни на есть именитым. И прежде всего самому себе. Порой это походило на самоистязание, которое он, конечно, тщательно скрывал от окружающих. «Должно быть, страшно приступить к новой работе, — говорил он, — как весомо и выношено должно быть каждое слово, каждый поворот мысли и любое изменение интонации», и теперь можно догадываться, что речь шла не о ком-то неизвестном, а о нем. И писал он, как я уже заметил, все труднее и труднее. Вот и такое сравнительно простое дело, как написание письма к семидесятилетнему Михаилу Васильевичу Исаковского, заняло целый месяц размышлений и работы, и существует не менее десятка вариантов этого приветственного адреса.

Последнее десятилетие интерес Твардовского к прозе в какой-то мере проявился в его литературно-критических работах. Его работы о Бунине, Маршаке, Исаковском — это литературные портреты, написанные рукой опытного мастера-прозаика. Чего стоит, например, такое описание: «Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захоластной степной усадьбы, где хрустит ледок, натянутый над вчерашними лужицами, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебряно-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запахов мокрой листвы и лежалых яблок, или в дымную, крутящуюся ночную вьюгу по дороге, утыканной расстепанными соломенными вешками, — все это приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, щемящей сладости личного воспоминания». Это настоящая проза, и ее можно брать из литературных портретов, созданных Твардовским, полными пригоршнями, чтение их доставляет истинное наслаждение. К тому же в лучшем из этих портретов — о Бунине —

сформулированы и многие художественные принципы самого Твардовского-прозаика, что уже имеет иной, но тоже важный интерес.

Все с большей и большей ответственностью относился Твардовский к слову. И здесь следует хотя бы бегло сказать о неосуществленном романе Твардовского «Пан». Это тем более необходимо, что именно о нем он мечтал как о своей главной книге. Крайне скупой, пожалуй, скрытный во всем, что касалось планов и замыслов, Твардовский, однако, кое-что говорил о «Пане» «прежде времени»: видимо, «Пан» сильно занимал его многие годы, с начала 50-х годов. Помню, он сказал как-то: «Иногда я чувствую к себе как к автору некое снисходительное отношение: что он там пишет дальше? Как бы он хорошо ни писал, все равно главная книга его позади — «Теркин». А ведь «Теркина», всего «Теркина» я писал, признаться, с таким чувством, словно делаю еще не самое главное в своей жизни, а главное, что я еще могу — впереди и я его потом сделаю... — И задумавшись, сказал: — Главной книгой может стать «Пан»...»

Мысль о «Пане» все время возвращалась к Твардовскому. В начале 60-х годов я слышал от него: «Очень стучится «Пан». А стихи пора кончать писать, читать их я уже совсем отвык, не могу. Писать их — это уже какая-то не то распушенность, не то запущенность...» К счастью, последние слова остались словами и он не оставил стихи. Но можно только пожалеть, что не воплотился замысел «Пана».

По замыслу, эта книга должна была строиться на автобиографическом материале (Пан Твардовский — деревенское прозвище отца писателя Трифона Гордеевича) и охватывать детство и юность поэта, совпавшие с коренными переменами в жизни деревни и всей страны. По-видимому, самый начальный замысел этой прозы возник у Твардовского еще во время войны, вскоре после посещения родных мест, освобожденных от оккупации. «Родилась затея, — записал он тогда, — которая, если только не «перегреть» ее в себе, делает выгодным сегодняшнее трудное мое положение, отрыв от настоящей работы и т. п.». Это писалось как раз в тот самый момент (в 1943 году), когда поэту показалось, что «Теркин» уже окончен, он было поставил точку в работе над книгой, и эта пауза представилась как отрыв от дела. Но пауза в работе случилась

все же недолгой: по письмам читателей Твардовский вскоре понял, что «Теркина» надо продолжать, и книга про бойца вновь пошла с главы «Отдых Теркина». Замысел же прозы представлялся тогда как свободный, ничем не связанный разговор о самых разнообразных впечатлениях — от детства до войны, с переходом из одной эпохи в другую.

Впоследствии первоначальный замысел несколько видоизменился, в центре повествования должен был встать отец — человек очень сложный.

По отрывкам, с которыми знакомил Твардовский товарищей, можно предположить, какая бы это была плотная и, не побоимся сказать, мудрая в своей точности и психологической достоверности проза. К тому же и широкая по своим обобщениям.

В последнем собрании сочинений Твардовского проза заняла целый четвертый том. Да еще есть крупный «добавок» в пятом томе — «С Карельского перешейка», свыше четырех печатных листов. Нет сомнения, что в новом, более полном собрании сочинений, которое в ближайшие годы должно быть начато изданием, читатель познакомится с неизвестными ему страницами прозаического наследия писателя.

До самого конца своей жизни Твардовский не расставался с надеждами поработать над прозой. Знаю, что ему хотелось, например, пополнить «Родину и чужбину» новым материалом: он говорил, что пишет рассказ о встреченных им в Болгарии бывших русских офицерах, занесенных бурей

гражданской войны в эмиграцию, да так там и доживающих свой давно потерявший смысл, сходящий в глухое забвение век. В начале 60-х годов его волновала проблема сселения мелких деревушек в агрогорода, и он почти повторял слова, сказанные раньше о «Пане»: «Очень стучится рассказ „Дом на полозьях“». Были замыслы, связанные с очерками о Сибири. Постоянно он думал и о родной Смоленщине и тоже собирался писать о ней.

Так или иначе, многие последние замыслы Твардовского были повернуты к прозе.

В «Автобиографии», помеченной последней датой — 1965 год, — он писал: «В замыслах же и предположениях на будущее проза издавна занимает у меня, пожалуй, наиболее обширное место».

— Жить для меня, — сказал Твардовский однажды, — значит сочинять, продвигаться так или сяк ли дальше, оставляя какой-то, хотя бы взрытый след.

Эта мысль никогда не оставляла Твардовского, была его повсечасной и мукой и радостью, с годами больше мукой, чем радостью. Года за два до болезни, навсегда оторвавшей его от письменного стола, он сказал:

— Мечтаю о сладостной плотности прозы. Всегда мечтал. И сейчас бы заняться ею. Да-а...

И только махнул рукой. Даже в мечтах проза тесно связывалась у него не с чем-нибудь, а с «плотностью», он хотел в ней многое сказать и выразить.

Но он и успел многое в ней сказать. Его поистине «плотная» проза достойна его великой поэзии.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Петр Проскурин. Сказание о Сибири.— **Римма Казакова.** Над новым днем, над незасеянным простором.— **В. Кардин.** О лебедях и «лебедушках».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Рытов. Формула деловитости.— **В. Буганов.** Армия и флот России в XIX веке.— **С. Резник.** От биссферы к ноосфере.

Литература и искусство

СКАЗАНИЕ О СИБИРИ

Георгий Марков. Сибирь. Роман. Книга первая. М. «Молодая гвардия». 1971. 318 стр. Книга вторая. «Знамя», 1973, №№ 6, 7.

Мир романа, несмотря на многочислен-ные и настойчивые прогнозы об идущем якобы интенсивном затухании и даже умирании этого жанра, обретает в последние годы все новые и новые горизонты, завоевывает все новые художественные и нравственные позиции. Человеческое сознание требует полноты и объективности в отражении процессов жизни, ее катаклизмов и достижений, ее многочисленных течений, ее социальной амплитуды при непрерывной закономерности движения — и все это в преломлении через душу, дела и страсти человека, через его связи с прошлым, через его неустанное устремление в будущее. Только роман может дать такой всеобъемлющий охват жизни, только роман способен нести в себе неисчислимую множественность процессов, ситуаций, характеров, множественность, в которой каждый найдет созвучие со своей собственной душой и совестью, со своим естественным закономерным интересом к той или иной плоскости бытия.

Мир нерасторжим в добре своем и зле, и человек как продукт многих и многих

формаций и эпох не принадлежит замкнуто ни к одной из них — способность романа дать ощутить и эту немаловажную грань подтверждается рядом крупных произведений исторического плана, появившихся сразу одно за другим за последние годы. В них ясно прозвучала мысль о необходимости для человека знать свое прошлое, чтобы возможно полнее пользоваться настоящим, ибо именно прошлое и составляет саму память человечества, ту вечную книгу борьбы и поиска, которую человечество листает уже не одно тысячелетие. Без овладения опытом прошлого невозможно никакое прогрессивное движение вперед, историю нужно не только хорошо знать, но еще и защищать активно, творчески, защищать от извращений, от попыток фальсифицировать ее.

Мир исторического романа огромный, те или иные особенности нашего времени делают необходимым еще и еще раз высветить нравственным оком пласты прошлого, резко направленным лучом исследовать и для текущего момента важные исторические закономерности отшумевших эпох, быт и человеческих страстей. Устремляясь к бу-

душему, человек всегда хочет оглянуться назад, утвердиться еще и еще раз в том, что позади — прочные, надежные ступени. Если же он теряет чувство этой связи, если между ним и прошлым — обрыв, требуются мучительные усилия и долгая кропотливая работа времени, чтобы восстановить разорванные связи и равновесие, возобновить движение вперед...

За старым Уральским хребтом лежит целая огромная страна, о которой еще Ломоносов пророчески возвестил: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». И сейчас чем больше проходит времени, тем яснее начинаем понимать мы значение Сибири, недаром она все больше привлекает к себе внимание человечества. Сибирь издавна формировала характеры многих поколений русских людей от первых землепроходцев, от политических ссыльных до покорителей целины, до строителей нынешних колоссальных гидростанций, и интерес литературы к сибирскому характеру закономерно постоянен и глубок. Но несмотря на отдельные художественные достижения и открытия (в их числе блистает полная буйных контрастных красок, неповторимая шишковская «Угрюм-река»), Сибирь в этом плане по-прежнему еще остается манящим, малоисследованным материком.

Вспоминаешь романы Николая Задорнова, посвятившего свою жизнь и талант первым землепроходцам Сибири и Дальнего Востока, — труд этот, составивший целую серию полнокровных романов, к большому сожалению, серьезно не отмечен нашей критикой, хотя потребовал от немалых усилий в освоении совершенно не изученного материала.

Вспоминаешь произведения Ефима Пермитина и Алексея Черкасова. Еще — «Черных людей», роман-хронику Всеволода Ник. Иванова, взглянувшего на проблему освоения и заселения Сибири и Дальнего Востока русскими людьми в еще более глубоко историческом аспекте, в еще более далекие, допетровские времена, нравственно и философски, всей художественной тканью романа, системой образов утверждавшего закономерность государственно-народного движения России с запада на восток. Совсем недавно в журнале «Дальний Восток» напечатан роман Н. Наволочкина «Амурские версты» — об основании на реке Амур города Хабаровска казаками, о тех мужест-

венных людях, труда и деяния которых дадут потом возможность Ленину сказать: «...Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенький...»

И вот появился роман Георгия Маркова «Сибирь», в котором писатель исследует совершенно новый пласт жизни Сибирского края.

Георгий Марков — один из тех писателей, кто прочно связал свою творческую судьбу с Сибирью.

Тот факт, что Сибирь в силу своих природных особенностей была, кроме всего прочего, и местом политической ссылки, наложил на ее исторический облик свою резкую черту — это такая выразительная социальная особенность, мимо которой не мог пройти пытливым взгляд художника. Если проследить основные пересечения конфликтов и нравственно-социальных и философских плоскостей романа «Сибирь», то у нас сложится картина, впечатляющая и по протяженности во времени и по значимости происходящего на просторах российских.

Марков глядится в дальнюю историческую перспективу — от времен просветительского подвига декабристов, которые явились для Сибири не только революционной, но и интеллектуальной закваской, теми дрожжами, на которых взошла передовая мысль Сибири, и до времен ссыльных большевиков, исторически продолживших эту миссию. Принявшие эстафету от декабристов, большевики вели революционную и просветительскую работу в Сибири в самых широких народных массах. Уже становятся явными первые признаки коррозии изжившей себя социальной эпохи. Уже народ начинает, пусть еще неосознанно, ощущать необходимость перемен, необходимость очистительной грозы, уже старое в предчувствии смертельной опасности идет на самые крайние, самые отчаянные меры в усилиях хотя бы отодвинуть приближающуюся, неведомую еще в полную меру опасность.

Схватка двух эпох в душах людей — вот основной стержень нового романа Г. Маркова, и так как это художник резко и постоянно обозначенных привязанностей и устойчивых симпатий, то перед нами раскрывается эмоционально-нравственный мир явно марковский. Здесь можно совершенно определенно говорить об углублении художественного видения по сравнению с прежними, получившими широкое читатель-

ское признание романами писателя — «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын». Это углубление — прежде всего в более отчетливом поиске, в более резком проникновении в народный характер, в усилении внутренней освещенности глубин народной жизни. И хотя такое свойство таланта Маркова проявлялось и в прежних романах, в «Сибири» оно, это свойство, получило новое дыхание, свое философское наполнение. Главной определяющей, движущей силой, пружиной романа является народ; в романе неотступно ощущается дыхание этой громады, этого мощного, неостановимого потока, который в конце концов и определяет пути истории, пути и свершения социальных перспектив.

В орбиту жизни, событий, переплетений бытовых и социальных ситуаций и конфликтов оказываются тесно втянутыми две семьи — революционера Горбюкова и купца Епифана Кривокурова, рвущегося к большому богатству, к увеличению капитала. Г. Марков — реалист, выстраивающий отношения между этими двумя семьями на строго реалистических основах.

Чувство пульсирующего течения жизни, глубинного тока крови в том, как через семью, эту самую чуткую ячейку общества, всегда несущую в себе особенности и приметы времени, — как через эту ячейку осуществляется анализ самой эпохи. Никифор Кривокуров только что женился на дочери фельдшера Горбюкова Поле, женщине совершенно иного нравственного наполнения, иного мироощущения, чем все Кривокуровы, — казалось бы, одной этой линии хватило бы на целый роман. Но Марков, художник эпического склада мышления, очень четко и строго ограничивает рамки этого конфликта, без всякого нажима и экзальтации разворачивает перед нами житейскую, будто бы простую на первый взгляд ситуацию. Ну что же, девушка полюбила человека, в общем-то, чуждого ей по духу, полюбила — и все, так бывало, есть и неисчислимо количество раз будет в жизни повторяться, а жизнь себе идет и идет.

Кривокуров-отец торгует, мечется по всей округе в поисках прибыли, выгодного дела, позволяя себе в перерывах поразвлечься в пьяном разврате, сын тоже потихоньку втягивается в торговые операции, яд наживы, барыша и разврата уже просыпается в нем, и становится очевидным, что никакой счастливой жизни у молодой пары Кривокуровых получиться не может.

Да, Никифор молод, его еще надолго хватит и на случайные связи и на жену, дело не в этом даже, хотя и здесь закладывается зерно будущего несчастья. Дело в Анфисе, матери Никифора, которая по силе характера далеко превосходит не только сына, но и мужа. Именно Анфиса является духовным средоточием семьи Кривокуровых. Именно она и почувствовала первой зреющую опасность, когда в доме появилась молодая женщина, и эта особая чуткость Анфисы к иной, враждебной, появившейся в доме силе имеет под собой все основания.

Анфиса не может объяснить причину своей тревоги, она лишь потом признается, что боялась, как бы невестка не захватила власть в доме, но это, в общем-то, верное в житейском смысле признание все-таки не выражает главного в самой нравственной атмосфере дома Кривокуровых. Поля внесла в этот сложившийся купеческий мирок совершенно иную нравственно-эмоциональную ноту, которая никак не вписалась в привычный хор, звучала резким диссонансом и все чаще и чаще прорывалась со стороны Поли то взглядом, то резким словом. Чем дальше углубляется и развивается действие, тем настойчивее вспоминается начало романа, когда свадьба Поли и Никифора была прервана неожиданным обстоятельством: Поля, участвуя в облаве на беглого ссыльного Акимова, увидела его и не выдала... В обыкновенной житейской ситуации Марков точно показывает взаимоотношения двух противоположных классовых сил, двух мироощущений.

Все в доме Кривокуровых постепенно насыщается грозовой атмосферой; приложения сил и желаний слишком односторонни и уродливы, чтобы не разразилась очистительная гроза и не засверкали молнии. Тревога от картины к картине растет. Вот сцена у скопцов, когда Епифан Кривокуров пытается почти даром взять залегшую на зимовку рыбу в яме. Скопцы по натуре своей еще более безжалостные хищники, чем Епифан Кривокуров, и их внутренний мир и образ жизни, выписанные уверенной рукой мастера, поражает какой-то одной зловещей окраской — деньги, деньги, только деньги и больше ничего, ни всплеска радости и восторга, ни горя и сомнения. Перед нами медленно сквозь затухающие живые краски жизни проступают мертвенные контуры античеловека. И опять нас с новой силой охватывает ощущение тревоги, близящейся катастрофы. И дальше: «Вдруг конь

остановился, шарахнулся, хрустнули оглобли под тяжестью его тела. Одним ударом охотничьего кинжала Агап пересек коню горло. В тот же миг в руках Агея свистнуло топором тяжелого колуна, и обух его раскроил череп Никифора...» То, что должно было свершиться, свершилось, все именно так, как задумано, без лишнего слов и эмоций. Скопцы, обманутые в своей надежде пожить, нашли другой путь, более простой, им все равно, ведь деньги не пахнут, власть денег беспредельна в мире наживы, жестокости и обмана. Она уже сама по себе — беспощадное зерно разложения, распада души человека. Мир, основанный на власти желтого дьявола, не может развиваться в сторону добра и совести, и потому он обречен, потому и копится, копится на всех горизонтах иная, революционная сила жизни, и в предвещии ее прихода то и дело вспыхивают короткие, ожесточенные схватки не на жизнь, а на смерть...

В эмоционально точно найденной атмосфере романа Маркова постоянно ощущается приближение очистительных перемен на земле, кажется, что это растворено в самой окружающей природе, которую писатель хорошо знает и чувствует. Это особенно ярко отразилось в сценах таежных, когда старый каторжанин, дед Поли, укрывал революционера Акимов в тайге, открывал ему таежные чудеса и тайны. «Возле же первой отдушины Федот Федотович остановился. Он обмял ногами вокруг себя снег, встал на кромку заледеневшего берега и, слегка расчистив парящую воду от ледышек, запустил черпак в самую глубь. Присев, он водил черенком черпака туда-сюда, быстро перебирая руками по древку, потом вытащил черпак из речки. До краев вместительный черпак был наполнен копошащимися ершами. Когда Федот Федотович поднял черпак, намереваясь вытряхнуть рыбу на обмятый снег, черенок от тяжести изогнулся и даже хрустнул...

— Ай, ай, сколько ее! — воскликнул Акимов, пораженный тем, что происходило на его глазах.

— Тут рыбы, Гаврюха, несчетно. А только губить ее нам ни к чему. Начерпаю с полмешка — и хватит, а поедем эту, еще разок сюда наведаемся. Мелкота вот только, но зато вкусна. слов нету!»

И еще: «Ночью Федот Федотович раза три поднимал его погреть бок у огня. Потом он сноза ложился и мгновенно засыпал. Под утро тунгусский огонь сделал свое де-

ло: толстые кедровые сушины превратились в груды горячих углей. От них исходило такое тепло, что таял вокруг снег и воздух над ложем из пихтовых веток отдавал избытком духом».

Углубляясь непосредственно в ткань романа, еще раз убеждаешься, насколько образ старика, Федота Федотовича, пластичен, народен, иногда он словно сливается с самой природой, с той же тайгой, с метелью, по живописной яркости и мягкости это, пожалуй, один из лучших образов в романе, завоевывающих читательскую симпатию безоговорочно и прочно. Он прост и безыскусен, как окружающий его мир тайги — травы и деревья, зверье и птицы: в старике еще сохранились отголоски языческих верований вроде веры в лесовика... Это натура цельная, в ней как бы сосредоточены лучшие черты народного характера — мудрость, доброта, мягкость, умение обращаться с людьми, обнаруживать главный корень жизни. Это именно та основа, на которой держится жизнь, и поэтому когда эмоциональный фон такого характера начинает пронизывать беспокойство, то ясно, что коренные сдвиги и преобразования действительно близки и неотвратимы.

В романе с его крупным, широким разворотом характеров показано предчувствие надвигающейся революции. Это как предчувствие весны — земля еще покрыта снежным настом, еще молчат закованные в лед реки, еще дремлют семена, но уже невидимое томление разлито над снегами и безмолвной тайгой, уже как-то по-иному смотрится небо, не безмолвно белая, а чуть-чуть голубоватая снега... Стоят по-прежнему на дорогах и трактах жандармские заставы, война по-прежнему безудержно выкачивает из народа последние силы. Зимние пространства Сибири огромны и враждебны для человека. Но человек не побоялся ни кордонов, ни стихий. Он бежит, бежит в тайгу, в это безлюдье, казалось бы, в неминуемую смерть... Этот на первый взгляд безрассудный побег сосланного революционера Акимова в зиму, в безлюдье, в пространства, перекрытые во многих местах враждебной силой жандармских кордонов, вытекает логически из самого характера Ивана Акимова, из самой сути его деятельности. Он не может не бежать, как не может не лететь птица, подброшенная высоко в небо, — она должна или лететь, или разбиться. Через этот побег далеко просматривается перспектива романа. Десятки людей втягиваются

в его орбиту — ссыльные, охотники, крестьяне, рыбаки, тунгусы; и, в конце концов, побег Акимов словно становится своеобразной романтической балладой, рефреном, который пронизывает всю ткань романа, а сам Акимов — живой легендой.

Он нужен, необходим народу, молва о нем ширится, его прячут, укрывают, кормят, заботятся о нем, подвергаются вместе с ним опасностям и лишениям. И это уже не побег одного отдельно взятого человека, а начало народного движения, тот еще невидимый под снегом ручеек, который вот-вот вырвется на поверхность буйным разливом.

Стоит вспомнить слова одного из таежных жителей, старика Филарета, когда Акимов предложил ему за еду и ночлег плату: «Да что ты, паря, как можно такое? Разве мы торгаши какие? Не по-людски это! Нет, нет, паря, не позорь нас».

В народе всегда жило, живет и будет жить нравственное чувство чистоты, мудрости, добра, извечное желание помочь попавшему в беду человеку; тема побега Акимова как бы раздвигает горизонты романа до философских обобщений темы народа и революции, темы грядущего обновления мира. И естественно и закономерно, что в поле зрения вовлекаются десятки и сотни людей, приходят в движение народные массы.

Кроме профессиональных революционеров, любящих друг друга Ивана Акимова и Кати Ксенофонтовой, двух основных пружин, двигающих сюжет, в романе много других достоверно и ярко выписанных писателем образов, без которых ни Акимов, ни Катя не смогли бы не только продвинуться в своем пути, но просто бы физически не выжили. Это те соки, которые питали подпольное движение. Здесь и таежный охотник Степан Лукьянов, и Горбяков, и Бронислав Насимович, осуществлявший партийные подпольные связи, и десятки других героев. Невидимые силовые токи революции густо пронизывают огромные пространства. Автором удачно найден сюжетный ход: движение Ивана Акимова чуть ли не через всю Сибирь к Петрограду, а затем в Стокгольм позволило вскрыть целые социальные пласты, живописать само состояние и предреволюционной России через самых полярных людей, представляющих крайние политические течения, показать силы пробуждения, постепенно зреющие в недрах народа.

Здесь именно в этой связи хочется остановиться на языке романа, в основном на языке тех его героев, которые выступают как революционная, преобразующая сила жизни. Автор смело вводит в разговорную речь своих героев-революционеров термины, определения, понятия чисто специфические, резко контрастирующие с привычной народной речью, с ее мягкостью, образной емкостью и плавностью. Народ слушает агитаторов, которые говорят о партии, о революции, о помещиках и капиталистах по-новому, своеобразно, и как раз эта новизна восприятия народом рождаемых борьбой новых слов и понятий усиливает в романе, подчеркивает остроту, грандиозность происходящего. Сейчас эти слова и термины стали привычными, уже затертыми в каждодневном, нужном и ненужном употреблении штампами, но тогда, рождаясь в борьбе, они звучали свежо и ново, они сами по себе уже бросали вызов, сами были выражением идущей не на жизнь, а на смерть ожесточенной борьбы, и, разумеется, без их употребления нельзя передать подлинную атмосферу тех далеких дней и лет. Может быть, в отдельных случаях автор излишне увлекается прокламационным словарем того времени в определении речевых характеристик отдельных героев. Когда же это делается в меру, прием оборачивается образу на пользу, делает его более объемным, жизненным, достоверным. Язык Маркова, народный в самой своей основе, гибок и полифоничен.

Автор «Сибири» — писатель определенно выраженной художественной концепции. Особенность его художественного видения придает роману и всей творческой манере Маркова своеобразную направленность, диктует отбор жизненного материала, героев и их внутреннее наполнение. Марков — писатель добра, писатель, даже в отрицательном человеке, злодее, стремящийся докопаться до истоков человеческого, до начала добра под горами зла и порока, и эта художественная концепция делает в творчестве Маркова многое нам пронзительно близким, приближает к нам конфликты и боль прошлого. Ведь тема борьбы за человеческое в человеке — вечная тема литературы и будет вечно в ней присутствовать.

Есть особая плоскость в романе «Сибирь», сложная по своей архитектонике, та, что составлена из дневников и записок героев,

из воссозданий их мыслей и споров, проникнутых чувством грандиозного будущего Сибири. Чувство это хочется назвать тем лучшим, который прорывает завесу времени и приближает роман к нашим дням, к нашим делам и заботам вплотную, делает его остросовременным. Венедикт Петрович Лихачев и его племянник Иван Акимов, да еще охотник Лукьянов, у которого осталась часть бумаг профессора, карты, описания Сибири и ее богатств, дневники многочисленных путешествий ученого, — вот три человека, с которыми в переплетении их взаимосвязей и судеб и вырастает этот прообраз будущей Сибири. С ними пророческие слова Ломоносова о грядущем значении Сибири приобретают уже осязаемую конкретность, реальность.

Неисчислимо богата эта хмурая бескрайняя земля, недра которой раскрывают свои сокровища неохотно. Меха, золото, рыба, трясина, из которых вырываются потоки горячего газа... Океаны древесины, каменный уголь, редкие и цветные металлы, могучие реки, несущие в себе грандиозные запасы энергии. Аналитический ум большого ученого прозревает несомненное наличие еще более колоссальных богатств, которые Сибирь пока хранит в тайне. Всю свою жизнь Лихачев посвящал изучению и исследованию Сибири, в его руках документы огромной важности. Вынужденный эмигрировать в Стокгольм, ученый увез с собой и свой бесценный архив. Но и в эмиграции за ним неотступно следят не только свои, отечественные хищники — вокруг него все плотнее смыкается клубок международных авантюристов, любителей легкой поживы. Лихачев все яснее чувствует это и все нетерпеливее ждет своего племянника Ивана Акимова — посланца партии большевиков, который должен принять от него завет преданного служения науке, принять эстафету знания, эстафету будущего Сибири.

Разрушая и отвергая старые, изжившие себя социальные формы отношений между людьми, партия большевиков с самого начала была организующей, созидательной силой в отношениях между наукой и революцией, между природой и человеком. Она хорошо понимала значение людей такого уровня, как Лихачев, понимала, что без них невозможно строить новую жизнь; богатейшие научные изыскания должны были остаться в руках народа, должны были служить народным чаяниям и интересам.

Акимов и Лихачев так и не встретились, хотя их движение навстречу друг другу было predetermined, запрограммировано, — слишком трудна и порожиата оказалась дорога Акимова. Лихачев, почувствовав приближение смерти, возвращается в Петроград, на родину, и это тоже глубоко символично: ученый не захотел лежать в чужой земле; по эмоциональному воздействию поступок этот не только достоверен в жизненном его значении, но и необходим как определенная мировоззренческая и логическая точка развития одного из важных образов романа.

Бумаги и документы Лихачева начинают беззастенчиво расхищать международные авантюристы от науки в надежде добраться потом и до самих богатств Сибири. Наследие ученого еще нужно отстоять, отстоять с оружием в руках. Иван Акимов, прошедший немалую школу революционной борьбы, оказывается лицом к лицу с этой грандиозной задачей — он становится не только наследователем лихачевского архива, но и самым бескомпромиссным и яростным его защитником. И это опять символ: научное наследие Лихачева не только карты, описания, документы, результаты изысканий — вещественно существующие реалии. Главное — передовая мысль, устремленная в будущее, завтрашний день Сибири, и за этот завтрашний день предстоит выдержать жесточайший бой со старой, отжившей своей системой власти, которая не собирается признать поражение и готовится к новым ожесточенным схваткам.

Жизнь многозвучна, передовая мысль ученого как бы охватывает этот синтез жизни, достижения прошлого и прообраз завтрашнего дня. Лихачев в своих дневниках записывает: «...«Российское могущество прирастать будет Сибирью...» Велика и неохватна для науки твоя формула, Михайло Ломоносов!.. И уж, конечно, ты, денно и ночью помышлявший о силе и мощи народа русского, не мог не взглянуть на Сибирь как на пространства для заселения пришлым людом из глубин российских. Поистине бескрайние сельскохозяйственные и лесные уголья Сибири. При этих угольях Отечество наше обладает завидным счастьем, недоступным другим державам: сколь бы быстро ни возрастало число душ человеческих, каждому из них и ныне и много веков спустя найдется под небом земля для возделывания и получения плодов и вода, без которой не взрастет ни дерево, ни колос,

не проклюнется травинка и все живое обречено на исчезновение и погибель».

Здесь за чтением дневников и других бумаг Лихачева мы и оставляем Ивана Акимова, в близком преддверии гроз и потрясений не только своей жизни, но и жизни всего мира. Эпические плоскости романа — народ, молодая, все более активно выступающая на поля истории партия большевиков и завтрашний день Сибири как бы скрещиваются в одном фокусе, в напряжении перед могучим порывом бури — революцией семнадцатого года в России...

Изжил ли роман себя как жанр? Сама жизнь решает этот спор в самом оптимальном для жанра романа варианте. Не стихают битвы вокруг человека и его души, и одно из самых могучих завоеваний советской литературы — советский эпический роман продолжает гуманистические тенденции великой русской литературы.

Роман хорошо служит теме Сибири. Замечательный край, его история, люди, сам сибирский характер притягивают к себе вни-

мание серьезной литературы. Сергей Сартаков, Константин Седых, Сергей Залыгин, Анатолий Иванов, Афанасий Коптелов в своих романах продолжают сибериану, углубляют разработку сибирского характера и в современной проблематике и в историческом плане.

Родина — это не только сегодняшний день, это еще и старые плиты с полуистершимися письменами и могильные курганы предков, это не только наши борения и страсти, но и дела и свершения далеких и близких наших потомков, подвиг землепроходцев, топором прорубивших путь к океану через громадные пространства Сибири, воздвигнувших города по берегам диких рек.

Роман Георгия Маркова об изменении социально-нравственного климата, о революционно-творческой работе партии в самый канун революции — еще одно доказательство исторической необходимости и правоты новых социальных горизонтов народа, его устремлений к высотам духа и счастья.

Петр ПРОСКУРИН.



НАД НОВЫМ ДНЕМ, НАД НЕЗАСЕЯННЫМ ПРОСТОРОМ

Альфонсас Малдонис. Апрельские разливы. Перевод с литовского. Вильнюс. «Вага». 1973. 232 стр.

«Написать стихи — это все поставить на карту», — сказал Малдонис. Если бы эти слова произнес кто-нибудь другой, может, и не поверила бы. Мало ли говорится, равно как и пишется, неожиданного, неординарного, контрастного...

Мы иногда защищаемся, как ни странно, именно от подлинности, боясь разочарований, бессмысленных затрат-растрат. Но только в подлинном душа живет, растет, создает.

Малдонису я верю, потому что, как мне кажется, тоже знаю цену такому стихотворчеству. Марина Цветаева говорила о слове как о единице стихотворения, но целомудренно молчала о том, чем оно оплачено, понимая, что это и необъяснимо и почти недоказуемо. Лишь воспринимая такое оплаченное жизнью слово, неравнодушное человеческое сердце примет его

как деяние, впитает в себя и даст ему новую жизнь в чувствах и поступках.

Сильную и печальную, мужественную и раскованную книгу Альфонсаса Малдониса «Апрельские разливы» строят такие вот готовые к последнему бою, не заискивающие, сражающиеся слова.

Читаю и перечитываю ее с изумлением, спорю с ее жестокой правотой, не хочу этой обнаженности истины — и все же покоряюсь такому видению. Потому что безысходность горя и непобедимая сила радости слишком значительны рядом с розовыми кулачками полудетского своевольного задора, упорствующего на том, чтоб непременно «все было хорошо».

Должна сознаться, что сама при этом являюсь одним из переводчиков — пусть и малого количества стихов — этой книги. Тем с большим, полагаю, основанием могу уг-

верждать, что поняла ее изнутри, сама, сперва вслепую, но все более сознательно и зряче перекаладывая кирпичи этого литовского дома, скрепляя их раствором иного языкового строя, давая ему новую, русскую облицовку.

С чего для меня начинается Малдонис, в чем то особенное, что сложило его личность и творчество? Есть поэты, которые всегда, как балеринки, на пуантах, на цыпочках. Им хочется быть чуточку выше, чем они есть на самом деле, сказать немного больше, чем они могут. Наверное, в этом и нет ничего плохого и по-человечески это понятно. Малдонис никогда не старается казаться никем. Он таков, каков есть на самом деле. А над порывами, превышающими нормативы реальности, он склонен слегка иронизировать, четко отделяя их этим от сущего. Малдонис современен в этом мире, который «не терпит ни стекол, ни рам», о котором он сказал как истинное дитя XX века:

А к ветру известь примешалась густо,
Фундамент плиты устремляет ввысь,
И на стальную арматуру чувства
Ложатся слово точное и мысль.

(Перевел Вл. Корнилов)

Но Малдонис и старомоден отчасти — в своей нежной, почти сентиментальной любви к природе, к скудным пашням родной Дзукии, к печке в старом доме, где прошло детство, к женщине непокорной и слабой. Он зависим от этой любви, а зависимость сильного человека — высшая сила.

В стихах Альфонсаса Малдониса странно сплелись рациональное с эмоциональным, соединенные определенным сочетанием силы и слабости именно в нем самом. Душа поэта — нерв, натянутый, как струна, темперамент, укрощенный умом и волей. Очевидно, поэтому, о чем бы поэт ни писал, он позволяет себе редкую роскошь исповедальности, не вызывающей к сочувствию, а потому исполненной особенного мужества и достоинства. Малдонис упорно ведет читателя к сознанию сложности современного мира. Непоправимость ошибок, неповторимость прожитого заставляет больно и неутешно пережить то, что действительно больно и неутешно.

Малдонис не боится, как не боятся хорошие актеры показаться на сцене или на экране некрасивыми, написать о своем стареющем лице, плывущем в новый день. Его не пугают, а радуют «находки ценные по-

терь, удачи важных поражений». Он горько и мужественно признается, говоря о своей маленькой Дзукии: «...земля под нами и есть — мы сами; наши слезы, прах». И оттого:

Здесь, на солдатских пряжках, слишком тонко
Засыпанных; здесь, где полным-полно
Пуль и латунных пуговиц, — не только
Расти. — и удержаться мудрено.
Но мы росли...

(Перевела Н. Матвеева)

Малдонис предчувствует потери, готов к ним во имя истины, чтобы начаться снова в ней, безжалостной, бессострадательной, неумолимой, чтобы обрести себя в новом дне.

Ну, а если обрести не удастся, ибо не всем и не всегда удавалось? Как это ни огорчительно, вывод жестоко честен, и это залог новой веры и нового движения. Через смерть в единичном — к жизни в новом: так умирает зерно, давая жизнь колосу. И все же какое бесстрашие и какая мужественная простота перед неумолимым ликом трагедии...

Величественно ль, глупо — жить стоило
на свете.
Светились луны, солнце несло по
облакам.
Живи и здравствуй, время — порубщик
пуц столетних,
Сатир неосужденный, копатель грустных
ям.
И если все надежды наскучили красою —
Живи среди забытых и сам забудься
в срок.
Хороший мастер делает и трон, и гроб
на совесть
Из тех же — из дубовых, березовых —
досок.

(Перевел Ю. Григорьев)

Так сложно, трудно ощущает Альфонсас Малдонис бытие человека. Но тем убедительнее звучат негромкие его слова, фиксирующие радость или надежду на нее. Он не любит преувеличений, не строит воздушных замков, но как прекрасна именно эта скупая вера в то, что не может что-то постоянно не меняться к лучшему.

...А избы из старых бревен стоят, как
всегда стояли,
На берегах озерных. Плещет волна, светла.
Хоронит отцов, бережет дома, детей
провожает в дали
Общая наша Родина, добрый родник —
Литва.

Подойди к избе незнакомой, погладь на
дверях шеколду.
(О собственном доме — что с ним — в голову
не бери.)

Пока эту землю любим так же, как
чувствуем голод, —
Конечно же, будем живы и, возможно,
будем добры.

(Перевел Ю. Григорьев)

От себя и от людей зрело и трезво глядящий на мир поэт требует реально возможно. И когда он, причивший читателя к ненадрывной, всепонимающей интонации общения с миром, срывается на крик, на почти плакатную афористичность, этому веришь так же истово, как горестным интимным откровениям. «Как спасти от облака, от неба, от песка на взморье, от дождей, уберечь ли от воды и хлеба наших малышей?» — восклицает Малдонис в открыто публицистических стихах о нашей многотрадной, засоренной отходами цивилизации Земле, и мы сами не замечаем того, как тонкий лирик становится гражданским поэтом.

Нежные, лиричные стихи «Слезы», с характерной для Малдониса откровенностью вводящие нас без всякого смущения в скорбь плачущего мужчины, оборачиваются и реквиемом, и эпитафией, и предостережением, сжимают сердце уже не маленькой болью человеческого участия, а высокой и гневной болью непрощения всего античеловеческого.

...И течет, черна, из слез моих река,
Шепчет — береги весь этот мир в горсти!
Пусть у палача отрублена рука,
Но она, как в сказке, может отрасти...

(Перевела Н. Мальцева)

Малдонис открывается нам как поэт настоящего, выстраданного оптимизма в строках о соседе Адаме, простом пахаре, являющем пример того, как надо жить. Жизнеутверждающий пафос мироощущения — и в стихах, названных с почти газетной сухостью «Советской Литве»:

...И только сердцем угадаю,
Окинуть взглядом не смогу, —
Как вырасти смогла такая!
А ведь всю жизнь жила в углу...

...Под красным знаменем свободы
Иди. И нет других судеб.

Мы приняли твои заботы.
И ты наш долг, любовь и хлеб.

(Перевел Вл. Корнилов)

Для Малдониса, как для многих литовских поэтов, характерна глобальность мировосприятия. Он человек, живущий и в Литве и на Земле. Это, вероятно, объясняется тем, что лишь тот, кто умеет неразменно любить скудную данность небольшой своей родной земли, приговорен к ней навеки и умеет найти в этой скудности все многообразие красок и чувств, способен понять также и крохотность в галактической бездне нашего милого земного шарика, как он ни велик. Отсюда у поэта и будничность, и особая радость надежды, и бесстрашие перед неизбежным: «А то, что будет, — то обязательно будет». Каждый новый день для него — незасеянный простор, и даже закат он воспринимает как грань грядущего дня, когда «последние тени к прошедшему дню убегают».

...Я могла бы еще много говорить, много цитировать, хотя в веренице цитат есть что-то ученическое, а долгий разговор не для небольшой журнальной рецензии на новую книгу. Чтобы заключить эти, вероятно, шероховатые и субъективные раздумья о стихах Альфонсаса Малдониса в книге «Апрельские разливы», скажу только, что и переводчики сборника Д. Самойлов, Н. Мальцева, Н. Матвеева, Вл. Корнилов, Ст. Куняев и другие и редактор Алиса Берман сделали свое дело с любовью к собрату, к поэзии, к читателю.

Я начала с того, что априорно заявила: я верю Малдонису. Потом попыталась показать, из чего проистекает эта вера, хотя иногда непросто идти по дороге, по которой ведут стихи Малдониса. Это дорога такой сопричастности к искусству, которая требует от самого читателя не созерцания, а действия, дорога, где слова вызывают чувства, а чувства рождают поступки.

Но и когда мне бывает по-настоящему трудно, я вспоминаю простые и мудрые, очень его строки:

...Ты радуйся, что очи смотрят зорко,
Что ты — в водовороте бытия,
Что по зубам тебе любая корка
И что твоя любовь — всегда твоя.

Римма КАЗАКОВА.



О ЛЕБЕДЯХ И «ЛЕБЕДУШКАХ»

Борис Васильев. Самый последний день... Повесть. «Юность», 1970, № 11.

Борис Васильев. Не стреляйте в белых лебедях. Роман. «Юность», 1973, №№ 6, 7.

Семен Митрофанович Ковалев погиб при исполнении обязанностей в последний день своей службы. Та же участь постигла Егора Савельевича Полушкина. Правда, Полушкин не собирался на покой, только разворачивался на новом поприще. Еще раньше, в повести «А зори здесь тихие...», гибли, сражаясь с гитлеровским десантом, девчата-зенитчицы старшины Васкова...

Борис Васильев верен герою, предпочитающему смерть отступлению от долга. Будь то долг воинский, как в «Зорях», миллицейский — в «Самом последнем дне...», охранителя природы — в романе «Не стреляйте в белых лебедях». Вероятность и необходимость такого финала неодинакова, различны обстоятельства, ведущие к нему. Тем пятерым девчонкам-зенитчицам из «Зорь» гибели не миновать. Она неумолимо венчала их жизнь и подвиг, знаменуя жестокую трагедийность войны. Им не уцелеть в неравном поединке с фашистскими парашютистами; цель, оправданно намеченная старшиной Васковым, оплачивается жизнью. Яви автор чудо, спаси девчат, повесть, может быть, и получилась, но вряд ли прозвучала с такой силой.

В «Самом последнем дне...» и в романе «Не стреляйте в белых лебедях» подобной неотвратимости нет. Смерть Ковалева или Полушкина, в общем-то, необязательна. Здесь присутствует — и в немалой мере — случайность. Но случайность по-своему закономерна. И если писатель «мирным» своим произведениям, подобно военной повести, сообщил драматическое напряжение, то поступил так в намерении раскрыть глубину зла, таящегося за привычной газетной строкой «погиб при исполнении обязанностей», взорвать эту привычность.

Когда бы биография героя умещалась в анкетные графы, мы бы установили несомненное родство Семена Митрофановича Ковалева с Федотом Евграфовичем Васковым. Семен Митрофанович тоже родом из деревни, у него позади фронт, ранения, и он, не шибко грамотный, исправно выполняет свои нелегкие обязанности. А от Ковалева, нетрудно убедиться, цепочка нравственно-биографической зависимости тянется к Полушкину.

Писательское постыдство, приверженность к более или менее определенному че-

ловеческому типу, к неизменному заключительному аккорду отнюдь не обязательно ведут к самоповторению. Хотя порой им чреваты. Некоторая похожесть главных героев Б. Васильева друг на друга не исключает их различий. Сходство сбрасывается в глаза, различия проявляются исподволь.

Старшина Васков до поры до времени придерживался официального тона: товарищ боец. И когда у него вырвалось «девоньки», когда над телом Жени Комельковой прошептал пересыхающими губами: «Женечка», в нашем сердце отдалась эта щемлящая ласка.

У младшего же лейтенанта милиции Ковалева что ни шаг — «приоткрывшееся сердечко», «простое сердечко», «книжечка», «пятнышки», «внученька», «душенька осиротелая». Даже наглость уютно сжалась до размеров «наглинки», талмуд обратился в «талмудик». Женщины у него «голубки» да «лебедушки». Самого же себя, возвращающегося в деревню с подарками, Семен Митрофанович видел «дедом-морозом».

Сдержанная, боявшаяся себя выказать доброта Васкова у Ковалева щедро бьет наружу. Да и почему ее надобно прятать?

Доброта — первейшее душевное достоинство Ковалева. Он докажет это в смертное мгновение, когда в гаснущем сознании мелькнет мысль о парнях, ударивших сзади: ах, напрасно, он ведь еще на службе, и им за это...

Участковый уполномоченный Ковалев гибнет в последний день долгой милицейской жизни; через считанные минуты вступает в силу приказ об отставке. А он — об убийцах: эти считанные минуты станут «отягощающим вину обстоятельством». Не просто доброта — тут высокое самозабвение сродни тому, какое выкажет на смертном одре Егор Полушкин, прощая своих убийц, повергая в растерянность следователя: «Не знал бы — казнил... А знаю — и милую».

Порыв одного продолжается предсмертной мыслью другого, обретая некую завершенность, чрезвычайно, надо полагать, важную для писателя. Доброта, справедливо настаивает он, — сила реальная, и старается подтвердить это кончиной героя и его жизнью.

Первым своим делом Ковалев неизменно считал слово, способное укрепить в лучших порывах и воспрепятствовать дур-

ным. С ним и направляется к жителям, населяющим его участок — группу пятиэтажных домов, «несколько чудом уцелевших деревяшек на два раскоряченных несуразных семизэтажных дворца, сооруженных в эпоху архитектурных излишеств». Каждому из трех составных участка принадлежало особое место в сердце Ковалева. И сам Семен Митрофанович «понимал, что поступает не по справедливости, сердился на себя — и не любил (семизэтажные дома. — В. К.). Сердцу не прикажешь, даже если сердце это бьется под милицейским мундиром».

Сердцу, слов нет, не прикажешь. Но почему оно вступает в конфликт со справедливостью — первейшим служебным долгом человека в милицейской форме? Ковалев пытался объяснить эту странность. В семизэтажках, дескать, обитал злостный анонимщик Бзын да Анатолий, скользкий сынок благополучных родителей, охотник до магнитофонной музыки, жило немало записных «умников».

Население пятиэтажек не в пример милее Ковалеву. «Жил там народ и попроще, и помоложе, и повеселее... Если гулял кто, так и окна настезь. Если спорил, ноль-два звонили. А то и ноль-три случалось...» Простая жизнь пятиэтажек, пусть и заявляющая о себе звонком в скорую помощь, милицию, несказанно близка Ковалеву. Но всего дороже — деревянные домишки, один из них. В нем жила баба Яга — так звали одинокую старуху Лукошину. Когда бульдозерист, осуществляя градостроительное преобразование, приблизился со своей машиной к домику, Лукошина вышла с четырьмя портретами. Кто-то пошутил: иконы.

«Иконы, — сказала. — Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. Живыми сгорели под древней Константиновкой двадцать девятого июля сорок третьего года».

Бессильный преодолеть собственную предвзятость, не слишком убедительно объясняя ее, Семен Митрофанович способен, однако, добиться изменения плана перестройки города — площадь передвинули. Нашел школу, где учились танкисты, организовал музей, еще один музей — у самой Лукошиной, списался с частью, с древней Константиновкой, отыскал голубой колер, каким крыша была в сорок первом покрашена...

Но подумаем: чего бы добился старшина

Васков, распределяя он свои симпатии и антипатии в зависимости от места жительства, образовательного уровня или вкусов своих девчат? Одна мысль об этом невероятна, нелепа.

«Самый последний день...» появился как раз в ту пору, когда милицейский мундир особенно часто замелькал на афишах кино и телеэкранах. Не станем, однако, отмахиваться от повести по той лишь причине, что это, мол, порождение моды. Нередко эстетическая мода по-своему отражает пространное либо примечательное явление.

Младший лейтенант милиции постиг пагубу современной жизни: «Мерзнет душа человеческая при центральном отоплении, мерзнет, льдинкой покрывается». То ли дело при печном, когда «душа» должна себе дрова и воду таскать... Не крестьянскому бы сыну Ковалеву подпевать таким песенкам, звучащим в иных комфортабельных городских квартирах.

Общеизвестно: прогресс культуры, подобно многим другим благам, обладает также оборотной стороной. Кто не испытывает тяги к земле, к воздуху без выхлопных газов, к реке, не испоганенной промышленными отходами? Но при чем здесь уверения, будто в подслеповатой избе с печью — рай земной?..

Итак, герой — милицейский сотрудник — гибнет от руки преступника. И мы, читатели, ждем, что будет исследовано, художнически осмыслено зловещее явление. Тем более что за дело взялся талантливый писатель, с которым связаны наши надежды. Но тема повести дробится, авторское перо начинает выводить всевозможные завитушки. Писатель будто забывает, что речь начата о серьезном.

И тут подкарауливает сомнение: почему, собственно, Ковалев гибнет?

В отличие от пятерых зенитчиц из «Зорь» он превосходно мог остаться в живых. Его смерть так же произвольна, как деление Ковалевым своего участка. У нее одна лишь — чисто литературная — необходимость. Если Ковалев будет жить, «Самый последний день...» на глазах распадется на слабо связанные звенья. Гибель героя — спасение повести. Но спасенная такой ценой, она вряд ли жизнеспособна. И можно было бы ее коснуться лишь вскользь — кто гарантирован от срыва, неудачи? — избавься писатель от губительного влияния шустрой

моды, опрометчиво принимаемой за истинную злободневность.

Давний спор между городом и миром нетронутой природы на каждом витке исторического развития обрастает новыми доводами. И Борис Васильев, легко и во многом суетно коснувшись традиционной дилеммы «город — деревня» в «Самом последнем дне...», пишет роман с призывным названием «Не стреляйте в белых лебедей».

Стоило нам пройти вместе с героем романа по улицам поселка, по лесным тропинкам — местам действия «Белых лебедей», дабы убедиться, сколь часто заблуждался, давал опрометчивые советы покойный Ковалев.

В поселке, где проживает Егор Полушкин, и воздух чист, и центрального отопления нет, однако своих бед хватает: попадают не хуже городских дельцы, ловкачи, паразиты, пьяницы. Сам Егор небезгрешен — закладывает...

Следуй писатель дальше поселковыми улочками, лесными тропами, всматривайся, вслушивайся, ему бы с его завидной приметливостью, тревогой за природу сколько бы открылось! Но — на первых же страницах объявляется старая знакомая, «лебедушка»...

Не успел Егор Полушкин рта раскрыть, писатель, представляя его, растолковывает: Егор «поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть».

О каком «свыше» речь, когда имеется в виду неприкаянный мужичонка по прозвищу Бедоносец? Зачем столь воинственно противопоставлять ум совести? Это способно озадачить, забудь мы Семена Митрофановича Ковалева, его сомнительную проповедь: «...добро от ума хуже зла от души».

Избранная автором модель (именно модель, а не характер), повинувшись расхожей логике, как бы внушает читателю: совесть — это хорошо, ум и образованность сомнительны; все, что от природы, — благо, от цивилизации — зло.

И все-таки «Не стреляйте в белых лебедей» я не поставлю на одну доску с «Самым последним днем...». У писателя, не сомневаюсь, душа болит за лес, доверенный Егору, за самого Егора. Достаточно ему шагнуть чуть дальше проповедей Ковалева, как выясняется их, скажем так, необоснованность. Не только потому, что сельский воздух не панацея. Среди людей городско-воспитания, образованных, интеллигент-

ных, попадают вполне приличные: лесничий Чувалов, учительница Нонна Юрьевна. Они полны сочувствия к Егору, его сынишке Кольке, любят лесную тишь. Автор к ним расположен. Однако по условиям литературной игры (именно игры, в жизни возможны совсем другие условия) им отведена роль второстепенная. Нонна Юрьевна и Юрий Чувалов и должны быть блеклыми, анемичными, должны освободить площадку для Егора. Тогда он сумеет развернуться. Его беспомощность и непрактичность не чета их. В нужные минуты нервозный Бедоносец, слышущий юродивым, выпрямится во весь богатырский рост, явит истинную отвагу, по-ковалевски властно вмешается в личные отношения Чувалова с Мариной, ускорив таким образом его брак с Нонной Юрьевной.

Такому, как Полушкин, море по колено. Можно его бросить на борьбу с преступностью, можно — на охрану природы. Зависит от автора, вернее, от того, насколько автор зависим от балетристической конъюнктуры. Это вовсе не значит, будто ему начисто безразлична сама проблема. Но подступает он к ней с зыбких высот кампанейской волны.

«Не стреляйте в белых лебедей», как и «Самый последний день...», обходится фактически одним героем. Остальные его обслуживают. Ковалев располагал кое-какими формальными служебными правами участкового уполномоченного, у Полушкина — нравственное над всеми превосходство. Оно, а уж потом скромные обязанности лесника, ставит его в положение, которое должно вызвать у нас симпатию. И минутами вызывает. Минут так и могло быть значительно больше, если бы рациональная модель не брала верх над человеческим характером, лишая его непосредственности и обаяния. С Егором соглашаешься гораздо чаще, чем с Ковалевым. И горько, когда не лишённые основания мысли витийствующий спьяну Егор облакает в такую нарочитую форму, что становится как-то не по себе.

«Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с землей-матушкой в разладе, с лесом-батушкой в ссоре, с речкой-сестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо. Особо вы страдаете, и небо над вами серое. А у нас — голубое...»

Мил дружки, прикатившие из-под серого неба под голубое, только что, облив бензином, сожгли огромный муравейник и теперь, прервав пьяно ораторствующего Егора, заставляют его на потеху плясать, скомошничать («Два притопа, три прихлопа!»).

Этой сценой, происходящей через десяток с чем-то страниц после начала, можно бы и закончить роман. Будь он действительно в защиту природы. Вещи названы своими именами. Хотя медведь должен наступить на ухо, чтобы не уловить сусальной фальши «леса - батюшки», «речки - сестрички». Роман бы, вероятно, назывался «Не сжигайте черных муравьев». Черные муравьи имеют не меньшее право на существование, чем белые лебеди.

Конечно, последняя страница с гибнущими муравьями выглядела бы несравнимо менее эффектно, чем с белыми лебедями. Паясничавший спяну Егор пусть и произносит программные речи, в вероучители пока не годится. А ему предназначена такая миссия. Он должен производить впечатление, потрясать, подготовить финальный фейерверк.

Все, чем обладает Егор Полушкин, — от природы, от земли. В том числе эстетическое чувство. Он не только замечает красоту, но и творит ее — на лодках вместо казенных номеров нарисовал птиц, цветы, зверье. «Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка — вислые уши и лапа; у георгина — упругость стебля, согнутого тяжелым цветком; у гусенка — веселый разинутый клюв».

Все правильно: именуется этот художественный метод примитивизмом, означает возврат к бесхитрому восприятию мира. И ныне пользуется успехом преимущественно у тех, кто, по классификации Семена Митрофановича Ковалева, обретается в семизатках с излишествами.

Не в том ли заключено щекотливое противоречие последних вещей Б. Васильева, что, с одной стороны, они заострены против урбанистических перекосов, а с другой — покорно им следуют? Не всем, но определенно выбранным, поддающимся раскраске в цвета очередного сезона. Потому, между прочим, Егор Полушкин чутьем пришел к примитивизму, в лесной коряге узрел женскую фигуру и несколькими вдохновенными ударами топора («Теперь он знал, что рубить. Он увидел лишнее») довел ее

до совершенства, потому восхищенно разглядывает картину, изображающую Георгия Победоносца на неистово красном коне, и сознает: его собственное прозвище Бедоносец имеет гордо-героические истоки, он причастен к извечной борьбе света и тьмы, хоть и «не под масть... тезке-то своему». Различие это, «несоответствие», вскоре исчезло. И естественно. На заключительных страницах Егор Полушкин мог бы гарцевать не на красном, так на белом коне победителя. Именно таким триумфом становится его приезд в Москву на совещание, небывалая речь, общие отклики, одобрение министра...

Егор Савельевич высказывает самые разобщенные мысли. Но газетные прописи, азбучную агитацию лесоводов за сбережение леса Егор Полушкин подает подобно библейским откровениям, нагорной проповеди, взывая: «Люди добрые!» — попутно разъясняя: «Злоба злобу плодит... от добра добро родится» и т. д. Общеизвестную цель формулирует на свой лад: Черному озеру, что находится в его лесничестве, надобно вернуть прежнее великолепие и старинное название — Лебязье.

Министр именуется это «почином товарища Полушкина», писатель открывает символический смысл почина.

Проявляя неожиданную предприимчивость, Егор Полушкин приобретает в московском зоопарке две пары лебедей-шипунцов, пускает их в Черное озеро, на берегу которого и развертывается заключительная трагедия. Лебеди идут в котел браконьеров, на Егора обрушивается тяжелая жердь, вдобавок удар сапогом в висок. Перед смертью он успевает простить убийц...

Возвышенная патетика финала закреплена призывом, вынесенным в заголовок: «Не стреляйте в белых лебедей». Искренне присоединяясь к этому кличу, позволю себе кое-что добавить.

Сколь ни широк милосердный жест Егора, отказывающегося судить убийц, это совсем из другой оперы. Кротость, смиренное отпущение грехов создают, конечно, ореол, необходимый вероучителю. Но мотив всепрощения в этом случае чужероден, фальшив. Не только с юридической, но и с моральной точки зрения. Простить браконьеров значит поощрять браконьерство, предавать природу.

Тема ее защиты, на мой взгляд, сложнее, труднее, глубже, чем представлено в романе. И не столь символически выигрышна.

Когда на одном из московских прудов

подгулявшие негодяи свернули лебедю шею, посыпались письма в редакции, последовал суровый суд. И поделом. Но это случай, бросающийся в глаза, из ряда вон выходящий и потому все же не самый опасный. Уничтожение, скажем, того же муравейника куда, думается, тревожнее. Никто не бьет на набат, фиглярствует пьяненький Егор. Хотя от облитой бензином муравьиной кучи вот-вот займется лес. И не счесть бед.

Все это словно сбрасывает со счетов писатель, очарованный лебедами, жаждущий защитить их. Не следовало ли у озера, где водятся лебеди, вывесить предостережение: «Осторожно — красота!» — адресовав его всем вплоть до художников, которые расставят на берегу свои мольберты. Чтобы, в творческом порыве решив запечатлеть прекрасное, были свободны от спекулятивных, возможно и безотчетных, побуждений, чтобы не обольщались, полагая: натура «сама за себя скажет», дарует легкие аплодисменты.

Куда как сильно средство, к какому прибег Б. Васильев, живописав гибель лебедей! Срабатывает же оно лишь отчасти. Великолепны, дороги белые шипуны, но когда рядом убивают человека, не до них. По естественному побуждению, зовешь не к защите белых лебедей, а — «не убивайте человека!».

Тем, в частности, показательны, поучительны два последних произведения Б. Васильева, что в них исходные писательские цели приходят в явный разлад с беллетристическими средствами, услужливо подсовываемыми сиюминутной книжной модой. А моде безразлична не только суть дела, но и писательский талант. Ей нужны фавориты, владеющие «секретом успеха».

Успех «Зорь» ничего общего с пресловутым «секретом» не имел, он был оправдан, повесть была органична во всем начиная с главного героя, кончая стилизевой манерой, predeterminedенной его речью. Успешно примененный в «Зорях» повествовательный прием стал излюбленным для автора.

В «Самом последнем дне...» в стихию «лебедушек» и «сердечек» периодически вливался ледяной поток канцеляризм, ковалевских оборотов, напоминающих параграфы инструкций. Этот намеренный ход выявлял внутреннее существо героя: в борьбе с уголовщиной и шпаной, в прокурорных милицейских коридорах, в изнурительной городской сутолоке Ковалев сохранил природную свою первозданность.

В романе «Не стреляйте в белых лебедей» авторская стилизация речевой манеры Егора Полушкина сообщает «простонародный колорит» чаще всего тем же ходовым истинам: «Туристу... природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан от земли камнем. А камень, он не просто душу холодит, он трясет ее без передышки...», «А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу — как вы в своих квартирах», «Ни жива ли мертвая Харитина дверь заветную тронула: будто к царю Берендею шла или к Кощею Бессмертному». Далее в том же духе. Но как с ним быть, с этим духом, когда в роман вместе с интеллигентами проник «культурный», «книжный» колорит? Об одном из персонажей сказано: «Лысый и великодушный, как древний римлянин». Нонна «старательно гасила смутные душевные томления обильными откровениями великих гуманитариев».

Языковой коктейль из Берендеев, лысых римлян, божьих недоглядов и великих гуманитариев не устраивает и самого писателя. Он трижды берет слово «От автора», намереваясь внести ясность. Но непреодолима, видно, власть фальши, особенно высокопарно-символической. «Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь», — заявляет Б. Васильев в начале и в конце романа. Роман же собственный он уподобляет песне: «Песню, которую начал, надо допеть до конца».

Искусственное смешение стилей отражает достаточно распространенные в наши дни писательские попытки «пересадить» сказочную старину в сегодняшний день.

Завораживающая на удалении старина когда-то тоже была деловито-суетливой современностью. Многие в ней достойно памяти и восхищения. Но не всегда царили пасторальные нравы и непорочное милосердие, как нам иной раз видится, далеко не все достойно запоздалого умиления.

Сколько-нибудь убедительные писательские решения вероятны при сосредоточенном, взыскательном подходе, независимом от книжных опосредований, литературно-беллетристических поветрий и завихрений. Как это надо сделать, Борис Васильев выразительно показал в «Зорях». И как не надо — в двух последних произведениях.

В. КАРДИН.

Политика и наука

ФОРМУЛА ДЕЛОВИТОСТИ

Анатолий Друзенко. Не дайте делу заснуть! М. Политиздат. 1973. 159 стр.

Среди всего многообразия качеств, которых требует от человека наше энергичное время, особое место занимают инициатива, организованность, деловитость. Эти качества необходимы каждому, кто хочет в полной мере справиться со своими обязанностями, честно выполнить свой долг перед обществом. «Нам нужны, очень нужны,— отмечал товарищ Л. И. Брежнев,— деловые люди нашей социалистической формации, которые сочетали бы компетентность и предприимчивость с глубокой партийностью, с заботой об общенародных интересах».

Как же формируется и в чем проявляется деловитость? Кто он, деловой человек наших дней?

Об этом рассказывает в своей работе Анатолий Друзенко.

...Отдел кадров дает обычно работнику характеристику, содержащую набор самых общих и стандартных слов: «Грамотен, пользуется уважением, занимается общественной работой...»

Беда подобных характеристик, утверждает Анатолий Друзенко, в том, что они недостаточно формальны. По мнению автора, гораздо полезнее была бы характеристика, в которой изложены черты характера и деловые качества человека, важные для общества: компетентность, активность, тактичность, общительность и т. д. А против каждого из этих качеств — показатель того, в какой мере они присущи человеку, насколько он знает дело, активен, общителен и т. д. Такая характеристика и будет по-настоящему деловой, ибо не растворяет личность работника в массе привычных штампов.

Исходя из этого, Анатолий Друзенко и пытается дать в своей публицистической книге ясную деловую характеристику делового человека.

Задача, которую поставил перед собой автор, не так проста, как это кажется на первый взгляд. Конечно же, мы и сами без особого труда можем вывести «формулу деловитости», определить те качества, которые непременно должны быть присущи деловому человеку: компетентность, преданность своему делу и любовь к нему, профес-

сионализм, самостоятельность в решениях и поступках, готовность полностью отвечать за них... И если бы автор решил ограничиться той «формальной» характеристикой деловитости — «качества — баллы», — которую он рекомендует кадровикам, его повествование вряд ли вышло бы за рамки повторения банальных истин.

Однако предмет исследования Анатолия Друзенко гораздо глубже, гораздо тоньше, гораздо значительнее. Он не хочет задерживать внимание читателя на вещах, для всех совершенно очевидных. Его «характеристика делового человека» — не только и не столько система «качества — баллы», сколько изучение тех причин, которые в этой системе либо дают максимальную сумму баллов, либо... вызывают прочерки — ноль баллов.

«Похвальное слово эксперименту» — так называется одна из глав книги. Автор рассказывает здесь о знаменитой столичной организации, именуемой ныне Главмосавтотранс. Организация, которая по самой природе своей требует от работников высочайшего уровня организованности и деловитости. И действительно, что бы где бы ни случилось, но сто тысяч работников Главмосавтотранса должны каждый день привезти в Москву и перевезти по Москве более трех тысяч тонн хлеба, две тысячи тонн молока, около 400 тысяч тонн различных грузов — словом, все, что нужно для жизни города. Это тот самый случай, когда хозяйственник не может, просто не имеет права не работать с предельной точностью и четкостью.

И автор подробно показывает, как формируется на предприятиях система организованности и деловитости, как становится она всеобщей, как подчиняет себе все новых и новых людей.

Именно здесь, в Главмосавтотрансе, началось в свое время опробование идей экономической реформы, начался экономический эксперимент. Опыт, который одновременно был и проверкой деловых качеств работников, и школой воспитания деловитости.

Самостоятельность предприятий проявляется в том, какие права предоставлены директору. Директору как главе коллектива

принято оказывать величайшее доверие, но как хозяйственнику ему нередко доверяют мало. Сколько раз, замечает по этому поводу А. Друзенко, когда директору приходила в голову мысль совершить логичный производственный маневр, он попадает в «положение шахматиста, который видит великолепный ход конем, но не в состоянии сделать его, потому что нет... коня».

Расширив самостоятельность предприятий, экономическая реформа вооружила руководителей не только «конем», но и прочими фигурами для хозяйственного маневра. И это позволило деловым людям Главмосавтотранса сделать множество интересных открытий, усовершенствовав работу всех служб.

В этом логика развития нашей жизни: структура организации и управления производством совершенствуется таким образом, что с каждым годом требует от работников все большей самостоятельности, инициативы.

Однако в поисках «формулы деловитости» Анатолий Друзенко исходит не только из позитивного опыта, но идет и «от противоположного», выясняя, почему же именно человек не может полностью проявить себя, раскрыть свои способности, работать творчески, работать эффективно...

Вот инженер Егор Анатольевич: был когда-то «сам по себе», а стал «человеком при директоре» с презрительным прозвищем Чего Извольевич... Нет, он не просто подхалим и захребетник. Толковый, знающий специалист. Любит свою прежнюю профессию, любит машины. С экономическими критериями и категориями на ты. Но однажды, когда цех, где Егор Анатольевич был начальником, переживал пусковой хло-

потный период, испугался инженер ответственности и попросил перевести его в заводоуправление. Что он делает здесь теперь, толком никто и не знает. Встречает и провожает гостей, добывает фонды. Словом, при директоре... Человек, который сам вызвался прислуживать, а не служить, поддакивать, а не говорить. Но разве лишь один Егор Анатольевич виноват в том, что превратился в Чего Извольевича? Нет. «Люди на комбинате все видят, все понимают и осуждают директора за барство, за то, что эксплуатирует по мелочам способного человека...».

Вдумчиво исследует Анатолий Друзенко те житейские обстоятельства, из-за которых «спит» дело. В производственном коллективе его интересует все, и прежде всего психология людей (кончилось то время, когда никого не коробила такая, к примеру, фраза: «Что вы в психологию ударились! План нужно выполнять!»).

Автор приходит к выводу: деловитость — не просто свойство человеческого характера (помните: «качество — баллы»). Это прямое следствие четко, рационально, научно организованной хозяйственной системы, в каком бы из ее звеньев работник ни находился.

Слова «не дайте делу заснуть» принадлежат Владимиру Ильичу Ленину. Написанные по поводу одного из множества адресованных ему писем в суровые дни 1921 года, они и сейчас, на более чем полувековом отдалении, не утратили актуальности, они и сейчас заставляют нас действовать. Об этом убедительно свидетельствует книга Анатолия Друзенко, на обложке которой — страстный ленинский призыв: «Не дайте делу заснуть!»

Ю. РЫГОВ.



АРМИЯ И ФЛОТ РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Л. Г. Бескровный. Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический потенциал России. М. «Наука». 1973. 616 стр.

Советская историческая наука за более чем полувековой период развития накопила немало замечательных достижений. Широко известны имена ученых, которые с позиций марксистско-ленинской методологии разрабатывают кардинальные проблемы отечественной истории со времен Киевской Руси.

К этой плеяде принадлежит и Л. Г. Бескровный. Он автор и редактор трудов по большому кругу проблем, охватывающих все

периоды «писаной» истории отечества — от древнерусского государства до наших дней; таковы, например, тома серии «История СССР с древнейших времен до наших дней», в которых Л. Бескровный выступает автором и членом редколлегии. Но все же главное дело жизни ученого — разработка проблем военной истории отечества, национально-освободительной борьбы русского и других народов нашей страны против иноземных захватчиков.

Особое внимание уделяет он разработке ключевых проблем истории русского военного искусства, русских вооруженных сил. Это большие монографии о русской армии и флоте в XVIII веке, об Отечественной войне 1812 года (книга выдержала два издания), вышедшие под его редакцией, с его главами, вводными статьями сборники документов о русских полководцах XVIII—XIX веков, о русской военно-теоретической мысли XIX века, об основных событиях отечественной военной истории дооктябрьского периода и многие другие.

Рецензируемая книга продолжает этот цикл исследований. Основана она на изучении целого «монблана фактов», взятых из огромного количества источников, в первую очередь архивных. Подзаголовок книги — «Военно-экономический потенциал России» — обещает читателю, что он встретит в ней разработку следующей проблематики: «...совокупность таких элементов, как население страны, количество и качество кадров армии и флота, мощность военной промышленности (оружейной, артиллерийской и судостроительной), источники сырья и продовольствия и система снабжения, состояние транспорта, организация системы обороны». Большую часть монографии, четыре пятых ее общего объема (а он составляет более 43 печатных листов), занимают вопросы, связанные с армией, одна пятая посвящена флоту.

Автор строит изложение по хронологическому принципу: сначала рассматривает первую половину XIX века, иногда приводя данные и о конце предыдущего столетия, и доводит повествование до 1861 года, затем с крестьянской реформы до конца столетия.

Особенно насыщены фактами две первые главы. В первой затронуты вопросы организации, состава, комплектования и управления армией, ее боевой подготовки, наконец — общественно-политического движения среди солдат, матросов и офицеров. Поскольку, по словам Ф. Энгельса, развитие военного дела зависит «от материальных, т. е. экономических, условий: от человеческого материала и от оружия, следовательно — от качества и количества населения и от техники»¹, автор начинает с данных о численности населения мужского пола, которое в течение столетия выросло с 18,7 миллиона человек до 66,5 миллиона

человек. Такой рост давал возможность иметь большую по тем временам армию. Немалую роль сыграла в этом плане и военная реформа 1862—1874 годов, которая ввела всесословную воинскую повинность, тогда как до нее рекрутские наборы не позволяли иметь необходимое число солдат, особенно в военное время, и обученный резерв; власти прибегали к созыву народного ополчения. Превращение полуфеодальной армии в буржуазную сыграло положительную роль, хотя и носило непоследовательный характер (освобождение некоторых категорий населения от воинской службы, комплектование офицерского корпуса преимущественно из числа дворян).

Л. Бескровный подробно рассматривает численность русской армии в целом и ее отдельных составных частей (пехота, кавалерия, артиллерия, инженерные части и др.) и их состав. Вызывает интерес раздел о такой форме организации и комплектования вооруженных сил, как ополчение. В России оно было создано в 1806—1807 годах; автор сообщает, что предполагалось собрать 612 тысяч человек, но «в 1807 г. было сокращено до 200 тыс. чел. и пошло на пополнение регулярных войск», а в 1812 году насчитывало около 319 тысяч человек.

В разделах о боевой подготовке войск немалое место занимают вопросы строевой и полевой подготовки солдат, подготовки унтер-офицерских и офицерских кадров, деятельности военных школ и академий. Особое внимание привлекают параграфы, посвященные развитию военно-теоретической мысли, — в первой половине XIX века ее представители обосновывали ударную или глубокую тактику колонн и рассыпного строя, во второй половине — тактику стрелковых цепей, писали о боевой подготовке и воспитании воинов, оснащении армии новым оружием. В развитии военной теории немалую роль сыграли труды декабристов (И. Г. Бурцов, П. И. Пестель, Н. М. Муравьев и другие), генералов Н. В. Медема, Ф. И. Горемыкина, издававшиеся в середине столетия военные журналы «Военный сборник» (в числе его редакторов был Н. Г. Чернышевский), «Артиллерийский журнал», «Оружейный сборник», «Педагогический сборник», работы Г. А. Леера, М. И. Драгомирова. Особое значение имеют труды М. И. Драгомирова, разработавшего систему боевой подготовки, исходя из принципов тактики стрелковых цепей, ставшей необходимой в эпоху

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 175.

перехода от гладкоствольного к нарезному оружию.

Развивая суворовские принципы, он большое значение в воспитании солдат отводил моральному фактору, нравственному началу, сознательности и дисциплине, воспитанию чувства чести, товарищества, взаимной выручки.

В разработке важнейших проблем военного дела участвовали, таким образом, многие крупные специалисты. А среди профессоров военных академий имена выдающихся ученых — Д. И. Менделеева, Д. К. Чернова, Ц. Кюи, С. П. Боткина, И. М. Сеченова, Н. Н. Зинина, Н. И. Пирогова, Н. В. Склифосовского и других.

Самостоятельное значение в первой главе имеет большой раздел об общественно-политическом движении в армии и на флоте. Исходя из известной ленинской концепции о трех поколениях русских революционеров, Л. Бескровный показывает, что армия и флот были активными участниками освободительного движения на всех трех этапах — дворянском, революционно-демократическом и пролетарском. Солдаты, матросы и офицеры в той или иной форме участвовали в движении декабристов, в восстаниях военнопоселенцев, кружках 1830—1850-х годов, в деятельности народных организаций, марксистских кружков. А в начале XX века появляются военные организации социал-демократического направления. Очень интересны сведения о переходе русских солдат и офицеров из царских карательных войск на сторону восставших поляков в 1831 году и восставших венгров в 1848 году. Во втором случае вместе с солдатами батальона был их командир капитан А. Гусев, именем которого названа в наше время одна из улиц в столице народной Венгрии Будапеште. Его примеру последовал полковник Н. Руликовский с отрядом в 100 человек.

Принципиальное значение имеет вторая глава, рассказывающая о производстве и обеспечении войск стрелковым оружием, артиллерией и боеприпасами. Речь идет, таким образом, об особом виде хозяйства в общей системе народного хозяйства России — ее военной экономике. По заключение Л. Бескровного, военная промышленность России, ее конструкторы в целом справлялись с поставленными перед ними в XIX веке задачами. Они осуществили переход от гладкоствольных ружей и пушек к нарезному дальнобойному оружию; оте-

чественные конструкции ружей и пушек в ряде случаев превосходили зарубежные образцы (например, винтовки А. П. Горлова и С. М. Мосина). Были созданы новые сорта железа и стали, новые взрывчатые вещества (например, изобретение нитроглицерина Н. Н. Зининым и В. Ф. Петрушевским, динамита — В. Ф. Петрушевским, пироксилина — А. А. Фадеевым, бездымного пороха — Д. И. Менделеевым и др.). В то же время для решения новых задач в условиях начала XX века, изготовления оружия и боеприпасов для миллионных армий военная промышленность по вине военного министерства оказалась неготовой (крайне медленный рост количества военных предприятий в течение XIX столетия).

Немало было сделано в области транспорта и связи, инженерной обороны, организации и устройства тыла, но и здесь имело место отставание, различные недостатки, которые в полной мере сказались в начале XX века, когда русские армии испытали горечь поражений в ходе русско-японской и первой мировой войн.

Проблемы, аналогичные рассмотренным выше, затрагиваются и в главе VII, посвященной военно-морскому флоту. Русский паровой броненосный флот второй половины XIX века, пришедший на смену парусному, был создан «вполне современной судостроительной промышленностью». Русский флот продолжал и развивал боевые традиции XVIII века. В первой половине XIX века на нем работали такие выдающиеся командиры, как М. П. Лазарев, В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин, Г. И. Бутаков, известные мореплаватели и исследователи И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский, Ф. Ф. Беллинсгаузен, Г. И. Невельской, Ф. П. Врангель и другие. Ко второй половине столетия относится деятельность выдающегося флотоводца адмирала С. О. Макарова, погибшего во время русско-японской войны 1904—1905 годов.

С полным основанием автор говорит об успехах России в создании военно-экономического потенциала, в разработке новых систем оружия, строительстве судов, в развитии военной научной мысли. Важен его вывод о нарастающем участии военных людей в революционном движении: «...близилось то время, когда армия и флот перестанут быть надежной опорой царизма».

В. БУТАНОВ,
доктор исторических наук.

ОТ БИОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ

Биосфера. Перевод с английского А. М. Гилярова и Ю. М. Фролова. Под редакцией и с предисловием члена-корреспондента АН СССР М. С. Гилярова, М. «Мир». 1972. 184 стр.

Кому из нас не приходилось слышать о том, как гибнет рыба в реках, отравленных промышленными стоками, о том, как наша человеческая деятельность сводит леса, как исчезают редчайшие виды животных, как выветриваются распаханные почвы.

Вряд ли найдется человек, которого не волновала бы проблема охраны окружающей среды. Однако в полной ли мере мы осознаем всю серьезность этой проблемы? Не абсолютизируем ли отдельные, частные стороны ее, забывая подчас о глобальных последствиях нашей деятельности?

Как раз гибель рыбы в реке в большинстве случаев можно предотвратить — для этого достаточно построить водоочистные сооружения. Но как быть с тем положением, что вид *homo sapiens* — один из миллионов биологически видов, населяющих Землю, — уже сегодня поглощает пять процентов той солнечной энергии, которая аккумулируется на нашей планете? Эти пять процентов энергии мы попросту съедаем: они овеществлены в нашей пище.

Примерно такое же количество энергии человек расходует в процессе производственной деятельности — сжигая полезные ископаемые. А ведь это та же солнечная энергия, только запасенная впрок в прошлые геологические эпохи. Она накапливалась миллионы лет, а высвобождается за годы и десятилетия.

Таковы лишь некоторые из возможных последствий все возрастающей хозяйственной деятельности человека, которые не предотвратишь строительством очистных сооружений или ирригационных каналов. Именно общепланетарный подход к проблеме охраны окружающей среды отличает авторов книги «Биосфера», представляющей собой перевод специального номера журнала «Scientific American», целиком посвященного проблеме биосферы и влиянию на нее человеческой деятельности.

Биосферой принято называть ту тонкую оболочку на поверхности Земли, в которой протекают жизненные процессы. Владимир Иванович Вернадский — основатель учения о биосфере — рассматривал жизнедеятельность как важный геологический фактор. Живые организмы способны накапливать

солнечную энергию, они способны трансформировать ее, способны извлекать из земной коры многие химические элементы и переносить их на большие расстояния. Биосфера находится на стыке всех основных оболочек Земли — литосферы, гидросферы и атмосферы — и выполняет гигантскую геологическую работу по обмену веществ между ними.

Одиннадцать статей сборника, написанных крупнейшими американскими учеными, объединены общим замыслом. Цель его — дать синтезированное представление о биосфере, о тех последствиях, к которым может привести вмешательство человека.

За миллиарды лет эволюционного развития жизни на Земле и самой Земли как небесного тела все происходящее на ней процессы дошли до состояния некоего равновесия, в результате которого, словно в бухгалтерской книге, дебет всегда сходится с кредитом. В общепланетарном масштабе с особенной непреклонностью действуют всемогущие законы сохранения — закон сохранения материи и закон сохранения энергии. Земля получает от Солнца ровно столько энергии, сколько сама излучает. Если солнечной энергии, задерживаемой на Земле, окажется больше, чем излучаемой, то избыток ее должен откладываться про запас, но ни в коем случае не использоваться, иначе это приведет к разогреву планеты. Количество свободного кислорода, потребляемого на Земле, не должно быть больше того количества, какое поступает в атмосферу в результате фотосинтетической деятельности зеленых растений, иначе процент кислорода будет прогрессивно уменьшаться и все живое задохнется. То же самое справедливо для всех вообще элементов и веществ, проходящих через биосферу. Бухгалтерская книга природы бесстрастно регистрирует все вплоть до последнего атома, до последнего кванта энергии. Равновесие природе необходимо. Даже незначительные нарушения его ведут к последствиям огромного геологического значения. И вот в тонко сбалансированный механизм, все детали которого тщательно приработались друг к другу, грубой силой ворвалась деятельность человека.

Этой деятельности как процессу в биосфере специально посвящены три заключительные статьи сборника. В первой из них (Л. Брауна) рассмотрено влияние на биосферу производства человеком пищи, во второй (С. Сингера) — производства энергии и в третьей (Х. Брауна) — производства различных материалов. Но о влиянии человека на биосферу говорят и другие авторы. Это понятно. Ведь какой бы процесс в биосфере они ни рассматривали, будь то круговорот энергии (Дж. Вудвелл), круговорот кислорода (П. Клауд и А. Джибор), воды (Х. Пенмэн), углерода (Б. Болин), азота (К. Делвич) или минеральных веществ (Э. Диви-младший), человеческая деятельность уже в наше время вносит в них существенные коррективы.

«Самый новый фактор, оказывающий влияние на круговорот кислорода в биосфере и кислородный бюджет Земли, это сам человек» (П. Клауд и А. Джибор, «Круговорот кислорода»).

«Самые опасные и чреватые самыми серьезными последствиями нарушения в налаженной углеродной системе — это нарушения, которые вносятся человеком» (Б. Болин, «Круговорот углерода»).

«Пробелы в наших знаниях о круговороте азота особенно должны нас беспокоить в связи с тем, что, как теперь стало ясно, количество искусственно фиксируемого азота каждые 6 лет удваивается... Так как мы недостаточно осмотрительно обращаемся с азотными удобрениями и азотосодержащими отбросами, реки и озера могут перенасытиться азотом, попадающим в них с водой» (К. Делвич, «Круговорот азота»).

Выписки сходного содержания можно было бы сделать почти из всех статей сборника.

Чтобы получить больше пищи, человек использует минеральные удобрения, но часть их вымывается из почвы, попадает в водоемы из-за чего в них бурно развиваются водоросли, извлекающие из воды кислород. В результате в озере гибнет рыба и само озеро постепенно зарастает и превращается в болото. Человек отводит воду рек на поля, чтобы поднять урожай, но часть воды проникает в глубь почвы, уровень грунтовых вод повышается, они начинают испаряться, и почва засоляется.

И все это при самых лучших намерениях!

Мы строим завод, чтобы производить автомобили или холодильники, пластические материалы или те же удобрения. А в

результате засоряется атмосфера. Человек производит инсектицид ДДТ, чтобы убивать вредителей и тем самым сохранять урожай, а через некоторое время оказывается, что концентрация ДДТ в молоке молодых матерей в США превышает безопасные нормы. Швейцарский ученый П. Мюллер в 1948 году за открытие ДДТ был удостоен Нобелевской премии, а сейчас в ряде стран применение этого препарата запрещено законодательными актами.

Как же быть? Не отказаться же, в самом деле, вообще от применения инсектицидов и удобрений, как призывал недавно писатель (см. В. Солоухин, «Трава» — «Наука и жизнь», 1972, №9—12)? Население Земли стремительно растет. К 1975 году оно составит четыре миллиарда человек, а еще в 1960-м составляло три миллиарда. Как же прокормить всех нас нашей кормилице земле без минеральных удобрений? Со времени окончания второй мировой войны использование их увеличилось в пять раз.

Применение одного конкретного инсектицида можно запретить законом. Но ни запретами, ни призывами никому еще не удавалось изменить тенденцию мирового развития. Нет, не в отказе от вмешательства в биосферу (это невозможно), а в еще более активном, но разумном — учитывающем все прямые и косвенные последствия — вмешательстве видят ученые реальную перспективу.

Х. Браун приводит любопытные исторические примеры того, как в древности целые города «были буквально погребены в собственном мусоре». Однако то, что происходит в современном «обществе потребления», древним не могло привидеться даже в кошмарном сне. «Средний» американец выбрасывает в год 300 консервных банок, 150 бутылок, около 140 килограммов бумаги. Выбрасываются огромные количества металла, пластмасс и других материалов. Все больше земли отводится под свалки, все больше кислорода расходуется на сжигание мусора. Есть ли выход из этого положения? Оказывается, есть! Х. Браун считает, что «с чисто технологической точки зрения человек мог бы вполне комфортабельно существовать, используя лишь создаваемый им самим мусор и самые убогие руды». Ученый ставит в глобальном масштабе вопрос об утилизации отходов. Свалки должны превратиться в базы сырья. Может быть, это не всегда экономически выгодно, но уже в наше вре-

мя это становится необходимым. Иначе вся планета превратится в сплошную свалку.

Недавно в печати промелькнуло сообщение о том, что городские власти Лос-Анджелеса — города, занимающего одно из первых мест в мире по загрязненности атмосферы, — заказали фирме синтетических материалов... партию пластмассовых пальм. Эти «вечнозеленые» памятники человеческому безобразничанию на родной планете будут расставлены на бульварах, ибо живые растения здесь неминуемо гибнут от смога.

Страшное сообщение...

Но вот другое, не менее страшное. Оказывается, если подсчитать концентрацию вредных веществ в атмосфере не в среднем за год, а только в зимние месяцы, то Лос-Анджелесу много очков вперед даст... Анкара. За последние десять лет население Анкары увеличилось вдвое, а заболеваемость раком легких — в 10 раз, хроническим бронхитом — в 11 раз. Причина? У городских властей нет средств на строительство системы центрального отопления, всю зиму в городе дымят печные трубы.

Выходит, что рост производства — это еще не самый угрожающий фактор. Ведь в Анкаре не так уж много промышленных предприятий.

В США в 30-е годы свирепствовали пыльные бури, ветровая эрозия погубила немало плодородных земель. Но урок не прошел даром. И хотя эрозия почв и сейчас для американского сельского хозяйства остается серьезной проблемой, все-таки процесс этот в значительной мере приостановлен, а во многих районах ликвидирован. «Восемь миллионов гектаров остаются под паром для накопления влаги, — пишет Л. Браун, — тысячи километров лесозащитных полос появились в Великих Равнинах. Земли, находящиеся под паром, чередуются с полосами пшеницы («кулисный пар») — это делается для того, чтобы уменьшить выдувание почвы, пока земля не занята».

Но дорогостоящие агротехнические мероприятия, которые может проводить такая богатая и технически развитая страна, как Соединенные Штаты, недоступны густонаселенным странам Азии. По данным известного экономиста Р. Брукса, на которые опирается Л. Браун, в Индии, в штате Раджастан, «десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель ежегодно забрасываются из-за утери верхнего слоя почвы.

Чрезмерный выпас коз уничтожает пустынные растения, которые закрепляют почву. Пастухи, вооруженные серпами, прикрепленными к шестам длиной 6 м, срезают с деревьев листья, и те падают на землю и поедаются козами и овцами. Деревья погибают, а почва переносится ветром на 320 км, к Новому Дели, где оседает в легких его жителей и на блестящих автомобилях иностранных дипломатов».

Еще более точные данные Л. Браун приводит о состоянии сельского хозяйства Пакистана, в котором до недавнего времени ежегодно терялось 24 тысячи гектаров плодородных земель из-за затопления и засоления. Правда, в наши дни найдено эффективное средство против этого бедствия. Система колодцев и труб, предложенная специалистами, помогла понизить уровень грунтовых вод, и, как утверждает Л. Браун, заброшенные прежде земли теперь восстанавливаются.

Часть переносимой ветром почвы так и остается во взвешенном состоянии в атмосфере, а это значит, что меньше солнечной энергии достигает поверхности Земли. Может быть, вовсе не потепления, а всеобщего похолодания климата следует опасаться больше всего, тем более что промышленность тоже засоряет атмосферу твердыми непрозрачными частицами. В статье С. Сингера приведен график изменения среднегодовой температуры в северном полушарии за последние сто лет. Из него видно, что с 1920 года до начала 40-х годов температура неуклонно подымалась, но потом стала снижаться. На графике приведены также кривые возможного изменения температуры в будущем. Наиболее вероятной из них С. Сингер считает ту, что резко устремлена вниз. Увеличение мутности атмосферы ученый выделяет как наиболее важный фактор, который будет влиять на изменение климата Земли. Вот почему американский фермер ныне кровно заинтересован в том, чтобы в Пакистане не было пыльных бурь, а судьба японского крестьянина самым непосредственным образом зависит от того, будут ли на улицах Лос-Анджелеса расти настоящие пальмы или вместо них будут стоять пластмассовые заменители.

Дело лишь в том, в какой мере американский фермер и японский крестьянин осознают свои интересы, в какой степени мы, земляне, осознаем кровное родство между собой, в какой мере мы понимаем ту простую истину, что «наша среда — это

сложное и неделимое целое» и что в воздухе, который мы сейчас вдыхаем, «могут со- держаться атомы, выдохнутые как людьми, жившими тысячелетия назад, так и нашими современниками» (П. Клауд и А. Джибор).

Но тут уже возникает вопрос, далеко выходящий за рамки естественнонаучной проблематики,—не удивительно поэтому, что авторы сборника касаются его лишь вскользь. Симптоматично, однако, что они его все-таки касаются.

«Возникшие совсем недавно проблемы, связанные со средой обитания, стоят перед нами зловещим напоминанием о кумулятивном вредном эффекте тех в остальном вполне разумных действий, которые были предприняты без достаточного учета их последствий»,— пишут П. Клауд и А. Джибор.

«Решение правительства перегородить реку плотиной, решение фермера применить ДДТ на своих полях или решение супружеской пары завести еще одного ребенка чреваты последствиями для всего человечества» — так в еще более резкой и обнаженной форме ставит тот же вопрос Л. Браун.

Ученые как бы перед каждым из нас зажигают сигнал тревоги: подумай! Прежде чем что-нибудь предпринять — подумай не только о прямом результате, но и о возможных косвенных последствиях твоего поступка.

Речь идет о серьезных вещах. За очень короткий срок — время жизни одного-двух поколений — человечеству предстоит решить ряд проблем, от которых зависит само его существование. Необходимо стабилизировать численность населения, обеспечить всех людей полноценным питанием, научиться при все возрастающем вмешательстве в биосферу поддерживать хотя бы относительное ее равновесие.

Успешное решение этих задач возможно лишь при совершенно ином, нежели сегод-

ня, уровне индивидуального и общественного сознания.

Первые сдвиги в сознании наших современников уже происходят и приносят некоторые плоды. Десять лет в рамках ЮНЕСКО работает международная комиссия ученых по проблеме охраны окружающей среды. В Советском Союзе и других социалистических странах охрана окружающей среды взята под контроль государства. Понятно, что плановая социалистическая система хозяйства позволяет более целенаправленно подходить к охране окружающей среды. Однако усилия одной страны и даже группы стран не могут дать ощутимых результатов в общепланетарном масштабе. Вот почему так важно международное сотрудничество в деле защиты биосферы, вот почему люди доброй воли с большим удовлетворением восприняли соглашения о таком сотрудничестве между СССР и США, СССР и Францией, вот почему мы с нетерпением надеемся и ждем обсуждения этих вопросов на общеевропейском совещании.

Но это лишь первые шаги.

Охрана биосферы требует огромных капиталовложений. Их неоткуда взять, если не переключить те средства, которые ныне идут на гонку вооружений. Так проблемы, связанные со средой обитания, вплотную смыкаются с борьбой народов за мир, за всеобщее разоружение.

Владимир Иванович Вернадский впервые обратил внимание на человеческую деятельность как на важный и все усиливающийся геологический фактор. Вслед за учением о биосфере великий мыслитель создал учение о ноосфере, то есть сфере разума. Вернадский верил в человеческий разум, верил, что могущество человеку дано на процветание, а не на гибель. Превратить эту веру в уверенность — такова историческая задача, стоящая сегодня перед человечеством.

С. РЕЗНИК.



ИЗ РЕДАКЦИИ ОННОЙ ПЛОЧТЫ

ВРЕМЯ НАЗРЕЛО

Как часто, читая исторические сочинения, мемуары, научно-популярную, да и художественную литературу, где речь идет не о вымышленных персонажах, а о реальных лицах (вроде напечатанного «Новым миром» романа Ю. Трифонова «Нетерпение»), встречаешь имена людей, о которых хотелось бы узнать побольше. Но часто повествование развивается в ином направлении, а сказанное даже вскользь порождает желание узнать о человеке побольше.

...Знакомое имя, не раз встречалось, но где?

Читаем биографию Веры Засулич. Тако-го в России дотеле не слыхивали: революционерка, стрелявшая в петербургского градоначальника, оправдана судом присяжных! Сильнейшее воздействие на общественные круги оказала на суде речь адвоката П. А. Александрова. Ее печатают в сборниках самых знаменитых судебных выступлений, изучают студенты-юристы. А вот где навести справку, пусть самую скромную, о самом Александрове?

Профессор А. Л. Чижевский. Открыл зета-излучение Солнца, сопоставил циклы солнечной активности с историей человечества: войнами, эпидемиями; занимался структурным анализом движущейся по сосудам крови; пропагандировал аэроионификацию воздуха как лучшее средство от полвины болезней. Но есть еще А. Л. Чижевский — автор двух сборников стихов, изданных в Калуге в 1915 и 1919 годах, а также брошюры «Проект Академии Поэзии», есть А. Л. Чижевский — автор воспоминаний о К. Э. Циолковском. Кто этот на диво разносторонний ученый? Или это ряд однофамильцев? Нелегко мне было выяснить, что речь идет об одном человеке.

Четвертая по высоте горная вершина в СССР носит имя Евгении Корженевской. Кто она?

У А. К. Толстого есть знаменитая сатирическая поэма «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Кто этот последний?

Ручаюсь, что в Большой Советской Энциклопедии вы не найдете этих имен. Это говорится не в упрек БСЭ. Ее задача — дать справки по всем отраслям знания. Словник ее не беспределен — где-то должна быть проведена черта. То же можно отнести и к Исторической энциклопедии. Она призвана осветить историю всего мира — и не столько в лицах, сколько в событиях. В ней нет места скромным деятелям, не говоря о врачах, юристах, математиках. И все же: где искать ответы на подобные вопросы? Существует такой вид справочной литературы, как национальные биографические словари, без которых не обходится ныне ни одна крупная страна. Среди наиболее известных мировых образцов можно было бы назвать французский биографический словарь Ж.-Ф. Мишо «Biographie universelle» в 85 томах, английский Лесли Стефена и Дж. Ли «Dictionary of National Biography» в 66 томах и ряд других. Даже малые европейские страны располагают биографическими словарями в 15—20 и более томов. Попытки подобных изданий предпринимались и в России. В свое время вышли 8 томов труда с замысловатым названием: «Словарь достопамятных людей Русской земли, содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых полководцев, министров и мужей государственных, великих иерархов православной церкви, отличных литераторов и ученых, известных по участию в событиях

Отечественной истории, составленный Дмитрием Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым». В 1896—1918 годах «Императорское историческое общество» издало 25 томов так и оставшегося незавершенным «Русского биографического словаря» (тиражом всего в 1250 экземпляров), который и по сей день остается уникальным источником справок. И этим исчерпывается список отечественных подобных трудов.

Что же представляют собой такие словари, как вообще сложился этот жанр? Стремление к подаче биографических сведений в виде свода вместо отдельных «житий» можно усмотреть еще в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. Однако первое издание, могущее считаться предшественником современных биографических словарей, появилось полторы тысячи лет спустя после Плутарха, в 1671 году. Это был «Исторический и критический словарь» Морели. Еще через полтора века, в 1812—1817 годы, в Лондоне выходит тридцатидвухтомный «Всеобщий биографический словарь Челмерса», который наряду с бесспорными достоинствами содержит в себе все те характерные черты, что далеко не в лучшую сторону отличает многие биографические словари XIX и начала XX века: элитарность, многословие, славословие и суесловие, стремление сделать словарь не источником справок, а неким национальным, а иногда мировым пантеоном. Как правило, их еще нельзя назвать словарями в полном смысле слова, это собрания довольно пространных жизнеописаний, причем некоторые из них разбухали до размеров монографий (так, в первом томе «Русского биографического словаря» императорам Александру I и Александру II отведено 750 страниц из 892).

Вероятно, первым лексиконом по-настоящему справочного типа явился «Словарь американских биографий» в 20 томах, печатавшийся в 1923—1937 годах, хотя и эта публикация насчитывает множество своих специфических недостатков. Собственно говоря, невозможно назвать зарубежное издание данного типа, которое можно было бы признать совершенным и рекомендовать в качестве безусловного примера для подражания. Остается уповать на то, что, напротив, именно наш будущий «Словарь деятелей отечественной истории и культуры» окажется образцом для аналогичных справочников во всем мире — по полноте, все-

сторонности, емкости и одновременно сжатости подачи материала.

В наше время даже как-то неловко доказывать необходимость справочных книг, в том числе всякого рода «персоналий». Потребность в них порождает и порождает множество биографических сводок локального характера. Назовем несколько из них для примера: вот труд знаменитого историка М. П. Погодина «Биографический словарь русских князей до покорения России монголами»; справочник «Люди екатерининского времени» Д. А. Толстого; «Алфавит декабристов»; «Деятели революционного движения в России»; «Русские ботаники» С. Ю. Липшица и др. Издательство «Наука» планирует выпустить в 1974 году книгу Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение. Словарь знакомых поэта». Однако и в строю этих узконаправленных изданий зияют пробелы, порою заставляющие зарубежных историков предпринимать собственные разыскания библиографического свойства о России. Так, в Лейдене (Голландия) в 1966 году вышел солидный том Э. Амбургепа «Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen Bis 1917». В нем приводятся данные о начальствующих лицах по всем государственным ведомствам России с начала XVIII века до 1917 года, дается перечень всех русских послов за границей в течение того же периода, руководящих лиц высших учебных заведений, Академии наук, научных учреждений по всей стране и т. д.

Излишне говорить, что эти весьма полезные издания (практически все они являются библиографическими редкостями, порой чрезвычайными!) никак не в силах заменить сводного национального биографического словаря. Словарь, за который я ратую, уже ясно видя его перед глазами, должен сосредоточить сведения не только о тех, про кого можно найти справку в любой энциклопедии, но и о малоизвестных или несправедливо забытых деятелях нашей истории и культуры. Практически такой справочник станет единственным широкодоступным источником биографических и, что особенно важно, библиографических данных о большинстве лиц, в нем упомянутых. Следовательно, словарь будет включать в себя очень много имен (упомянутый выше «благонамеренный» и узкоклассовый «Русский биографический словарь» должен был охватить свыше 50 тысяч деятелей, да и то он был искусственно

ограничен лицами, умершими до 1892 года) и статьи в нем должны быть по необходимости краткими. Но зато сверх разумного минимума данных читатель в каждом случае получит драгоценные для него отсылки к источникам, где он сможет прочесть о данном лице подробнее. Без них эти источники, в большинстве случаев навек остались бы для него недосягаемыми в безбрежном книжном океане.

Ясно, что составление словника к будущему словарю потребует решения многих вопросов. Ограничимся двумя примерами. Считать ли русским ученым Леонарда Эйлера, свыше тридцати наиболее плодотворных лет прожившего в России, ослепшего на один глаз над составлением ее карты и окончившего дни в Петербурге, Эйлера, которого французский словарь объявляет «швейцарским математиком», ряд немецких источников — немецким, а некоторые наши авторы рассматривают как русского? Или: считать ли русским инженером уроженца Муромы Владимира Кузьмича Зворыкина, «отца» телевидения, вся творческая деятельность которого прошла в США? Может быть, бесполезным окажется обращение к опыту наших польских друзей, издающих сейчас «Польский биографический словарь», ибо им пришлось столкнуться с подобными же загвоздками. Вероятно, еще до начала издания словник его должен быть опубликован, обсужден и дополнен общественностью.

Кому-нибудь может показаться, что подготовка такого словаря вообще непосильная затея, что-то вроде геркулесового подвига. Это не совсем так. Отечественная библиография достигла немалых успехов. Имеется масса источников (судя по специальным сводкам И. М. Кауфмана, П. А. Зайончковского и других, их несколько тысяч), в которых аккумулирован гигантский материал, нужный для словаря. Как говорится, еще остатки останутся. И в самом деле, не

всех же 2500 знакомых Пушкина включать в словарь!

Итак, время назрело. Отсутствие биографического словаря все более ощущается нашей культурой. В статье «Золотоискатель — перед Гималаями» («Литературная газета», № 48, 1972) С. Машинский поднял вопрос о желательности издания картотеки Б. Модзалевского (точнее, следовало бы сказать — Б. Л. и Л. Б. Модзалевских), и поднял его совершенно основательно, ибо, несмотря на то, что картотека эта — собрание сырого материала (она представляет собой свод отсылок к книгам и статьям, где упоминается то или иное лицо), составляющие ее более чем 300 тысяч карточек являются тем не менее совершенно уникальным источником сведений для историка и литературоведа и, бесспорно, должны быть изданы, как, может быть, и картотеки литературоведов С. А. Венгерова, В. И. Саитова и других. Но вот что характерно для этих материалов: основной их адресат — специалисты. Однако речь тут идет не только об их интересах. Ведь биографический словарь нужен прежде всего (да не покажется это высокопарным!) народу — наследнику того, что ему оставляют предшествующие поколения, наследнику своей истории. Он предназначен внимательному, культурному, патристически мыслящему читателю — этому жадному до знаний многомиллионному племени людей, живущих ныне и еще не родившихся.

И как знать — может быть, уже через два-три года мы возьмем в руки первый том «Словаря деятелей отечественной истории и культуры» и, раскрыв его на первой странице, узнаем, кто был В. В. Абаза, положивший на музыку дивное стихотворение И. Тургенева «Утро туманное», а потом и обо всех, кто нас заинтересует.

А. ГОРЯНИН.

Ташкент.



КОРОТКО О КНИГАХ



НАБИ ХАЗРИ. Чистое дыхание земли. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. М. «Молодая гвардия». 1973. 144 стр.

Новая книга стихов известного азербайджанского поэта является, по существу, поэтическим итогом последних двух десятилетий и творческим отчетом перед всесоюзным читателем. В небольшой свой сборник Наби Хазри включил лучшее из того, что было в двух книгах — «Море начинается с вершин», «Стихи и поэмы», — удостоенных Государственной премии СССР. По-видимому, выбор его определили и наиболее удачные переводы на русский язык. Здесь можно встретить еще те стихи, что были знакомы читателю как стихи Наби Бабаева (псевдоним Наби Хазри взят поэтом в середине творческого пути). И в них мы узнаем поэта со своим особым, активным отношением к жизни, действительности.

Путеводная звезда может оказаться жестокой и неискренней, обманной и коварной, если, как говорит предание, она восходит в полночь. И не надо трудную верность избранному пути путать с прямолинейной косностью, как «ту звезду, губительницу караванов, не спутать бы нам с утренней звездой» (перевод Д. Самойлова). Стихотворение «Звезда — губительница караванов» — одно из лучших в книге и одно из тех, в котором старое народное предание обретает новый смысл и юную мудрость.

Есть нестареющие истины. И сколько их ни повторяй, они не становятся банальными. Для Наби Хазри неизменными истинами были и остаются земные истоки духовной силы человека, его кровная связь с землей, слитность с судьбой народа, с его прошлым и настоящим.

Именно поэтому мы можем сегодня говорить о сложившемся поэтическом стиле, особенной интонации голоса Наби Хазри в многоголосой азербайджанской поэзии.

Есть у него излюбленные темы и образы, верность которым он ревниво отстаивает, порой полемизируя с читателем. «Петь о чинаре — это, брат, старо! — читатель мой заметил мне сурово» («Опять о чинаре», перевод Ю. Левитанского). «Пусть за меня чинара говорит, всего меня собою продолжая...» — отвечает поэт. «Один мой день — как твой один листок, а целый год — как целая чинара...»

Одухотворенность природы, неразрывная связь человека с ней у Наби Хазри выра-

сается в большую тему преемственности поколений. В трех его поэмах, включенных в книгу («Сестра солнца», «Два Хазара», «Мать»), романтические герои: девушка-механизатор Севиль, нефтяник, поставивший первую буровую в Каспии, мать поэта; все они возрождаются в детях своих, в делах своих, и в этом возрождении видит поэт силу вечного обновления жизни, бессмертия человека.

Можно сказать, что Наби Хазри повезло с переводчиками. Его переводили Е. Винокуров, Е. Евтушенко, А. Передереев, Д. Самойлов, Ю. Левитанский и другие. Но, наверное, именно потому, что все они поэты разные, с яркой индивидуальностью, общий тон переводов не всегда гармонирует с полутонами, характерными для оригинала.

Видади Пашаев.

Баку.



МИХА КВЛИВИДЗЕ. Продолжение следует. Стихи. Перевод с грузинского. М. «Художественная литература». 1973. 206 стр.

Стихам Миши Квливидзе предпослано предисловие Давида Самойлова. С удовольствием читаешь эту яркую, живую статью и, возвращаясь к ней после того, как книга до конца пройдена, признаешь пронзительность многих суждений. Да, Д. Самойлов прав: у Квливидзе «редки выплески пафоса», ему более свойственны «ненавязчивая настойчивость, мягкая убедительность». И верно, что перо М. Квливидзе зачастую работает так, как привыкло в пальцах бывшего художника-графика («За крышами домов, на горизонте, совсем как полотно пилы двуручной, лесок темнеет линией зубчатой»). А еще пишет Д. Самойлов о гармонии, о намерении М. Квливидзе «разрешить противоречия жизни в добром лоне поэзии». А вот это, пожалуй, и не совсем так, хотя сказано красиво.

Миша Квливидзе вовсе и не спешит внести момент организующего равновесия туда, где открывается диссонанс, противоречие живого и мертвого, возможного и невозможного. Он переживает этот диссонанс как нечто свое собственное, глубоко личное, однако сохраняет в чувстве все его напряжения.

Интонация исповедальная у поэта мело-

дически переходит в интонацию, рожденную вдумчивой мыслью. Мысль эта собирает и копит в себе какие-то малозаметные частности, стремится их разрешить — ведь сердце поэта не смогло их вытолкнуть, изъять, обойти вниманием.

Слова метят странность непоправимого, ту асимметрию, которая болью отзывается в человеке. Подчиниться ей? Нет! Мужественное слово поэта идет против такой асимметрии. И все же в борьбе с этой асимметрией слово поэта порой теряет часть своей творческой, утверждающей силы. Оно как бы оставляет отпечаток, графически безупречный образ ситуации. И между прочим, однозначность такого внутреннего задания влечет за собой красоты и штампы, когда сон сравнивается с «приемной комнатой смерти», а морской отлив — с вечной разлукой. Стройные сосны на песчаном побережье потому не пугаются морской дали, что каждая «верна надежде, у каждой своя гордость и печаль».

К счастью, декоративно-романтические сосны в сборнике «Продолжение следует» выглядят, можно сказать, отщепенцами. Надуманный этот образ вступает в противоречие с настроением непримиримости к искусственной риторике. Ибо Миха Квливидзе — враг натренированного красноречия, пусть оно проявляется в некоторых приемах восточной поэзии или уверенных повадках тамады. Однако где-то в глубине души лирического героя нарастают горячие толчки. И не тогда это проявляется с наибольшей ясностью, когда он клянется в преданности Тбилиси, а тогда, например, когда он нежно и глубоко любит свою мать... Исподволь начинается романтический взлет (он хорошо известен грузинской поэзии) — будто преодолевается сама сила земного притяжения. Это чувство высвобождения от земных пут возникает непредусмотренно, то позже, то раньше, то сейчас. Хмурое небо. Стужа. Серый душный дым — листья сжигают на костях.

Но вдруг обнаженный ветра порывом,
Взвывает лист, нестерпимо багров,
Он к небу несется, он станет счастливым,
Пробив напоследок броню облаков...

Как хочется снова по-детски проснуться,
Весенние шелесты в сердце храня,
И бронзовым крылышком неба коснуться
И скрыться навеки в сиянии дня!

(Перевел М. Светлов)

В «Монолог Бараташвили» открыто и вольно прорывается это чувство захватывающей, беспредельной жажды жизни — «вопреки всему», вопреки иллюзиям, которые умеет творить мертвое... Это же чувство одушевляет собой программное стихотворение «Продолжение следует». Продолжение следует — слова эти можно отнести и к тому значительному, самобытному, что ярко высказалось в новой книге стихов Миши Квливидзе.

Л. Антопольский.



АМОС ТУТУОЛА. Путешествие в Город Мертвых. Перевод с английского А. Князевского. М. «Наука». 1973. 88 стр.

Амос Тутуола — нигерийский писатель; книга «Путешествие в Город Мертвых» была создана им еще в 1952 году и сразу переведена почти на все европейские языки. Успех ее далеко не случаен. Книга написана необычно, она открывает читателю, воспитанному на классических образцах европейской литературы, не только новый пласт жизни, но и весьма своеобразный, похожий на уже известные тип художественного мышления. Мы привыкли к тому, что художественные произведения, созданные по фольклорным мотивам, с использованием народных сказаний и поверий, при всем богатстве эстетических переключек с фольклорным миром, все-таки отъединены от него. Здесь же на первый взгляд нечто совсем иное.

Зная нигерийский фольклор, можно даже предположить, что писатель просто нанизал на ниточку повествования самые разнообразные сказки и легенды, как может нанизывать их деревенский сказитель, сидя в кругу односельчан и попивая расслабляющее вино. В самом деле — герой-рассказчик, именующий себя «специалистом по пальмовому вину», отправляется на поиски погибшего «винаря», это вино изготовлявшего, потому что, слышал он, мертвые не сразу улетают на небо, а сначала «собираются в специальном посмертном месте». И вот по дороге он помогает старику богу изловить Смерть, чтобы она прекратила свои «смертные штуки»; спасает из «жилища черепов» девушку, путившуюся в лес за «совершенным джентльменом», который, войдя в чащу, разобрался на части и оказался черепом; живет в белом дереве у Всеобщей Матери; достает волшебное яйцо, которое кормит весь мир... Словом, сюжетов нескончаемое множество, но единый сюжет, единая фабула практически отсутствует. Что же перед нами? Сборник нигерийского фольклора? Однако не будем спешить. Если вчитаться попристальнее, вслушаться в интонацию рассказчика повнимательнее, начинаешь понимать, что автор — не простой сказитель (хотя и не писатель со своей картиной мира), что он находится где-то «между»: то ли рефлексия по поводу этих сказок, то ли полная в них растворенность.

Здесь еще нет осознанной отъединенности от фольклорного мира, но древние поверья уже становятся материалом для художественной игры, это говорит об отходе автора от традиции нерасчлененного синкретизма и одновременно о том, что нигерийская культура — на новом уровне — начинает постигать себя, входит составной частью в мировую культуру не как этнографический материал для исследователя, а как самостоятельная величина.

Каждая молодая национальная культура, выходя из первоначального синкретизма, желает показать миру накопленные ею духовные ценности. И она высказывается и познает себя сначала не путем научного

самоанализа, а через искусство как бы «наивного» перелагателя фольклорных сюжетов, сумевшего глубоко проникнуться духом своей культуры. Углубляющийся сейчас в мире процесс взаимовлияния, взаимообогащения культур приносит свои богатые плоды. Через книгу Тутуолы с нами заговорила сама Нигерия, ее богато одаренный народ. Книга Амоса Тутуолы, таким образом, участвует в очень важном деле укрепления межнациональных культурных связей.

В. Кантор.



ВЛАДИМИР ГОЛИЦЫН. Страницы жизни художника, изобретателя и моряка. Сборник. М. «Советский художник». 1973. 159 стр.

Трудно сказать, что было главным в характере Владимира Голицына — азартность ли человека, который все в жизни хотел испытать лично, методом «собственной шкуры», необыкновенная ли изобретательность фантазии, острая наблюдательность художника, — но в начале 30-х годов его знали и ценили люди самых разных профессий. И писатели, чьи книги он оформлял, и полярники, моряки, с которыми он ходил в походы по Северу, на Новую Землю, и актеры, для которых он писал причудливые декорации. Вот почему так и называется недавно вышедшая книга о нем: «Страницы жизни художника, изобретателя и моряка».

Мало картин Владимира Голицына уцелело и дошло до нас, но даже по репродукциям этого сборника видно, что был он художником наблюдательным, мастером острого, веселого рисунка, достойным учеником П. Кончаловского и П. Корина.

Он никогда не мог полностью отдаться одному делу, одному увлечению, он необыкновенно разбрасывался, этот мальчишески веселый, любопытный и отчаянный человек. Он великолепно иллюстрировал «морские» книги Новикова-Прибоя и Житкова, предвзвешенно тщательно изучая все, что можно было бы найти по истории парусного флота, чтобы и маленькой деталью не погрешить против истины. Он делал необыкновенные росписи по дереву, получившие в Париже на международной выставке декоративных искусств золотую медаль. И сегодня, глядя на веселые красочные панно, понимаешь, как умел художник не умиляться примитивизмом народного лубка, а использовать его манеру, приемы для создания картин, точно отражающих свое время в его живописной лексике. «Брось тоску...», «Песнь мою жалобную...», «Лотошники и милиция», «Матрос, люби меня...» — во все эти репродукции можно подолгу всматриваться, открывая все новые и новые подробности, юмористические и реальные, поражаешь необыкновенной сочности палитры художника.

В сборнике о Владимире Голицыне вспоминают самые разные люди: полярник В. Васнецов, художник В. Перцов, брат Владимира Голицына писатель Сергей Голицын,

сын его, тоже художник, Илларион Голицын и другие.

Из воспоминаний перед нами возникает человек, никогда не искавший легких путей в познании мира, в искусстве, никогда не требовавший себе особых привилегий, человек, умевший радоваться чужому дарованию. Интересно читать страницы из дневника Владимира Голицына, помещенные в сборнике, в которых он рисует приезд к нему в Крым Павла Корина, работу художников.

Владимир Голицын во всем, что делал, имел свой особый почерк, вот почему, листая старые подшивки журналов «Всемирный следопыт», «Пионер», «Знание — сила», всегда узнаешь иллюстрации художника, даже когда они без подписи. Он умел сохранять индивидуальность в любом деле, чем бы ни занимался, даже в настольных играх для мальчишек, в которых он проявлял поразительное понимание их психологии. Ведь он и сам до конца своих дней оставался мальчишкой, добрым, веселым, смелым и наивным, всегда верившим, что за зимой идет весна.

Сборник «Владимир Голицын. Страницы жизни художника, изобретателя и моряка» возвратил нам незаслуженно забытого интересного человека, наделенного добрым, светлым талантом, многогранной фантазией.

Лариса Исарова.



А. СКАФТЫМОВ. Нравственные искания русских писателей. Статьи и исследования о русских классиках. М. «Художественная литература». 1972. 543 стр.

В первый посмертно изданный сборник статей известного литературоведа А. П. Скафтымова вошли работы о Достоевском, Толстом, Чернышевском, Чехове, А. Н. Островском. Хотя здесь бегло охвачен долгий путь ученого с 20-х по 50-е годы, это лишь небольшая часть его творческого наследия: едва ли не за каждой статьей стоит обширный цикл его исследований на ту же или близкую тему. Вне тематических границ сборника — Скафтымов-фольклорист, Скафтымов — исследователь западноевропейских классиков. Перед составителем издания Е. Покусаевым стояла задача: отобрать наиболее духовно значимое для самого ученого, дать человеческий портрет Скафтымова, выявить его душевную устремленность. Это удалось, ибо тема, вынесенная в название книги и определившая ее состав, была личной темой Скафтымова, идеал «живой обращенности человека к другим людям», с которым явились миру великие русские писатели, был и его личным идеалом, проникающим в самую методику исследований.

Без преувеличения: выход в свет этой книги — значительный факт литературной науки. В ней содержится некий пример и урок. В людях, талантливо воспеваемых при соприкосновении с великими творениями, нет недостатка, немало и да-

ровитых конструкторов общих, «концептуальных» схем, но подлинные интерпретаторы, способные несуетно, без эгоистического самовыявления устремляться к жизненному центру создания искусства, встречаются несравненно реже. Глубокий литературно-исследовательский талант Скафтымова обладает этим нравственным устоем. Скафтымов всегда принимает к личной творческой правде каждого большого художника, восстанавливает ее в правах, в исходной моральной привлекательности и заразительности, прежде чем указать на ее исторические границы и возможную недостаточность. Он много спорит с коллегами, хотя в тоне его полемики нет честолюбивого азарта, скорее удивление перед чужой преубежденностью. Адресаты полемики меняются от десятилетия к десятилетию: символистская критика с ее мифологизированием, опоязавцы, отечественные фрейдисты 20-х годов, примитивные «социологи», всевозможные упрощенцы, ловящие великих писателей на «идейных противоречиях». Но положительная и предваряющая цель полемики всегда одна и та же: рассеять туман предвзятости и установившихся недоразумений, чтобы затем взойти по ступеням анализа к замыслу и смыслу, к сложной целокупности художественной идеи.

Некоторые разборы Скафтымова представляются, несмотря на краткость, исчерпывающими — что называется, «закрывают проблему». После того, что им так убедительно — и притом уже давно — сказано о Достоевском или Толстом, трудно упорствовать в ходячих заблуждениях: скажем, утверждать, что автор «Записок из подполья» находится в духовном совпадении со своим героем, что толстовский Кутузов — бездеятельный фаталист, плод историософского недомыслия создателя «Войны и мира».

Скафтымову, обладавшему точнейшим чувством не только художественных, но и нравственно-идейных оттенков, удавалось без огрублений разрешать наиболее сложные споры об авторской оценке персонажа (это особенно трудно, когда речь идет о Чехове), а широкие культурно-философские интересы, равно как и умение уважать в великом писателе не только художника, но и мыслителя, приводили его к постановке таких проблем, как: Толстой в споре с Гегелем, Чехов в споре с Шопенгауэром. На многое он указал первым или одним из первых, но без шумных словечек «поток сознания», «некоммуникабельность», «пограничная ситуация», а слогом, достойно примыкающим к предмету анализа.

Подходя к писателю, Скафтымов стремится прикоснуться к его интимному душевному ядру: у Достоевского — тема прощения и обособляющейся гордости; «печаль о недающемся счастье» — у Чехова; попечительство о моральном и гражданском освобождении женщины как жизненно прочувствованный мотив — у Чернышевского. Есть у Скафтымова и личный доминирующий тон — как справедливо замече-

но в предисловии к сборнику, его складу всего ближе этика чеховского типа; от Чехова и Толстого — неприятие самоутверждения и героической позы столь настойчивое, что оно приводит к заниженной оценке Стендаля с его «боевым культом энергии», к отрицанию связи между Стендалем и Толстым.

Статьи Скафтымова написаны под знаком «исходной нравственной тревоги» русской классической литературы — это двукратная тревога о достоинстве личности и об «общей правде», защищаемой от индивидуалистического своеволия и самодовольства. Мысль Скафтымова сопровождаются выделенные им слова Толстого: «И нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

И. Родьянская.



А. А. ДЕМИН, С. Б. ЛАВРОВ. ФРГ сегодня. Некоторые актуальные проблемы экономики, науки, политики. Лениздат. 1973. 408 стр.

«Куда идет ФРГ?» — так озаглавил несколько лет назад свою книгу западногерманский философ Карл Ясперс. На этот вопрос, который в послевоенные годы неизменно привлекает к себе пристальное внимание советских людей, пытаются найти ответ и два ленинградских германиста — профессора, доктора наук А. А. Демин и С. Б. Лавров. Этот интерес, безусловно, еще больше возрос в связи с подписанием в 1970 году Московского договора между СССР и ФРГ и заметным улучшением советско-западногерманских отношений.

Авторы монографии в предисловии так сформулировали свое творческое кредо: отказ от «привычных стереотипов, согласно которым, например, Западная Германия — это Рур и его монополистические цитадели, готика, автобаны, аккуратность, сосиски и пиво. Такие «обоймы» стереотипов помогают, как зонтики: укрывая от дождя, они скрывают панораму, а действительная сущность тонет в «экзотике» поверхностных фактов». Скажем сразу: авторам удалось вскрыть глубокую подоплеку многих весьма сложных процессов, происходящих в экономике, политике, общественной жизни ФРГ, хотя они и не избежали того, чтобы принести привычную и, видимо, в какой-то мере неизбежную дань тем или иным стереотипам. Стремясь пропустить все события и факты через призму научного анализа, авторы не утратили вкуса к живым, «журналистским» деталям и эпизодам, хотя зачастую и прятют их без нужды в сноски.

В книге исследуются специфика западногерманского государственно-монополистического капитализма в условиях научно-технической революции, структура и деятельность военно-промышленного комплекса, роль правящей Социал-демократической партии в нынешних условиях, место ФРГ в системе мирового капитализма. Комплексный анализ экономических, социальных и

политических процессов подкрепляется обильными, вполне современными материалами и данными. Дается в монографии и оценка реалистических сдвигов в политике ФРГ, которые привели к нормализации ее отношений с Советским Союзом и другими европейскими социалистическими государствами.

Широкий круг проблем, стоящих перед ФРГ, обилие самых разнообразных сведений и фактов об этой стране — привлекательные черты книги. Но временами чувствуются информационные «перегрузки» в ущерб аналитичности.

Подводя итог своим наблюдениям, А. А. Демин и С. Б. Лавров приходят к таким выводам: «Изменения в умах большинства западных немцев и обозначившиеся в политической ситуации новые тенденции носят, по-видимому, необратимый характер... В политической жизни меняются сложившиеся пропорции, которые недавно казались неизбывными: меняются не только количественно, но и качественно... Однако будущее ФРГ, пока не подорваны основы могущества и власти государственно-монополистической элиты, нельзя считать ни ясным, ни безмятежным». Справедливость этих выводов подтверждается ходом событий последнего времени.

«ФРГ сегодня» — полезное исследование, обогащающее наши представления об этой стране.

Вл. Кузнецов,
кандидат филологических наук.



И. ТЕРТЕРЯН. Современный испанский роман (1939—1969). М. «Художественная литература». 1972. 287 стр.

Изгнание или смерть — так стоял вопрос для передовой испанской интеллигенции в 1939 году. Франкизм тщательно уничтожал все, что могло напомнить о республике, демократии, свободе. Для испанской культуры наступили тяжелые годы, казалось, прервалась ее демократическая традиция.

Как решила испанская литература проблемы, поставленные новой исторической ситуацией, какую позицию заняла она по отношению к франкистскому режиму — на эти вопросы отвечает книга И. Тертерян, рассматривающая судьбу испанского романа на протяжении тридцати лет, прошедших со времени окончания национально-революционной войны испанского народа против фашизма.

Общественно-политическая и духовная атмосфера Испании введена в повествование как живая питательная среда, в которой проходило формирование и развитие литературы, ее наиболее активного жанра — романа. Во всей полноте и сложности представлены взаимосвязи литературы и действительности, определено значение и место литературы в жизни общества на каждом этапе его истории. Когда читаешь о кровавых 40-х годах, о том, какими мето-

дами утверждал себя фашизм, осознаешь до конца то гражданское мужество, которое потребовалось писателям Камило Хосе Селе, Кармен Лафорте, чтобы в эти годы констатировать «страшную правду жизни» в романах «Семья Паскуаля Дуарте», «Улей», «Ничто».

Шаг за шагом изучает И. Тертерян все повороты жанра — тремандизм 40-х годов (глава «Страх и отчаяние в испанской империи»), объективную прозу 50-х, художественные поиски последнего десятилетия (глава «Множественность исканий»), особенности развития испанского реализма. Автор подчеркивает единство целого литературного поколения, выступившего против шкалы ценностей, предлагаемых франкистским государством. «Программное единство было прежде всего идейным, эстетические требования, хотя бы и с жаром отстаиваемые, были производными от идейных и ими определялись», — пишет автор. Творчество писателей Х. Фернандеса Сантоса, Х. Гойтисоло, А. М. Матуге, А. Гроссо, Д. Медно и других анализируется в контексте общих усилий литературы осмыслить наисущественнейшие проблемы своей страны. Речь, по существу, идет о становлении демократической художественной интеллигенции в сегодняшней Испании, которая все активнее включается в борьбу с франкизмом.

Глубокое знание особенностей культурного развития Испании первой трети XX века (недавно выпло в свет исследование И. Тертерян «Испытание историей. Очерки испанской литературы XX века». М. 1973) позволяет автору убедительно проанализировать причины актуальности в современных условиях творческого наследия 20—30-х годов, наследия великих мастеров так называемого поколения 1898 года — Антонио Мачадо, Валье-Инклана, Унамуну, П. Барохи, которое в 60—70-х годах заново открывается и осваивается молодыми поколениями испанцев. В новом ракурсе представлено в книге обращение испанского романа к народу, к «устойчивым ценностям». Тема, столь близкая поколению 1898 года, в настоящее время обретает иные черты и характеристики — они интересно даны в главе «Испанское почвенничество».

Одна из центральных тем книги — трагическая тема гражданской войны, разделившей Испанию на два враждебных лагеря. Испанский роман решает тему неоднозначно. Писатели Р. Гарсиа Серрано, Х. Фернандес де ла Ререга, Х. М. Хиронелья, Ж. Салес, Х. Гойтисоло, Л. Ромеро и другие по-разному представляют облик войны, но очень важно, что герои некоторых произведений приходят к выводу, какой сделал герой романа Х. Гойтисоло «Особые приметы»: «Мы дорого заплатили за проигранную гражданскую войну». Одна такая фраза, сказанная человеком, не принимавшим непосредственного участия в войне, снимает все славословия о «победах» режима.

Видимо, не случайно вспоминаются слова Антонио Мачадо, произнесенные им в 1939

году, когда было уже ясно, что республика терпит поражение: цветы можно вытоптать, а земля останется. За тридцать лет литература, выросшая на обожженной испанской земле, сумела в тяжелых условиях диктатуры отстоять гуманистические и демократические принципы.

В. Кулешова,
кандидат филологических наук.



М. О. МЕНДЕЛЬСОН. Американская сатирическая проза XX века. М. «Наука», 1972. 370 стр.

Всем, кто занимается или хотя бы просто интересуется американской литературой, хорошо известны работы М. Мендельсона. К ним прибавилась книга, посвященная развитию в литературе Соединенных Штатов сатирической традиции.

Обоснованность выбора подобной темы не вызывает сомнений, это действительно одна из богатейших и плодотворнейших традиций американской литературы, получившая блестящее воплощение в творчестве многих крупных писателей — Марка Твена, Синклера Льюиса, Ленгстона Хьюза, Курта Воннегута, Джозефа Хеллера.

Исследование М. Мендельсона строится на обширном, тщательно проработанном материале, отличается широтой охвата литературных явлений и явлений жизни.

Книга открывается введением, в котором ставятся общие проблемы сатиры как особого вида литературного творчества, обладающего специфическими чертами и системой художественных средств. Особенно привлекает в этом разделе использование богатого наследия эстетической мысли от античности до наших дней.

Рассмотрению сатиры XX века предпослан очерк, рассказывающий о ее зарождении и особенностях развития на протяжении прошлого столетия, в частности связанных с различием жизненного уклада южных и северных штатов, знакомящий с писателями и их произведениями, почти или совсем неизвестными. Стремление дать более полное представление об американской литературе составляет вообще одно из главных достоинств книги, где впервые раскрыт для советского читателя самобытный талант Данна, сатирическое дарование критика Генри Менкена, хлестко бичевавшего

пошлость буржуазного образа жизни и мышления, ядовитый смех Натаниела Уэста.

Справедливо подчеркивается в книге исключительная роль Твена в становлении американской сатиры. С полным основанием говорится о том, что основой сатиры XX века, как и вообще всей американской литературы критического реализма, стало изображение тупика, в котором оказалась цивилизация, где накопление материальных богатств сопровождается духовным обнищанием личности. Обоснованно связывается подъем сатиры в 30-е годы с нарастанием демократического движения. Следовало бы, однако, подчеркнуть, что, вдохновляя писателей на создание произведений, проникнутых высоким пафосом антибуржуазности, пафосом борьбы с фашизмом, как, например, в романе С. Льюиса «У нас это невозможно», это движение, с другой стороны, пугало их, что обернулось слабостью в изображении противостоящих фашизму сил, отчего, собственно, положительные персонажи и кажутся взятыми «напрокат».

Много внимания уделяется в книге современным писателям; интересно, свежо представлено творчество Дж. Хеллера, Дж. Чивера. Удачен раздел о научной фантастике, в котором автор выявляет сатирические тенденции в произведениях Р. Брэдли, Р. Шекли, К. Воннегута, убедительно доказывая, что в первую очередь благодаря скрытой за фантастическим антуражем издевке над окружающим миром их романы и новеллы обретают свое художественное значение. Думается, что здесь стоило подробнее остановиться на романе Воннегута «Утопия 14», в частности на иронии финала: книга заканчивается описанием того, как восставшие против «машинной цивилизации» бунтовщики начинают неумело собирать разрушенные ими автоматы, без которых не может функционировать современное производство, а им самим грозит голодная смерть.

В заключение хочется обратить внимание еще на один факт. Лет десять — пятнадцать назад подобная книга вряд ли могла бы появиться — так много «белых пятен» было на карте советской американистики. Сейчас многие из них ликвидированы, в чем немалая заслуга принадлежит и автору данного исследования.

М. Коренева.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Три источника и три составных части марксизма. 64 стр. Цена 7 к.
В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. 24 стр. Цена 3 к.
Борьба коммунистов против идеологии троцкизма. Сборник статей. 222 стр. Цена 96 к.
А. Кунина. Идеологические основы внешней политики США. 223 стр. Цена 73 к.
Международный ежегодник. Политика и экономика. Выпуск 1973. 303 стр. Цена 87 к.
Научно-техническая революция и социализм. Совместный труд ученых СССР и ЧССР. Под общей редакцией В. М. Кедрова. 366 стр. Цена 82 к.
Содружество социалистическое. СЭВ: итоги и перспективы. 272 стр. Цена 46 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- А. Гитович.** Избранное. Стихи. 382 стр. Цена 78 к.
П. Загребельный. Диво. Роман. Перевод с украинского И. Карабутенко. 687 стр. Цена 1 р. 39 к.
А. Кулешов. Далеко до океана. Поэма. Перевод с белорусского Н. Кислика. 160 стр. Цена 88 к.
Я. Купала. Избранное. Вступительная статья, составление Р. И. Файнберг. Библиотека поэта. Большая серия. 814 стр. Цена 3 р. 72 к.
С. Маршак. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е издание. 907 стр. Цена 3 р. 80 к.
А. Митрофанов. Под старым вязом. Повесть и рассказы. 256 стр. Цена 32 к.
А. Новиков. О душах живых и мертвых.— Впереди идущие. Романы. 832 стр. Цена 1 р. 84 к.
Б. Сучов. Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе. Издание 3-е, дополненное. 503 стр. Цена 1 р. 39 к.
А. Чаковский. Блокада. Роман. Книга 4. 352 стр. Цена 81 к.
В. Щербина. Писатель в современном мире. Литература, Идеология, Культура. 574 стр. Цена 1 р. 57 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- А. Ананьев.** Танки идут ромбом. Роман.— Межа. Роман. 544 стр. Цена 1 р. 33 к.
Х. К. Андерсен. Сказки.— Историн. Перевод с датского. Вступительная статья К. Паустовского. 447 стр. Цена 1 р. 78 к.
О. Гончар. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Т. 1. Знаменосцы. Рассказы. Перевод с украинского Л. Шапиро. 501 стр. Цена 1 р. 20 к.
Г. Ершов. Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. 189 стр. Цена 35 к.
Всеволод Иванов. Собрание сочинений. В 8-ми томах. Том I. Партизанские повести. Голубые пески. Роман. Возвращение Будды. Повесть. 623 стр. Цена 1 р. 55 к.

- Г. Марков.** Собрание сочинений. В 5-ти томах. Т. 3. Отец и сын. Роман.— Орлы над Хинганом. Повесть. 591 стр. Цена 1 р. 25 к.
С. Машинский. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Издание 2-е, дополненное. 576 стр. Цена 1 р. 73 к.
П. Панч. На калиновом мосту. Повесть минувших лет. Авторизованный перевод с украинского Б. Турганова. 287 стр. Цена 70 к.
В. Парун. Стихи. Перевод с сербскохорватского. 222 стр. Цена 79 к.
Перуанские рассказы XX века. Перевод с испанского. Составление и предисловие Э. Врагинской. 255 стр. Цена 1 р.
Н. Погодин. Собрание сочинений. В 4-х томах. Том 4. Янтарное ожерелье. Роман. Статьи. 414 стр. Цена 1 р. 10 к.
Н. Рыленков. Избранные произведения. В 2-х томах. Стихи и поэмы. Т. 1. Книга юности. Книга встреч. Книга памяти. 463 стр. Цена 1 р. 86 к.
А. Шенгелиа. Стихотворения. Перевод с грузинского. 222 стр. Цена 62 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. Ардаматский.** Две дороги. Роман. В двух книгах. 543 стр. Цена 1 р. 24 к.
В. Беллев и А. Елкин. Ярослав Галан. Издание 2-е, исправленное. 239 стр. Цена 65 к.
В. Журавлев-Печерский. Одиноким кедр. Лирические миниатюры. 144 стр. Цена 21 к.
В. Коржинов. Убегающий горизонт. Стихи. 128 стр. Цена 41 к.
М. Магомедов. Люди из Багдаба. Повести. Перевод с аварского. 335 стр. Цена 72 к.
С. Марков. Вечные следы. Книга о землепроходцах. 496 стр. Цена 1 р. 25 к.
С. Смирнов. Собрание сочинений. В 3-х томах. Т. 3. Сталинград на Днестре.— На полях Венгрии.— Люди, которых я видел. 464 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВРЕМЕННОИ»

- Ф. Алиева.** Роса выпадает на каждую травинку. Роман. Перевод с аварского Л. Румарчук. 212 стр. Цена 48 к.
М. Ганина. Повесть о женщине. Повести, рассказы и очерки. 286 стр. Цена 60 к.
И. Еремин. Земные корни. Стихи. 79 стр. Цена 36 к.
Л. Золотарев. Берестяные песни. Рассказы. 174 стр. Цена 47 к.
Х. Калоев и М. Кочисов. Побратимы. Стихи. Перевод с осетинского С. Поликарпова. 160 стр. Цена 55 к.
А. Кешоков. Земля добра и винограда. Стихи и поэма. Перевод с кабардинского. 255 стр. Цена 1 р. 15 к.
Э. Корпачев. Двое на перроне. Рассказы. 176 стр. Цена 50 к.
М. Никитин. Здесь жил Достоевский. Роман в 33-х сценах. Предисловие К. Ломунова. 206 стр. Цена 54 к.
А. Овчаренко. Социалистическая литература и современный литературный процесс. Издание 2-е, переработанное и дополненное. 493 стр. Цена 1 р. 36 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- С. Алексеев.** Сын великана. Избранные произведения. 608 стр. Цена 1 р. 17 к.
К. Ватушков. Избранная лирика. Предисловие К. Пигарева. 112 стр. Цена 29 к.
Ю. Вронский. Белгородские колодцы. Исторические баллады. 63 стр. Цена 17 к.
Е. Добин. История девяти сюжетов. Рассказы литературоведа. Предисловие Н. Долиной. 175 стр. Цена 40 к.
Н. Емельянова. Рождение командира. Рассказы. 144 стр. Цена 37 к.
Ю. Збанацкий. Комсомольская кепка. Две повести. 191 стр. Цена 51 к.
Б. Изюмский. В поисках доли. Повесть. 176 стр. Цена 39 к.
Б. Костюковский. Жизнь как она есть. Повесть. 205 стр. Цена 54 к.
А. Лебедев. Разумные эгоисты Чернышевского. Философский очерк. 128 стр. Цена 43 к.
Лиры и трубы. Русская поэзия XVIII в. Редакция и вступительная статья Д. Благого. Составление, биографические очерки и примечание В. Муравьева. 351 стр. Цена 78 к.
Б. Никольский. Солдатская школа. Рассказы. 95 стр. Цена 92 к.
Н. Никунов. Подснежники. Повести и рассказы. 126 стр. Цена 35 к.
М. Поповский. Панацея — дочь Эскулапа. Рассказы о людях и лекарствах. 272 стр. Цена 58 к.
М. Прилежова. Собрание сочинений. В 3-х томах. Вступительная статья А. Алексина. Том 1. Семиклассники. — Юность Маши Строговой. — Пушкинский вальс. — Третья Варя. 640 стр. Цена 1 р. 30 к.
Цветок лимона. Рассказы писателей арабских стран. Перевод с арабского. Составитель Г. Лебедев. 128 стр. Цена 36 к.

ВОЕНИЗДАТ

- А. Гусев.** Гневное небо Испании. («Военные мемуары») 326 стр. Цена 89 к.
А. Ершов. Освобождение Донбасса. Военно-исторический очерк. 240 стр. Цена 55 к.

«ИСКУССТВО»

- А. Беленицкий.** Монументальное искусство Пенджикента. Живопись. Скульптура. 67 стр. Цена 4 р. 80 к.
А. Караганов. Всеволод Пудовкин. («Жизнь в искусстве») 232 стр. Цена 1 р. 56 к.
М. Левин. Серго Закариадзе. («Жизнь в искусстве») 320 стр. Цена 2 р. 8 к.
Москва. Памятники архитектуры XIV—XVII веков. Альбом. Текст М. Ильина. 105 стр. Цена 14 р. 80 к.
Е. Полякова. Николай Рерих. («Жизнь в искусстве») 302 стр. Цена 2 р. 16 к.
Театр «Современник». Альбом. Автор вступительной статьи Е. Дорош. Составитель и редактор А. Свободин. 128 стр. Цена 1 р. 63 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- В. Андреев.** Тревожный август. Повести и рассказы. 411 стр. Цена 95 к.
С. Антонов. Три богатыря. Рассказы и повести. 411 стр. Цена 45 к.
М. Геттуев. Эльбрус рядом. Роман в стихах. Перевод с балкарского Я. Серпина. 205 стр. Цена 1 р. 11 к.
А. Жариков. Невидимки. Документальная повесть. 94 стр. Цена 16 к.
В. Мильков. Николай Асеев. Литературный портрет. 198 стр. Цена 27 к.
Г. Мирошниченко. Азов. Роман. Предисловие Г. Моисеевой. 493 стр. Цена 1 р. 3 к.
Озеро шумит. Рассказы карело-финских писателей. Предисловие М. Пахамовой. 240 стр. Цена 33 к.

«ПРОГРЕСС»

- С. Ангелов.** Марксистская этика как наука. Перевод с болгарского. 264 стр. Цена 1 р. 12 к.
А. Аш-Шаркави. Феллах. Роман. Перевод с арабского Л. Медведко и В. Шегалия. 222 стр. Цена 2 р. 83 к.
А. Бауэр и А. Липерт. Коварная проповедь ренегата, или Крутой поворот Ф. Гароди. Перевод с немецкого. 181 стр. Цена 63 к.
Из современной французской поэзии. Раймон Кено. — Анри Мишо. — Жан Тардьё. — Рене Шар. Под редакцией Е. Эткинда. 398 стр. Цена 1 р. 34 к.
История венгерского революционного рабочего движения. В 3-х томах Т. 2. Под редакцией А. И. Пушкина. 342 стр. Цена 1 р. 53 к.
С. Моль. Социодинамика культуры. Перевод с французского. 406 стр. Цена 1 р. 32 к.
Новое в управлении производством в социалистических странах. Перевод с польского, чешского, венгерского, болгарского. («Новое в управлении производством за рубежом») 253 стр. Цена 1 р. 3 к.
Д. Оутс. Сад радостей земных. Роман. Рассказы. Перевод с английского. 544 стр. Цена 1 р. 87 к.
С. Францией в сердце. Французские писатели и антифашистское Сопротивление. 1939—1945. Переводы. Слово к читателю П. Антокольского. 623 стр. Цена 2 р. 31 к.
И. Томан. После нас хоть потоп. Роман. Перевод с чешского И. Холодовой. 623 стр. Цена 2 р.

«НАУКА»

- М. Бахитов.** Критика современных тенденций антикоммунизма. 151 стр. Цена 26 к.
Н. Кочетков. Народное искусство монголов. 235 стр. Цена 1 р. 11 к.
Литература и время. Сборник статей. 280 стр. Цена 1 р. 74 к.
С. Никольский. Карел Чапек — фантаст и сатирик. 431 стр. Цена 1 р. 45 к.
Организация африканского единства. Сборник документов. Выпуск 2. 1966—1969. Отв. редактор и составитель Р. Тузмухамедов. 239 стр. Цена 1 р. 44 к.
Осетинские народные сказки. Запись текстов, перевод и предисловие Г. Дзагурова. 598 стр. Цена 2 р. 36 к.
Д. Урнов. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. 89 стр. Цена 31 к.
С. Шерлаимова. Чешская поэзия XX в. 20—30 гг. 463 стр. Цена 1 р. 56 к.

«МЫСЛЬ»

- В. Афанасьев.** Основы философских знаний. 335 стр. Цена 58 к.
С. Блинов. Внешняя политика Советской России. Первый год пролетарской диктатуры. 247 стр. Цена 1 р.
Н. Бромлей, Е. Жуков и Л. Лисицына. Мирская социалистическая система. 328 стр. Цена 1 р. 26 к.
Л. Зайончковский. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX—XX столетий. 1881—1903. 351 стр. Цена 1 р. 39 к.
Критика теории маоизма. Сборник статей периодической печати социалистических стран. Москва, «Мысль» — София. 262 стр. Цена 1 р. 10 к.
Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. Издание 2-е, доработанное. 335 стр. Цена 54 к.
Развитие социалистического общества: сущность, критерии зрелости, критика ревизионистских концепций. Сборник статей. 420 стр. Цена 1 р. 59 к.
С. Сенявский. Изменения в социальной структуре советского общества 1938—1970. 448 стр. Цена 1 р. 73 к.
З. Соколинский. Теория накопления. («Современные буржуазные экономические

теории: критический анализ} 150 стр. Цена 61 к.

Ф. Талызин. Секреты природы. Издание 2-е, исправленное и дополненное. («Рассказы о природе») 190 стр. Цена 51 к.

И. Броз Тито. Избранные статьи и речи. 743 стр. Цена 1 р. 24 к.

Философия Гегеля и современность. Сборник статей. Ответственный редактор Л. Н. Суворов, 431 стр, Цена 1 р. 64 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Д. Бараташвили. Социалистические и молодые национальные государства. Международные правовые принципы сотрудничества. 165 стр. Цена 55 к.

Современный антикоммунизм. Политика, идеология. Под общей редакцией Ф. Рыженко и О. Рейнгольда. 511 стр. Цена 2 р. 36 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Иванов. Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. Единство и особенности. 208 стр. Цена 69 к.

Р. Каллнстов. Государственный арбитраж. Проблемы совершенствования организации и деятельности. 206 стр. Цена 73 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Васин. Армия и революция. Борьба московских большевиков за солдатские массы в трех революциях. М. «Московский рабочий». 240 стр. Цена 63 к.

Волжанин. Литературно-художественный сборник. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 208 стр. Цена 64 к.

Мы из Краснодона. Альманах. Донецк. «Донбасс». 126 стр. Цена 26 к.

Г. Иннолаев. Большой дрозд. Повесть и рассказы. Восточно-Сибирское книжное издательство. 312 стр. Цена 60 к.

А. Огнев. О поэтике современного русского рассказа. Саратов. Издательство Саратовского университета. 218 стр. Цена 78 к.

Н. Ровенский. Назначить себе высоту. Литературные портреты, статьи, размышления. Алма-Ата. «Жазушы». 176 стр. Цена 41 к.

Точка опоры. Повести и рассказы молодых ленинградских прозаиков. Выпуск 2. Составитель И. Трофимкин. Лениздат. 432 стр. Цена 71 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 28/XI 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/II 1974 г.
A 02223. Формат бумаги 70×108¹/₄. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
Тираж 175.000 экз. Зак. 3980.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5 в комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0684.

Цена 70 коп.

70636